HISTORIA ROSSICA

Марк Альтшуллер

Беседа любителей русского слова

У истоков русского славянофильства

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

HISTORIA ROSSICA

Марк Альтшуллер

БЕСЕДА ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА

У истоков русского славянофильства

Издание второе, дополненное

Новое
Литературное
Обозрение

2007

УДК 821.161.1.09(470)"1811/1816"
ББК 83.3(2=Рус)521.1
А 58

Альтшуллер М.
А 84 **Беседа любителей русского слова:** У истоков русского славянофильства. Изд. 2-е, доп. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 448 с., ил.

Книга профессора Питтсбургского университета Марка Альтшуллера — первая и пока единственная монография о литературном обществе «Беседа любителей русского слова», существовавшем в Петербурге в 1811—1816 гг. Будучи объединением консервативно настроенных деятелей, оппозиционных либеральному правительству Александра I, «Беседа» считала своей главной задачей защиту русских патриархальных устоев, русского языка и литературы от европейских влияний.

Заседания «Беседы» проходили в доме Г.Р. Державина, который вместе с адмиралом А.С. Шишковым стоял у истоков общества и был одним из его организаторов. Действительными или почетными членами «Беседы» были многие видные писатели, ученые, влиятельные общественные фигуры эпохи, в том числе И.А. Крылов, А.Н. Оленин, А.А. Шаховской, С.А. Ширинский-Шихматов, Д.И. Хвостов, Д.П. Горчаков, А.Х. Востоков, митрополит Евгений (Болховитинов), Н.С. Мордвинов.

Деятельность «Беседы» и полемика с ней литераторов «арзамасского» круга (П.А. Вяземский, В.Л. Пушкин, К.Н. Батюшков, В.А. Жуковский, Д.В. Дашков, молодой А.С. Пушкин и др.) стали важнейшими событиями культурной жизни России второго десятилетия XIX в.

УДК 821.161.1.09(470)"1811/1816"
ББК 83.3(2=Рус)521.1

ISBN 5-86793-533-7

© М. Альтшуллер, 2007
© «Новое литературное обозрение», 2007

Светлой памяти учителя
Павла Наумовича Беркова

Предисловие ко второму изданию

В 1811—1815 гг. в Петербурге существовало литературное общество «Беседа любителей русского слова». «Беседа» провела десятки публичных заседаний, на которые собирались до нескольких сот человек, практически вся столичная интеллигенция. Было издано 19 книжек журнала «Чтение в Беседе любителей русского слова». «Беседа» была объединением консерваторов, находившихся в оппозиции к либеральному правительству Александра I.

Предлагаемая вниманию читателя книга рассматривает основные аспекты деятельности «Беседы». Отдельные главы посвящены участию в «Беседе» крупнейших писателей начала XIX века: Г.Р. Державина, И.А. Крылова, А.С. Шишкова и др. Восстанавливается по документам история возникновения «Беседы», исследуется ее отношение к русской культуре XVIII века, проясняется позиция «Беседы» в полемике о русском языке и пр.

Первоначально эта книга вышла в 1984 г. в издательстве «Ардис» (США) под названием «Предтечи славянофильства в русской литературе (Общество “Беседа любителей русского слова”)». Для второго издания она значительно дополнена, а название слегка изменено, что более соответствует ее содержанию.

В Пушкинском Доме (Институт русской литературы, Санкт-Петербург) я благодарю Группу по изучению русской литературы XVIII века и ее руководителей: в прошлом П.Н. Беркова, Г.П. Макогоненко; ныне — Н.Д. Кочеткову. Благодарю Пушкинскую группу, где обсуждались многие доклады, так или иначе связанные с проблематикой этой книги.

Пользуюсь случаем персонально поблагодарить тех, кого я, по понятным причинам, не мог назвать в предисловии к первому

изданию: времена были советские, не хотелось привлекать лишнее внимание благодарностями эмигранта. Теперь назову их, и здравствующих, и ушедших («всем честию, и мертвым и живым»): В.Э. Вацуро, М.И. Гиллельсон, П.Р. Заборов, Ю.Д. Левин, Ю.В. Стенник, В.П. Степанов, С.А. Фомичев и многие другие.

Много полезных советов я получил от исследователей, с которыми мне довелось общаться при подготовке второго издания книги. Искренне благодарю И.Ю. Виницкого, С.М. Даниэля, А.Л. Зорина, В.Ю. Проскурину, О.А. Проскурина.

Еще раз благодарю Илью Захаровича Сермана за ценные советы и многолетнее дружеское внимание.

Как всегда, автор приносит самую искреннюю благодарность жене своей Елене Николаевне Дрыжаковой, чью профессиональную помощь в подготовке и первого, и второго издания этой книги невозможно переоценить.

ВВЕДЕНИЕ

1. «ДНЕЙ АЛЕКСАНДРОВЫХ ПРЕКРАСНОЕ НАЧАЛО...»

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в Михайловском замке в Петербурге был убит император Павел I. В придворных кругах смерть Павла, которого почти все считали взбалмошным деспотом, была встречена с нескрываемым удовлетворением. На престол вступил Александр I, с одной стороны, обещавший вернуться ко временам своей бабушки Екатерины II, с другой — мечтавший о крупных реформах в области управления страной, образования, землевладения, реформах, которые могли бы повести Россию к дальнейшему сближению с Западом и сделали бы ее по-настоящему европейской державой. Позднее Пушкин назовет этот многообещающий период в истории России «дней Александровых прекрасное начало» («Послание цензору», 1822). И действительно, перемены не заставили себя ждать.

Во дворце вновь появился воспитатель Александра республиканец Лагарп. Ближайшее окружение императора составили люди, воспитанные на либеральных, конституционных идеях: граф П.А. Строганов, в юности любимый ученик Ж. Ромма, героя Прериальского восстания, заколовшегося кинжалом после оглашения смертного приговора; поборник освобождения Польши князь Адам Чарторийский; поклонники английской конституционной монархии Н.Н. Новосильцев и граф В.П. Кочубей. Эти люди не боялись серьезных перемен. Сам император полушутя-полусерьезно называл свой кружок именем страшного карательного органа якобинской диктатуры — «Комитетом общественного спасения».

Однако вскоре стало ясно, что противников у молодого императора было не меньше, чем сторонников. Это были главным образом представители старшего поколения, люди еще екатеринин-

ской эпохи. Они не без основания увидели в деятельности нового правительства западные либеральные идеи, которые могли, с их точки зрения, привести Россию к пагубным последствиям, имевшим место во Франции, — к революции. Таким был Александр Семенович Шишков (1754—1841), один из главных героев этой книги, литератор, впоследствии статс-секретарь, министр, президент Российской академии. Много позднее в не предназначавшихся для печати «Записках» Шишков говорил о начале правления Александра: «Другие [т.е. старые екатерининские вельможи. — *М.А.*] должны были умолкнуть и уступить новому образу мыслей, новым понятиям, возникшим из хаоса чудовищной французской революции. Молодые наперсники Александровы, напыщенные самолюбием, не имея ни опытности, ни познаний, стали все прежние в России постановления, законы и обряды порицать, называть устарелыми и невежественными»[1].

Мысли Шишкова полностью разделял его друг Гаврила Романович Державин, назвавший ближайшее окружение царя людьми, «не знающими ни государства, ни дел гражданских»[2]. Он упорно защищал принцип монархизма от аристократической фронды во время бурных заседаний Сената по вопросу об обязательной службе дворян в 1803 г.[3] и резко выступил против либерального указа о вольных хлебопашцах. Указ этот при всей его ограниченности все же подготавливал умы к постепенной отмене крепостного права. Именно это и страшило Державина: «...нашей непросвещенной черни опасно много твердить о вольности, которой она в прямом смысле не понимает и понять не может»[4].

Старшее поколение с тревогой наблюдало, как росло влияние чужеземной идеологии. Молодой царь, с их точки зрения, становился решительным противником устоявшейся русской государственной системы. Александр не только не желал вернуться к прошлому и править «по законам и сердцу» своей «в Бозе почивающей бабки... императрицы Екатерины Великия»[5], а напротив, стремился обновить и переменить все, что имело с этим прошлым хоть какую-то связь. «Сие несчастное в государе предубеждение против кре-

[1] Шишков. Записки, 1. С. 84—85.
[2] Державин, 6. С. 741.
[3] Державин, 7. С. 749—757.
[4] Державин, 7. С. 774—775.
[5] Манифест о вступлении на престол императора Александра I см.: Шильдер 1897. Т. 2. С. 6.

постного права, против дворянства и против всего прежнего устройства и порядка внушено в него было находившимся при нем французом Лагарпом и другими окружавшими его молодыми людьми, воспитанниками французов, отвращавших глаза и сердце свое от одежды, от языка, от нравов и, словом, от всего русского»[6].

Эти оппозиционные настроения, естественно, не могли найти открытого выражения в печати. Однако до нас дошло немало сатирических стихотворений, распространявшихся в списках и подвергавших резкой критике деятельность молодого императора.

Шишков был в числе первых нападающих. В самом начале царствования Александра I, по авторитетному свидетельству Н.И. Греча, мемуариста в основном добросовестного и с хорошей памятью, он «написал стихи в виде послания к Александру Семеновичу Хвостову. Они начинались следующими:

Реши, Хвостов, задачу.
Я шел гулять на дачу.

Он описывает всех тогдашних министров и царедворцев самыми резкими чертами: о Чарторыжском говорит: "Вот Monsieur Bobo, в руке massue d'Hercule" (тогдашняя мода)»[7].

Упомянутые Гречем стихи Шишкова долго оставались неизвестными. Они были обнаружены нами в архиве известного историка литературы профессора И.А. Шляпкина. Список близок ко времени написания стихотворения, так как бумага его, судя по водяным знакам, относится к 1805 г.[8].

Приводим текст стихотворения по этому списку.

ПРОГУЛКА. СТИХИ К А.С. ХВОСТОВУ

Реши, Хвостов, задачу:
Я шел гулять на дачу,
Туда ж идет Ханжин,
Задумавшись, один.
Смиренно выступает,
На небеса взирает
С молитвою в устах,

[6] Шишков. Записки, 1. С. 309.
[7] Греч 1930. С. 212.
[8] «Pro Patria / C&J Honig» (Клепиков. №1334).

С слезами на глазах.
Вздыхает и крестится,
Зовет меня с собой:
Не лучше ль воротиться
Отселе мне домой.

Реши, Хвостов, задачу:
Я шел гулять на дачу,
Туда идет Глупон:
Блестит весь в злате он,
И машучи руками,
И шаркая ногами,
Не скажет ничего
Без *как оно того*:
О чем-то объясниться
Желает он со мной,
Не лучше ль воротиться
Отселе мне домой.

Реши, Хвостов, задачу:
Я шел гулять на дачу.
Туда ж мусью Бобо
С большим идет жабо,
С лорнетом при зенице,
Массю д'Эркюль в деснице,
Одет а л'инкроябль,
Причесан а л'адьябль,
Боченится, кривится,
Зовет меня с собой:
Не лучше ль воротиться
Отселе мне домой.

Реши, Хвостов, задачу:
Я шел гулять на дачу,
И с кучею детей
Туда ж идет Кащей.
На нем и на робятах
Кафтаны все в заплатах,
А дать сей час же рад
Сто тысяч под заклад.

За тем со мной дружится,
Зовет меня с собой:
Не лучше ль воротиться
Отселе мне домой.

Реши, Хвостов, задачу:
Я шел гулять на дачу.
Туда ж и Стихоплет
В молчании грядет.
Меня он для примеру
Приемлет за Венеру.
Составленный ей в честь
Мне хочет гимн прочесть.
И просит не сердиться,
Коль он пойдет со мной.
Не лучше ль воротиться
Отселе мне домой.

Реши, Хвостов, задачу:
Я шел гулять на дачу.
Туда ж и Мироправ,
Мечтаний тьму набрав,
Свой путь изволит править,
Он хочет переставить
И Этну и Кавказ
И человечий глаз
Исправить как трудится,
Зовет меня с собой.
Не лучше ль воротиться
Отселе мне домой[9].

Судя по мемуарам Греча, в каждой строфе изображен современник поэта, крупный деятель эпохи. Один из них, Чарторийский, Гречем указан, других пока трудно разглядеть под обобщающими масками Ханжина, Глупона, Кащея. Однако по поводу личности Стихоплета можно высказать некоторые предположения. Главным литературным противником Шишкова, создателем «нового слога»,

[9] Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее — ОР РНБ). Ф. 865 (И.А. Шляпкин). №293. Л. 1—2.

проповедником новых идей в литературе был Карамзин. С ним Шишков спорил в вышедшей в 1803 г. работе «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». Можно предположить, что в Стихоплете изображен этот антагонист автора.

В 1801 г. Карамзин написал два стихотворения: «Его Императорскому Величеству Александру I, Самодержцу Всероссийскому, на восшествие его на престол» и «На торжественное коронование его Императорского Величества Александра I, Самодержца Всероссийского». Стихи выдержаны в привычных нормах торжественной оды: десятистрочная строфа, четырехстопный ямб, обилие архаизмов. Однако их содержание отличается от привычных канонов. Для Карамзина главное в монархе — не слава, величие, активная государственная деятельность, а любовь его к подданным и подданных к нему:

Блистай, веселие сердец!
Любовью отдан сей венец.

Тебе одна любовь прелестна...
Любовь со страхом не совместна...

И власть монаршия казалась
Нам властию любви одной.

И венценосец свят для них.
Любимый и любви достойный...

Взаимная любовь царя и народа служит, по Карамзину, залогом процветания государства. Такая восторженная оценка молодого, красивого, доброго монарха вполне объяснима после деспотического, сумасбродного правления Павла I. Позднее, когда первые восторги улеглись, Карамзин в «Записке о древней и новой России», сближаясь с Шишковым, настойчиво упрекал царя за его реформы[11].

Естественно, что любовь как категория государственных отношений представлялась Шишкову нелепой. Вполне вероятно, что его стихотворение содержит намек на стихи Карамзина. У Шиш-

[10] Карамзин 1966. С. 265—266, 261—262.
[11] См. об этом гл. 2 настоящей работы, а также: Альтшуллер 1983.

кова гимн императору (гимном Карамзин назвал свою оду в эпиграфе[12]) превратился в гимн Венере (т.е. любви).

В 1803 г. Карамзин, почти никогда не вступавший в полемику со своими противниками, напечатал басню «Филины и соловей, или Просвещение». В ней говорится, что Феб (в контексте басни — Александр I) решил развеять тьму ночи, чтобы всегда сиял свет (т.е. просвещение). Совы и филины вознегодовали:

Кто Фебу дал такой совет?

Филинам отвечает соловей (т.е. сам Карамзин), всегда воспевавший свет:

Злой любит мрак густой, а добрый просвещенье[13].

Таким образом, басня, которая обычно рассматривалась лишь как ответ писателя своим критикам (прежде всего П.И. Голенищеву-Кутузову, писавшему злобные доносы на Карамзина[14]), может и должна быть включена в контекст общественно-литературной борьбы начала XIX в. Весьма вероятно, что Карамзин в своем ответе имел в виду и сатирические стихи Шишкова. Он защищал не только себя, но, возможно, и императора.

Последняя строфа стихотворения Шишкова, как нам представляется, направлена именно против Александра I. Мироправ, т.е. тот, кто правит миром, распоряжается судьбами людей, сделавшись мечтателем, стремится перевернуть, поломать естественный порядок вещей: поменять местами горы, а главное, переделать человеческую природу — исправить «человечий глаз». Можно предположить, что в Мироправе изображен Александр I с его несостоятельными либеральными замыслами[15].

---

[12] «Il en est des grands Souverains comme des Dieux. Comblés de leurs bienfaits, nous n'avons pas pour eux des recompenses, mais nous avons des hymnes. *Thomas*» (Карамзин 1966. С. 265).

[13] Там же. С. 295—296.

[14] См. комментарий Ю.М. Лотмана к этой басне: Там же. С. 401.

[15] В разговоре с автором А.Л. Зорин выразил сомнение, что строфа обращена к Александру I: Мироправ, может быть, не тот, кто *правит* миром, а тот, кто *исправляет* (или пытается исправить) мир. Тогда Мироправ является скорее носителем масонских идей. Не исключено, что имеется в виду И.В. Лопухин. В размышлениях Зорина имеются свои резоны, однако, во всяком случае, сатирический, антиправительственный и антиреформаторский пафос

Это предположение, кстати сказать, объясняет малую распространенность стихотворения в списках. Хранить стихи против императора было страшно, а сам сочинитель так старался завуалировать свои намеки, что спустя недолгое время портретность его героев сгладилась в восприятии читателей. Глупон и другие превратились в абстрактных носителей пороков, и стихи, утратив актуальность, выпали из читательского обращения.

Александр Семенович Хвостов (1753—1820), адресат стихотворения, известный остроумец, поэт, переводчик, отвечал Шишкову, как рассказывает Греч, «новыми колкостями на людей, дерзнувших без его позволения занять первые места в государстве»[16]. И действительно, в нашем списке за стихами Шишкова следует «Ответ Хвостова»:

Хоть много приложу трудов,
Хоть силы все мои истрачу,
Я не решу никак, Шишков,
Твою мудреную задачу.
Куда бежать от дураков?
Повсюду, в городе, на даче,
Куда ни направляешь путь,
Мы во всегдашней неудаче
Глупонов и Бобо минуть.

То с глупым встретишься Кащеем,
То с пустозвоном Стиходеем,
То сумасшедший Мироправ,
Ханжин, и подол и лукав,
Что шаг — то пырь тебе навстречу.
Какие меры ни возьмешь,
Куда от них, куда уйдешь?
Я только мысль мою замечу:
Что милость Божия к тому,
Кто, цену ведая тому,

стихов Шишкова сомнений не вызывает: они в целом направлены против императора и его политики. В то же время в пользу нашего предположения, возможно, свидетельствует тот факт, что строфа о Мироправе замыкает стихотворение. Герой ее, таким образом, становится самым значимым персонажем всей сатиры.

[16] Греч 1930. С. 212.

Для благ своих и для покою
Снабжен способностью такою,
Что может быть на свете сем
При глупостях и глух и нем;
И глух и слеп перед ханжами,
При имя рек... нем, слеп и глух,
И странностью и пустяками
Не озабочивает дух.
Докучников презрев всю кучу,
С друзьями умными живет,
Считает дурака за тучу
И радуется, как пройдет.

Стихи Хвостова гораздо менее остры, чем шишковские. В них интересна строка:

С друзьями умными живет...

Поскольку мы знаем, что стихи и Шишкова, и Хвостова направлены против окружения Александра и, возможно, против него самого, эта строка может быть истолкована как свидетельство о существовании кружка оппозиционеров, не желающих принимать новую государственную программу.

Примерно к этому же времени — около 1805 г. — относится басня Державина «Жмурки». «Без сомнения, здесь кроется политический смысл», — отмечал, впервые публикуя басню в 1870 г., Я.К. Грот[17]. Александр изображен в ней в виде «хозяина молодого», которого «друзья-ребяточки» попросили поиграть в жмурки. В результате хозяин

Упал и растянулся
И тем во всем дому
Такую поднял кутерьму,
Что описать ее не можно никому.

Принцип монархического единовластия Державин защищал в тогда же написанной басне «Лашманы и Дуб»:

---

[17] Державин, 3. С. 439—440. См. также комментарии Я.К. Грота к этой басне.

Когда и царства круг (а в нем и разны части)
Хотят, чтобы блаженств к одной мете бежал,
Не худо, маньем вышней власти,
Один чтоб дока управлял[18].

Обе басни сохранились в архиве Державина и, вероятно, были известны его окружению.

Нападки на Александра I и его единомышленников исходили не только из круга старых придворных и вельмож. Один из ближайших друзей царя, Адам Чарторижский, вынужден был признать, что «в то время [самое начало 1800-х годов. — *М.А.*] общественное мнение в России далеко не было расположено в пользу императора Александра...»[19]. Человек, стоявший у кормила государственной власти, отчетливее, чем многие другие, ощущал наличие мощной оппозиции.

Эти оппозиционные настроения могли быть выражены и представителями молодого поколения дворян. Так, едва ли не самую злую характеристику Александру дал молодой (родился в 1784 г.) офицер блестящего Кавалергардского полка Денис Васильевич Давыдов, впоследствии знаменитый поэт, герой Отечественной войны 1812 года. В басне «Орлица, Турухтан и Тетерев» (начало 1805 г.) Александр был назван «глухой тварью» (намек на глухоту императора), «разиней бестолковым», любимцы которого «царство разоряют». Басня эта достаточно широко распространялась в списках.

Так, ее читал, соглашаясь с резкой и грубой оценкой царствующего государя, Михаил Иванович Антоновский (1759—1816), человек, совсем не похожий на остроумного фрондера-дворянина, далекий от придворного мира интеллигент-разночинец. В 1800-е гг. он доживал в Петербурге свою тяжелую жизнь. Бедняк, выгнанный со службы, старый масон, в прошлом издатель моралистического журнала «Беседующий гражданин», в котором принимали участие Шишков и Радищев, Антоновский бедствовал, живя на благотворительную помощь старых друзей[21].

Он прозой изложил басню Давыдова, обратив главное внимание на любимцев царя, которых назвал «дроздами-щебетунами»,

[18] Державин, 3. С. 440—441.
[19] Чарторижский. С. 298.
[20] Давыдов. С. 46—49.
[21] О бедственном положении Антоновского см.: Вацуро 2002. С. 66.

ведущими «царство орлиное к неминуемой пагубе»[22]. С точки зрения Антоновского, чужеземное влияние, насаждаемое царем, ведет страну к гибели, хаосу, через которые прошла в результате революции Франция.

В архиве Антоновского сохранилась любопытная (кажется, неопубликованная) эпиграмма, относящаяся к началу царствования Александра:

ШЛЯПАМ

С французов стали моды брать,
И шляпы их на нас надели.
Не стали после бы пенять,
Коль все пойдет по их модели[23].

Хорошим комментарием к этой эпиграмме могут служить следующие слова Греча: «...вступление на престол Александра приветствуемо было, как самое счастливое и вожделенное событие. Появились вновь круглые шляпы, фраки и т.п.»[24].

Однако не эта наивная эпиграмма, не реминисценции из Давыдова характеризуют в полной мере мировоззрение Антоновского. Он задумал писать историю России, собирал историческую библиотеку и живо ощущал связь настоящего с прошлым. Александр со своими приближенными, казалось ему, разрывал, пресекал естественный путь исторического развития России, и он обратился к императору со странным, сумбурным письмом. Пользуясь таинственными библейско-масонскими образами и терминами, Антоновский рисовал перед царем картину неминуемой гибели отечества в результате вторжения чужеземных, в первую очередь французских, идей:

«*По секрету*. Всемилостивейший Государь! Принятая неотложно с давнего времени франками, сими известными по истории исчадиями Хамова племени, заклятыми от праотца Ноя быть рабами потомствами Иафета и Сима, детей его, поселенными для того от Сезостриса Египетского и его брата Даная в Европе, ныне известными под именем французов, система адской политики покорить,

[22] Альтшуллер, Мартынов. С. 21—33.

[23] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом; далее — РО ПД). Ф. 405 (М.И. Антоновский). №4. Л. 209.

[24] Греч 1930. С. 197—199.

якоже бех предка их Нина вавилонского, все народы на земном шаре владычеству, игу, рабству своему, — устремляется на поиск, как и при Нине, и на Россию, — сию величественнейшую Державу вашего Императорского величества.

Растление честнейших нравов, повреждение добрейших обычаев, развращение верховного начальства, ужаснейшая дороговизна в России, в сем обильнейшем во всех естественных произведениях самостоятельном государстве суть отпрыски скрытнейшего оных франков коварства, козней, крамол, устремленных от них к явному падению величества России, а с тем и к покорению ее игу своему, подобно недавно случившимся и продолжающимся в Европе от сих, по изречению великого Суворова, ветреных, сумасбродных, безбожных французишков.

Меня никто не купил дерзнуть объяснить сие Вашему Императорскому Величеству, яко Помазаннику Божию. Я так беден, что едва дневное пропитание имею, — да и то по дружбе моих приятелей, коим уже при нынешней дороговизне становлюсь в тягость. Меня уже за долги кормящие меня харчевники тащат в тюремное заключение. Следовательно, из любви сердечной, как к преславному благоденствию вашего императорского величества, так и всея России вопия, дерзаю осмелиться представить неизбежную из вышесказанного явную гибель России, — и ежели ваше Императорское величество, яко отец Отечества, предпоставленный от Всевышнего, не желает зреть в недрах России нового несравненно ужаснейшего, нежели было оное во Франции с 1789 года, позорища, готового уже, по примечанию мудрых мужей, изрыгнуть паче Везувия, Этны и Геклы, поядающий все встречающееся с ним жупель и видя то во внимательнейшем уважении со слезами в последние часа жизни моей умоляю ваше императорское величество предускорите повелеть неотлагательно принять деятельнейшие и мудрые к отвращению сей всеобщей гибели России меры вашему верьховному из опытнейших, мудрых и честных особ составленному Государственному совету. 1804 года»[25].

Этот странный, несколько болезненный вопль хорошо показывает то состояние смятения и растерянности, которое охватило значительные круги русской интеллигенции в результате реформ 1800-х гг.

[25] РО ПД. Ф. 405. №4. Л. 228—229об.

Реформы свидетельствовали о проникновении в Россию западных идей, связывались с ужасами Французской революции, казалось, угрожали самому существованию Российского государства.

В этой обстановке в 1803 г. вышла из печати книга А.С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», вызвавшая острую полемику и положившая начало русскому славянофильству.

2. НАЧАЛО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.С. ШИШКОВА

Александр Семенович Шишков прожил долгую (без малого девяносто лет) и активную жизнь. И всегда он боролся за «русскую идею» (чистоту русского языка, самобытность русской культуры и пр.).

Мы мало знаем о первых годах жизни Шишкова, так как начало его мемуаров, к сожалению, утеряно. Он родился 8 марта 1754 г. в Москве, в семье, как он пишет, «достаточного» русского дворянина. Имение родителей находилось в Кашине, самой русской глубинке (ок. 150 километров к северо-востоку от Твери). Семья была очень небогатой: сам Шишков (вероятно, после смерти родителей и раздела имения между четырьмя братьями) владел пятнадцатью душами крепостных; и позднее, когда у него было уже несколько сот душ, он жил одним жалованьем. На склоне лет он рассказывал, может быть, немного кокетничая: «...должен был содержать себя одним жалованьем, которого производилось мне по сту двадцати рублей в год, и никаких других пособий»[1].

По всей вероятности, из лона своей мелкопоместной семьи, из общения с детства с крепостными крестьянами вынес Шишков не только свою глубокую православную религиозность, любовь к старым церковным книгам, написанным на старославянском языке, и хорошее практическое знание этого языка, но и твердые нравственные устои и неколебимый патриотизм.

---

[1] Цит. по: Боленко, Лямина. С. 12. О генеалогии рода Шишковых, имущественных делах его родителей см. обстоятельную статью и публикацию переписки Шишкова с родными: Боленко, Лямина. С. 63—163. Наиболее подробную биографию Шишкова см.: Стоюнин. См. также: Martin. P. 17 passim; Альтшуллер 2005.

Образование Шишков получил в Морском кадетском корпусе, который во второй половине XVIII в. стал одним из лучших подобного рода учебных заведений в Европе[2]. Закончил он корпус одним из первых учеников, вынеся из учебного заведения знание европейских языков, хорошее общее гуманитарное образование и высокий морской профессионализм.

Еще в юности и молодые годы он участвовал во многих морских походах. Едва не погиб еще гардемарином во время кораблекрушения у берегов Швеции в 1771 г.[3]. В 1776—1779 гг. он совершил еще одно морское путешествие. Эти три года сыграли значительную роль в формировании характера и мировоззрения Шишкова, значительно расширили его кругозор и обогатили его образование[4]. Он выучился итальянскому языку и на всю жизнь сохранил любовь к итальянской литературе. Впоследствии он перевел прозой на русский язык поэму Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим». Во время Шведской войны 1789—1790 гг. Шишков, уже в чине капитана второго ранга, командовал фрегатом «Николай» и получил в награду золотую саблю с надписью «За храбрость» и золотую, осыпанную бриллиантами табакерку. Таким образом, насмешки противников над морской карьерой Шишкова (Вигель писал о нем: «...еще менее моряк, чем литератор»[5]) являются явной полемической несправедливостью. И уж совсем неправ современный исследователь, походя заметивший, что «Шишков никогда реально во флоте не служил»[6].

К началу XIX в. Шишков был хорошо известен как высоко образованный специалист по морскому делу. Он преподавал в Морском корпусе, позднее (с 1805 г.) возглавлял Ученый комитет Адмиралтейства, перевел и написал несколько ученых книг. В их числе — перевод книги Шарля Ромма «Морское искусство» («L'art

---

[2] См.: Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 1. СПб., 2001. С. 652—655 (статья «Морская академия»).

[3] Его очерк «Разбитие русского военного корабля у берегов в Швеции в 1771 году» см.: Шишков, 12. С. 262—334.

[4] Свое путешествие Шишков подробно описал в «Записках, веденных во время путеплавания из Кронштадта в Константинополь», опубликованных в 1834 г. и перепечатанных в последнем, семнадцатом, томе его «Собрания сочинений и переводов» (1839). Ранний вариант этой книги имел эпистолярную форму (публ. см.: Рус. старина. 1897. №5—7). См. также: Киселева. 1995. С. 66—82.

[5] Вигель, 1. С. 200.

[6] Б. Гаспаров 1999. С. 132.

de la marine»; 1793), важнейшее руководство по кораблестроению и навигации. В 1795 г. Шишков выпускает серьезную работу, свидетельствующую о его постоянных лингвистических интересах: «Трезычный морской словарь на английском, французском и немецком языках».

В то же время он публикует ряд стихотворений, переводит с немецкого «Детскую библиотеку» И.-Г. Кампе (первое издание — 1783—1785). Этот перевод-переделка на многие десятилетия сделал Шишкова любимым детским писателем в России[7]. В 1796 г. Шишков был избран в члены Российской академии. Однако главные труды и главные события общественной деятельности почтенного, без малого пятидесятилетнего, адмирала были еще впереди.

Выход в 1803 г. «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» сразу сделал его знаменитым: «Вдруг вышла книга Шишкова» ("О старом и новом слоге русского языка") и разделила армию Русской Словесности на два враждебных стана: один под знаменем Карамзина, другой под флагом Шишкова»[8]. Гречу вторит другой известный мемуарист, умный, злой и наблюдательный Ф.Ф. Вигель: «...издал он памфлет под названием: "О старом и новом русском слоге", где сильно и довольно грубо напал на галлицизмы, на нововведения московских писателей. Это был первый пушечный залп...»[9] Рассказы о впечатлениях от книги Шишкова можно многократно умножить, и к некоторым из них мы обратимся позднее. Пока нужно заметить, что большинство современников говорит лишь о литературе, о литературной войне.

Эту чисто литературную сторону словесной войны старательно подчеркивал в своей знаменитой работе «Архаисты и Пушкин» (1926) Ю.Н. Тынянов. Он сочувственно цитировал слова Я.К. Грота: «Говорят... что Шишков в сущности ратовал не за язык, а за чистоту веры и нравственности. С этим нельзя согласиться: сначала не было и речи о чем-либо ином, кроме слога...» — и затем специально отметил различие между архаичностью литературной и реакционностью общественной: «Архаистическое течение сознавало себя поначалу течением чисто литературным, и только впоследствии, в определенный период, часть архаистов — "Беседа" — соединилась с общественной реакцией, окрасив до наших дней в

[7] О «Детской библиотеке» см. обстоятельную статью: Боленко.
[8] Греч 1990. С. 156.
[9] Вигель, 1. С. 203.

одиозный цвет и самую литературную теорию архаистов...»[10] Отключив от анализа общественно-политическую и философско-историческую позицию Шишкова, Тынянов затем занялся разбором литературных взглядов архаистов, в основном младших. Видимо, такое искусственное отделение литературы от политики и публицистики давало Тынянову возможность объективного изучения литературной жизни без боязни прослыть мракобесом и защитником оголтелой реакции и в то же время уменьшало цензурные риски[11]. Не правы были оба: и Грот, и Тынянов. Чисто литературные проблемы лежали лишь на самой поверхности.

Шишкову в высшей степени было свойственно вообще характерное для русско-византийской православной культуры благоговейно-уважительное отношение к слову, восходящее еще к библейской ветхозаветной традиции. Это отношение к Слову как носителю Божественного духа закреплено в начале Евангелия от Иоанна: «В начале бе слово и слово бе к Богу, и Бог бе слово». Словопочитание отразилось в раскольничьих спорах, где речь шла не столько о духе, сколько о букве Божественных книг. Отзвук этого чисто русского отношения уже в двадцатом веке прозвучал в прекрасных стихах Гумилева:

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

Шишков относился к слову с мистическим уважением. Для него в слове воплощался дух народный, материализовалась идея, способная и созидать, и разрушать. Поэтому он готов был запрещать вредное слово с не меньшим усердием, чем защищать правильное. В записке о цензуре (1815) Шишков говорил: «Наглость

[10] Тынянов 1968. С. 25 и след.

[11] В середине 1920-х гг. времена были еще, по крайней мере для филологов, достаточно вегетарианские, но все-таки власть уже сильно вмешивалась в идеологию.

слова — не меньше как и хитрость его: при малейшем нерадении блюстителей нравов оно обезоруживает их строгость, смягчает суровость, исторгает ласки у гнева, похвалы у ненависти и безбоязненно тысячами путей распространяет язык страстей и лжи... Такова есть хитрость, смелость и сила слова, употребленного во зло!»[12]

Слова образуют язык. Язык для Шишкова — одна из важнейших составляющих национальной культуры, которая мыслилась прежде всего как любовь к отечественному: «Вера, воспитание и язык суть самые сильнейшие средства к возбуждению и вкоренению в нас любви к Отечеству» («Рассуждение о любви к Отечеству»). «Тезис Шишкова о языке как коллективной памяти народа, отпечатавшейся в историческом прошлом языка — из чего следует тезис о пагубности разрыва с этим прошлым для национального самосознания, — представляет собой квинтэссенцию романтических представлений о языке как воплощении духа народа», — совершенно справедливо замечает современный исследователь[13]. Этим национальным языком, с точки зрения Шишкова, был церковнославянский, воспринимавшийся им мистически, сакрально. Шишков видел в церковнославянском языке главную сокровищницу национального духа, «мистически связанную с Божественной мудростью еще *до* принятия христианства... как *незыблемое основание веры нашей*»[14].

В «Рассуждении» и шла речь о путях развития русской литературы и, шире, русской культуры: каким должно быть слово этой культуры — западным, нейтральным, общечеловеческим или исконно русским, своеобычным, национальным? Отсюда возникал и другой вопрос: должна ли литература, словесность, заниматься личными, частными проблемами, заботами обыкновенной, ординарной личности, *маленького человека*, его страданиями, чувствами, размышлениями, или решать общегосударственные, исторические, национальные проблемы? Эти две тенденции нашли выражение в двух самых значительных текстах 1790-х гг.

В 1790 г. в своей типографии глава Петербургской таможни А.Н. Радищев напечатал 600 экземпляров «Путешествия из Петербурга в Москву». Мы не будем сейчас говорить об идеях этой книги, «революционность» которой явно преувеличена. Она трактовала о важнейших государственных проблемах и, соответственно, была

[12] Шишков. Записки, 2. С. 45.
[13] Б. Гаспаров 2003. С. 275.
[14] Проскурин 1996. С. 102.

написана языком тяжелым, с обилием славянизмов, с усложненным неповоротливым синтаксисом. Эстетическая обусловленность такой «трудности» была декларирована самим Радищевым. Об отношении Шишкова и его последователей, «беседчиков», к новаторским литературным идеям Радищева мы будем говорить позднее.

В 1792 г. в шестой части «Московского журнала», выходившего тиражом около 300 экземпляров, была напечатана повесть издателя, Н.М. Карамзина, «Бедная Лиза». В ней рассказывалось о печальной судьбе влюбленной крестьянской девушки, и она была написана языком ясным и доступным, синтаксис ее был прост и прозрачен. Без малейшего затруднения она читается и двести лет спустя и сохраняет немалую популярность. У Карамзина появилась масса подражателей. Сентиментальное направление покорило литературу, распространившись на все жанры, в том числе на эпос и трагедию. Героем дня стал автор, который «пишет так, как говорит, кого читают дамы» (Батюшков). Так к началу XIX в. определились две линии литературного развития.

Для Шишкова несерьезный, легкий, карамзинский подход к культуре, к тому же ориентированный на западные (прежде всего французские) образцы, был неприемлем. Об этом он и написал свою книгу. Она, естественно, может и должна быть рассмотрена в контексте не только литературной, но и общественно-политической борьбы начала века.

Шишков безоговорочно отвергал французскую культуру в целом с ее литературой и языком, потому что, с его точки зрения, нация, уничтожившая религию и монархический принцип, установившая якобинский террор, не может дать миру никаких конструктивных идей. «Надлежит с великою осторожностью вдаваться в чтение французских книг, дабы чистоту нравов своих в сем преисполненном опасностью море не преткнуть о камень...» — уже в начале своей книги объявляет автор (с. 9—10)[15]. Из чужеземных книг можно почерпнуть лишь «невразумительное пустословие». Французы выдумывают новые слова: в их языке с невинными та-

---

[15] «Рассуждение о старом и новом слоге...» и «Прибавление к сочинению, называемому “Рассуждение о старом и новом слоге российского языка” или собрание критик, изданных на сию книгу с примечаниями на оные» (1804) цитируются по 2-му тому «Собрания сочинений и переводов» Шишкова (СПб., 1824). Ссылки на страницы этого издания приводятся в скобках в тексте.

буретами и шезлонгами соседствуют термины и понятия, порожденные революцией: декады, гильотины (с. 430—431). Сам французский язык «беден, скуден», представляет собой «бесплодную, болотистую землю». Чужеземная культура «вломилась... насильственно» (с. 3) на русскую почву, искажая, затемняя и уничтожая самобытные национальные основы.

Важнейшей особенностью русской национальной культуры, по Шишкову, является наличие богатой литературы на старославянском языке. Эта литература должна стать питательной почвой всей современной русской культуры. Доказательству этого тезиса посвящена вся книга Шишкова.

«Древний славенский язык, отец многих наречий, есть корень и начало российского языка... он сообщает ему богатство, разум, силу и красоту» (с. 1—2, 81). Этот славянский язык «...сам собою всегда изобилен был и богат, но еще более процвел и обогатился красотами, заимствованными от сродного ему эллинского языка...» (с. 1). Если французский язык — песчаная и бесплодная почва, то славянский — плодородная земля (с. 3); он обладает «богатством, изобилием, силой» (с. 7). Славянский язык есть язык церковной культуры: «До времен Петра Великого или Елисаветиных не было у нас наук, не было светских писателей, стихотворцев. Французская словесность начала процветать около времен Людовика XIV. В его царствование стали у них появляться знаменитые писатели. Они прославились в тех родах сочинений, которые нам были неизвестны. В трагедиях, в комедиях, в науках, в разных стихотворениях и пр. мы оставались еще до времен Ломоносова и современников его при прежних наших духовных песнях, при священных книгах, при размышлениях о величестве Божием, при умствованиях о христианских должностях и вере, научающей человека кроткому и мирному житию, а не тем развратным нравам, которым новейшие философы обучили род человеческий и которых пагубные плоды после толикого пролияния крови и поныне еще во Франции гнездятся» (с. 422—423).

Мысль об отставании России от культурных ценностей Европы стала после Петра I общепринятой для русских образованных людей. Действительно, при Людовике XIV (1643—1715), Короле-Солнце, во Франции творили Корнель, Расин, Мольер, Лафонтен, Фенелон и многие другие. Россия XVII в. при царе Алексее Михайловиче далеко не блистала в области изящных искусств, хотя и началась уже некоторая европеизация литературной жизни. Даже

образованнейший Симеон Полоцкий вряд ли может быть сопоставлен с корифеями французской словесности, тем менее немецкий пастор Грегори, написавший первые пьесы русского театра, — с Корнелем и Мольером, а «Еруслан Лазаревич» и «Петр златых ключей» — с романами Фенелона. Карамзин в этой связи совершенно резонно заметил, что, хотя «царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора, способствовало сближению Россиян с Европою ... нет сомнения, что Европа от XIII до XVII века далеко опередила нас в Гражданском просвещении»[16].

Шишков думал иначе. С его точки зрения, «гражданское просвещение» мало что стоило по сравнению с «кротким и мирным житием», которым россияне наслаждались в полной мере до победы иноземного влияния. Однако перемены уже произошли. Ломоносов уже произвел, и очень успешно, свою реформу русского стихосложения. Литература уже давно развивалась по западным образцам. Основная задача теперь, с точки зрения Шишкова, заключалась в том, чтобы по возможности задержать это развитие, не дать новым понятиям окончательно разложить и уничтожить прадедовские нравы. 19 декабря 1805 г. Шишков писал своему другу, известному общественному деятелю Н.С. Мордвинову: «Я теперь читаю последнее Лагарпово сочинение philosophie du XVIII Siècle; какая книга! Как она открывает безумное умствование дидеротов, жанжаков, волтеров и прочих, называвшихся философами! Как это возможно, что осветитель пути нашего, разум, часто ведет нас по такой кривой дороге, по которой глупость и простодушие никогда не повело бы? В самом грубейшем невежестве не найдем мы столько слепоты и заблуждения, сколько в уме обширном и многими знаниями изощренном. Поневоле вспомнишь сии слова: “Будьте мудри яко змии и цели яко голуби”. Но это весьма трудно соединять. Часто мы видим, что кто сохраняет в себе свойство голубя, у того и ум голубиный; а кто достигнет до мудрости змеи, у того и свойство делается змеиное. Мне кажется, человек должен так располагать жизнь свою, чтоб, побывав один только час в змеиной школе, на все остальное время суток тотчас бежал в голубиную школу и спешил скорее, чтоб господа самолюбие, корыстолюбие, славолюбие и прочие их товарищи не успели сделаться крайними его приятелями»[17].

---

[16] Карамзин 1959. С. 21.

[17] Российский гос. исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 994 (Мордвиновы). Оп. 2. №984. Л. 22—23об.

В этом аллегорическом рассуждении разум становится олицетворением притягательной, но развращенной европейской культуры, а целомудрие и невинность — несколько глуповатой, отечественной. Эту простодушную наивность видит Шишков в русской силлабической поэзии, связанной еще с традициями XVII века. Эти стихи, правда, «похожи на прозу», не имеют мер и стоп, зато соединяют «хороший слог» с «чистотой и величавостью мыслей»:

Отрасль Петра Первого, его же сердцами
Великим и отцем звал больше, неж устами
Народ твой! Отрасль рукой взращенна самого
Всевышнего, полкруга в надежду земного![18] (с. 62)

«Чистые и величавые мысли» этого четверостишия Кантемира суть мысли о самодержавном принципе, который органически вырастает на почве бесхитростно-религиозной славянской культуры и противостоит анархическому духу французской нации.

Шишков намечает, таким образом, некий путь развития отечественной литературы от старославянских духовных книг к силлабике Кантемира и поэзии Ломоносова, которая, с его точки зрения, несмотря на некоторые оговорки, прочно связана со стихией славянского языка. А раз так, то Ломоносов не только может быть поставлен рядом с лучшими представителями европейской поэзии, как писал Сумароков, но и превосходит этих чужеземцев: «Лирика, равного Ломоносову, конечно, нет во Франции: Мальгерб и Руссо их далеко уступают ему...» (с. 122)[19].

Весь пафос книги Шишкова направлен против усвоения чужеземной культуры в ущерб собственной. Однако повинна в этом грехе, с точки зрения автора «Рассуждения», лишь образованная, т.е. дворянская часть общества. Народ никогда и не знал никаких других обычаев, никакой грамоты, никаких книг, кроме русских. Так от защиты старины переходит Шишков к мысли о раздельном существовании народного и дворянского бытия и сознания.

Мысль об этом серьезном конфликте, прозвучавшая в грибоедовском «Горе от ума», тщательно разработанная славянофилами в

---

[18] Первые строки стихотворения «Словоприношение к императрице Елисавете Первой» (Кантемир. С. 273).

[19] Ср.: «Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен» («Две эпистолы. В первой предлагается о русском языке, а во второй о стихотворстве»; см.: Сумароков. С. 125).

конце 1830-х — начале 1840-х гг., еще не приобретает у Шишкова глубокого и трагического характера. Он еще не формулирует того острого противопоставления народа и мыслящей интеллигенции, которое станет существенной идеологической основой всей русской культуры XIX в. от Грибоедова и Пушкина до Достоевского и Бердяева. В 1803 г. Шишков лишь констатирует расхождение в нравах и обычаях, наступившее в его «нынешние» времена. Он вынужден с горечью» отметить это расхождение: «Почему обычаи и понятия предков наших кажутся вам достойными такого презрения, что вы не можете и подумать о них без крайнего отвращения?.. Что ж в предках наших было худого и чем докажете вы, что другие народы были их лучше? Буде же мы за худость обычаев их возьмем, что они не все то знали, что мы ныне знаем, так, во-первых, это не их вина: время на время не походит; а во-вторых, просвещение не в том состоит, чтоб презирать тех, которые ходили прежде или ходят еще и ныне с бородами; не для того надели короткое немецкое платье, дабы гнушаться теми, у которых долгие зипуны. Мы выучились танцевать миноветы, но за что же насмехаться нам над сельскою пляской бодрых и веселых юношей, питающих нас своими трудами? Они так точно пляшут, как, бывало, плясывали наши деды и бабки. Должны ли мы, выучась петь итальянские арии, возненавидеть подблюдные песни? Должны ли о святой неделе изломать все лубки для того только, что в Париже не катают яйцами? ...просвещение не велит, едучи в карете, гнушаться телегой» (с. 458—459).

Так из противопоставления «прошлое—настоящее» зарождается другая оппозиция: «народ—дворяне». Начав с прошлого («непудреный отец» — «напудренный сын»), Шишков невольно переходит к современности: кто «ходит еще и ныне с бородами», кто «пляшет, как плясывали наши деды и бабки» — не затронутые европейским просвещением представители народа, «простолюдины», по терминологии Шишкова, т.е. крестьяне, купцы — не дворяне. Именно они-то и не порвали с прошлым, в котором, по мысли Шишкова, существовала единая духовная жизнь господ и народа.

Теперь остается лишь взывать к образованному обществу, уговаривать его не презирать народного образа жизни: «...купец ходит в длинном кафтане, а дворянин в коротком; купецкая жена любит баню, а знатная госпожа ванну. Пускай всякий делает по-своему, но не должно презирать ни дворянину купецких обычаев, ни купцу дворянских» (с. 461—462).

2 — 1140

Шишков, конечно, понимает, что возродить и сохранить это утрачиваемое и почти уже утраченное единство нации практически невозможно. Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский проницательно назвали взгляды архаиста Шишкова утопией[20]. На фундаменте прошлого он пытался конструировать будущее единой в духовном и культурном отношении России.

Поскольку мысль об утрате национального единства прозвучала в книге Шишкова, должен был возникнуть вопрос о причинах этого раскола. Последующие поколения русской славянофильской интеллигенции прямо назвали эти причины — реформы Петра I. Однако Шишков в «Рассуждении» не мог и не хотел подвергать ни малейшей критике деятельность русских самодержцев. Поэтому, не вдаваясь в суть исторического процесса, он делает из Петра защитника национальной самобытности:

«Петр Великий желал науки переселить в Россию, но не желал из россиян сделать голландцев, немцев или французов; не желал русских сделать не русскими» (с. 462). В деятельности Екатерины II Шишков подчеркивает свойственное ей (немке по национальности и правительнице инонационального государства) покровительство русским обычаям и вообще национальному началу: «Великая Екатерина мудростию правления своего распространила, возвеличила, прославила, украсила, просветила Россию, но мудрость не отторгала ее от отечества: она любила русскую землю, русский народ, русский язык, русские обычаи. Сама ходила в русском платье. Сама сочиняла великолепные зрелища, представлявшие древние русские обыкновения. Сама в известные времена в чертогах своих учреждала русские игры, не столько для собственного увеселения своего, сколько для показания народу своему, что она, любя его, любит и все, даже и самые простые, забавы его и обряды» (с. 469). Умолчание в этом контексте о деятельности Александра и его отношении к национальным проблемам можно истолковать как достаточно красноречивый упрек новому императору.

Так Шишков теоретически формулировал свои утопические идеи и рисовал идиллическую картину объединения на национальной почве всех сословий государства во главе с монархом.

Любопытно отметить, что, создавая в 1803 г. свое утопическое противопоставление:

---

[20] См.: Лотман, Успенский. С. 175 и след.

прошлое: единство нации (положительное)
настоящее: раздвоенность (отрицательное), —

Шишков определяет время Екатерины как прошлое, т.е. положительное. А вместе с тем десятью годами ранее, в царствование Екатерины II, Шишков был весьма далек от идеализации этого времени. Он подверг злой и остроумной критике развращение нравов в екатерининскую эпоху в стихотворении с характерным названием «Старое и новое время» (первые две строфы были опубликованы в 1784 г., а полностью оно было напечатано в 1789 и 1804 гг.[21]). Здесь «новым», настоящим становится уже время Екатерины, противопоставленное каким-то прошлым временам.

Стихотворение построено на противопоставлении «старого» времени, когда не лгали, не обирали в судах, поэты писали лучше, девушки сохраняли невинность, а бабушки не заводили любовников, — нынешним, растленным и развратным временам. Приведем в качестве примера одну строфу этих отлично написанных стихов:

Бывало, не дивились,
Что девушки стыдились
В семнадцать лет уметь
Любовию гореть;
Домашняя работа
Была вся их охота;
А ныне уж не так:
Их бабки пялят зрак
На видного мужчину,
Лощат свою морщину
И с помощью румян
Мнят ввесть его в обман,
Чтоб, вспомня стару веру,
Еще сбродить в Цитеру...[22]

Стихи дают яркую картину всеобщего разложения нравов, характерную именно для Екатерининской эпохи. (Вспомним афористическое пушкинское замечание: «...развратная государыня раз-

[21] В журналах «Собеседник любителей русского слова», «Беседующий гражданин», «Друг просвещения». См.: Поэты 1790—1810-х. С. 840.

[22] Поэты 1790—1810-х. С. 358.

вратила свое государство»[23].) Автор не уточняет, какое прошлое противопоставляет он нынешним временам: суровую петровскую эпоху (как фонвизинский Стародум в «Недоросле») или патриархальную допетровскую Русь. Очевидно, не то и не другое: перед нами снова утопия, в которой «прежни веки» суть не что иное, как страстно желаемое будущее. Не случайно в этом прошлом/будущем Шишков увидел совершенно немыслимый ни в петровскую, ни тем более в допетровскую эпоху расцвет поэзии и прозы, гармонию между читателем и писателем:

Бывало, в прежни веки
Текли сладчайши реки
И прозы и стихов
Из авторских голов,
Писатель восхищался,
Читатель им прельщался...

Свое стихотворение Шишков ценил очень высоко. Он, как мы говорили, трижды напечатал его в разных журналах, последовательно увеличивая количество строф и уточняя название: в 1804 году в «Друге просвещения» стихи назывались «Песня *Старое и новое время, или Кашель, не дающий заканчивать слов*». В последний раз «Старое и новое время» Шишков напечатал в 14-м томе собрания своих сочинений уже в 1832 г. с подзаголовком: «Перевод с французского». Стихотворение содержит 8 строф по 16 строк. Каждая строфа начинается со слова «Бывало ...» («в прежни веки», «в прежни годы», «в прежни поры» и т.д.), чему противопоставляется «А ныне уж не так...»; заканчивается строфа сатирическим покашливанием «Каха, кахи, каха». Стихи пользовались популярностью: они довольно часто встречаются в рукописных копиях. Одна из таких копий находится в архиве Олениных и называется «Рондо. Старое и новое время». Текст содержит список стихотворения Шишкова с незначительными разночтениями. Это ошибки переписчика, замена собственных имен (Клит — Улит, Меликрета — Маргарета), перестановка отдельных строк, иногда пропуск строк (до четырех подряд), замена некоторых слов (в беде — в суде) и пр. Восьмая, последняя, строфа у Шишкова заканчивается следующим образом: «Хотя б был черта гаже // И всех глупее Клит, // Однако

[23] Пушкин, XI. С. 16.

убедит // Младую Миликрету, // Забывшись, сесть в карету // И ехать с ним   куда? // Каха, кахи, каха!..» В Оленинском списке конец строфы таков: «...убедит // Младую Маргарету, // Забывшись сесть в карету // И ехать с ним туда // Каха!»

Самое интересное, что в Оленинском списке за последней у Шишкова восьмой строфой следуют еще десять, ранее не известные. Вот их текст[24]:

9

Вот так-то встарь бывало:
Украл кто много или мало,
Был беден иль богат,
Вельможил родной брат,
Ему не уважали,
За деньги не прощали,
А ныне уж не так:
Ворует, грабит всяк
Скорее, чтоб нажиться,
С Вельможей поделиться,
В деревне после жить
Емцом[25] лишь только слыть.
Кто ж мало наворует,
Тот ссылки не минует
Семья ж его пошла
Каха!

10

Бывало, в прежни веки
Лишь чтили человеки
Достоинство одно.
Чрез них то лишь они
Верх взять над подлой лестью
С одною только честью
Весьма блаженны дни.
Ныне ж Случаи одни
Блаженство доставляют,

---

[24] ОР РНБ. Ф. 542 (Оленины). №790. Л. 26—31об. Строфы пронумерованы мною; орфография и пунктуация приближены к современным.

[25] ***Емец*** — у Даля от глагола ***емить***, т.е. ***имать*** или ***брать***, ***собирать***: расторопный, смышленый; взяточник, подкупной негодяй.

Богатством наделяют.
Будь случай — ум на что,
Достоинство ничто.
Невежа торжествует,
Богач в чинах ликует
А умница пошла
Каха!

11

Бывало, встарь смеялись,
Что люди занимались
Одним лишь щегольством
Кудрями и лицом.
По платью хоть встречали,
По нем не провожали.
А ныне уж не так:
Не щеголь кто — дурак.
Везде им презирают,
Им в обществах скучают:
О чем с ним речь начать?
О книгах рассуждать.
Тьфу! Это надоело.
Наука. Скучно дело.
Ученость же пошла
Каха!

12

Бывало, встарь сбирались
И в общество съезжались
Сидеть и рассуждать,
Друг друга наставлять,
Порокам лишь смеяться,
О чести не касаться.
Что ж нынче все не так.
В собранье ездит всяк
Над ближним чтоб ругаться,
На честность покушаться,
Чтоб в карты поиграть,
Других обворовать

Или всего лишиться,
С имением проститься,
Закашляться итти
Каха!

13

Бывало, в Стары годы
Блаженные народы
Имели чист закон.
Он был ученья полн,
Был кроток, был полезен.
А ныне Суевер,
Ханжа и лицемер
Законом управляет,
Святыню унижает.
Он учит по страстям,
Подвержен коим сам.
Вся вера истребилась,
Тщете поработилась,
А набожность пошла
Каха!

14

Бывало, в прежни годы
Такой не знали моды,
Чтоб дружбу на словах
А злобу на делах
Друг другу изъявляли,
Политики не знали,
А ныне уж не так,
Лишь ступишь один шаг,
Найдешь друзей ты тучу,
Но только камней кучу
За пазухой держи,
На случай береги.
Хоть руку пожимают,
Все в свете обещают,
Смотри, чтоб не пойти
Каха!

15

Бывало, в Стары веки
Женаты человеки
Род не были быков,
Ходили без рогов,
Рогами не хвалились,
От них не богатились.
А ныне уж не так.
Кто хочет быть богат,
Жену тот выбирает,
На прелесть лишь взирает.
До нраву нужды нет.
Златой уж дождь пройдет,
Вельможа коль полюбит,
Муж в рог тогда затрубит,
Что женушка пошла
Кахи! — кахи! — каха!

16

В дни прежние, бывало,
Судей хоть было мало,
Забыли все Судьи
Бывали хоть и пни
(То изредка случалось
И за диво казалось),
А ныне уж не так:
В Судейки лезет всяк,
Хоть грамоте не знает,
А взятки обирает.
Всем правит Секретарь,
И пошла эта тварь
Ворочает делами,
Судьями и их умами.
А честность вся пошла
Каха!

17

Встарь прежде как бывало:
Богатова нимало
За то, что он богат,

Иль знатному, что сват,
За то не уважали,
Почтенья не казали.
А ныне уж не так:
Хотя б он был дурак,
Лишь только что заврется,
Все общество займется
Иль дакать иль зевать,
Но правду чтоб сказать,
Изволил что завраться,
Возможно ль тому статься
Заклады вошли
Каха!

18

Все в свете пременилось,
Все благо истребилось.
Зло взяло над всем верх,
Зло правит умом всех.
Все в свете лицемерство,
Все в свете суеверство.

Последняя строфа не может быть построена по заданной схеме: «А ныне уж не так». Вероятно, она замыкала стихотворение и поэтому сознательно была сделана укороченной (6 строк вместо 16). Возможно, однако, что дошедший текст неполон: он обрывается в конце страницы, а обложка, на которой могло быть продолжение, в тетрадке отсутствует.

Название стихотворения «Рондо» подтверждает указание Шишкова, что перед нами перевод-переделка французского оригинала с увеличением числа строф. Поэтические словари определяют рондо как стихотворение из 13—15 строк (в нашем случае — 16) с повторяющимся рефреном. К сожалению, французский оригинал нам неизвестен. Однако популярность стихотворения свидетельствует, что в сознании читателей оно с успехом укладывалось в русские нравы. Во всяком случае, эти неизвестные ранее строфы представляют собою весьма интересный образчик русской стихотворной сатиры.

Трудно что-либо сказать о времени создания этого продолжения. Листы, на которых оно написано, сложены пополам в тетрад-

ку, и водяные знаки приходятся как раз на середину. Это затрудняет даже ненадежную датировку по водяным знакам. Можно предположить, что стихи написаны позднее 1804 года, когда Шишков в третий раз опубликовал в «Друге просвещения» свою наиболее полную версию.

Очень трудно увидеть в этих стихах какие-то конкретные намеки — автору важна общая идея и изобличение общих пороков современности: взяточничество, щегольство, неблагодарность, празднословие и пр. Может быть, строфа десятая ассоциировалась с любимцами Александра I из Негласного комитета (вряд ли слово «случай» для обозначения фаворитизма имеет в виду царствование Екатерины II), а строфа тринадцатая напоминала о каких-то не совсем ортодоксальных религиозных увлечениях и действиях царя и его окружения (невозможно уточнить эти предположения из-за отсутствия даже приблизительной датировки).

Столь же трудны и неопределенны размышления об авторе обнаруженных строф. Вряд ли это Шишков. Стихи совершенно подцензурны, и он, наверное, включил бы их в последнюю публикацию собрания сочинений. Кроме того, они явно слабее, чем известные нам строфы Шишкова: неудачные рифмы, сломанный размер и пр. Сказанное справедливо даже с учетом возможной порчи при переписке: см., например, мало вразумительную третью-четвертую строки в строфе 16 или предпоследнюю строку строфы семнадцатой. Может быть, непрофессиональный переписчик сильно устал к концу работы: стихотворение написано не писарским, хорошо выработанным интеллигентным почерком, скорее всего, начала (первой трети) XIX в.

Новые строфы, кто бы ни был их автор, продолжают и развивают основную идею Шишкова: в прошлом была некая идиллическая утопическая страна (Россия). Нынешнее время исказило, испортило, уничтожило эту утопию. Всю свою жизнь Шишков стремился к принципиально недостижимой цели: возродить и оживить ту утопическую Россию, которой на самом деле никогда не существовало. Главным врагом этой идиллической задачи: сконструировать будущее из прошлого минус настоящее — было для Шишкова все усиливающееся (особенно в первые годы царствования Александра I) западное влияние. Спасение России, с точки зрения Шишкова, заключалось в обращении (возвращении) к исконным истинно русским началам, которые еще сохранились в

простом народе. Таким образом, мы можем назвать Шишкова предтечей, первым идеологом русского славянофильства[26].

Основным своим противником, с полным основанием, Шишков считал Карамзина. В «Рассуждении» содержатся многие намеки на Карамзина и отсылки к его сочинениям, хотя сам историограф ни разу не назван по имени.

Шишков обильно уснастил «Рассуждение» примерами уродливостей и нелепостей «нового слога», где вычурные перифразы перемешаны с неуместно употребленными архаизмами. Стилистически безукоризненные сочинения Карамзина никак не могли служить образчиками языковых нелепостей. Естественно, что все попытки найти у Карамзина источники издевательских цитат Шишкова ни к чему не привели. Лишь недавно было обнаружено, что он в основном заимствовал их из книги третьестепенного, бесталанного писателя А.Ф. Обрезкова «Утехи Меланхолии»[27]. Эти образчики были действительно очень забавны, и насмешки Шишкова имели у читателей большой успех. Приведу один почти хрестоматийный пример (цитаты из «Утех меланхолии» выделены курсивом):

«Вот нынешний наш слог! мы не почитаем себя великими изобразителями природы, когда изъясняемся таким образом, что сами себя не понимаем, как, например: *в туманном небосклоне рисуется печальная свита галок, кои каркая при водах мутных, сообщают траур периодический*. Или: *в чреду свою возвышенный промысл предпослал на сцену дольнего существа новое двунадесятомесячие*; или: *я нежусь в ароматических испарениях всевожделенных близнецов. Дышу свободно благами Эдема, лобызаю утехи дольнего рая, благоговея чудесам Содетеля, шагаю удовольственно. Каждое воззрение превесьма авантажно*»[28].

В то же время идеологические инвективы Шишкова были направлены именно против Карамзина. Он цитирует своего выдающегося противника, называет его произведения и вступает с ним в ожесточенную полемику. Эти полемические выпады были очевидны для современников. Так, С.П. Жихарев говорит о «находящих-

[26] Термин «славянофил» был впервые употреблен И.И. Дмитриевым. См.: Black. P. 66. В пародии Батюшкова «Видение на берегах Леты» (1809) Шишков говорит о себе: «Аз есмь зело славянофил» (Батюшков 1964. С. 100—101).

[27] Виницкий. С. 169—185; Проскурин 2000. С. 19—46.

[28] Цит. по: Проскурин 2000. С. 29. Ученый убедительно показал, что именно нелепое смешение перифраз и лексических заимствований со славянизмами вызвало особо неприязненное отношение Шишкова. Правда, оно же, как продемонстрировано Проскуриным, было неприемлемо для карамзинистов.

ся в “Рассуждении о старом и новом слоге” колких замечаниях на некоторые фразы Карамзина»[29].

Книга и начинается с обширной цитаты из «Пантеона российских авторов» (1802), где Карамзин попытался наметить некоторую периодизацию развития русской литературы: «Недавно, — пишет Шишков, — случилось мне прочитать следующее: “Разделяя слог наш на эпохи, первую должно начать с Кантемира, вторую с Ломоносова, третью с переводов Славяно-Русских господина Елагина и его многочисленных подражателей, а четвертую с нашего времени, в которое образуется приятность слога, называемая французами élégance”» (с. 3—4)[30].

Историзм Карамзина вызывает яростную отповедь Шишкова: «Я долго размышлял, вподлинну ли сочинитель сих строк говорит сие от чистого сердца или издевается и шутит: как? нелепицу нынешнего слога называет он приятностию! совершенное безобразие и порчу оного образованием!» (с. 4). Идея прогрессивного развития человечества и его культуры для Шишкова всегда была неприемлема, и нам еще придется об этом говорить. Напротив, «идея исторического прогресса составляла одну из основ мировоззрения Карамзина, и именно этим он долгое время вызывал ненависть Шишкова и его окружения»[31].

Единственное движение истории, признаваемое Шишковым, — это движение вспять, в прошлое, к истокам культуры: только из Славенских и Славено-Российских книг, пишет он, «почерпается истинное знание языка и красота слога» (с. 7). Для Шишкова особенно неприемлема мысль о превосходстве нынешнего этапа литературной жизни над предшествующими, и, снова и снова возвращаясь к основным положениям Карамзина, он запальчиво отвергает их: «...Славенский язык есть корень и основание российского языка, он сообщает ему богатство, разум, силу, красоту. Итак, в нем упражняться и из него почерпать должно искусство красноречия, а не из Боннетов, Волтеров, Юнгов, Томсонов и других иностранных сочинителей, о которых писатели наши на каждой странице твердят, и, учась у них Русскому на бред похожему языку, с гордостью уверяют, что *ныне образуется*

---

[29] Жихарев. С. 317.

[30] Ср.: Карамзин 1964. Т. 2. С. 162, 168, 539.

[31] Лотман 1997 (1). С. 591 (статья «“О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях” Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века»).

токмо приятность нашего слога» (с. 81)[32]. Шишков заостряет мысль Карамзина, подчеркивая, что «ныне токмо» (только теперь) образуется «приятность слога». Слов «ныне токмо» у Карамзина нет, они нужны Шишкову, чтобы подчеркнуть карамзинское представление о движении литературного процесса и тем резче опровергнуть идею поступательного развития культуры.

Шишков сердится на то, что высшую нынешнюю эпоху развития литературы, эпоху «приятности слога» Карамзин называет чужеземным французским словом «élégance»: «...ежели Французское слово élégance перевесть по-русски *чепуха*, то можно сказать, что мы действительно и в краткое время слог свой довели до того, что погрузили в него всю полную силу и знаменование сего слова!» (с. 4).

Вскоре (1805) карамзинскую élégance высмеял в басне, направленной главным образом против И.И. Дмитриева, верный последователь Шишкова Д.И. Хвостов:

> Так рассуждает ввек пиита самохвал.
> Коль вылощит стихи, пускай они не сладки,
> Лишь глянец был бы в них, лишь были б гладки,
> А там, хотя идей и чувства нет,
> Кричит: «вот élégance — и я поэт!»[33]

«Самохвалом» Карамзин назван здесь не без основания: под создателем «четвертой эпохи» он явно имел в виду себя.

Возможно, самонадеянность молодого литератора вызвала возмущение в литературных кругах, и Карамзин поспешил смягчить свою позицию, быстро отказавшись от категорических формулировок: в авторецензии на издание «Пантеона» (также 1802) он больше не утверждал, что четвертая эпоха уже наступила, заметив, что «четвертой мы еще ожидаем». (Много позже, в собрании сочинений 1820 г., был отброшен и конец фразы с вызвавшим столько насмешек «елегансом».)[34] При этом Карамзин ни в коей мере не отказывался от историзма, идеи прогресса и поступательного развития культуры. Очевидно, поэтому его противники не обратили внимания на попытку смягчения слишком категорических утверждений и развернули активную полемику в печати.

Подробно разбирает Шишков статью Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов?» (1802). Основная мысль этой статьи,

---

[32] В XVIII — начале XIX в. курсив обычно заменял кавычки.
[33] Цит. по: Дмитриев 1967. С. 460.
[34] Карамзин 1964. Т. 2. С. 162, 168, 539.

сформулированная здесь теоретически и осуществлявшаяся Карамзиным на практике, сводится к следующему: язык литературы должен быть языком разговорным, языком хорошего общества. Нужно говорить, как пишут: «Авторы помогают согражданам *лучше мыслить и говорить*»[35]. И в то же время следует писать, как говорят: «...*русский кандидат авторства*, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык». С точки зрения Карамзина, ни в светских, ни в церковных русских книгах не отражается существо русской культуры, русского духа: в них наличествует лишь «материальное или словесное богатство языка», которое «ожидает души и красот от художника». Причина в том, что «истинных писателей было у нас еще так мало, что они не успели дать нам образцов во многих родах; не успели обогатить слов тонкими идеями; не показали, как надобно выражать приятно некоторые, даже обыкновенные мысли». Иначе говоря, в русской литературе нет ни тонких идей, ни языка для выражения обыкновенных мыслей. «...Французский язык весь в книгах (со всеми красками и тенями, как в живописных картинах), а русский только отчасти; французы пишут как говорят, а русские обо многих предметах должны еще говорить, как напишет человек с талантом»[36].

Естественно, такие взгляды не могли быть приняты Шишковым. Снова и снова повторяет он: «Я думаю совсем напротив: французы не могли из духовных книг своих столько заимствовать, сколько мы из своих можем: слог в них величествен, краток, силен, богат; сравните их с французскими духовными писаниями, и вы тотчас сие увидите» (с. 121). При этом главное возражение Шишкова направлено против растворения книжного языка в разговорном. Культура и светская болтовня в гостиных не одно и то же. «Милые *дамы*, или по нашему грубому языку *женщины*, *барыни*, *барышни*, редко бывают сочинительницами, итак пусть их говорят, как хотят» (с. 128—129). «Расинов язык не тот, — пишет далее Шишков, — которым все говорят, иначе всякий был бы Расин. Ломоносова языком говорить никому не стыдно» (с. 134). Но отсюда явно не следует, что языком Ломоносова в России или Расина во Франции следует или возможно изъясняться в повседневной жизни.

Для Шишкова литература была важным государственным, общенациональным делом. И позднее в «Беседе» культивировали вы-

[35] Карамзин 1964. Т. 2. С. 187.
[36] Там же. С. 185.

сокие, проповеднические ораторские жанры: оду, героическую поэму, трагедию. «Мои безделки» Карамзина, «И мои безделки» Дмитриева — стихи, демонстративно ориентированные на легкость, забаву и развлечение, — вызывали у «беседчиков» только раздражение и презрение. Это было «новое», и это новое блистательно подтверждало тезис Шишкова, что всякое новое гораздо хуже старого.

Прошло несколько лет, и в 1810 г. Карамзин написал для Александра I острый и глубокий политический трактат — «Записку о древней и новой России». Человек, которого Шишков считал убежденным защитником западного образа мысли и западных институтов и поэтому сторонником всех либеральных реформ молодого императора, взглянул на эти реформы глазами вдумчивого историка и сурово осудил их. Неожиданно получилось, что точки зрения «архаиста» и «новатора» по многим вопросам сблизились.

Прежде всего Шишков и Карамзин совпадают в оценке самодержавия. Для Шишкова принцип самодержавия вообще не подлежит обсуждению. Монархия есть Богом данный и благословенный для России институт. Для Карамзина, «республиканца в душе», самодержавие России есть для нее величайшее благо. «Самодержавие есть палладиум России», — формулирует он свою мысль (с. 113)[37].

И славянофил Шишков, и западник Карамзин больше всего боялись нарушения устойчивого положения в стране, которое могло привести к тяжелейшим внутренним потрясениям. Горький опыт Французской революции с разгулом бессмысленного якобинского террора был еще у всех в памяти (должно было пройти 15—20 лет, должно было появиться новое поколение с опытом войны 1812 года, но не видевшее собственными глазами мясорубки 1793-го, чтобы стала возможна попытка насильственного переворота 14 декабря 1825 г.).

«...Всякая новость в государственном порядке есть зло», — говорит Карамзин (с. 53), считая, что реформы провоцируют революции, ибо «новости ведут к новостям и благоприятствуют необузданности произвола» (с. 63). Таким образом, Карамзин является убежденным противником любых революционных преобразований: «Самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений государя» (с. 15).

---

[37] Карамзин 1959. С. 113. Далее ссылки на «Записку...» Карамзина приводятся в скобках в тексте.

Считая, что нарушение единства государственной системы чревато тяжелыми последствиями, Карамзин, как и Шишков, формулирует тезис о разрыве между народной и дворянской культурами: «...от сохи до престола россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях, — со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний» (с. 23). Так, в отличие от Шишкова, Карамзин — едва ли не первый — объявил Петра виновным в разрушении целостной русской культуры и считал это разрушение губительным для страны: «Искореняя древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам?» (с. 22—23).

Подобно Шишкову, Карамзин выступал за сохранение русских форм государственной жизни и даже протестовал против наводнения русского языка новыми европейскими словами для обозначения новых понятий: «Петр уничтожил достоинство бояр: ему надобны были министры, канцлеры, президенты! Вместо древней славной Думы явился Сенат, вместо Приказов — Коллегии, вместо Дьяков — Секретари и проч. Та же бессмысленная для россиян перемена в воинском чиноначалии: генералы, капитаны, лейтенанты изгнали из нашей рати воевод, сотников, пятидесятников и пр. Честию и достоинством россиян сделалось подражание» (с. 24). И далее, говоря о деятельности Екатерины II, Карамзин не забывает специально отметить, что во времена этой государыни «двор забыл язык русский» (с. 37).

Карамзин считал, что благосостояние государства зависит не от изменения системы или законодательства, а исключительно от людей, занимающих государственные должности. Для начала XIX в. вопрос этот был весьма злободневен, так как молодой император, мы помним, окружил себя тоже в основном молодыми людьми, среди которых были поляк Чарторижский, разночинец Сперанский и др. Шишков и его сторонники были очень раздражены окружением императора. Влиянию этого окружения они приписывали и реформы нового царствования.

Та же проблема волнует Карамзина: «...не формы, а люди важны... теперь всего важнее люди... дела пойдут, как должно, если вы

найдете в России 50 мужей умных, добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона россиян...» (с. 104—106).

Итак, Шишков и Карамзин в 1810-е гг. находились в оппозиции к деятельности Александра I. Однако в их историософских взглядах, в их представлениях о судьбах России различие было большее, чем сходство. Шишков принципиально отвергал всякую идею развития России. Для него некое умозрительно сконструированное прошлое русского государства, утопия, лежащая в прошлом, представляется той идеальной системой, на которую современная ему Россия должна ориентироваться.

Отвергая все реформы Александра I, Шишков настаивал на возвращении к утопическому прошлому, а значит, на сохранении тех исконных русских начал, которые существуют в современной жизни — от языка до самодержавия и крепостного права. Как мы говорили, идея развития органически была ему чужда. После грандиозных событий, революционной бури и войн, потрясших всю Европу, он продолжал считать, что «главное дело состояло в том, чтобы привесть все царства в прежнее их состояние...»[38]. Россия была идеологически почти не затронута революционным вихрем. Если Европу нужно было приводить в «прежнее состояние», то любимое отечество следовало только не трогать, сохраняя в нерушимой цельности все установления.

Для Карамзина ясно, что «Европа от XIII до XVII века далеко опередила нас в гражданском просвещении» (с. 21). Таким образом, сближение с Европой, усвоение европейских понятий и институтов не может быть гибельно для страны. Пока Россия при первых Романовых естественно сближалась с Европою, все было хорошо. Ошибка Петра заключалась лишь в насильственной ломке. Все должно совершаться «тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия» (с. 21). Позднее, уже в 1826 г., Карамзин говорил К.С. Сербиновичу, повторяя и развивая свои излюбленные идеи: «Я враг революций, но мирные эволюции необходимы. Они всего возможнее в правлении монархическом»[39].

Поэтому Шишков по всей сумме своих идей — славянофил, а Карамзин, несмотря на оппозицию поспешным преобразовательным планам царя, — западник.

---

[38] Шишков. Записки, 1. С. 266.

[39] Цит. по: Вацуро, Гиллельсон. С. 74.

Следует, однако, заметить, что «Записка» Карамзина была написана семью годами позднее книги Шишкова и, может быть, не без влияния идей ее автора. Недостатки реформ, предпринятых Александром, к этому времени окончательно прояснились. Сопоставляя резкие и энергичные формулировки Карамзина с робкими и уклончивыми рассуждениями Шишкова, следует помнить, что Шишков писал, печатал и провозглашал свои мнения открыто. Карамзин же составил секретный документ, который много десятилетий оставался государственной тайной и почти никому не был известен[40].

Таким образом, в начале XIX столетия Шишков стал, несомненно, самой крупной фигурой среди литераторов, настроенных оппозиционно к правительству Александра I. Вскоре эта политико-литературная оппозиция попыталась оформиться в постоянно действующее объединение.

---

[40] П.Н. Беркову и Г.П. Макогоненко, несмотря на все усилия, не удалось включить «Записку» в двухтомник сочинений Карамзина, увидевший свет в 1964 г. Бесполезными оказались и попытки Лотмана издать «Записку» (см.: Лотман 1997 (1). С. 588). В 1982 г., при подготовке второго издания двухтомника Карамзина, издательство «Художественная литература» заключило с В.Э. Вацуро и В.П. Степановым договор на подготовку текста «Записки». Однако «крамольное» сочинение Карамзина там не появилось, и Макогоненко подарил этот двухтомник В.Э. Вацуро со следующей надписью:

«Дорогому Вадиму Эразмовичу —
отцу крестному сего многострадального
издания, с благодарностью.
По поручению Карамзина
Г. Макогоненко.
15.V.84
P.S. ...А “Записки” и опять нет! Доколе???»
(Вацуро 2005. С. 185—186.)

«Записка» была впервые (после 1914 г.!) републикована только в 1991 г.: *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях / Предисл., подг. текста и примеч. Ю.С. Пивоварова. М., 1991.

3. ОСНОВАНИЕ «БЕСЕДЫ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

Итак, мы видели, что уже в первые годы царствования Александра I возникла сильная оппозиция предполагаемым проевропейским преобразованиям молодого императора. Среди оппозиционеров заметную роль играли литераторы, полагавшие, что Россия в своем развитии должна прежде всего ориентироваться на свое национальное прошлое: на древнеславянские основы культуры, на традиционно сложившиеся в русском быту морально-религиозные нормы, на прочно устоявшиеся формы феодально-монархических отношений. Деятельность этих литераторов одобрялась и поддерживалась в определенных кругах столичного дворянства, особенно в период наполеоновских войн.

В начале 1807 г. — еще до заключения Тильзитского мира — патриотические настроения русского образованного общества способствовали попыткам создания какого-то организованного круга, который бы объединил приверженцев русофильской идеологии. Таким организатором и выступил А.С. Шишков. Он хотел завести в Петербурге «литературные вечера», и, как мы увидим дальше, круг литераторов, участвовавших в них, состоял в основном из сторонников «старого слога». По авторитетному свидетельству современника, Шишков «долго толковал о пользе, какую бы принесли русской словесности собрания, в которые бы допускались и приглашались молодые литераторы для чтения своих произведений, и предлагал Гаврилу Романовичу [Державину] назначить вместе с ним попеременно, хотя бы по одному разу в неделю, литературные вечера, обещая склонить к тому же Александра Семеновича Хвостова и сенатора Ивана Семеновича Захарова, которых дома и об-

раз жизни представляли наиболее к тому удобств. Бог весть, как обрадовался этой идее добрый Гаврила Романович и просил Шишкова... устроить как можно скорее это дело»[1].

И Шишкову действительно удалось воплотить в жизнь свою идею. До нас в «Записках» Жихарева дошел подробный рассказ о еженедельных заседаниях 1807 г.: 2, 9, 16 февраля, 9, 16, 23, 30 марта и 4 мая. На них читали свои произведения Крылов, Державин, Н.И. Гнедич, С.А. Шихматов, сам Шишков, С.Н. Марин, А.А. Шаховской и другие, велись разговоры о политике и литературе. Участники, очевидно, были политическими и литературными единомышленниками Шишкова.

Эти собрания были довольно многолюдны (больше 20 человек). Они стали заметным явлением в общественной жизни Петербурга. На них присутствовали не только литераторы, но и «сенаторы, обер-прокуроры, камергеры, санкт-петербургский главнокомандующий Вязмитинов»[2]. Старики оживленно обсуждали политические события; фрондировали, видимо, меньше: шла война с ненавистными французами, что вполне отвечало патриотическим настроениям Шишкова и его окружения. Вельможи прежнего царствования, поневоле удалившиеся от активной государственной деятельности, с удовольствием внимали слухам, «что государь непременно желает употребить в настоящее военное время старых опытных генералов царствования императрицы Екатерины...»[3]. На собраниях часто звучали патриотические сочинения. Прежде всего следует упомянуть поэму любимого ученика Шишкова князя Сергия Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия». Перевод 7-й и 8-й песен «Илиады», рассказ о грозных битвах троян и ахейцев, громогласно прочитанный Н.И. Гнедичем, органически вплетался в общее патриотическое одушевление и пробуждал воинственный пыл слушателей.

К сожалению, дневники Жихарева, подробный источник наших сведений об этих литературных собраниях, обрываются на 4 мая 1807 г. Однако литературные встречи продолжались и позднее. Краткие сведения о заседаниях 1808 г. содержатся в «Журнале» Д.И. Хвостова[4]. О регулярных собраниях в доме Шишкова в

---

[1] Жихарев. С. 317.
[2] Там же. С. 370.
[3] Там же. С. 407—408.
[4] Хвостов (1). С. 403—405.

1807—1810 гг. сообщает Аксаков[5]. Многие из посетителей стали позднее членами «Беседы любителей русского слова».

Военные события не радовали участников этих собраний. Если битва при Прейсиш-Эйлау (27 января 1807 г.) еще могла с некоторой натяжкой рассматриваться как победа, то сокрушительное поражение при Фридланде (2 июня) делало продолжение войны невозможным. 25 июня был заключен Тильзитский мир. Наполеон и Александр на плоту в середине Немана демонстрировали взаимную дружбу. Однако русское общество в целом отнеслось к Тильзитскому миру весьма отрицательно. Исследователь справедливо отмечает: «Александр, возвратившись в столицу из Тильзита другом и союзником императора Наполеона — вчера еще проклинаемого "антихриста Бонапарта", сразу же почувствовал, что новый внешнеполитический курс наталкивается на едва прикрываемую почтительным смирением оппозицию. Она шла прежде всего со стороны "старого двора" — императрицы-матери Марии Федоровны и ее окружения. Эти круги не считали нужным скрывать осуждение договора, заключенного августейшим сыном. Тильзит был в их глазах чем-то постыдным, унизительным, чуть ли не святотатственным». Такова же была точка зрения и «екатерининских вельмож, и всех ревнителей старины»[6], среди которых едва ли не на первом месте стоял А.С. Шишков.

Национальные идеи, которыми он руководствовался, после поражения России и унизительного Тильзитского мира только усилились и окрепли. Несмотря на рекламируемую дружбу с французским императором, в обществе росли антинаполеоновские настроения. Ф.Ф. Вигель писал: «Уже с сентября месяца начали всю гвардию переодевать по-французски... Они [военные. — *М.А.*] этим были недовольны: в новых мундирах своих видели французскую ливрею и, с насмешливою досадой поглядывая на новое украшение свое, на эполеты, говорили, что Наполеон у всех русских офицеров висит на плечах»[7].

В 1810 г. возникла мысль о превращении дружеских литературных собраний в регулярно действующее официальное литературное сообщество со своим печатным органом. Инициатором этого превращения был, по словам Шишкова, князь Борис Владимирович

---

[5] Аксаков, 2. С. 302.
[6] Манфред. С. 490.
[7] Вигель 1891. Ч. 3. С. 8.

Голицын (1769—1813), «разумевший больше по-французски, нежели по-русски, но любивший однакож и свой язык...»[8]. Действительно, Голицын воспитывался за границей и, хотя и выучился позднее русскому языку, знал его довольно плохо. Все его сочинения написаны по-французски[9]. Был он, по словам современницы, «очень хорош собой, умен и по своему времени получил воспитание, как немногие»[10]. Вернувшись в Россию (1791), он стал в 1800-е гг. деятельным участником шишковского кружка и горячим патриотом. «... к<нязь> Борыс Владимирович... бросился *всем корпусом* в здешнюю русскую литературу. Хочет, вопреки своей французской складки, казаться варягороссом; и даже собирается быть членом новозаводящегося здесь общества...»[11] Впрочем, он впоследствии не очень усердно посещал заседания основанного по его инициативе объединения: в известных нам протоколах «Беседы» имя его ни разу не встречается. Не явился он даже на первое общее учредительное собрание членов, что было специально отмечено в «Деннике» № 2 от 28 февраля 1811 г.[12].

Истинной душой и организатором нового сообщества являлся, несомненно, Шишков. Первоначально предполагалось назвать его «Лицей» (спустя год так названо было знаменитое учебное заведение в Царском Селе), затем обсуждалось название «Атеней» или «Афиней», т.е. Athenaeum — храм Афины, где поэты и риторы читали свои сочинения. Название было удачным, но остроумный князь Д.П. Горчаков заметил, что вместо Афиней наверняка будут говорить «ахинея»[13]. Каламбур Горчакова стал известным. 21 декабря 1810 г. Д.П. Северин сообщал Вяземскому: «Литераторы или, лучше, словесники наши занимаются все Аттенеем, имя новое Лицея, и побоялись после многих каламбуров назвать сию Академию как должно — Афинеем»[14]. После долгих и горячих обсуждений остановились на предложенном Шишковым русском названии «Беседа любителей русского слова». В первый раз оно встречается в записках Хвостова 13 декабря 1810 г., когда подготовка к торже-

[8] Шишков. Записки, 1. С. 115.

[9] См.: Словарь ... XVIII века. С. 211—213 (статья П.Р. Заборова и М.В. Разумовской). Подборку его соч. см.: *Князь Б.В. Голицын.* Избранные страницы. Бол. Вяземы, 2001.

[10] Рассказы бабушки. С. 176.

[11] Письмо Д.П. Северина — П.А. Вяземскому, 6 ноября 1810 г. (Арзамас, 1. С. 159).

[12] См.: Десницкий. С. 105, 111.

[13] Хвостов (2). С. 364, 367.

[14] Арзамас, 1. С. 160.

ственному открытию общества шла уже полным ходом[15]. О новом названии в обычном для противников «Беседы» насмешливом тоне Северин поспешил сообщить Вяземскому в начале января 1811 г.: «Согласен, что наши глупости еще *глупее* ваших московских. Афиней наш еще переменил название свое: отгадай его: *Беседа любителей словесности*»[16].

Организация общества была тщательно продумана. Важным принципом было строго зафиксированное уставом ограничение числа полноправных действительных членов — двадцать четыре. Кроме того, существовал институт членов-сотрудников (в 1811 г. их было семнадцать), «кои на убылые места поступают в действительные члены»[17]. Помимо этого, были еще попечители и почетные члены (см. Приложение 1).

Основные принципы работы общества были сформулированы следующим образом: «Число действительных членов избрано двадцать четыре, к которым присовокуплены еще попечители, почетные члены и члены сотрудники... Правила заключают в себе два главные предмета: 1) Чтение перед посетителями обоего пола в осеннее и зимнее время в месяц один раз. 2) Издавание трудов своих, разделяя оные на два рода так, чтобы одно из изданий содержало в себе просто словесность, а другое суд о языке и словесности... Для удобнейшего соблюдения порядка и облегчения забот каждого из членов, положено число их разделить на четыре части, называемые разрядами. Таким образом, каждый разряд состоит из шести действительных членов, из которых один назван председателем разряда. Распоряжение сие найдено нужным для того, дабы сии разряды могли вести между собою очередь и каждый месяц после чтения перед посетителями сменялись. Тот, чья очередь, называется должностным. Он, хотя и сносится со всеми другими, однакож главное попечение о приготовлении чтения и напечатании оного лежит на нем»[18].

Деление на разряды, институт председателей, действительных членов и членов-сотрудников, вообще официально-бюрократический характер организуемого общества вызвали насмешки современников. Так, остроумный Вигель писал: «Наподобие Государственного совета, составленного из четырех департаментов, и

---

[15] Хвостов (2). С. 367.
[16] Арзамас, 1. С. 160.
[17] Хвостов (2). С. 364.
[18] Чтение, 1. С. VI—VII.

беседу разделили на четыре разряда и так же, как у него, в каждый посадили по председателю, да еще каждому дали по попечителю. Это был сущий вздор, ибо в предметах занятий между разрядами не было никакого различия. Потом было в каждом из них по нескольку членов-сотрудников, которые составляли как бы канцелярию Беседы. Вообще она имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держалась более Табели о рангах, чем о талантах»[19].

И в самом деле, «Беседа» в распределении мест, выборе председателей, назначении действительных членов и членов-сотрудников придерживалась Табели о рангах и производила назначение на места по чинам. Обиженный Гнедич по этой причине отказался от звания члена-сотрудника[20]. В остальном Вигель был неправ. Организаторы «Беседы», опытные бюрократы, знали, что делали. Они сами, кстати, вполне толково объяснили смысл деления общества на разряды: каждая группа, то бишь «разряд», по очереди готовила торжественное заседание и издавала очередную книгу «Чтений». И эта система вполне себя оправдала.

Стоит познакомиться с сохранившимися материалами «Беседы», перепиской Державина, архивными документами, чтобы увидеть, как функционировал хорошо отлаженный механизм. Раз в четыре месяца председатель разряда приглашал, по своему выбору, участников чтений. Велась переписка, заранее отбирались, выслушивались и обсуждались материалы, которые затем принимались для публичного чтения или отвергались на предварительном заседании.

В качестве примера приведу одно письмо, сохранившееся в архиве Державина:

Должностного 3-го разряда председатель просит Господ Членов и Сотрудников беседы пожаловать собраться 18 сего мая в четверток по полудни в 6 часов в дом купца Семенова близь кабинета на Фонтанке под № 305. — Напоминается при том, что из посланных от него в разряд сочинений, к чтению назначенных, не имеется ни от кого еще мнения, кроме примечаний на поэму кн. Шаховского от 2-го разряда.

Член и непременный секретарь Беседы

А. Писарев

---

[19] Вигель 1928. Т. 1. С. 360—361.

[20] Об этом характерном эпизоде см. главу «Русская героическая поэма».

5 мая 1811
его высок<облагородию> Гавриле
Романовичу Державину.

P.S. Со вложением 80 р. за расходы Беседы во время чтения 2 разряда[21].

Из этого письма видно, что громоздкая машина официального литературного сообщества работала очень четко. Председателем третьего разряда, в котором состоял А.А. Шаховской, был А.С. Хвостов. Он заранее рассылает материалы и беспокоится, что не получил на них отзывов. Самым интересным произведением в этом заседании (см. в Приложении оглавление кн. 3 «Чтений в Беседе») была, несомненно, полемическая поэма Шаховского «Расхищенные шубы». На нее и поступил отзыв из второго разряда, где председателем был Державин.

Финансовые дела «Беседы» содержались в полном порядке. Каждое заседание требовало расходов: освещение, уборка помещения, видимо, минимальное угощение. Все это должен был оплачивать Державин, в доме которого происходили заседания. Мы видим, что эти расходы аккуратно возмещаются. Чтение состоялось в мае или начале июня (письмо может быть датировано 15-м мая, т.к. край его подшит в толстой папке вместе с другими документами). И уже в июле — начале августа (цензурное разрешение 31 июля) выходит 3-я книжка «Чтений в Беседе любителей русского слова», содержащая как поэму Шаховского, так и другие прочитанные на этом заседании тексты.

«Беседа» просуществовала пять лет (1811—1816), регулярно, даже во время войны, проводя свои заседания. Было выпущено 19 книжек журнала «Чтения в Беседе любителей русского слова» (первоначальный замысел издания двух журналов: один чисто литературный, другой — теоретико-литературный, критический и лингвистический — не осуществился).

Самый беглый взгляд на список членов «Беседы» (см. Приложение) не позволяет рассматривать общество как сборище бездарностей и тупых реакционеров. Перед нами объединение, располагавшее первоклассными литературными силами. Во главе «Беседы» стояли такие крупные личности и талантливые литераторы, как Шишков и Державин. Важную роль в ней играл регулярно при-

[21] ОР РНБ. Ф. 247 (Г.Р. Державин). Т. 5. Л. 247.

сутствовавший на заседаниях И.А. Крылов. Среди ее членов мы видим таких талантливых писателей, как Шаховской, Сергий Ширинский-Шихматов, Капнист, Горчаков, Греч, Бунина, Гнедич (формально к «Беседе» не принадлежавший) и др. В состав объединения входили видные ученые и общественные деятели: Мордвинов, Оленин, Болховитинов, Востоков и др.

Утверждения общества ожидали еще в ноябре 1810 г. Однако дело затягивалось. Царь лично недолюбливал Шишкова и Державина. Он явно не торопился утверждать сборище оппозиционеров. Над «Беседой» при дворе подтрунивали, очевидно, с одобрения Александра: «Сказывают, что у государя за столом, говоря о новой Беседе, сказано было, что она вместо слова *билет* намерена употребить *звальцо*. Сие произвело всеобщий хохот, и Беседа оставлена без утверждения»[22].

Вообще пуристски-нормативная позиция Шишкова, стремление утвердить в обществе русскую речь, удалив из нее иностранные слова и заменив их славяно-русскими эквивалентами, вызывали многочисленные насмешки. Гнедич, по началу поссорившийся с «Беседой», писал В.В. Капнисту: «Чтобы в случае приезда вашего и посещения Беседы не прийти вам в конфузию, предуведомляю вас, что слово проза называется у них: *говор*, Билет — *значок*, Номер — *число*, Швейцар — *вестник*... В зале Беседы будут *совокупляться знатные особы обоего пола* — подлинное выражение одной статьи устава Беседы»[23]. Следует заметить, что в известных нам документах нет слов и выражений, упоминаемых Гнедичем. Может быть, устарелый глагол в словах *присовокуплены еще попечители* породил остроумную выдумку Гнедича? Вообще большинство из словечек подобного рода, приписывавшихся «Беседе», выдуманы ее противниками (биллиард — *шарокат*, кий — *шаропех*, луза — *прорездырие*[24]) или принадлежат к историко-литературному фольклору. Такова, например, знаменитая фраза: «Хорошилище грядет по топталищу на позорище в мокроступах» (т.е. «Франт идет по тротуару в театр в галошах»).

7 февраля 1811 г. Александр I одобрил проект общества[25], хотя по-прежнему избегал «беседчиков». Несмотря на самые настойчи-

---

[22] Хвостов (1). С. 368.

[23] Цит. по: Державин, 6. С. 231.

[24] См.: *Нарежный В.Т.* Российский Жиль Блаз // Нарежный. Т. 1. С. 512.

[25] Десницкий. С. 109.

вые приглашения, он так ни разу и не появился на заседаниях общества, ни до войны 1812 года, ни после. Официальное открытие «Беседы любителей русского слова» состоялось 14 марта 1811 г. После этого заседания происходили регулярно раз в месяц и, как уже говорилось, очень тщательно готовились. Державин предоставил в распоряжение общества свою библиотеку и громадную залу в великолепном доме на Фонтанке (ныне №118). На чтения собиралось, по словам современников, до 500 человек (один из протоколов указывает 300). Можно сказать, что вся столичная интеллигенция присутствовала на заседаниях. Вот три дополняющие друг друга описания этих торжественных собраний. Первое принадлежит «сочувственнику» Шишкова, два других — его противникам: «Зала средней величины, обставленная желтыми под мрамор колоннами, казалась еще изящнее при блеске роскошного освещения. Для слушателей вокруг залы возвышались уступами ряды хорошо придуманных седалищ. Посреди храмины муз поставлен был огромный продолговатый стол, покрытый зеленым тонким сукном. Около стола сидели члены Беседы под председательством Державина, по мановению которого начиналось и перемежалось занимательное чтение вслух, часто образцовое»[26].

Второй рассказ находится в «Записках» Вигеля. Автор этих записок, человек умный и злой, был членом «Арзамаса» и подтрунивал над «Беседой». Тем интереснее, что, хотя к содержанию самих чтений авторы относятся по-разному, описания в основном совпадают: «Маститый Державин, который воспел все минувшие славы России, для заседаний Беседы отдал великолепную залу прекрасного дома своего на Фонтанке. В этой зале, ярко освещенной, как во храме бога света, не помню сколько раз зимой бывали вечерние торжественные собрания Беседы. Члены вокруг столов занимали середину, там же расставлены были кресла для почетнейших гостей, а вдоль стен в три уступа хорошо устроены были седалища для прочих посетителей, по билетам впускаемых. Чтобы придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, штатс-дамы в портретах, вельможи и генералы были в лентах и звездах, и все вообще в мундирах. Часть театральная, декорационная была совершенство, заправлял ею, кажется, сам Шаховской. Чтение обыкновенно продолжалось более трех часов и как содер-

---

[26] *Стурдза А.* «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас» в царствование Александра I: И мои воспоминания // Арзамас, 1. С. 43.

жанием, так и слогом статей отнюдь не отвечало наружному убранству великой храмины. Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением»[27].

Третье описание находится в недавно опубликованном письме Д.П. Северина Вяземскому. Оно более сдержанно. Здесь меньше восхищения убранством зала, но имеется несколько дополнительных деталей: «Вообрази себе большую залу, украшенную колоннами и множеством так называемых посетителей; в середине предлинный стол, зеленым сукном покрытый, вокруг стола сидящих действительных членов, а за ними на другом ряду кресел почетных, в числе коих Бунина и Волкова, вот Беседа; первое заседание открылось занятиями 1-го разряда»[28].

Дом Державина недавно отреставрирован и превращен в музей. Громадный, действительно великолепный «парадный двусветный зал с хорами, украшенными пилястрами, облицованными искусственным мрамором»[29], в котором проходили заседания, теперь доступен для посетителей.

На первом заседании Шишков выступил с программной «Речью при открытии "Беседы любителей русского слова"». Он начал со своего излюбленного тезиса о *Слове*, которое есть «самое главнейшее достоинство человека... дар небесный, вдохновенный в него, вместе с душою, устами Самого Создателя» (IV, 108). Слово объединяет в себе понятия *языка* и *словесности*. Оно является для Шишкова воплощением в человеке и его деятельности самого Бога. Отсюда вытекает величайшая роль литературы в развитии цивилизации. Только поэты сохраняют для потомков славные деяния предков. Он цитирует Горация в переводе Ломоносова:

Герои были до Атрида,
Но древность скрыла их от нас:
Что дел их не оставил вида
Бессмертный стихотворцев глас[30].

---

[27] Вигель 1928. Т. 1. С. 360.
[28] Там же. С. 163.
[29] Некрасов 2003. С. 29.
[30] Перевод четырех строк оды Горация «К Лолию» (Оды, IV, 9; ст. 25—28). В современном более точном переводе: «Немало храбрых до Агамемнона // На

Приведя многочисленные примеры красот русской поэзии из Державина, Ломоносова, Богдановича, Шишков заканчивает свою речь рассуждениями о древности и величии русского языка, который «один из древнейших, из ученейших... праотец многим другим. Он не уступает ни греческому, ни латинскому — не меньше их краток, не меньше силен, не меньше богат» (IV, 136). Обращаясь к современности, оратор постулирует свою любимую идею: нынешняя русская литература может процветать, только обращаясь к древним и народным корням отечественной культуры.

«Словесность нашу, — говорил Шишков, — можно разделить на три рода. Одна из них давно процветает, и сколько древностию своею, столько же изяществом и высотою всякое новейших языков витийство превосходит. Но оная посвящена была одним духовным умствованиям и размышлениям. Отсюду нынешнее наше наречие или слог получил, и может еще получить недосягаемую другими высоту и крепость. Вторая словесность наша состоит в народном языке, не столь высоком, как священный язык, однако же весьма приятном, и который в простоте своей сокрывает самое сладкое для сердца и чувств красноречие... Третия словесность наша, составляющая те роды сочинений, которых мы не имели, процветает не более одного века. Мы взяли ее от чужих народов, но, заимствуя от них хорошее, может быть, слишком рабственно им подражали и, гоняясь за образом мыслей и свойствами языков их, много отклонили себя от собственных своих понятий» (IV, 139—141).

«Третья словесность» — это новый слог, жанры европейской литературы, проникшие в Россию не ранее начала XVIII в., и особенно ненавистная Шишкову сентиментальная литература и связанный с нею слог, основателем которого был Карамзин. От этих литературных явлений Шишков пренебрежительно отмахивается. Книжная древнерусская культура и фольклор — вот та основа, на которой, считает он, должна развиваться отечественная словесность.

Таким образом, с точки зрения Шишкова, русская культура под влиянием чужеземных идей, «рабственного им подражания», получила неправильное развитие. Следует его выправить. Инструментом такого исправления должно послужить национальное прошлое. Тем самым, основным в концепции Шишкова становится

свете жило, но, не оплаканы, // Они томятся в вечном мраке // — Вещего не дал им рок поэта» (Гораций. С. 196; пер. Н. Гинцбурга). См. также: Свиясов. №8190.

романтический принцип самодовлеющей ценности национальной (в данном случае русской) культуры. Ее достоинство определяется не близостью к образцам (античным, французским), как (теоретически) в классицизме, а спонтанностью, самобытностью развития. Отсюда проистекает то любование прошлым, тоже характерное для романтизма, та романтическая утопия, о которой мы уже говорили.

Эти идеи Шишкова в большей или меньшей степени окрасили всю литературную и учено-публицистическую деятельность «Беседы любителей русского слова».

Часть I

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «БЕСЕДЫ»

Глава 1

ПОЗДНЯЯ ЛИРИКА Г.Р. ДЕРЖАВИНА (1800—1816)

Вскоре после восшествия на престол Александр I, вынужденный считаться с мнением старых екатерининских вельмож, назначил Державина министром юстиции. Это произошло в сентябре 1802 г., когда был принят закон об образовании министерств. Служба маститого поэта, которому было уже почти 60 лет, продолжалась, однако, очень недолго. Слишком несовместимы были характеры и интересы молодого, жаждущего либеральных преобразований царя и упрямого вельможи, убежденного в святости и незыблемости монархической власти, недоверчиво относившегося к любым слишком резким переменам и, естественно, напуганного Французской революцией.

Державин был решительным противником всех попыток отмены крепостного права. Он говорил, что государь «не достигнет своего намерения, чтобы сделать свободными владельческих крестьян, да ежели б и достиг, то в нынешнем состоянии народного просвещения не выйдет из того никакого блага государственного, а напротив того вред... чернь обратит свободу в своевольство и наделает много бед» (6, 778). Столь же решительно выступал Державин и против попыток освободить дворян от обязательной государственной службы (6, 749—758).

Уже в октябре 1803 г. Александр, раздосадованный упорным противодействием Державина всем либеральным проектам, предложил строптивому министру подать в отставку.

Удалившись от службы, опальный вельможа поселился в великолепном доме-усадьбе на Фонтанке и все свои силы отдал литературе. «Привыкши к беспрестанным трудам, не мог он [Державин

пишет о себе в третьем лице. — *М.А.*] быть без упражнения, и для того занимался литературою...» (6, 788).

К этому периоду относится сближение Державина с А.С. Шишковым. Оснований было достаточно: оба были недовольны правительством Александра I, оба страстно любили литературу, оба были людьми Екатерининской эпохи (Державин родился в 1743 г., Шишков — в 1754-м). Судя по всему, до выхода Державина в отставку никаких особенно тесных и приязненных отношений у него с Шишковым не было. Они, вероятно, были лишь поверхностно знакомы. Во всяком случае, первое и достаточно сдержанное упоминание о Шишкове мы находим в переписке Державина лишь в 1804 г.: «Г. Шишков вызывал меня в разговорах на похвалу своей критики [речь идет о «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка». — *М.А.*], сделанной им на счет новых писателей и, как кажется, более Ни<колая> Ми<хайловича Карамзина>. Я ему отвечал, что я не грамматик, о всех тонкостях языка судить не могу; но мне кажется, что слишком пристрастны его рассуждения. Он отошел с неудовольствием» (6, 162—163).

Правда, не следует абсолютно доверять и тону, и содержанию этого письма. Оно адресовано И.И. Дмитриеву, противнику Шишкова и ближайшему другу Карамзина, и, естественно, могло стать известным и самому Карамзину, и московскому кругу писателей-антишишковистов. Тем не менее очевидно, что еще в 1803—1804 гг. литературная позиция Державина и его отношение к Шишкову недостаточно прояснились.

Однако после 1805 г. сближение пошло очень быстро. Уже в 1806 г. в письме к В.А. Озерову Державин упоминает «некоторое общество приятелей», где одним из главных лиц был Шишков (2, 367), а в 1807 г., как мы помним, начинаются регулярные литературные собрания, из которых выросла «Беседа любителей русского слова».

Рассказывая о своей литературной деятельности после отставки, Державин называл в числе написанного им лирические сочинения, трагедии, «Рассуждение о лирической поэзии» (6, 788). О последних двух мы будем говорить далее. Сейчас уместно остановиться на стихотворениях Державина 1803—1816 гг.

Выйдя в отставку, Державин, привыкший к постоянной и напряженной административной деятельности, свыкшийся с ролью человека, влияющего на ход государственных дел, естественно, ску-

чал и чувствовал себя очень неуютно. Свою досаду на царя и его молодых помощников он изливал в не предназначенных для печати баснях. О двух из них мы уже упоминали (см. «Введение», гл. 1). Басни могут быть датированы временем между отставкой Державина (конец 1803 года) и победоносной войной 1812—1813 годов, после которой претензии к Императору стали неуместны.

В бумагах Державина сохранился небольшой рукописный сборник басен и притч, многие из которых носят сугубо личный характер и, несомненно, выражают обиду маститого вельможи. Такова, например, басня «Выбор министра», рисующая желаемую, но, увы, не воплотившуюся в жизнь ситуацию: Юпитер (Александр) повелел Минерве выбрать министров из насекомых. От Муравья отказались, он «исподтишка кусается, зловонен» (возможно, Н.Н. Новосильцов), от паука — тоже, ибо «горд, завистлив и мести сроден» (вероятно, М.М. Сперанский). Выбор пал на пчелу, в которой без труда угадывается идеализированное изображение самого автора, отличавшегося вспыльчивостью и шумным, но отходчивым нравом:

Да, — вот она:
Умна,
Честна,
Верна,
Благочестива,
Трудолюбива,
К тому ж и не труслива,
Хотя ж и горяча, — а иногда шумлива;
Но шум ее гремит за общее добро...
...тайно никого ...не уязвляет
И жала мщения в себе не оставляет... (3, 445)

Мечты вернуться к государственной деятельности не осуществились, и в басне «Голуби» снова изображается несостоятельность молодых деятелей из окружения царя. Голуби «взлетели высоко», но «перышки подмочились», «бури засвистали», «ястреба их ну терзать» (вероятно, намек на поражения в войне 1805—1807 гг.). Вывод Державина однозначен: нельзя

Без стариков-вождей, да не узнав и броду,
Соваться в воду... (3, 450).

Не исключено, что одна из басен порицает Александра за Тильзитский мир. В ней изображен мальчик, который «мал станом», «силой тощ». Пока он шел «за бабой» (вспомним обещание Александра I в манифесте «править по законам и сердцу в Бозе почивающей бабки... императрицы Екатерины Великия»), все было хорошо, когда же мальчик попытался идти за «гайдуком-великаном» (за Наполеоном после Тильзита), то сбился «с протоптанной дороги», «стал горьки слезы лить и проклинать свои ребячески затеи» (3, 453—454).

Политические взгляды Державина находят выражение и в одах, предназначенных для публикации. С его точки зрения, Наполеон был продолжателем и наследником деяний кровавой Французской революции. Поэтому всякое обострение отношений с Францией и Наполеоном означало бы (для Державина, как и для других стариков-оппозиционеров) некоторый отход императора от либеральных идей. «Старики» приветствовали сближение России с антинаполеоновской коалицией, и Державин радостно предсказывал поражение Наполеона в стихах 1805 г., написанных совсем по другому поводу:

Бог...
Гром бросит на чело возницы,
На всадника, на колесницы:
И где грозивший фараон?
(2, 328—329)[1]

В стихах «Глас Санкт-Петербургского общества» (1805) Державин заставляет это общество провозглашать последовательно монархические и патриотические идеи:

...всех царей ты в свете боле,
...народ твой всех храбрей.
...мы, мы все тебе ограды:
Ты только будь у нас главой.
(2, 361)

Войну с Наполеоном Державин, естественно, воспринял с большим удовлетворением. В высокопарной кантате «Персей и Андро-

[1] «Монумент милосердия» (стихотворение написано в 1805 г. и посвящено памяти генерал-майора Е.А. Наумова). См. коммент. Грота (2, 329—330).

меда», написанной по случаю битвы при Прейсиш-Эйлау (1807), он назвал Европу Андромедой, Наполеона — драконом и «саламандром», а Александра I — освободителем-Персеем.

Поражение России, Тильзитский мир огорчили старого вельможу. Он не мог примириться с позором, не мог видеть в Наполеоне истинного союзника. В оде «На мир 1807 года, Государыням Императрицам» он, несмотря на объявленный мир, несмотря на демонстрировавшееся Александром дружелюбие, подчеркивал вражду России и Франции:

Шел льстивый друг, шел тайный враг,
Наполеоном обаянный...

Вопреки горькой истине Державин изображал французского императора не победителем, заключившим выгодный и почетный мир, а смирённым противником, вынужденным идти на уступки:

Враг пред собой скалу железну
Узря, познал своих тлен сил;
Ветвь дружбы мирную, зелену
Пред Александром предложил.

Более того, не считаясь с официальной политической линией, поэт не желал признавать в Наполеоне верного союзника:

Враг примиренный, снесший рану,
Не может быть надежный друг.

Он предсказывал новые войны, победы русского императора, благодарность Европы:

Поэзьи дальновидный Гений
Грядущу мне предрек судьбу:
Падет Европа на колени
Пред тем, кто прекратит борьбу
И ток прольет в ней дней блаженных.
(2, 425—427)

Естественно, что эти стихи, столь откровенно не согласные с официально провозглашаемой дружбой между двумя императора-

ми, между Россией и Францией, не понравились Александру, запретившему их публикацию. Державин рассказал об этом спустя семь лет в письме к А.Ф. Мерзлякову от 26 августа 1815 г.: «Оду на мир с французами в 1807 году поднес было я к Государыням Императрицам; но по прибытии Императора, по подчеркнутым строкам, яко того времени политике не соответствующим, она не напечатана...» (2, 428).

Главные причины недовольства царем исчезли с началом войны 1812 года. Россия боролась с носителями крамолы и завоевателями, государственным секретарем стал А.С. Шишков, а главнокомандующим — представитель старшего поколения М.И. Кутузов. Теперь Державин не скупится на прославление царя, который представляется Давидом, свергающим Голиафа («На победу Александром I Наполеона под Люценом»), самодержцем, утвердившим мир и освободившим вселенную от узурпатора («Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества», «На сретение победителя Европы Александра I», «На возвращение полков гвардии»):

Ты мужества явил примеры,
Россию твердой спас душой;
Защитник был святыя веры
И доблестьми прямой герой.
(3, 162)[2]

По своей образно-ритмической системе стихи Державина 1800—1816 гг., за исключением анакреонтики, сильно отличаются от стихотворений 1770—1780 гг., таких как «Фелица», «Изображение Фелицы», «Решемыслу» и пр. Лучше всего определил поэтическую манеру своего более раннего периода сам автор, написавший:

...первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить...
(1, 534)[3]

Забавный слог означал полный отказ от иерархической системы «штилей», установленной Ломоносовым, полное смешение лексических слоев, уничтожение жанровых перегородок и тем самым

[2] «На возвращение Александра I» (кантата).
[3] «Памятник».

размывание главного лирического жанра — торжественной оды. У Державина все стихи стали называться «одами». Реформа, проведенная Державиным, была вполне своевременна, и смелые стихи восхитили современников. Сам Державин развил и продолжил свою реформу в анакреонтических стихотворениях, вышедших отдельной книгой в 1805 г.

Однако для стихов публицистических, с общественно-политической тематикой, тех, что назывались «одами торжественными», Державин уже с конца XVIII в. начинает искать новых средств художественной выразительности. Можно думать, что это произошло под сильным влиянием Оссиана и вообще так называемой Северной поэзии, которая после работ Гердера стала рассматриваться как проявление оригинального самобытного искусства высокой эстетической ценности.

В 1785 г. появился русский перевод книги французского историка Поля-Анри Малле: «Г. Маллета Введение в историю датскую, в котором рассуждается о вере, законах, нравах и обыкновениях древних датчан». Труд Малле содержал многочисленные образцы древнеисландской поэзии (переводы из младшей и старшей Эдды), лирики скальдов и пр.[4]. Он сыграл заметную роль в становлении русского преромантизма.

Мрачные, дикие пейзажи Оссиана стали доступны Державину в прекрасном прозаическом переводе Е. Кострова, появившемся в 1792 г.: «Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века: Гальские стихотворения». Это был первый и до конца XIX в. единственный полный перевод Оссиана на русский язык.

Обращение к северному фольклору (стихи Оссиана считались подлинными творениями древнего барда), несомненно, способствовало зарождению интереса и к собственной древней русской поэзии, которая тоже была северной и в которой естественно было искать параллелей с песнями Оссиана и образцами кельтских песен. Так, близкий друг Державина Н.А. Львов в 1793 г. опубликовал переведенную из Малле скальдическую балладу, герой которой, норвежский король Гаральд, жалуется на русскую княжну, отвергнувшую его любовь. Львов использовал в своем переводе фольклорные мотивы и народный стихотворный размер и счел нужным отметить это даже в названии своего стихотворения: «Песнь нор-

---

[4] О переводе книги Малле и ее роли в становлении русского преромантизма см. содержательную работу: Шарыпкин. С. 96—167.

вежского витязя Гаральда Храброго, из древней Исландской летописи Книтлинга сага господином Маллетом выписанная и в Датской истории помещенная, переложена на Российский язык образом древнего стихотворения с примеру "Не звезда блестит далече в чистом поле"»[5].

Исследователи отмечают появление интереса к фольклору в творчестве Державина с конца XVIII в. и особенно в 1800—1816 гг.[6], никак, однако, не связывая этого факта с созданием «Беседы любителей русского слова», хотя особенно интенсивное влияние фольклора чувствуется в творчестве Державина в период его сближения с Шишковым и активного участия в «Беседе». О теоретических занятиях Державина фольклором см. главу 2 части 2. Сейчас уместно будет сказать лишь несколько слов о фольклорных мотивах в лирике Державина.

В оде «На взятие Варшавы» (1794) явно чувствуются оссиановские мотивы в пейзаже:

Черная туча, мрачные крыла
С цепи сорвав, весь воздух покрыла...
(3, 443)

К Оссиану восходит изображение «небесного вертограда», где Пиндар-Ломоносов, как духи бардов в оссиановских поэмах, поет бессмертные дела россов пред сонмом теней русских героев: Пожарского, Петра I и др. При этом изображение Суворова, несомненно, навеяно русским фольклором. Полководец нарисован как могучий былинный богатырь:

Вихрь полуночный, летит богатырь!
Тма от чела, с посвиста пыль!

Ступит на горы — горы трещат,
Ляжет на воды — воды кипят,

[5] Поэты XVIII в., 2. С. 211; 514—515 (примеч. Г.С. Татищевой).

[6] «В этот период [1800-е гг. — *М.А.*] Державин проявил особый интерес к русскому фольклору» (Ионин. С. 53). И.З. Серман справедливо связал интерес Державина к фольклору с «огромной и все расширяющейся в эпоху предромантизма и собственно романтизма областью литературного интереса к народно-поэтическому творчеству разных стран» (Серман 1970. С. 326).

Граду коснется — град упадает,
Башни рукою за облак кидает...
(3, 444)

В державинском представлении о фольклоре сливаются русские и скандинавские (северные) влияния, как это было и в поэме Радищева «Песни петые на состязаниях в честь древним славянским божествам» (1800—1802), где органически сочетаются кельтские (оссиановские), гомеровские и русские («Слово о полку Игореве») мотивы[7]. Смешение скандинавских и русских преданий мы найдем в балладе Державина «Новгородский волхв Злогор» (1813), где седой кельтский скальд является «послухом» (учеником) Бояна. Он рассказывает о волхве Злогоре, сыне Словена[8].

Русская (точнее, псевдорусская) сказка из сборника Михаила Чулкова использована Державиным в кантате «Обитель Добрады» (1808), где под именем волшебницы Добрады изображена императрица Мария Федоровна. В стихах упоминаются славянский Даждьбог, скандинавские Валки (Валькирии) и скандинавский рай, Валкала (Вальхалла). В текст органически включаются славянизмы. Так, в самом начале стихотворения мы находим два архаичных эпитета:

Дом *благодатныя*, *неблазныя* Добрады...
(2, 447)

Эти два эпитета показывают, как свободно употреблял Державин архаизмы даже в стихах, написанных по фольклорным мотивам.

Кроме того, они свидетельствуют о том, что Державин внимательно следил за языковыми штудиями Шишкова. Дело в том, что Шишков, в полном соответствии со своими идеями о превосходстве церковнославянского языка над современным русским, привел эти два слова в «Опыте славенского словаря». Духовная цензура отметила, что они должны быть употребляемы только в церковных текстах. Державин включил эти слова в «мирское» стихотворение, чтобы поддержать точку зрения Шишкова: «Г. Шишков... имена *благодатныя* и *неблазныя* придал обыкновенному женскому лицу; но члены Синода... на таковыя г. Шишкова изъяснения не согласи-

[7] Альтшуллер 1977. С. 131—136.
[8] См.: Прохоров. С. 257—267.

лись; из чего вышла ссора, даже переписка, и в Синоде сделано определение, что сии прилагательные имена принадлежат исключительно Божией Матери. Но как автор почел их суждение несправедливо, то и осмелился поместить те слова в сем сочинении» (3, 605).

Одно из наиболее последовательно использующих фольклорные традиции стихотворений Державина — «Атаману и войску Донскому» (1807). Здесь казачий атаман Платов изображается с атрибутами богатыря или героя русских сказок. У него «борзой конь», «ковер-самолет», «волшебная ширинка», он может глодать «железные просфиры», у него «ступни [т.е. сапоги] самоходны». Герой похож на Добрыню, который «убил дракона в облаках», на Илью Муромца, победителя Соловья-разбойника (2, 416—419).

В романсе «Царь-Девица» (1812), одном из лучших произведений поздней державинской лирики, встречаются прямые реминисценции былинных текстов (см. об этом подробнее в главе «Изучение фольклора в “Беседе”»). Использованы здесь и мотивы русских сказок, когда изображается идеальное государство, а сама Царь-девица похожа на доброго государя этих сказок[9].

Об удаче Державина в воссоздании народного духа свидетельствует то обстоятельство, что влияние его романса, кажется, отразилось в пушкинской «Сказке о золотом петушке» и в поэме Марины Цветаевой «Царь-Девица».

В последние годы жизни в поисках новых выразительных средств Державин обращается к новым жанрам, которые ранее у него практически не встречались. Обычно он называл все свои произведения одами, слово «ода» значило для него просто лирическое стихотворение. В начале XIX в. среди его стихов появляются кантата («Персей и Андромеда», 1807), оратория («Целение Саула», 1809), дифирамб («Сретение Орфеем солнца», 1811), гимн («Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества», 1812). В этих произведениях в основном и проявилась новая поэтическая манера Державина. Она связана с идеей трудного стиха, ориентированного на внимательное чтение. Такой стих был сознательно противопоставлен литературным творениям карамзинистов, тех,

> Кто пишет так, как говорят,
> Кого читают дамы...

---

[9] Ионин. С. 63—64.

Оссиан и скандинавский фольклор воспринимались в России как литература архаическая, требующая труда и внимания для восприятия. В переводах Кострова из Оссиана лексической доминантой, по словам современного исследователя, становятся архаические славянизмы, ориентированные на ломоносовский «высокий штиль». Этот «высокий штиль» в новых литературных условиях служит, однако, «уже созданию не классического, но романтического колорита, передаче сумрачного настроения “песен” Оссиана, их эмоциональной напряженности»[10].

И в сознании Державина северная поэзия прочно была связана с напряженным, трудным стихом. Так, в автокомментарии к оссиановскому стихотворению «Жилище богини Фригги» (1812) он говорит о сознательном стремлении к сложности и напряженности: «...оно необыкновенными и трудными стихами написано...» (3, 83).

Идея «трудности» как сознательное противопоставление карамзинской легкости была сформулирована А.Н. Радищевым в главе «Тверь» «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790) и в «Памятнике дактило-хореическому витязю» (1801). Мы будем говорить об идеях Радищева несколько позднее (см. главу «Литература XVIII века в кругу “Беседы”»). Однако уже сейчас нужно отметить, что Радищев четко сформулировал идею эстетической ценности «трудного» стиха. Он говорил, что стих может быть «туг и труден на изречение», если того требуют художественные задачи. Эта трудность в стихах самого Радищева достигается за счет сочетания согласных, славянизмов и обилия инверсий[11].

Сочетание согласных и вообще затрудненность произнесения возникают в русском стихе при появлении спондеев. Спондей в античном стихосложении — стопа, состоящая из двух долгих слогов. В русской силлаботонике спондеем условно называется лишнее, сверхсхемное ударение, которое утяжеляет ритм стиха. Поскольку при спондеях появляется два или больше ударений подряд, то естественно, что при этом увеличивается количество односложных слов. Односложные слова дают большее по сравнению со средним количество согласных. Проблема, однако, заключается в том, что в русском языке односложных слов сравнительно мало. Это справедливо отметил еще В.В. Капнист, писавший, что «русский язык спондеями весьма скуден» (1815)[12].

---

[10] Левин. С. 30—31.
[11] Макогоненко. С. 37—40.
[12] Письмо первое к С.С. Уварову о экзаметрах (Капнист, 2. С. 187).

А.Ф. Воейков в «Послании к С.С. Уварову» (1818) возражал Капнисту и предлагал примеры спондеев, из которых ясно видна тяжеловесность и искусственность этого явления для русского стихосложения при злоупотреблении им:

Мы их [спондеи. — *М.А.*] найдем, исчисляя подробно деяния россов:
Галл, перс, прусс, хин, швед, венгр, турок, сармат и саксонец, —
Всех победили мы, всех мы спасли и всех охраняем.
Мы их найдем, исчисляя прекрасные свойства монарха.
Царь Александр щедр, мудр, храбр, тверд, быстр, скромен и сметлив[13].

Видимо, эти стихи имел в виду С.П. Шевырев, когда спустя двенадцать лет (1830) упомянул о «зазубренном спондеем гекзаметре»[14]. Спондей стал знаком архаического стиля и архаических взглядов в литературе. Так, с точки зрения молодого А.С. Пушкина, «гекзаметры сухие, спондеи жесткие и дактилы тугие»[15] определяли поэзию архаистов.

Лирика позднего Державина изобилует спондеями. Небольшое послание Державина «Г<осподину> Озерову на приписание Эдипа» (1806) намеренно противопоставлено поэтической манере этого драматурга. Оно написано удивительно тяжелыми, труднопроизносимыми стихами. Особенно подчеркнуто скопление ударений в коротких строках, заключающих строфы:

Дев слез ремесло!
Ты — огнь с высоты!
Там лавр мой взрастет!
(2, 365—366)

В оратории «Целение Саула» (1809) спондеи появляются, когда автор рассказывает о сотворении мира. Величественная картина созидания требует, с точки зрения поэта, напряженного, изобилующего ударениями стиха:

Огнь, земля и вода и весь воздух в борьбе
Меж собой внутрь и вне беспрестанно сражались

[13] Поэты 1790—1810-х. С. 283.
[14] Поэты 1820—1830-х. Т. 1. С. 193.
[15] Пушкин, I. С. 152.

Бездны бездн, хляби хлябь колебав в тишине
Без устройств естество, ужас мрак представляли.
(3, 11)

Спондеи создают «трудность» произнесения в уже упоминавшемся стихотворении «Жилище богини Фригги»:

В ужасе без чувств скальд трепетал,
Вои слыша волчьи, вранов стоны
И зря древ с вершин, как огнь сверкал.
(3, 80)

Количество примеров можно было бы умножить.

В основном, однако, принцип создания «трудных» стихов осуществляется на лексическом уровне. Важнейшие элементы этой лексики суть сложные слова, библеизмы и архаизмы. Они и создают тот «старый» слог, за который ратовал Шишков.

Вот, например, изображение чудовища (Наполеона) в кантате «Персей и Андромеда»:

...дивий вол, иль преисподний зверь
Стальночешуйчатый, крылатый,
Серпокогтистый, двурогатый,
С наполненным зубов-ножей, разверстым ртом,
Стоящим на хребте щетинным тростником,
С горящими, как угль, кровавыми глазами
От коих по водам огнь стелется струями.
(2, 390)

Прежде всего отметим наличие в этом тексте сложных слов. Сложные слова имеют в русском литературном языке длинную историю, восходящую к заимствованиям из греческого и (меньше) латинского языков. Они создавали античный колорит в «Тилемахиде» Тредиаковского[16], а на рубеже XVIII—XIX вв. становятся показателем архаического стиля. Сложные (гомеровские) эпитеты придавали ощущение античного подлинника переводу «Илиады» Гнедича[17]. Сложные слова окрашивали высокой торжественно-

---

[16] Орлов. С. 34 и след. К статье приложен список эпитетов из «Тилемахиды» (с указанием античных источников), составленный А.И. Малеиным.

[17] См.: Егунов. С. 272—273.

стью поэмы Шихматова и манифесты Шишкова. Они употреблялись для изображения катаклизмов в природе. Все это делало сложные слова ощутимым стилистическим признаком русского преромантизма.

Так, в пародии П.П. Сумарокова «Ода в громко-нежно-нелепоновом вкусе» (1802), направленной, по словам автора, против поэтов школы Державина, сложными словами изображается мрачно-оссиановская природа:

Жемчужно-клюковно-пожарна
Выходит из-за гор заря...
Октябро-непогодно-бурна
Дико-густейша темнота...[18]

Сложные слова всегда являлись существенным элементом державинской поэтики. Количество их увеличивается в поздней лирике. В приведенной выше цитате из «Персея и Андромеды» две строки почти целиком состоят из придуманных Державиным сложных слов: «стальночешуйчатый», «серпокогтистый» (т.е. с когтями как серпы), «двурогатый»[19].

С наибольшей полнотой принципы поздней державинской лирики воплотились в «Гимне лиро-эпическом на прогнание французов из отечества» (1812). Это громадное (646 стихов) произведение изображает нашествие Наполеона как приход антихриста. Текст изобилует цитатами и намеками на книги Ветхого и Нового Завета, особое внимание уделено Апокалипсису.

Наполеон и его окружение воплощают апокалиптическое, мировое зло (на Апокалипсис Державин постоянно ссылается в примечаниях к «Гимну»):

Исшел из бездн огромный зверь!
Дракон иль демон змеевидный;
Вокруг его ехидны
Со крыльев смерть и смрад трясут,
Рогами солнце прут...

(3, 101)

[18] Поэты 1790—1810-х. С. 186—187.

[19] Подробнее об эпитетах Державина см.: А. Западов. С. 212—217; см. также обзорную работу: Русанова.

Адским силам противостоит Россия во главе с Александром-агнцем (Агнец в «Откровении» Иоанна — носитель светлого, божественного начала):

...только агнец белорунный,
Смиренный, кроткий, но челоперунный,
Восстал на Севере один, —
Исчез змей-исполин!

(3, 101)

Кутузов уподобляется соименному ему архангелу Михаилу:

Упала демонская сила
Рукой избранна князя Михаила.
Сей муж лишь Гога мог потрясть,
Россию верой спасть.

(3, 109)

Эти строки соответствуют деяниям архангела, описанным в Апокалипсисе. Ср.:

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них...

И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную...» (Откр., 12; 7, 9).

Упоминаются в «Гимне» генерал Раевский с сыновьями, Платов, Багратион, битвы при Бородине, Малоярославце и пр. Все это описано тяжелыми с перебоями ритма стихами, синтаксис сложен и запутан, по всему тексту обильно рассыпаны архаизмы, что делает «Гимн» трудно читаемым и мало доступным пониманию.

Арзамасцами, врагами «Беседы», «Гимн» воспринимался как важнейшее произведение позднего «беседного», впавшего в маразм Державина. Это старческое творение стало для них своеобразным манифестом «славенофилов», образцом нелепостей «старого слога»[20]. Так, Д.В. Дашков в одной из лучших арзамасских речей изобразил похороны недавно умершего Державина, где за гробом поэта сумасшедшие (обритые и полуобритые) «беседчики» несут тяжелые

[20] См. на эту тему тонкий этюд О.А. Проскурина «Старик Державин» (Проскурин 1995. С. 360—363).

свитки, покрытые плесенью, среди которых на первом месте «Гимн лиро-эпический»[21].

Почувствовал принципиальный характер державинского «Гимна» и молодой Пушкин. В 1815 г., спустя два года после появления в печати «Гимна лиро-эпического», он написал шуточную поэму «Тень Фонвизина» — остроумный обзор состояния современной литературной жизни. Покойник Фонвизин навещает землю и посещает многих здравствующих писателей: П.И. Шаликова, Д.И. Хвостова, А.С. Шишкова, Батюшкова и др. В числе прочих Фонвизин наносит визит и «Певцу Екатерины», занятому сочинением «Гимна лиро-эпического», который он и читает своему гостю:

Открылась тайн священных дверь!..
Из бездн исходит Луцифер,
Смиренный, но челоперунный.
Наполеон! Наполеон!
Париж, и новый Вавилон,
И кроткий агнец белорунный,
Превосходясъ, как дивий Гог,
Упал, как дух Сатанаила,
Исчезла демонская сила!..
Благославен Господь наш Бог!..[22]

Пушкин внимательно прочел весь текст державинского «Гимна» и процитировал из него десять строк, не очень существенно их изменив. Стихи взяты из самых разных частей пространного державинского текста. Вот как выглядят эти строки у Державина (указываем номера строф по изданию Грота):

Открылась тайн священных дверь!
Исшел из бездн огромный зверь... (3)

А только агнец белорунный,
Смиренный, кроткий, но челоперунный... (3)

Превозносясь, как некий дивий Гог... (6)

[21] Арзамас, 1. С. 399.
[22] Пушкин, I. С. 123.

Наполеон! Наполеон! (20)

О, так! таинственных числ зверь,
В плоти седьмглавый Люцифер... (27)

Упала демонская сила... (27)

О новый Вавилон, Париж! (30)

С тех пор Наполеон
Упал в душе своей, как дух Сатанаила... (33)

Мы победили, — с нами Бог!... (34)
(3, 100—111)

Пародия Пушкина сравнительно мало касается архаического слога. Он почти не включил в нее явных архаизмов (о библеизмах речь пойдет ниже), если не считать слов «дивий» и «челоперунный», что означает «с челом, обрамленным молниями-перунами» (это должно показывать величие Александра).

Насмешке подвергается антизападническая позиция «беседчиков», для которых Париж — это новый Вавилон. Можно увидеть в стихах Пушкина и некоторую иронию по отношению к Александру I. Поэт, как известно, недолюбливал императора с лицейских лет и до конца жизни Александра. У Державина Люциферу-Наполеону, огромному зверю, противостоит белорунный и смиренный кроткий агнец, который в то же время оказывается грозным противником («челоперунный»). У Пушкина смиренным и челоперунным становится Люцифер, а кроткий агнец, в довершение бессмыслицы, попадает в один ряд с новым Вавилоном и дивьим Гогом, т.е. Наполеоном, вместе с которым он упадает, «как дух Сатанаила».

Главный же объект пародии — библейская тематика «Гимна», который и назван Пушкиным «статей библейских преложенье», и несколько ниже об авторе «Гимна» сказано:

И спотыкнулся мой Державин
Апокалипсис преложить...

Славянская Библия, духовные старинные книги были для «Беседы» не только фундаментом русской культуры, сокровищницей

языка, но и источником нравственно-религиозных представлений. «Гимн» Державина своей библейской формой полностью совпадал с идеологической и художественной позицией «Беседы», а пародия Пушкина становилась явлением не только литературной, но и идеологической борьбы.

Обращение к библейской образности было для Державина вполне закономерным. Религиозная тема всегда занимала значительное место в его творчестве. Будучи человеком глубоко религиозным, он неустанно размышлял о жизни и смерти, отношении человека к Богу, о проблемах веры и неверия. Свидетельствами этих размышлений являются знаменитые стихи «Бог», «На смерть князя Мещерского» и менее известные: «Успокоенное неверие», «Величество Божие», «Помощь Божия», «Буря» и др.

Много места занимает религиозная тематика и в творчестве 1800—1816 гг. В отличие от духовных стихотворений более раннего периода, поэт, размышляя о Боге, теперь гораздо чаще обращается непосредственно к текстам Священного Писания. Это происходит даже в политических, а не только в религиозных стихах, как, например, в «Гимне лиро-эпическом».

Внимательное чтение Священного Писания на славянском языке и непосредственное обращение к священным текстам в поэтической практике было связано с эстетическими поисками Державина. Помимо того что Библия является священной книгой, она представляет собою и гениальный художественный памятник, а пророки были не только провозвестниками гласа Божия, но и гениальными национальными поэтами. Так романтическая концепция позволяла рассматривать в одном ряду «Илиаду» Гомера, песни Оссиана, псалмы Давида и книги Пророков как явления самобытного национального искусства.

В сентябре — октябре 1807 г. Державин написал пять духовных стихотворений: «Надежда на Бога», «Сетование», «Проповедь», «Благодарность» и «Умиление», которые являются подражанием и переложением соответственно 45, 101, 91, 137 и 70 псалмов.

Тогда же была написана по мотивам «Песни песней» кантата «Соломон и Суламита». Державин стремится сохранить в стихах библейский колорит, употребляя такие слова, как «Ливан», «кедр», «мирт», «тимпан», «ризы». Во многих местах он довольно точно следует смыслу оригинала. Приведу лишь один пример:

Сколь милый мой прекрасен!
Пошел он в сад цветов.

Но вечер уж ненастен,
Рвет розы, знать, с кустов.
Ах! Нет со мной, — ищите,
Все кличьте вы его,
Мне душу возвратите;
Умру я без него.
(2, 398)

В тексте Библии мы найдем: «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. ... Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви» (Песн. П., 6, 2; 5, 8).

Самым значительным из духовных стихов Державина 1800—1816 гг. является ода «Христос» (1814). Создавая ее, Державин опирался на Священное Писание. Восемьдесят два авторских примечания показывают прямые параллели стихов и текста Библии.

Вся ода изобилует лексическими, грамматическими и синтаксически славянизмами. Вот, например, две взятых наудачу строки со сложной инверсией, архаическим родительным, словами «глас», «утроба»:

И глас не Твой ли из земныя
Взывал утробы мертвецов?
(3, 147)[23].

В этом отношении «Христос» сильно отличается от написанной тридцатью годами ранее (1784) знаменитой оды «Бог», хотя идеологически тесно с ней связан, являясь разработкой той же темы.

В «Боге» поэт размышлял о Творце как создателе Универсума, величие которого отразилось и в мельчайшей частице Божьего духа — человеке. Двойственная природа человека оказалась в центре рассуждений Державина:

Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества...

[23] Более подробно о намеренной фонетической, лексической и ритмической «трудности» этой оды см.: Эткинд. С. 237—241.

Черта начальна божества...
Я царь — я раб, я червь — я бог!
(1, 132)

В оде «Бог» Божественное начало противопоставлено «тварям телесным», а человек, соединяющий в себе плотское и духовное, именно в силу своей духовности является частицей Божества.

В оде «Христос» продолжены размышления о плотской природе человека. Здесь речь идет о материализации Божества, о превращении Бога в человека. Поэт удивлен, как может быть Богом тот, чей

...поруган зрак
От человеческия злости!
Окровавленны красоты!
(3, 147)

Христос, оставаясь Богом, в то же время является и человеком, и те оппозиции, на которых была построена ода «Бог», возникают и в оде «Христос», где сам Богочеловек становится носителем противоречий, свойственых каждому человеку в отдельности:

Ты Бог, — но Ты страдал от мук!
Ты человек, — но чужд был мести!
Ты смертен, — но истнил скиптр смерти!
Ты вечен, — но Твой издше дух!
(3, 147)

С точки зрения Державина, уже в самом присутствии в человеке плотского, материального начала заключена возможность его падения. Человек, с одной стороны,

...подобен
Творцу бессмертну своему,

с другой —

...создан он
С свободною душой из персти.
(3, 148)

Грехопадение и было, по Державину, торжеством материальной природы человека:

Погас! — пал в тму вселенной царь,
Нетленье превратилось в тленье...
(3, 148)

Мысль эта была достаточно неортодоксальной и вызвала запрос духовной цензуры, сомневавшейся, что «причиною падения первого человека было то, что он создан с плотию» (3, 158). В пространном ответе Державин развил свои идеи и прояснил свои мысли о Христе, чья смерть проявила в человечестве идеальные, духовные начала, ведущие к возрождению: «Бог, взяв персть, из земли создал человека я потом по его преступлении объявил ему свой приговор: “*земля еси и в землю пойдеши*”; следовательно, сотворя его, с одной стороны, из персти, сотворил через то не токмо с возможностию пасть, но и осудил его за преслушание необходимо умереть или идти в землю по той причине, что он взят был от земли. С другой же стороны, поелику Бог вдунул в лице его дыхание жизни с свободною волею, то дал ему через то купно и возможность не пасть, или быть бессмертным. Поелику ж он, преступив заповедь, и духом пал и телом умер, то и совершился над ним смертный приговор. А как нельзя предполагать, чтоб Всеведущий не предвидел искони сих бедственных случаев, то для того и предопределил Он чрез Сына своего избавить его от оных. Когда же было то не так, то не для чего было Христу воплощаться и страдать, подавая собою образ к возрождению» (3, 158).

Ода Державина не была оценена ни современниками поэта, ни ближайшими потомками: в литературе кипели идеологические, политические споры. Библия и библеизмы для будущих декабристов становились орудием литературной и идеологической борьбы[24]. Принципиальные проблемы духовной жизни отходили на задний план.

Позднее, к концу XIX — началу XX в., когда религиозные вопросы стали вновь занимать русское общество, и сам Державин, и особенно его поздние стихи были прочно забыты. Даже В.Ф. Ходасевич, автор лучшей биографии Державина, писавший на Западе и не боявшийся цензуры (он свободно мог трактовать религиоз-

[24] См.: Гуковский 1946. С. 215—244.

ные вопросы), практически не упоминает поздних духовных стихов поэта.

Кажется, только один человек обратил внимание на оду «Христос». Этим человеком был Адам Мицкевич. В 1842 г. он читал в Париже лекции о славянских литературах. Говоря о России, Мицкевич сравнительно много места уделил Державину. Он считал оду «Христос» лучшим произведением Державина и думал, что она была написана поэтом в молодые годы.

Мицкевич, разумеется, ничего не знал о переписке Державина с духовной цензурой. Однако он тоже обратил внимание на центральную неортодоксальную идею оды о временной победе плотского начала в человеке: «... поэт... развивает свою систему взглядов, и, надо признать, глубоко философскую; ...он верит, что человек был создан вне телесной оболочки и обрел ее лишь впоследствии в результате своего грехопадения. Иисус — это Божественный свет, снизошедший к человеку для того, чтобы поднять его»[25].

Таким образом, в поздних стихах Державина мы находим политическую оппозицию либеральным реформам Александра I, поиски новых форм и жанров (оратория, дифирамб, романс, кантата, баллада, гимн), влияние Оссиана и русского фольклора, повышенный интерес к Священному Писанию, намеренную архаизацию, выразившуюся в затрудненном синтаксисе и частом употреблении церковнославянизмов. Все эти идеи находят отражение и в деятельности «Беседы любителей русского слова».

При этом Державин не ограничился воплощением литературных идей только в поэтической практике. Он попытался дать им и теоретическое обоснование. В то самое время, когда полным ходом шла подготовка к открытию «Беседы», Державин напряженно работал над теоретическим трактатом «Рассуждение о лирической поэзии, или об оде», предназначавшимся для чтения в публичных заседаниях. Сохранившиеся в архиве Державина черновики, выписки, беловые автографы, писарские копии показывают, как много сил и труда потратил поэт на попытки теоретически осмыслить свою поэтическую практику. Ни по своему образованию, ни по темпераменту Державин не был подготовлен к научным занятиям. Несмотря на это, «Рассуждение» до настоящего времени сохраняет исторический интерес как памятник

[25] Мицкевич, 4. С. 348.

трудного и сложного формирования эстетических идей русского романтизма[26].

В первой части «Рассуждения» дается определение лирической поэзии, которая вся целиком носит у Державина название оды. Основным, главным признаком лирического произведения, по Державину, является вдохновение, проявление спонтанного творческого начала[27]: «Лирическая поэзия... отлив разгоряченного духа; отголосок растроганных чувств; упоение или излияние восторженного сердца... Она [ода. — *М.А.*] не есть, как некоторые думают, одно подражание природе, но и вдохновение оной, чем и отличается от прочей поэзии. Она не наука, но огнь, жар, чувство» (7, 531—532).

Далее, переходя к характеристике различных видов вдохновения, Державин пишет: «Вдохновение не что иное есть, как живое ощущение, дар Неба, луч Божества. Поэт... приходит в восторг, схватывает лиру и поет, что ему велит его сердце... В прямом вдохновении нет ни связи, ни холодного рассуждения...» (7, 536).

Интерес этих положений Державина заключается в том, что он, говоря о вдохновении, ни словом не упоминает о рассудке, который, по теории классицизма, должен управлять порывами вдохновения, что было афористически четко сформулировано Буало в «Науке поэзии» и подхвачено его многочисленными последователями. Буало говорит об оде: «Chez elle un beau désordre est un effet de l'art». Батте, за которым Державин, по собственному признанию, следовал, подчеркивает, что вдохновение — не непосредственное чувство, а результат искусственного, т.е. в конечном счете рассудочного разгорячения художника: «Сие чувство собственно называется Исступлением не в то время, когда оно натурально, то есть ког-

---

[26] До недавнего времени значительная часть этого практически завершенного труда оставалась неопубликованной: Я.К. Грот напечатал в «Сочинениях Державина» лишь то, что было прочитано на заседаниях «Беседы» и затем увидело свет в «Чтениях». Только в 1986 и 1989 гг. В.А. Западов опубликовал оставшиеся в рукописи части «Рассуждения». Однако выход отдельной книгой этого интереснейшего эстетического трактата со всеми материалами, хранящимися в державинском архиве, видимо, к сожалению, остается делом далекого будущего. В дальнейшем изложении мы будем ссылаться и на «Сочинения Державина», и на листы рукописи, и, параллельно, на публикацию Западова, в которую не вошли некоторые тексты, цитируемые нами по черновикам.

[27] См. об этом подробнее: Кулакова 1968. С. 30—33; Альтшуллер 1968. С. 103—105.

да оно существует в человеке, ощущающем оное по самой действительности своего существования; но только тогда, когда оно находится в Артисте, Поэте, Живописце, Музыканте; когда оно происходит от воображения, искусственно разгоряченного предметами, кои оно представляет себе во время сочинения»[28].

То же и у Н.Ф. Остолопова в «Словаре древней и новой поэзии»: «Однакож таковая стремительность его [беспорядка. — *М.А.*] должна быть ежели не управляема, по крайней мере сопровождаема рассудком, а без того беспорядок не будет действием искусства и никому не понравится»[29].

Как известно, представление о вдохновении, не зависящем от воли самого поэта, как основном источнике творчества было сформулировано еще Платоном: «Все хорошие эпические поэты не благодаря уменью слагают свои прекрасные поэмы, а только тогда, когда становятся вдохновенными и одержимыми... поэт — это существо легкое, крылатое и священное; он может творить не ранее, чем сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка»[30].

Создатели поэтики классицизма не могли игнорировать это общеизвестное положение. Однако, стремясь к регламентации, нормативности, они подчинили строгим правилам рассудка и самое вдохновение. Напротив, в пору развития романтизма идеи Платона в полемике с классицизмом получают особенно широкое распространение.

Показательно, что Д.И. Хвостов, один из немногих последователей классицизма в «Беседе», упрекавший Державина в том, что его «Рассуждение» «не что иное есть, как перевод из слова в слово аббата Батте, но умноженный или лучше сказать разжиженный неосновательными понятиями и ложными заключениями», в числе этих ложных заключений отметил и выписал прежде всего замечания Державина о вдохновении[31].

Работая над «Рассуждением», Державин поставил перед собой задачу рассмотреть всю лирическую поэзию всех времен и народов. Понимая, что такой грандиозный замысел не под силу одному человеку, Державин прибегает к помощи специалистов. Для него составляется таблица горацианских размеров, делаются выписки о

[28] Батте, 3. С. 232—233.
[29] Остолопов, 2. С. 241.
[30] Платон, «Ион», 533Е—534В.
[31] Хвостов (2). С. 375.

скандинавской, китайской, индийской поэзии и т.п. Весь этот громадный материал автор пытается обобщить и привести в систему.

«Вдохновение», т.е. непосредственное, спонтанное творчество, стало для Державина определяющим признаком лирической поэзии потому, что в связи с историей жанра поэту приходится говорить о возникновении оды в такой среде, где с точки зрения классической теории никаких правил и норм быть не может. Ода, говорит Державин, «есть самая древняя у всех народов» (7, 531), ее знали «самые грубые народы во всех временах и во всех странах света... в Мексике, в Перу, в Бразилии, в Канаде, в Камчатке, в Якутске...» (7, 532), «певцы были у Египтян, Финикиян, Индийцев, Греков, Римлян, Аравитян и прочих народов...» (7, 534).

Мало того, Державин подходит к мысли о равной эстетической ценности лирической поэзии всех народов. Дикая, варварская поэзия обладает теми достоинствами, которых лишено искусство цивилизованных стран, — и тем самым достоинства и недостатки взаимно уравновешиваются. «...чем народ был дичее, тем пламеннее было его воображение, отрывистее и короче слог, менее связи распространения и последствий в идеях, но более живописной природы в картинах и более вдохновения. Напротив того, у образованных обществ более разнообразия, распространения, приятности, блеску в мыслях и мягкости в языке» (7, 535). Мысль эта, по всей видимости, является смягченной формулировкой резких и четких высказываний Гердера, который прямо предпочел дикую, безыскусную поэзию Оссиана (проблема подлинности для нас, естественно, в данном случае не важна), «песни дикарей», творениям, которые созданы «следуя правилам»: «...чем более диким, то есть более живым, чем более свободным в своей деятельности является народ... тем более дикими, то есть живыми, свободными, чувственными, лирическими и исполненными действия, должны быть и песни его, если только у него вообще есть песни. Чем дальше народ от искусственного, ученого образа мыслей, ученого искусственного языка и книжности, тем меньше мысли его подходят для бумаги, для того чтобы быть мертвыми, книжными виршами...»[32]

«Рассуждение» обнаруживает знакомство Державина с работами Гердера (7, 601, 603, 604, 630). Можно с большой долей вероятия полагать, что ему была известна и принципиальная работа Гердера «Извлечения из переписки об Оссиане и о песнях древних

[32] Гердер. С. 27—28.

народов», опубликованная в 1773 г., откуда и взята нами цитата, удивительно напоминающая размышления Державина.

Однако стремление к регламентации и нормативности, характерное для классического мышления, все же сказывается у Державина в том, что и начиная и заканчивая первый раздел романтическими размышлениями о роли вдохновения, в середине его он предлагает читателям двадцать один вид вдохновения: высокость, лирический беспорядок, краткость, олицетворения, картины, перескок, околичности и т.д. и т.п.

Вторая часть «Рассуждения» посвящена жанрам лирической поэзии. Державин рассматривает их в историческом ряду: греки, Рим, арабы, сарацины, норманны, новгородские жрецы, христианская церковная поэзия; параллельно церковной развивается во времени светская лирика: скальды, «Слово о полку Игореве», трубадуры, Данте, Петрарка, Бокаций (Боккаччо).

Третья часть продолжает жанровое рассмотрение лирической поэзии, но уже Нового времени. Она названа «Продолжение о лирической поэзии» с подзаголовком «Новейшая поэзия». Здесь речь идет о кантате, мадригале, сонете, триолете, рондо, серенаде, оратории, опере, романсе, балладе, стансе и песне. Особенно пристальное внимание Державин уделяет опере и песне. Внимательное рассмотрение этих разделов приводит его к любопытным размышлениям об исторической эволюции внутри жанра. Мысли эти высказаны не очень четко, тем не менее поэт говорит о возникновении оперы из греческой трагедии («есть не что иное, как подражание древней греческой трагедии» — 7, 606), с которой опера имеет много общего: «Там также разговоры препровождались музыкою, как и в ней речитативы, только известными тонами: равно лирические стихи пелись хорами, но тоже уставными» (7, 606).

В разделе «О песне» особое внимание уделено произведениям русского фольклора. Здесь Державин опирается на книгу Шишкова «Разговоры о словесности» (1811), которую он называет «с великой основательностью писанной» и «которая действительно является первоклассной для своего времени работой по поэтике русского фольклора»[33]. Романтический принцип ценности любой самобытной культуры применен Державиным для анализа произведений отечественной народной словесности, которые «ближе к природе,

[33] См. об этом подробнее в главе «Изучение фольклора в “Беседе любителей русского слова”».

нежели... к искусству» (7, 612), т.е. истинно оригинальны именно потому, что не опираются ни на какие искусственно выработанные правила: в них «видно не только живое воображение дикой природы, точное означение времени, трогательные, нежные чувства, но и философическое познание сердца человеческого» (7, 612—613).

В четвертой части «Рассуждения» автор переходит к рассмотрению лирической поэзии (т.е. оды, по терминологии Державина) в целом. Регламентирующий характер нормативной эстетики снова вступает в свои права, и Державин излагает «четыре главные статьи», на которые разделяется ода у французов: духовная, героическая, философская, общежительная — или у немцев: размыслительная, или философская; фантазическая (воображательная), или описательная; чувственная, или чувства одни изображающая; смешанная, амбеическая, или перекличная (л. 102—102 об.)[34]. Далее Державин приводит примеры различных типов оды, нарушая всякую историческую перспективу, ставя рядом в качестве примера «перекличной», или «амбеической», оды отрывки из «Ермака» И.И. Дмитриева и перевод из «индийского брамина Шри Бгарат Чондро Рая» (л. 112—112 об.)[35]. Однако сам этот принцип схоластического деления по содержанию, чувствуется, не удовлетворяет автора, и он, иронизируя над самим собой, предлагает еще более мелкие деления: гениатлетическая, или на день рождения, эпиталамическая, или на бракосочетание, и пр. Недовольство нормативной поэтикой еще отчетливее звучит в подготовительных материалах к «Рассуждению». Заканчивая рассказ о главных подразделениях оды, автор не без иронии добавляет: «Но если употреблять педантское или *школьное разделение*, то можно прибавить (если угодно)» — далее идет подчеркнуто мелочное деление на: апобатерическую (от отъезжающих в путь к остающимся), эпибатерическую (возвратившимся в отечество), сотерическую (оду на выздоровление), эвхаристическую (за благодеяние чье-либо признательность изъявляющую), еоническую (по прошествии века или на новое столетие), симпозиатическую (или великолепный пир описывающую), просевтическую (или просительную) и т.д. и т.п. Закончив этот

---

[34] ОР РНБ. Ф. 247. Т. 5. В дальнейшем ссылки на эту рукопись даются в тексте. Ср.: Западов 1989. С. 290—291.

[35] Западов 1989. С. 300—301, 315, 316. Этот перевод был доставлен Державину известным путешественником, первым русским индологом Герасимом Лебедевым. К материалам Лебедева Державин обращался не раз. См.: Альтшуллер 1963. С. 126—129.

длинный перечень, Державин со злобой пишет: «И прочие школьные враки, на которые прежде разделяли всю вообще поэзию» (л. 189 об.)[36].

Державин предлагает ввести другой принцип классификации лирических произведений, в основе которого должна, с его точки зрения, лежать творческая индивидуальность крупнейших поэтов. Героическую оду следует называть Пиндарической, философскую — Горацианской, любовную — Сафической, «роскошную, веселошутливую» — Анакреонтической, «меланхолическую, высокоунылую» — Оссиянской. При всей наивности подобной классификации следует отметить романтический принцип творческой индивидуальности, лежащий в ее основе. Вместе с тем предлагаемая классификация содержит и какой-то зародыш исторического построения, поскольку автор рассматривает историю поэзии во времени и пространстве: от Греции до Каледонии, от Пиндара до Оссиана. Не случайно против предлагаемой Державиным схемы решительно восстал его литературный советник, традиционно мысливший митрополит Евгений: «...разделение по материям весьма естественно. А ваше разделение по песнопевцам вовсе не годится» (6, 354).

Державин пытался что-то смягчить, переделать, однако неуемный темперамент поэта брал свое, и он поверх зачеркнутых строк беловой рукописи писал: «...те наименования, или особые отделы песен более есть умничество или чванство педагогов в познании из древности, нежели прямая надобность...» (л. 115 об.)[37]. В конце концов Державин зачеркнул все, что касалось предложенной им классификации по поэтическим индивидуальностям, и написал Евгению: «...педантские разделы лирических стихотворений я не очень уважаю, но чтоб не поднять всю ораву школ на себя, переменяю, несколько только касаясь» (6, 382).

Однако уступка общепринятой точке зрения была мнимой. Изложив вначале «педантские разделы», общий обзор лирической поэзии Державин построил по другому, историческому принципу.

В уже упоминавшихся подготовительных материалах-конспектах к «Рассуждению», представляющих собою сшитую тетрадь в 20 страниц большого формата, дан исторический очерк развития мировой поэзии, вкратце имеющий следующий вид: еврейская

[36] Ср.: Западов 1989. С. 304, 315.
[37] Ср.: Там же. С. 315.

поэзия, греки, «новые лирические стихотворцы» (в этом разделе говорится о ранней христианской лирике, а затем о средневековой; сюда же входят произведения «Баяна, барда Олегова», шотландские барды и Оссиан), арабские стихотворцы, начиная с VII в., затем «начало европейской словесности и стихотворства с 1100 года по Р.Х.», потом «настоящие лирики правильные» (итальянцы, французы, немцы и голландцы), азиатские поэты, обзор заканчивают русские и польские лирики (л. 187—207 об.).

Так с некоторыми нарушениями и отклонениями Державин строит *хронологическую* схему развития мировой поэзии. Идея такого построения истории мировой литературы, возможно, была подсказана Гердером, у которого в «Письмах о поощрении гуманности» («Briefe zur Beförderung der Humanität»; письма 81—90) дается «краткий очерк истории литературы христианских народов со Средних веков до современности — своего рода конспект истории мировой литературы»[38]. Державин в «Рассуждении» несколько раз ссылается на эту книгу Гердера (он называет ее «О подкреплении просвещения»), именно на тот самый седьмой раздел, который содержит письма 81—90 (7, 601, 603, 504). В этом разделе речь идет об упадке культуры у греков и римлян, о ранних христианских гимнах — в значительной степени о тех явлениях, к которым обращается в своем разборе Державин[39].

В беловом тексте автор «Рассуждения» отошел от строго хронологической схемы, которая подсказывалась ему Гердером. Упомянув о еврейской оде, Державин переходит к разбору оды, называемой им *Пиндарической*, т.е. в какой-то степени возвращается к классификации по творческой индивидуальности крупнейших поэтов, затем идет ода *Горацианская*, при этом в качестве примера пиндарической и горацианской оды приводятся примеры, взятые и из современной русской поэзии, тем самым исторический принцип явно нарушается, и имена Горация и Пиндара выступают как эквиваленты отвергнутой Державиным классификации по семантическому признаку. Однако стоящая за этими именами национальная культура не исчезает, и в сознании читателя не утрачивается хронологическая нить повествования сначала о греческой (Пиндар), затем о римской (Гораций) поэзии. Не случайно к рассказу о горацианской оде приложена таблица подлинных гораци-

[38] *Жирмунский В.М.* Жизнь и творчество Гердера // Гердер. С. 11.
[39] Herder. S. 7—72.

анских размеров, составленная для Державина Александром Котельницким (л. 118—123 об.).

После античных од Державин помещает большой пассаж о восточной поэзии, объясняя включение его в свой рассказ принципами исторического повествования — восточная поэзия предваряет европейскую, поэтому о ней необходимо поведать читателю: «Поелику ж Египтяне, Евреи, Индейцы, Персы и прочие восточные народы не могут не почесться древнейшими Греков и Латинян, от коих в средние века, как многие писатели уверяют, на западе Барды, а на севере Скальды принесли образцы песен к Цельтам, Германам, Англосаксам, Исландам, Каледонянам и Скандинавам, то и скажу я нечто для любопытных о формах Индейских Браминов, Аравлян, Персов, Грузин и Скандинавских Скальдов» (л. 124).

Нам нет нужды опровергать идею зависимости скандинавской или древнегерманской поэзии от персидской или китайской. Важно, что Державин, несмотря на все противоречия, придерживается все-таки исторической, в основе своей гердеровской точки зрения. На последующих страницах действительно дается обзор основных стихотворных форм индийской, арабской и персидской, грузинской, скандинавской, китайской поэзии.

Заканчивается трактат Державина незавершенным анализом русской поэзии и ее основных стихотворных размеров: «Весьма предосудительно бы было, ежели б, говоря о формах песен иностранных, не сказал я ничего о российских» (л. 130).

Таким образом, в работе Державина, основателя «Беседы», ближайшего сподвижника Шишкова, были высказаны важнейшие романтические идеи о вдохновении как определяющем начале творческого процесса, о принципе исторического развития искусства и отсюда, как и у Шишкова, о принципиальной значимости, ценности самобытных национальных культур.

Эти положения оказали глубокое влияние на все теоретическое, публицистическое, художественное творчество «беседчиков».

Глава 2

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЭМА

РУССКАЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЭМА И ПЕРЕВОД «ИЛИАДЫ» Н.И. ГНЕДИЧЕМ

Шишков в своей «Речи при открытии “Беседы любителей русского слова”» совершенно справедливо утверждал, что новая русская литература, «третия словесность наша», взятая от «чужих народов», появилась в России лишь в XVIII в. и «процветает не более одного века» (4, 141—142).

Быстро усвоив господствующую в европейской литературе систему классицизма, молодая русская поэзия поставила перед собой задачу создания национальной эпической героической поэмы — вершины литературной иерархии в поэтике классицизма, как «Энеида» у римлян, «Генриада» у французов, «Лузиады» у португальцев, «Мессиада» у немцев и т.д.

Первой такой попыткой стала незаконченная (только первая книга) «Петрида, или Описание стихотворное смерти Петра Великого, Императора Всероссийского» (1730) Антиоха Кантемира. Это, по существу, еще не была героическая поэма — лишь своеобразный подступ к ней. Ивтор восхваляет деяния великого императора и олицетворяет злые силы в образе болезни «странгурио», которую «запором мочи россы... звать стали»[1].

Гораздо более значительным явлением стала поэма Ломоносова «Петр Великий» (1756—1761), построенная по всем правилам классической эпопеи: важное историческое событие, величественный, благородный герой, мифологический элемент, отступления в про-

[1] Кантемир. С. 245.

шлое, торжественный «высокий» стиль и пр. Однако и Ломоносов оставил поэму неоконченной: были написаны две первые песни.

Задача создания русского классического эпоса была выполнена Херасковым, который впервые в России, следуя за Буало, четко сформулировал основные черты героической поэмы классицизма: «Эпическая поэма заключает какое-нибудь важное, достопамятное, знаменитое приключение, в бытиях мира случившееся и которое имело следствием важную перемену, относящуюся до всего человеческого рода...» В качестве примера такого творения Херасков называет поэму Мильтона «Погубленный рай». Однако, говорит далее Херасков, эпическая поэма может повествовать не только о судьбах человечества, но и воспевать «случай, в каком-нибудь государстве происшедший и целому народу к славе и успокоению, или, наконец, ко преображению его послуживший, — такова должна быть поэма “Петр Великий”, которую, по моему мнению, писать еще не время». Херасков по праву с гордостью утверждал, что его поэма «есть первая на нашем языке». Действительно, его «Россиада» (1779) повествовала о важном для истории России событии — взятии Иваном Грозным Казани: «Горе тому Россиянину, который не почувствует, сколь важную пользу, сколь тишину и сколь великую славу приобрело наше отечество от разрушения Казанского царства! Надобно перейти мыслями в те страшные времена, когда Россия порабощена была татарскому игу ... и вдруг вообразить Россию, над врагами своими торжествующую, иго мучителей своих свергшую...»[2] Поэма, изображавшая величественного, знаменитого героя (Ивана Грозного в первый, благополучный, период его царствования), включала, по совету Буало, мифологические элементы, чудеса и пр. Была написана «высоким стилем», состояла из 12 песен.

Основной пафос деятельности «Беседы» заключался в проповеди высокой учительной роли литературы. Важнейшей целью изящной словесности, с точки зрения Шишкова, было сохранение для потомства деяний предков и тем самым воспитание мужества, героизма, любви к отечеству и славолюбия: «Каким образом по сие время гремят у нас имена и подвиги Агамемнонов, Ахиллов, Аяксов? Стихотворство сделало их бессмертными и, может быть, оно же преисполнило их великостию духа: ибо хотя и кажется, что сама

[2] *Херасков М.* Творения. М., 1796. Ч. 1. С. 17—18 отдельной пагинации («Взгляд на эпические поэмы»).

природа влагает в нас огнь смелости и мужества, однако же в какой славолюбивой душе не воспылает, не умножится сей огнь при чтении в Гомере подвигов Ахилла и Гектора?» (4, 115—116).

Естественно поэтому, что в «Беседе» почитались важные эпические жанры. Однако к началу XIX в. становилось совершенно ясно, что не только русские эпические поэмы (Ломоносова, Хераскова), но и вообще поэмы классицизма с их искусственным пафосом, холодно рассчитанной композицией, обязательной системой правил безнадежно устарели.

Романтическое мышление требовало от автора не искусного расчета, а спонтанного вдохновения, и в эпических поэмах прошлого стало цениться непосредственное выражение духа народа. С этой точки зрения истинно эпическими поэтами могут считаться прежде всего Гомер и Оссиан, и особенно первый. Именно к гомеровским героям обратился Шишков, чтобы показать великое значение художественного слова. Не случайно, что и сам он переводил Гомера, хотя и прозой и с английского (см. главу о «Слове о полку Игореве» в «Беседе»).

Полного перевода «Илиады» в русской литературе к началу XIX в. не существовало. Лучшим считался незаконченный (первые восемь с половиной песней) перевод Е.И. Кострова, выполненный в основном в духе традиций французского классицизма александрийскими стихами (шестистопный ямб) с парной рифмой[3].

Николай Иванович Гнедич, молодой поэт (родился в 1784 г.), решил закончить грандиозное предприятие Кострова. Решение было принято, вероятно, в 1806 г., так как уже в начале 1807 г. он с большим успехом читал переводы 7-й и 8-й песней на литературных вечерах, предшествовавших образованию «Беседы любителей русского слова» (9 марта у А.С. Хвостова, 16 марта у Шишкова). Естественно, что предприятие Гнедича вызвало самый оживленный и благожелательный интерес в кругу будущей «Беседы». «...перевод мастерский, с греческого подлинника, и, по общему мнению, ничем не хуже перевода первых шести песен Кострова, которого Гнедич может назваться достойным подражателем. Слушатели были в восхищении», — писал современник[4].

В 1809 г. Державин зовет к себе Гнедича «откушать и прочесть охотникам Федру мою... а ежели бы принесли с собою и Гомера

[3] Егунов. С. 89—107.
[4] Жихарев. С. 408—435.

вашего, то, может быть, имели время сладостию песен ваших облагоприятствовать вопли моей неискусной Мельпомены...». И, кажется, в то же самое время, может быть, в те же дни, снова посылает Гнедичу несколько строк: «Завтра, Николай Иванович, прошу вас часу в 7-м вечеру пожаловать ко мне, с тем чтобы ехать вместе к князю [Б.В.] Голицыну, который вас убедительно просит и с Илиадою» (6, 232—233). Оба письма не датированы, но, судя по тому, что Гнедич упоминает о чтении державинской «Федры» в письме к Батюшкову от 6 декабря 1809 г., дело происходит, вероятно, в ноябре этого года[5]. В тоже недатированной, но, возможно, относящейся к тому же времени записке Шишков, в отличие от несколько категоричного тона Державина, почтительно приглашает к себе молодого поэта, не для чтения своих произведений, а чтобы попотчевать переводом Гнедича знаменитого своего друга Н.С. Мордвинова: «Милостивый государь мой Николай Иванович. Николай Семенович севодня никуда не поедет; итак, ежели б вы могли пожаловать ко мне часу в восьмом или хоть и прежде, а буде что задержит, так и в девятом или десятом часу еще не поздно, мы почитали <бы> ему перевод ваш Гомера. Пребываю с истинным почитанием ваш милостивого государя моего покорный слуга А.С. Шишков»[6].

Естественно в такой ситуации ожидать появления имени Гнедича в «Беседе любителей русского слова». Этого, однако же, не произошло. Гнедич, несмотря на успехи в кругу «беседчиков», относился к своим чиновным покровителям с достаточной долей иронии. В письме Батюшкову от 6 декабря 1809 г. он писал: «Славенофилы распяли меня; тискают Илиаду и меня с нею; говорят мне то, что заставляет даже подозревать, не хотят ли они уестеств<ить> меня». К слишком почтительным молодым людям, искавшим расположения вельмож, Гнедич относился с нескрываемым презрением: «...у Шишкова я одному из членов славенофилизма приказывал подать мне стакан воды, почитая его лакеем; в доме Державина у одного из его юных поклонников спросил: куда у них на двор ходят? почитая его тоже лакеем»[7].

Впрочем, и к самому вельможному поэту он тоже не испытывал пиетета. Державин, как известно, в последние годы жизни стра-

---

[5] Гнедич 1974. С. 85.

[6] Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1895 г. СПб., 1898. Приложение. С. 45—46.

[7] Гнедич 1974. С. 84.

стно увлекался драматическими жанрами и очень любил слушать свои произведения в исполнении молодых и искусных чтецов. Так, С.Т. Аксаков в своих воспоминаниях рассказывает, как он с упоением, забывая себя и плохо понимая прочитанное, читал Державину его трагедию «Ирод и Мариамна». Читал он и «Федру», упоминаемую в письме к Гнедичу, и «Евпраксию», и «Сумбеку», и другие трагедии. И чтец и автор так возбуждались во время чтений, что оба заболели. История обросла шутками и забавными подробностями: «Говорили, что я зачитал старика и сам зачитался и что мы оба принуждены были не шутя лечиться... что какой-то приезжий, сумасшедший декламатор и сочинитель едва не уморил старика Державина чтением своих сочинений...»[8]

В отличие от восторженного восемнадцатилетнего Аксакова, Гнедич не обольщался ласками престарелого вельможи. В уже цитированном письме Батюшкову он пишет о чтении только что (27 августа 1809 г.[9]) законченной Державиным «Федры»:

> «Любя б ее хотел, но был не в силах *стрясть*...
> Подай его сюда, чтоб я *употребила*...
> Не в силах Бога морь напрящь коней возница...
> Прийми его, Княжна, прийми ты благосклонней,
> Язык любови мне совсем есть посторонний.

Не станут ли у тебя волосы дыбом, когда скажу, что это стихи из Расиновой Федры, переведенной Державиным; и 50 человек слушателей, пред которыми я, несчастной, должен был читать всю трагедию, все единогласно провозгласили, что нет ни одного стиха в переводе, который бы не превосходил силою и красотою оригинала <...> Ты, может быть, не веришь мне? Долго и я не верил ушам своим и не знал, где я?.. Наконец, новое чтение его уже оригинальной трагедии Василий Темный привело меня в такое состояние, что я уже ничему не мог удивляться и желал бы забыть все, что я слышал и видел; но безбожный Василий сряду уже две ночи мне снится — ужасно! Мой друг, ужасно!»[10]

Память не изменила Гнедичу, и он почти точно процитировал несообразности державинского стиля. В контексте «Федры» приве-

---

[8] Аксаков, 2. С. 328.
[9] См.: Державин, 4. С. 646.
[10] Гнедич 1974. С. 85.

денные Гнедичем строки звучат следующим образом (они выделены курсивом):

Мне скучен стал мой меч, копье и колесница,
Слаб возжи Бога волн напрящь его возница,
И праздные кони уж мой забыли глас,
Лишь стон в лесах шумит, не клик мой разносясь.

Не дик уж ты, не груб, и несколько уж дней
На колесницах вскачь не мчишься близ морей;
И бурных жар коней над шумными волнами
Искусством *Бога морь* ты не кротишь браздами.

Сей Узник для твоих суров нежнейших уз. —
И для того прими его ты благосклонней,
Что мне язык любви совсем есть посторонней.
Царевна! Слабо им я естьли говорю,
Познай, ты первая, которою горю.

Нет, честь моя сразить непокоримый дух,
Из твердыя души извлечь потоки слезны,
Цепь вздеть на узника, чтоб, ею изумленный,
Любя ее, хотел и был не в силах стрясть.

Наконец, не лишенная двусмысленности строка: «Подай его сюда, чтоб я *употребила...*» — оказывается, имеет в виду меч Ипполита, которым хочет заколоться Федра:

Рази! Но думаешь, коль сей не стою чести,
Не заслужила коль сей легкой сладкой смерти
Иль мерзкой кровию не хочешь рук омыть,
Меча мной своего страшишься обагрить,
Подай сюды его, чтоб я употребила,
Над Федрою сама казнь Федра совершила,
Подай! — (вырывает меч)[11].

Как видим, злая ирония Гнедича по поводу художественных достоинств трагедии имела под собой некоторые основания. Про-

[11] РО ПД. Ф. 96 (Державин). Оп. 1. №33. Л. 5, 13 об.,15 об.—16, 19 об.—20.

шел год, и она превратилась в неприкрытое раздражение, когда «Беседа» начала официальное свое оформление как высочайше утвержденное литературное сообщество.

«Беседа» состояла из четырех разрядов, которые включали членов и членов-сотрудников. Первые в основном были людьми пожилыми, именитыми, чиновными. Вторые — молодыми, начинающими, незнатными и небогатыми. Гнедич был бедняком, малороссом сомнительного дворянского происхождения, человеком самолюбивым и замкнутым. Одноглазый, с лицом, изрытым оспой («...вовсе невзрачен собою: крив и так изуродован оспою, что грустно смотреть»[12]), нечиновный, зависящий от расположения начальников и покровителей, Гнедич, как и многие разночинцы, обладал обостренным чувством собственного достоинства и не боялся вступать в конфликты с сильными мира сего. Свою независимость, прямоту, честность он щепетильно сохранял и в литературных отношениях. Вяземский с уважением писал: «Гнедич держался всегда без страха и без укоризны. Он высоко дорожил своим званием литератора, носил его с благородной независимостью. Он был чужд всех проделок, всех мелких страстей и промышленности, которые иногда понижают уровень, с которого писатель никогда не должен бы был сходить»[13].

О «резком нраве» Гнедича, который тот выказал даже своему другу, непосредственному начальнику и неизменному покровителю А.Н. Оленину, вскользь упоминает в своих отрывочных заметках дочь его Варвара[14].

Какие-то трения возникли, видимо, с самого начала. 6 декабря 1810 г. Державин настоятельно приглашает Гнедича в свой разряд членом-сотрудником. Он упоминает в письме какое-то нездоровье Гнедича, по-видимому дипломатическое, которое не позволяет адресату посетить вельможу. «По крайней мере, — пишет Державин, — прошу меня уведомить, угодно ли вам быть в нашем обществе, дабы я уже мог уже считать вас в моем разряде» (6, 234). Он считает свое предложение достаточно почетным для молодого человека и, видимо, осведомленный о каких-то осложнениях, добавляет: «Я бы вам советовал не отказываться».

Гнедич в тот же день отделывается суховатым ответом, ссылаясь на мнимое нездоровье и демонстративно отказываясь от учас-

[12] Жихарев. С. 406.
[13] Вяземский 2003. С. 444—445.
[14] См.: Альтшуллер 1973. С. 213.

тия в дебатах о своем членстве: «...нездоровье и теперь удерживая меня от выездов, лишает удовольствия приехать к в<аше>му в<ысоко>пр<евосходительству>. Для переговоров по словесности мне неизвестных, которые, производясь толиким числом приглашаемых особ, ни моим отсутствием не расстроятся, ни моим присутствием не получат лучшего успеха»[15].

Вспыльчивый, упрямый, не привыкший к возражениям вельможа явно сдерживает свой темперамент и продолжает уговаривать строптивого молодого человека. На следующий день, 7 декабря, он пишет: «...не опасайтесь, дарования ваши мы знаем и их достаточно будет на то употребление, которое не для меня, но для общей пользы предприемлется. Притом вы и не затруднитесь. ...через три месяца раз прочесть что-либо, не токмо свое сочинение, но и чужое, кажется, не трудно». Далее Державин терпеливо разъясняет, что участие в «Беседе» важно для карьеры молодого литератора: «Вы спознакомитесь с первыми людьми в империи нигде лучше талантов своих открыть не можете как тут. ...Если вы согласны, то подпишите на приложенной бумаге при 9-м № свое имя...» (6, 235).

Ф.Ф. Вигель в своих мемуарах замечал, что «Беседа в распределении мест держалась более табели о рангах, чем о талантах». И действительно, во втором разряде под председательством Державина членами были чиновные, именитые, правда, известные и своими литературными трудами люди: И.М. Муравьев-Апостол, знатный, богатый, образованный, знаток античности и переводчик античных авторов (немного позднее он прославился как автор «Писем из Москвы в Нижний Новгород»)[16]; А.Ф. Лабзин, известный масон, издатель журнала «Сионский вестник», крупный чиновник; Д.О. Баранов, крупный чиновник (с 1817 г. тайный советник и сенатор), переводчик и поэт-дилетант; и, наконец, имевший скорее отрицательную известность Д.И. Хвостов, поэт-графоман, но человек богатый, чиновный, с графским титулом. Эти люди, конечно, уступали Гнедичу в литературном таланте, но значительно превосходили его возрастом и общественным положением. Среди членов-сотрудников перед Гнедичем (он был на девятом месте) стояли: Ф.П. Львов, Е.И. Станевич, Н.И. Язвицкий, Н.И. Ильин. Львов, поэт-дилетант, знаток музыки, был своим человеком в доме Державина. Его второй жене Державин диктовал «Объяснения...» к своим стихам, переписывался с ним. Видимо, поэтому Львов и попал

[15] Цит. по: Державин, 6. С. 235.

[16] Обстоятельную его биографию см.: Кошелев.

в его разряд. Станевич, поклонник Шишкова, преданный и льстивый почитатель Державина, бездарный поэт (Воейков изобразил его в «Доме сумасшедших»; над ним в тюремном дневнике смеялся Кюхельбекер[17]); Язвицкий — преподаватель, третьестепенный поэт, переводчик «Слова о полку Игореве», автор нескольких книг по теории литературы. О нем нам немного придется говорить в дальнейшем. Наконец, восьмым номером, по-видимому, шел Ильин, слабый драматург сентиментального направления, усердный чиновник, прославившийся пьесой «Лиза, или Торжество благодарности» (1802) по мотивам повести Карамзина.

Найдя себя в списке почти на последнем месте, после вельмож и крупных и мелких чиновников, Гнедич не на шутку рассердился и, отбросив дипломатические ссылки на нездоровье, высказался начистоту, ответив Державину длинным и язвительным письмом, которое заканчивалось категорическим отказом принимать участие в обществе: «Когда общество составляется не по жребию, не по чинам, но по избранию; то и натурально, что всякий избранный смотрит на достоинство места, какое дается ему. Из порядка, каким написаны имена г.г. членов второго разряда, я заключаю, что они расставляются по чинам. Отдавая всю справедливость и уважение заслугам по службе, я тогда только позволю видеть имя свое ниже некоторых гг., после каких внесен я в список, когда дело будет идти о чинах.

Так как в<аше> в<ысоко>пр<евосходительство> позволили мне иметь честь именоваться вашим Сотрудником, то я, умея ценить честь сию, и прошу позволения видеть себя как в списке гг. Членов, так и в других случаях по бумагам Атенея под именем: *Член Сотрудник его высокопревосходительства Державина*. Когда ж сие покажется непристойною отличительностью, то я приму на себя обязанности Атенея просто под именем члена, но не Сотрудника.

Если ж на это или не дадут согласия гг. Члены, или не буду я в праве по моему чину; то в обоих случаях мне ничего не остается кроме заслуживать еще и лучшее о себе мнение и больший чин — Николай Гнедич»[18].

---

[17] Воейков: «Злому критику отмстите, // Мой из бронзы вылив лик, // Монумент соорудите: // Я велик, велик, велик!» (Поэты 1790—1810-х. С. 299); Кюхельбекер: «От доброго сердца хохотал я, перечитывая басню Евстафия Станевича; спрашиваю, кто не рассмеется при стихах: “Дон! Дон! // Печальный звон! // Друзья, родные плачут, // А черви скачут» (Кюхельбекер 1979. С. 172).

[18] Цит. по: Державин, 6. С. 236.

Получив это письмо, вспыльчивый и нетерпеливый Державин, однако же, снова сдержал себя и продолжал уговаривать неуступчивого корреспондента, свалив возникшее недоразумение на Д.И. Хвостова: «Будьте удостоверенным, милостивый государь мой Николай Иванович, что хотя на письме и наимяновал вас г. Хвостов просто сотрудником, но вы есть, как и он, член. Имя ваше, кроме первых четырех, старших вас чином, в списке выше других помещено будет, и вы моим останетесь собственно, когда угодно вам, сотрудником»[19].

Итак, Державин, кажется, удовлетворил все требования молодого строптивца: назвал его членом, поставил на пятое место (в разряде могло быть и пять членов[20]). Однако эта первая пятерка, как писал Державин, все же располагалась по чинам. Видимо, это больше всего и раздражало Гнедича. Молодой поэт закусил удила. Его обращение ничуть не походило на тот почтительный и робкий тон, с каким держали себя члены-сотрудники. Вот только один пример — письмо Н.И Ильина, занявшего, после отказа Гнедича, восьмое место в державинском разряде. Ему было в 1811 г. 33 или 35 лет: «Глубочайшее почтение, которым преисполнена душа моя сколько к величайшему Вашему гению, не менее того собственно к особе в<ашего> в<ысоко>п<ревосходительст>ва, побуждает меня вручить вам себя совершенно; и членом ли сотрудником быть мне в Беседе почтеннейших любителей Российского слова, или чем иначе, лишь бы только согласно с волею в<ашего> в<ысоко>п<ревосходительст>ва, я все то вменяю себе в особенную честь»[21].

На фоне такого подобострастия поведение Гнедича выглядело вызывающим, и маститый поэт, бывший министр, важный вельможа наконец не выдержал. Он вообще во время всей этой истории долго проявлял совершенно несвойственную ему кротость и выдержку. (О «нетерпении, вспыльчивости» Державина, его «неумении владеть собой» рассказывает Аксаков в своих заметках «Знакомство с Державиным»[22].) Врожденный темперамент, нетерпение, сознание собственной значительности, оскорбленное самолюбие — все это, наконец, вылилось в громкий публичный скандал. Предоставим слово самому Гнедичу: «Гаврила Романович, съехавшись

[19] Отчет Имп. публичной библиотеки за 1895 г. СПб., 1898. Приложение. С. 5.

[20] См.: Чтение, 1.

[21] Цит. по: Державин, 6. С. 244 (письмо от 29 марта 1811 г.).

[22] Аксаков, 2. С. 331.

один раз со мною у князя Бор<иса> Голиц<ына>, выгнал меня из дому за то, что я изъявил нежелание быть сотрудником общества. Не подумайте, что сказка. Существенное приключение, заставившее в ту минуту думать, что я зашел в кибитку Скифов»[23].

Гнедич был глубоко оскорблен и не поддавался даже уговорам близкого своего друга Батюшкова, который писал: «...в ликее есть Штаневич, но есть и Шишков, есть Шихматов, но есть и Державин, есть Хвостов, но и Дмитриев там же! Что ж более? <...> Что же касается до поступка нашего Лирика, то я его считаю за пифийское исступление; ему все простительно, затем что он написал “Ирода” и “Фелицу” (две пиесы, которые дают право дурачиться), затем что ему 60 лет, затем что он истинный гений и... не смею сказать враль!»[24]

Гнедич резко отверг все попытки примирения. Гордость и оскорбленное самолюбие, справедливо высокая оценка своих литературных способностей не позволяли ему примириться с второстепенной ролью в литературном сообществе: «Спасибо за совет поставлять мне за честь облизывать тарелки там, где Дмитриев обедает. Он попечитель общества, Шишков председатель, Шихматов член, а я должен поставлять себе в честь с Штаневичем быть сотрудником общества. ...ты мне советуешь кончить эти глупости, в ту же минуту мною конченные удалением от беснующагось. Он жаловался на меня министру, и, как сказывал мне Уваров, сам им обвинен» (письмо от 21 марта 1811 г.). Одними жалобами Державин не ограничился. Как выясняется из письма Гнедича, он, «пишучи о поэзии рассуждение, привел в пример о гимнах мой гимн Минервы, а после приключения — вымарал его»[25].

Жуковский полагал, что его крупная ссора с Державиным в значительной степени произошла из-за Гнедича. Как известно, Державин разозлился на то, что Жуковский в изданном им «Собрании русских стихотворений...» перепечатал «во множестве» его стихи —«вмещенными между такими, с которыми бы я на ряду и быть не желал» (6, 242). Это письмо Державина датируется 18 марта 1811 г., т.е. временем после ссоры с Гнедичем, и Жуковский в пространном письме к А.И. Тургеневу раскрывает грубый намек в кон-

---

[23] Цит. по: Державин, 6. С. 232—233 (письмо к В.В. Капнисту от 25 августа 1811 г.).

[24] Батюшков 1989. Т. 2. С. 156—157 (письмо от 13 марта 1811 г.).

[25] Гнедич 1974. С. 90—92.

це державинской фразы: стихи, с которыми маститый поэт «на ряду и быть не желал», принадлежали Гнедичу. «Пламенный Державин под старость лет сделался только вспыльчивым; в поступках его тот самый сумбур и беспорядок, который в его одах. <...> Я, — продолжает Жуковский, — почти догадываюсь, что его так против меня взбесило. Он выгнал Гнедича из дому к<нязя> Б<ориса> Г<олицына>, а в первом томе моего собрания его «Вельможа» стоит подле пьесы Гнедича «Скоротечность юности». Как же быть оде Державина в одном томе с одою Гнедича, когда сам Державин не хотел быть в одном доме с Гнедичем: том и дом почти одно и то же»[26].

Как видим, поступок Гнедича стал широко известен в писательских кругах. Современники оценили независимость и чувство собственного достоинства, проявленные молодым поэтом. «Сегодня вбегает ко мне Иванов, которого ты, конечно, помнишь, вбегает и кричит: "Виват, Гнедич" Я удивился, спрашиваю его о причине восклицания, и он мне рассказывает твою историю с Державиным. Он в восхищении от твоего поступка, говорит, что ты достоин алтарей и проч.», — писал Батюшков Гнедичу в первой половине апреля 1811 г.[27]. Речь идет о поэте и драматурге Ф.Ф. Иванове, человеке демократических убеждений и авторе произведений, исполненных высокого гражданского пафоса[28].

Видимо, тогда же (весной 1811 г.[29]) Гнедич написал один из самых резких памфлетов, направленных против «Беседы любителей русского слова», хотя остроумных и язвительных насмешек над ней было очень много. Памфлет называется «Символ веры в Беседе при вступлении сотрудников» и представляет собою детальную, последовательную и демонстративно кощунственную перелицовку «Символа православныя веры»[30]. Место Бога Отца здесь занимает основатель «Беседы»: «Верую во единого Шишкова, отца и вседержителя языка Славеноваряжского...»[31]. Место Христа («Верую... во

[26] Письма В.А. Жуковского к А.И. Тургеневу. М., 1895. С. 90—92.

[27] Батюшков 1989. Т. 2. С. 162.

[28] Его биографию, написанную Ю.М. Лотманом, см.: Русские писатели 1800—1917. Т. 2. С. 384—385.

[29] Такова вполне основательная датировка, предложенная О.А. Проскуриным (см.: Арзамас, 1. С. 514).

[30] Известный в рукописи памфлет Гнедича был запрещен цензурой даже в 1884 г. и появился в печати только после революции (1933). См.: Арзамас, 1. С. 514.

[31] Арзамас, 1. С. 164—165. В дальнейшем все цитаты из «Символа веры...» приводятся по этому изданию.

единого Господа Иисуса Христа Сына Божия единородного, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша») — ученик Шишкова князь Сергий Ширинский-Шихматов: «И во единого господина Шихматова, сына его единородного, иже от Шишкова рожденного прежде всех, от галиматьи галиматья, от чепухи чепуха, рожденная, несотворенная, единосущная, ею же вся пишется...» М.Т. Каченовский откликнулся в 1810 г. на программное стихотворение Шихматова «Возвращение в отечество любезного моего брата...» злой и остроумной рецензией, имевшей шумный резонанс из-за отсылки к ней в скандальной поэме В.Л. Пушкина «Опасный сосед»[32]. Поэтому Понтий Пилат («Распятого же за ны при Понтийстем Пилате и страдавша и погребенна») становится у Гнедича Каченовским, виновником страданий Шихматова, «вышедшего из морского корпуса мичманом; распятого же зане при мучителе Каченовском и страдавшего, и погребенна с писаниями».

Так, по остроумным и точным наблюдениям О.А. Проскурина, «Беседа» у Гнедича превращается в некий антисакральный, извращенный мир, где истинные ценности подменяются ложными, где вместо Божественного «Света от Света» насаждается от галиматьи галиматья, от чепухи чепуха, и все сообщество превращается в некое дьявольское сборище, шабаш, пародирующий церковное служение[33].

Казалось бы, после описываемых событий не только участие Гнедича в «Беседе» становилось невозможным, но даже переступить порог дома Державина, где происходили заседания, он не мог. Этого, однако же, не произошло.

Конфликт Гнедича с Державиным и «Беседой» в целом носил личный, социальный и поколенческий характер. Однако же литературных и идеологических разногласий у Гнедича с маститыми старцами не было: слишком близки были ему, несмотря на всю досаду, цели и идеи общества. Мысль о высоком, учительном пафосе литературы вполне разделялась Гнедичем. Для него главное в поэзии — «образы, возвышающие душу»[34]. Он вполне разделял

---

[32] [*Каченовский М.Т.*]. Возвращение в отечество любезного моего брата [рецензия] // Вестник Европы. 1810. Ч. 53. №19 (октябрь). С. 220—227. См. также: Поэты 1790—1810-х. С. 843.

[33] См.: Арзамас, 1. С. 514; Проскурин 1996.

[34] Гнедич 1974. С. 90.

мысль Шишкова, что только поэзия сохраняет в памяти потомков образы великих героев прошлого, и так же, как Шишков, обращался для доказательства этой мысли к Гомеру. Гнедич говорит, что греки забыли Ахилла, но явился Гомер и напомнил о погибшем герое:

Отчизне пожертвовав жизнью младой,
Что добыл у Греков их первый герой?
При жизни обиды, по смерти забвенье!

Героев бессмертьем певцы облекают.
(«Сетования Фетиды на гробе Ахиллеса», 1815)

И снова в поэме «Рождение Гомера» (1816):

Поэзия — глагол святого вдохновенья;
Доколе на земле могуществен и свят,
Героям смерти нет, нет подвигам забвенья:
Из вековых гробов певцы их воскресят[35].

Интерес «беседчиков» к старославянскому языку и древней русской литературе тоже находил живой отклик в душе Гнедича. Даже в самый разгар конфликта с Державиным он писал Батюшкову: «Я лет десять стараюсь ославяниться, т.е. вникаю в свойства и красоты и богатства славенского языка, но еще весьма далек...»[36] Такими словами мог бы говорить и Шишков. Гражданственный пафос, уверенность в высоком назначении искусства и осознание важнейшей роли его в общественной жизни, наконец, обращение к героической поэме, главному поэтическому жанру, самым значительным образцом которого являлась «Илиада», — все это роднило Гнедича с беседчиками.

Конечно, мы не знаем всех деталей общественной жизни того времени. Возможно, были сделаны какие-то примирительные шаги с той или другой стороны (или с обеих). Возможно и вмешательство друзей, которое привело к какому-то примирению: во всяком случае, выгнанный Державиным из чужого дома, Гнедич

[35] Гнедич 1958. С. 103, 165.
[36] Гнедич 1974. С. 89.

переступил порог дома державинского и делал это, кажется, достаточно часто.

«Беседа» открыла свои заседания в большой зале великолепного особняка на Фонтанке в марте 1811 г. Членом «Беседы» Гнедич, разумеется, не стал, но, несмотря на громкий скандал и злые и кощунственные насмешки, по-видимому, постоянно посещал ее заседания «Беседы». Во всяком случае, Стурдзе Гнедич запомнился даже не среди гостей, а за «огромным продолговатым столом, где, кроме Державина, заседали А.Н. Оленин, А.С. Шишков, Озеров, Крылов, друг его Гнедич, Жуковский, Муравьев-Апостол...»[37]. Особенно доверять словам автора, поместившего Жуковского рядом с Державиным, с которым он был в ссоре, и Шишковым, не следует, но все же это перечисление весьма симптоматично для восприятия Гнедича тогдашним литературным кругом. И Аксакову, вспоминавшему о событиях сорокалетней давности в 1852 г., Гнедич представлялся полноправным участником «Беседы»: «Крылов и Гнедич, для успокоения оскорбленных авторских самолюбий, добровольно вызвались быть членами отделения под председательством А.С. Хвостова», куда, по словам Аксакова, никто не хотел записываться[38]. (На самом деле Крылов был членом первого разряда, где председательствовал Шишков.)

И уже 15 декабря 1811 г. Гнедич принял участие в заседании этого самого первого разряда (разумеется, он не пошел в разряд Державина!). Гнедич прочел здесь перевод восьмой песни «Илиады», которую он, продолжая работу Кострова, перевел еще александрийскими стихами. Одновременно с подготовкой заседания составлялась и пятая книга «Чтений в Беседе любителей русского слова». Цензурное разрешение на ее выход было подписано 17 ноября 1811 г. В этой книге был напечатан перевод восьмой песни. До нас дошло свидетельство того, что Шишков с большим интересом относился к этой публикации. Он внимательно читает текст, вникает в детали, работает с автором:

«Милостивый государь мой Николай Иванович.

Я прочитал вступление Ваше и примечания. Прежде нежели оныя отосланы будут в типографию, нужно бы мне прочитать их с Вами вместе, дабы положить, что оставить и что переменить; ибо когда наберут, тогда уже трудно делать перемены. Для того не угод-

---

[37] Цит. по: Арзамас, 1. С. 43.

[38] Аксаков, 2. С. 333.

но ли будет Вам пожаловать ко мне завтра (т.е. в понедельник) или хоть сегодня, если то для вас удобнее, часов в одиннадцать, так бы мы успели прочитать вместе и согласиться.

С истинным почтением пребываю Ваш, милостивого государя моего, покорнейший слуга

А. Шишков»[39].

Письмо, к сожалению, не датировано, однако оно не может относиться ко второй публикации Гнедича — в 13-й книжке «Чтений...» (СПб., 1813), так как в ту пору Шишкова не было в Петербурге: он находился в действующей армии. Очень маловероятно, что оно относится к более позднему времени: маститый вельможа, министр, президент Российской Академии вряд ли стал бы вникать в мелкие типографские детали.

Таким образом, личные конфликтные отношения, кажется, сгладились довольно быстро. А в это же самое время именно в «Беседе», в обсуждениях и спорах, подготавливалось весьма важное для русской культуры событие, в котором Гнедич сыграл первостепенную роль. В 1811 г. нашлись утраченные было седьмая, восьмая и часть девятой песни перевода Кострова (злые языки утверждали, что они были найдены в каком-то кабаке: злосчастная склонность, погубившая Кострова, была хорошо известна). Находка была напечатана в «Вестнике Европы» (1811. Ч. 58. №14—15) и не могла не обескуражить Гнедича, который уже перевел и седьмую и восьмую песни. Все же, как мы видели, он прочел свой перевод в заседании «Беседы» и напечатал в «Чтениях». Однако продолжение работы становилось бессмысленным. С одной стороны, не было гарантии, что не найдутся и остальные песни. С другой — времена менялись, и александрийский стих в качестве эквивалента греческой поэзии на русском языке представлялся все более несостоятельным. Начался оживленный обмен мнениями между А.Н. Олениным, С.С. Уваровым и Гнедичем[40].

В 1813 г. Уваров читает в «Беседе» «Письмо к Н.И. Гнедичу о греческом гекзаметре». Гнедич отвечает ему и читает свой новый перевод четвертой песни «Илиады». Все это публикуется в 13-й книге «Чтений». Здесь впервые ставится вопрос о переводе «Илиады» так называемым русским гекзаметром (шестиударным сочетанием дактилей с хореями). Знаменитая статья Уварова, ка-

[39] РО ПД. Ф. 93. Оп. 4. №17.

[40] См. об этом подробнее: Егунов; М. Гаспаров 1989. С. 70—73.

жется, впервые формулирует романтическое представление о задачах перевода античных авторов на русский язык. Исходя из представления о том, «что формы в поэзии неразлучны с духом, что между формами и духом поэзии находится та же самая таинственная связь, как между телом и душою»[41], Уваров утверждает, что александрийский стих не соответствует духу русского языка, русской культуры и истории, почему и не годится для перевода эпической поэмы: «Когда вместо плавного, величественного экзаметра, я слышу скудный и сухой александрийский стих, рифмою прикрашенный, то мне кажется, что вижу божественного Ахиллеса во французском платье»[42].

Уварову возражал В.В. Капнист[43]. Его «Письмо... к г. Уварову об экзаметре» было напечатано в 17-й книжке «Чтений» (1815). Капнист считал, что переводить эпические поэмы Гомера на русский язык следует если не александрийским (французским) стихом, то тогда уж народным фольклорным стихотворным размером, и предлагал образец своего переложения «размером простонародной песни “Как бывало у нас братцы через темный лес” повести о кровопролитном греков и троян сражении»:

Удалились светлы боги с поля страшных битв,
Но то там, то там шумела буря бранная.
Часто ратники стремили копья медные
Меж потоков Симонса и у Ксанфских струй[44].

Прочитав письмо Капниста, Уваров резонно и остроумно ответил своему оппоненту в той же книге «Чтений». Он говорил, что гекзаметр — совершеннейший размер, созданный греками для эпической поэзии, а русский гекзаметр позволяет «сохранить впечатление, производимое чтением Гомера... представить отлепок творения Омерова в духе оригинала...» Русскую поэму, замечает Уваров,

---

[41] Цит. по: Арзамас, 2. С. 90.

[42] Там же. С. 82.

[43] См. письма Капниста к Гнедичу 1808—1809 гг. (Капнист, 2. С. 450—456). Недоразумением является утверждение комментатора, Д.С. Бабкина, что Капнист советовал Гнедичу переводить Гомера «русским размером» (Там же. С. 597). В письме Капниста от 4 октября 1808 г. речь идет о совете продолжать перевод «Илиады» (Там же. С. 450). Ср. в письме Уварову о гекзаметрах: «Свидетельствуюсь им самим [т.е. Гнедичем. — *М.А.*], что я первый предложил ему продолжение Кострова перевода Илиады...» (Там же. С. 187).

[44] Там же. С. 193.

можно писать русским размером, но дух греческой поэзии фольклорным стихом передан быть не может, такой стих произведет комическое впечатление, так как слишком привязан к русской культуре (александрийский стих менее окрашен национальным французским колоритом). И Уваров формулирует свою мысль в знаменитом афоризме, продолжая размышления, начатые в письме к Гнедичу: «Омер в русском зипуне столько же мне противен, как и во французском кафтане. Переводить «Илиаду» русским народным размером еще хуже, чем переводить александрийскими стихами: ибо сей последний стих по большему употреблению принадлежит *всем*...» [45]

Гнедич был вполне согласен с Уваровым. И когда 8 декабря 1814 г.[46] Капнист прочитал, а затем в 1815 г., в 18-й книге «Чтений», напечатал свое «Краткое разыскание о Гипербореанах и о коренном Российском стихосложении», Гнедич остроумно посмеялся над своим старым другом. В этом труде Капнист доказывал, что гиперборейцы, упоминаемые античными авторами, суть предки славян и что именно от гиперборейцев заимствовали греки свою мифологию, культуру и даже стихосложение. Таким образом хореи, русский народный стих, которым Капнист предлагал переводить Гомера, возвращали древнегреческому оригиналу его исконное славянское происхождение[47]. После тонких и глубоких рассуждений Уварова, совсем недавно прочитанных в «Беседе» и напечатанных в том же журнале, рассуждения Капниста выглядели совершенной нелепостью. Друзья, по собственному признанию автора, «сочли оное сочинение бредом»[48]. К справедливому мнению «друзей» присоединился Гнедич:

> ...И Музы и Парнас, —
> Все было в древности на полюсе у нас.
> Гиперборейцы мы, — нас кто умнее в мире!..
> Пиндар учился петь у русских ямщиков!..
> Гомер дикарь, и груб размер его стихов...

---

[45] Арзамас, 2. С. 92. Может быть, стоит напомнить, что в XIX в. слово «противный» преимущественно означало «противоположный по мнениям, противоречащий» (ср. в «Борисе Годунове»: «Противен мне род Пушкиных мятежный»). Свое нынешнее основное значение: «очень неприятный, отвратительный» — оно приобрело значительно позднее.

[46] См.: Державин, 6. С. 344.

[47] Капнист, 2. С. 165—185.

[48] Там же. С. 563.

И нам ли подражать их лирам, петь их складом?..
У русских балалайка есть!..

В конце этого издевательского стихотворения Гнедич слегка упрекнул коллег-«беседчиков» за предоставление трибуны этим диким рассуждениям:

Божуся, автор сам нам это все читал!
Где, в желтом доме? — нет, в приятельской беседе[49].

Вероятно, в последних строчках таилась насмешка над Державиным: его дом был желтого цвета, а рядом с ним была расположена Обуховская больница для умалишенных[50].

Все эти споры и выступления Капниста не имели уже практического значения. Отвечая на письмо Уварова, Гнедич полностью согласился с «невыгодами стиха александрийского для перевода древних поэтов»[51]. Поблагодарив Уварова и Оленина за их помощь и советы, Гнедич приложил к своему письму четвертую песнь «Илиады», переведенную гекзаметром. Блестящий талант переводчика, проницательность, профессионализм и эрудиция его советников, Уварова и Оленина, навсегда решили проблему перевода античных авторов на русский язык и утвердили размер большинства антологических стихотворений в русской поэзии.

Это знаменательное событие свершилось в «Беседе любителей русского слова» и надолго связало имя Гнедича с архаистами. Бурная ссора с патриархом Державиным забылась, и, с точки зрения арзамасцев, Гнедич прочно утвердился в сонме «беседчиков»-славенофилов. Дашков, правда, сразу после появления гекзаметрического перевода пытался противопоставить Гнедича «беседчикам». Он писал Д.Н. Блудову в октябре 1813 г.: «Гнедич также хотел писать к вам и доставить экземпляр своего перевода VI песни «Илиады» экзаметрами, который найдете вы в последней книжке Беседы. За сей перевод все старообрядцы на него вооружились и предают его торжественно проклятию как еретика; они так привыкли плести рифмы, что им кажется непонятно, каким образом обойтись можно без сих погремушек»[52].

---

[49] Георгиевский. С. 32.
[50] См.: Арзамас, 2. С. 179, 499.
[51] Цит. по: Там же. С. 83.
[52] Арзамас, 1. С. 211—212.

Дашков ошибался. «Беседчики» отнюдь не считали рифму обязательным компонентом стихотворного языка. Против рифм восставали и не пользовались ими такие ценимые в «Беседе» авторы, как Тредиаковский, Бобров, Радищев[53]. Мы видели, что к штудиям о гекзаметре и к самому гекзаметрическому переводу в «Беседе» отнеслись с самым благожелательным вниманием. Поэтому очень скоро в глазах карамзинистов-«арзамасцев» Гнедич становится «клевретом Беседы», а гекзаметр как размер, признанный «беседчиками», — постоянным объектом насмешек. Напомню, что у молодого Пушкина в послании «К Жуковскому» (1816) перо Тредиаковского «тянет за собой гекзаметры сухие, // Спондеи жесткие и дактилы тугие».

В 1815 г. на заседании «Арзамаса» в речи члена Кассандры (Д.Н. Блудова) появляется и «виляет вдали друг наш Гнедич на гексаметре без просодии». В 1817 г. Н.И. Тургенев смеется над Гнедичем, читавшим свою поэму («Рождение Гомера») «жалобным голосом», как будто «он просил пощады своему произведению», и издевательски предлагает вместо «Илиады» перевести гекзаметрами «Трактат о взыскании налогов и платежей». Замечания эти вполне несправедливы: вряд ли стоит напоминать, что «Рождение Гомера» является одним из лучших стихотворений Гнедича и что его декламационное искусство считалось образцовым. В речи Вигеля «известный Циклоп [намек на единственный глаз Гнедича. — *М.А.*] кует ужасные свои гекзаметры», о которые Ивиков Журавль (т.е. сам Вигель) запнулся и повредил ногу[54]. Сообщая Жуковскому о заседании «Арзамаса» 11 ноября 1816 г., Д.А. Кавелин считает нужным упомянуть, что присутствующие «погрызли новое произведение филина Гнедича»[55]. И позднее, в 1818 г., Н.И. Тургенев записывает: «...все наши академики... имеют право говорить свободно варварские речи, писать стихи экзаметрами, избирать на упалые места и т.д.»[56]. Здесь речь идет о круге Шишкова, а под писанием гекзаметров, очевидно, имеются в виду прежде всего труды Гнедича.

Таким образом, кажется, можно несколько пересмотреть устоявшуюся в литературе точку зрения на литературную позицию Гнедича, попавшую даже в справочные издания. Считается, что он не

[53] См. об этом: Альтшуллер 1977; Серман 2001.
[54] Арзамас, 1. С. 319, 390, 401, 403.
[55] Цит. по: Иезуитова. С. 98.
[56] Н. Тургенев. С. 164.

примыкал ни к какой литературной группировке: ни к «Арзамасу», ни к «Беседе», ни к ВОЛСНХ[57]. По литературным симпатиям и вкусам, по отношению к нему враждующих групп можно рассматривать Гнедича как автора, полноправно входившего в круг «Беседы любителей русского слова»[58]. Симптоматична поэтому обмолвка Ю.М. Лотмана, написавшего, что «Гнедич *состоял* [курсив мой. — *М.А.*] в Беседе любителей русского слова»[59].

Перевод «Илиады» сыграл существенную роль в создании русских эпико-героических поэм князем С.А. Ширинским-Шихматовым.

ПОЭМЫ С.А. ШИРИНСКОГО-ШИХМАТОВА

Самый лучший перевод Гомера не решал, однако, проблемы создания национальной героической поэмы. Эту задачу взял на себя один из самых крупных поэтов «Беседы» Сергий Александрович Ширинский-Шихматов. Поскольку, с одной стороны, нет ни одной работы, излагающей в целом творческий путь Шихматова, а с другой — его творчество полностью соответствует литературным установкам «Беседы», мы, подробно анализируя поэмы, дадим здесь краткий очерк всей литературной деятельности поэта.

Две большие поэмы, десяток од, несколько произведений религиозно-мистического характера и несколько переводов — вот итог почти двадцатилетнего (1806—1824) литературного труда С.А. Шихматова.

---

[57] См.: Георгиевский; его же статья в «Русском биографическом словаре» (т. 5). См. также статью С.А. Кибальника (Русские писатели 1800—1917. Т. 1. С. 58).

[58] Сказанному не противоречит многолетняя дружба Гнедича с Олениным. Тонкие и интересные наблюдения А.Л. Зорина об осторожной полемике Филарета с Шишковым, инициированной Олениным (см.: Зорин. С. 253—258), и некоторые факты взаимных литературных неудовольствий все-таки не свидетельствуют о существенном идеологическом противостоянии оленинского кружка «Беседе», как то имело место с «Арзамасом». Грекофильство оленинского кружка ни в коей мере не противоречило русскому патриотизму «беседчиков», считавших Россию и вообще славян достойными наследниками эллинского языка и культуры.

[59] Краткая лит. энциклопедия. М., 1964. Т. 2. Стлб. 204. Вообще в этой небольшой заметке многое напутано: сказано, что Гнедич стал переводить «Илиаду» гекзаметрами под влиянием Н.А. Радищева, Востокова, Мерзлякова, и не упомянуто об Уварове и Оленине.

Карамзинисты, на первый, поверхностный, взгляд одержавшие победу в литературной борьбе[60] и представленные такими именами, как Батюшков, Вяземский, молодой Пушкин, воздвигли Шихматову памятник из блистательно остроумных эпиграмм. По этим эпиграммам он до сих пор известен не только сравнительно широкому кругу читателей, но ими часто определяется и место Шихматова в истории русской литературы.

Получивший образование в Морском кадетском корпусе (1795—1800), превосходно образованный, владевший тремя иностранными языками[61], Шихматов в 1800 г. стал служить под началом Шишкова[62] и вскоре сделался любимым учеником и последователем литератора-адмирала.

В 1807 г. появилось одно из самых значительных произведений Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия. Лирическая поэма в трех песнях». В ней изображен трагический момент русской истории, но автор менее всего озабочен изложением событий, что обычно составляло сюжет эпической поэмы от Гомера до Хераскова. «Лирическая поэма» Шихматова является взволнованным монологом, задача которого — рассказать о чувствах, переживаниях автора, вызванных величием и драматизмом описываемых событий:

---

[60] Вопрос о победителях и побежденных в литературной борьбе начала XIX в. достаточно сложен. Хотя большинство филологов и историков XIX и тем более XX в. считало безусловными победителями карамзинистов, Ю.Н. Тынянов еще в 1929 г. писал: «Не очень распространен тот факт, что не Карамзин победил Шишкова, а напротив Шишков Карамзина. По крайней мере, в 20-х и 30-х годах было ясно многим, что в "Истории государства Российского" Карамзин сдал свои стилистические позиции своим врагам» (Кюхельбекер 1929. С. 4). Беглое замечание Тынянова в предисловии к «Дневнику» Кюхельбекера не обратило на себя внимание и считалось (помню свой разговор с Г.П. Макогоненко) чуть ли не чудачеством ученого. Ныне, после работ Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, Б.М. Гаспарова, В.М. Живова и др., вопрос о победителях и побежденных должен решаться гораздо серьезнее и по-иному.

[61] «Подпоручик князь Сергей Шихматов говорит по-французски, немецки и английски» (Кондуитный список генералитета, штаб- и обер-офицеров Морского кадетского корпуса июля дня 1808 г. // Российский гос. архив военно-морского флота [далее — РГА ВМФ]. Ф. 432. Оп. 2074. Л. 7об.—8).

[62] «1800 года по Высочайшему повелению определен был в учрежденный при государственном адмиралтействе ученый комитет, в котором председательствовал г. вице-адмирал и кавалер Шишков» (Послужной список Морского кадетского корпуса подпоручика Сергея Шихматова октября 15 дня 1804 г. // РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 1—2. №12839. Л. 67).

Я зрю... Но кто изречь способен
Страдающей России вид?
Какой глагол объять удобен
Ее болезни, срам и стыд[63].

Таким образом, обязательное для классицизма строгое разграничение жанров здесь исчезает: эпическая поэма превращается в оду, что находит выражение в подзаголовке — «лирическая поэма». Шихматов ориентируется на Ломоносова, но его образец — не «Петр Великий», а торжественные оды[64]. Это заметно уже по первым строкам поэмы:

Ограда царств непреборима...
О ты, к Отечеству любовь, —

которые являются перифразой начала знаменитой оды Ломоносова 1747 г.:

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда...

Помимо лексического совпадения, «оградой» в обоих случаях оказываются отвлеченные понятия — «мир» («тишина») и «к отечеству любовь». Сближением с той же одой 1747 г. объясняется, повидимому, и сравнение русских войск с Леной:

И Лена, славная из рек,
Еще младенец безызвестный
Источник сребряный прелестный
Отважный восприемлет бег...
Так сонм россиян бранноносный
Дерзает в строгий путь побед (с. 39—40).

Сравнение именно с Леной можно объяснить тем, что изображение этой реки есть и у Ломоносова:

---

[63] Шихматов 1807. С. 8 (далее страницы указываются в тексте главы).
[64] Об этом в связи с другой поэмой Шихматова писал Кюхельбекер (см. ниже).

Там Лена чистой быстриной,
Как Нил, народы напояет.

Одический характер поэмы подчеркивается обилием риторических вопросов, характерных для кульминационного момента оды — наступления «лирического беспорядка», когда ход повествования нарушается таким вопросом. Напомним, что в знаменитой пародии Дмитриева «Чужой толк» это особенно подчеркнуто:

...Тут надобен восторг!
Скажу: Кто завесу мне вечности расторг?
Я вижу молний блеск...![65]

У Шихматова такие вопросы составляют существенный элемент общего стиля поэмы:

...чей призывный глас, плачевный,
Унылую пронзает ночь? (с. 7)
Но кто же сей, что словом властным
Воздвиг упадший россов дух
К трудам толь славным, толь опасным? (с. 27)
Тогда... Но ах, вещать ли мне?
Вещать ли лютость смертных рода
И зло невместное уму.
Кто, кто главе моей даст воду,
Потоки слез моим очам? (с. 45)

Ответом на вопрос часто служат восклицания, которыми также изобилует поэма и которые вместе с вопросами и создают тон взволнованного, непосредственного монолога:

О нестерпимо зло...
О лютый стыд!
О Росс, народ благословенный!
Будь Росс.
Се сын отечества — се Минин!
Россия, торжествуй — се Росс!

---

[65] Дмитриев 1967. С. 116.

Эту взволнованность, приподнятость, горячий пафос патриотизма Шихматов считал важнейшей чертой эпического повествования. Изображения ее он и добивался в страстных монологах. В 1810 г., разбирая книгу И. Рижского «Наука о стихотворстве», по поводу § 150, где говорилось о «разделении исступления на два источника, из которых один есть живость, а другой спокойствие души...», Шихматов писал, очевидно думая о герое своей поэмы: «Трудно себе представить, чтобы душа князя Д.М. Пожарского в то время, когда он преклонял народ, провозглашающий его царем, к избранию на царство законного преемника Михаила Федоровича, пребывала спокойною и хладнокровною и вмещала бы в себя чувствования, сопряженные с некоторым бездействием. Вероятнее кажется, что она смущалась сделанным ему великим предложением, воспламенялась огнем любви к отечеству и законам и находилась в великой деятельности»[66].

И действительно, поэма изобилует монологами действующих лиц: Гермогена, Минина, Авраамия Палицына, Пожарского. Эти монологи стилистически никак не отличаются от авторской речи. Они столь же взволнованны, приподняты и лишь формально разрывают несколько однообразное повествование, составляя около 25% текста поэмы (34 строфы из 137). В эпических поэмах (Одиссей у феаков, Петр Великий на Соловках и во множестве других случаев) очень длинные монологи героев — содержательны, повествуют о важнейших событиях в их жизни. Поэмы Шихматова бедны действием. Они сплошь состоят из вдохновенных речений автора и подобных этим речениям вдохновенных монологов персонажей.

Как и Семен Бобров, творчество которого пользовалось большим уважением в «Беседе», Шихматов воспринимает мир в его звуковых образах, причем космические шумы Боброва (бег времени, движение планет и пр.) становятся у Шихматова грохотом битвы:

С шумом пал во ад...
Градов падущих шум и треск...
Звенят везде доспехи ратны...
Клики мужеству приятны,
И бурных ржание коней.

---

[66] Архив Российской академии наук (Санкт-Петербург). Ф. 8. Оп. 3. №3. Л. 2—2об.

Общий стиль громкости и максимальной напряженности подчеркивается частым употреблением глаголов. Как известно, отсутствие глагольных рифм было существенной особенностью поэтики Шихматова, отмеченной всеми современниками. Батюшков окрестил его «Шихматов безглагольный»[67], а Жихарев восхищенно писал: «Как я ни вслушивался в рифмы, но не мог заметить ни одного стиха, оканчивающегося глаголом. Особый дар и особая сила слова»[68]. Эта, казалось бы, чисто формальная особенность стиха приобретает особое значение потому, что глагол в рассматриваемой поэме играет существенную роль в создании напряженного, энергического звучания; при отсутствии событий поэма Шихматова изобилует действием:

Стеклись, сразились, пали оба...
Текут — сошлись — сразились — брань...
Падут — и мир для них исчез...
Благие мира словеса
Лиются из его гортани,
Текут — и услаждают слух.
Текут — и побеждают дух...

При таком количестве глаголов отсутствие их в рифме подчеркивает внутреннюю напряженность стиха. Жихарев записал в дневнике, выслушав поэму в чтении А.С. Шишкова: «Стихи хороши, звучны, сильны и богатство в рифмах изумительное: автор вовсе не употребляет в них глаголов, и оттого стихи его сжаты, может быть, даже и слишком сжаты, но это их не портит»[69].

Последовательным и наиболее горячим защитником Шихматова стал Шишков, восторженно встретивший поэму. В «Записках современника» колоритно рассказывается о том, как он, не дав своему любимцу раскрыть рта, «схватил тетрадь и сам начал чтение... внятно, правильно и с необыкновенным воодушевлением»[70].

Вскоре после выхода поэмы из печати на нее появилась в «Русском вестнике» С. Глинки анонимная, возможно, принадлежащая самому издателю рецензия, в которой с похвалой говорится о «чувствительности и творческом воображении» автора, пересказывается

[67] Батюшков 1964. С. 150.
[68] Жихарев. С. 505.
[69] Там же. С. 358.
[70] Там же. С. 358—359.

содержание поэмы и отмечается несколько неудачных, по мнению рецензента, выражений[71].

Шишков выступил на защиту Шихматова. Отмечая доброжелательность рецензента, Шишков не согласился, однако, с его замечаниями, сравнил Шихматова с Ломоносовым, отдавая в некоторых случаях преимущество первому, и подчеркнул главное достоинство поэмы — использование славянского языка для создания высокого слога[72].

В «Предуведомлении» к «Переводу двух статей из Лагарпа...» (1810) Шишков вспомнил выражение «искидок естества» (о Дмитрии Самозванце) из поэмы Шихматова: «...когда я, говоря о каком-нибудь гнусном и подлом злодее, хочу, чтоб выражение мое было как можно презрительнее, тогда, мне кажется, *искидок естества* еще живее мысль мою выражает, чем *изверг естества*. На что ж отвергать мне такое слово, которое обогащает язык? Для того ли, что оно старинное и в новых книгах нигде не попадалось мне? Но такой суд мой не будет основан на здравом рассудке» (3, 319).

И спустя много лет, в 1834 г., предлагая Российской академии выдать Шихматову пять тысяч рублей для путешествия в Иерусалим, Шишков снова с восхищением говорил о его творчестве: «...стихотворения его имеют великое достоинство: слог в них важен и красноречив, многие изображения и описания великолепны, язык богат и силен; сверх того, исполнены они полезными для внушения добродетелей убедительными нравоучениями»[73].

Именно то, что особенно ценили в творчестве Шихматова его друзья и единомышленники, подвергалось дружному осмеянию в лагере карамзинистов, которые, не вдаваясь в теоретические тонкости, стремились уничтожить противника самым убийственным оружием — острой эпиграммой. Лучшая из этих эпиграмм принадлежит Пушкину, который только добавил две строки к названию поэмы Шихматова:

> Пожарский, Минин, Гермоген,
> Или спасенная Россия.

---

[71] Замечания на лирическую поэму «Пожарский, Минин, Гермоген» // Русский вестник. 1808. №1. С. 94—111.

[72] *Шишков А.С.* Примечания на примечания // Драматический вестник. 1806. Ч. V. С. 113—138.

[73] Записки заседаний Российской академии // Архив РАН (СПб.). Ф. 8. Оп. 1. №39. Л. 179.

Слог дурен, темен, напыщен —
И тяжки словеса пустые. —

Написанная не ранее 1813 г., эта эпиграмма свидетельствует прежде всего о том, что даже спустя шесть лет после выхода творение Шихматова продолжало оставаться важным фактом литературной жизни. С другой стороны, она содержит черты строгой литературной критики, ясно показывая, что ценные для шишковистов элементы литературного стиля: звучность, сила, высокость — воспринимаются карамзинистами как недостатки и превращаются в темноту, напыщенность и пустоту.

Развитие принципов смещения и смешения жанров в рамках единого высокого стиля можно увидеть в другом стихотворении Шихматова с подчеркнуто длинным и официально торжественным названием: «Возвращение в отечество любезного моего брата князя Павла Александровича из пятилетнего морского похода, в течение которого плавал он на многих морях, начиная от Балтики до Архипелага, видел многие европейские земли и, наконец, из Тулона сухим путем чрез Париж возвратился в Россию, 1810 года Мая 30 дня».

Приезд брата описывается следующим образом:

Но кто там мчится в колеснице,
На резвой двоице коней,
И вся их мощь в его деснице?
Из конских дышащих ноздрей
Клубится дым и пышет пламень,
И пена на устах кипит;
Из-под железных их копыт
Летит земля и хрупкий камень,
И пыль виется до небес[74].

И далее следуют риторические вопросы, возвещающие читателю вожделенный миг явления героя:

Кто сей?..
И се — что вижу я? — се ты...
Кто, кто тебя мне возвратил?

[74] Поэты 1790—1810-х. С. 412 (далее все цитаты по этому изданию).

Шихматов пишет фактически дружеское послание, но он рассказывает о встрече с любимым братом приемами торжественной оды, очевидно пытаясь утвердить свою поэтическую систему, распространить приемы высокого торжественного слога на все жанры и тем самым, по существу, уничтожить жанровую систему.

В чем-то Шихматов продолжает принципы Державина, который тоже уничтожал жанровые границы, придавая торжественной оде непринужденно-домашний характер. (Таковы, например, «Фелица», «Решемыслу», «Видение мурзы» и др.) Современники остро чувствовали новаторские принципы Державина. Так, Ермил Костров писал в 1784 г., вскоре после появления упомянутых стихотворений Державина:

Путь непротоптанный и новый ты обрел...
Признаться, видно, что из моды
Уж вывелись парящи оды.
Ты простотой умел себя средь нас вознесть[75].

При этом Шихматов отнюдь не следовал державинскому принципу «простоты». Напротив, все домашнее, семейное, обыденное передается им в приподнятой, изобилующей славянизмами манере. Так, о братских объятиях говорится:

Глашу — напав ему на выю...

Приглашая друзей отпраздновать приезд брата, автор возглашает:

Летите к нам в сей светлый час,
Покинув все свои работы,
Разгладив на челах заботы,
И с нами радуйтесь у нас.

Остроумный и злой М.Т. Каченовский откликнулся на стихи Шихматова рецензией в «Вестнике Европы»[76]. Названный Кюхель-

[75] Письмо к творцу оды, сочиненной в похвалу Фелицы, царевны Киргиз-кайсацкой // Поэты XVIII в. Т. 2. С. 151—153.

[76] Вестник Европы. 1810. Ч. 19. С. 222 и след. Подпись: *Т.* Авторство устанавливается из письма Батюшкова (декабрь 1810): «Что такое намарал еще Шихматов? Я читал Качен<овского> рецензию в журнале, а его поэмы не видал, да и видеть не хочу» (Батюшков 1989. Т. 2. С. 151, 610).

бекером «старшиной классиков»[77], Каченовский нападает на стиль Шихматова с позиций ортодоксального последователя классицизма: «Высоким слогом изображаются высокие мысли, знаменитые деяния, величественные или, по крайней мере, для многих важные предметы. Ломоносов и здравый разум определяют место ему в героических поэмах, в одах, в речах торжественных. Для изъявления радостного чувствия о прибытии любимого брата есть другой язык, язык сердечного удовольствия и простой неукрашенной искренности».

О цитированной выше строфе из начала стихотворения Каченовский говорит: «Третья строфа годилась бы для описания победы, одержанной каким-нибудь Греческим героем на Олимпийском ристалище, между тем как все дело состоит единственно в том, что к<нязь> П.А. ехал на паре лошадей, которую господин сочинитель величает *двойцею коней*. Хорошо, что приезжий гость скакал не на тройке...» (т.е. тогда пришлось бы назвать упряжку *Троицей*, употребив слово, применяемое лишь для обозначения святой Троицы: Бога Сына, Бога Отца и Святого Духа).

Издеваясь над Шихматовым, который заявляет:

На все природы южной неги
Не променяем наши снеги
И наш отечественный лед, —

Каченовский направляет свой удар и против Шишкова: «...вытесним из Русских словарей шапку, колпак, кровать... и все слова, в которых заметно что-нибудь иностранное! Тогда-то почием на лаврах, оставшись при своих родных междуметиях»[78].

Выпад Каченовского остроумно использовал В.Л. Пушкин в «Опасном соседе», написанном весной 1811 г., т.е. вскоре после появления стихотворения Шихматова и рецензии на него:

Кузнецкий мост, и вал, Арбат и Поварская
Дивились *двоице*, на бег ее взирая.

---

[77] В статье «Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области российской словесности» (Кюхельбекер 1979. С. 498).

[78] Любопытные наблюдения над этими стихами, рисующими Россию как землю обетованную, противопоставленную чуждому и враждебному югу (т.е. в контексте стихотворения — Западу), см. в кн.: Boele. P. 57—59.

Позволь, Варяго-Росс, угрюмый наш певец,
Славянофилов кум, взять слово в образец.
Досель, в невежестве коснея, утопая,
Мы, *парой* двоицу по-русски называя,
Писали для того, чтоб понимали нас...[79]

Пушкин вслед за Каченовским смеется над заменой пары двоицей. Цитатность подчеркнута курсивным выделением обоих заимствованных слов: «двоицы» — у Шихматова, «пары» — у Каченовского.

Карамзинисты, должно быть, понимали программный характер этого стихотворения. Во всяком случае, они хорошо помнили его. Много лет спустя после публикации «Послания», в 1817 г., на девятнадцатом заседании «Арзамаса» Д.В. Дашков снова посмеялся над этими стихами Шихматова, где автор рассказывал о своих творческих успехах:

...Кротость в царственном венце
Моим бряцаниям в награду
Осклабила свое лице:
И вскоре камение честно
Ко мне сронилося с высот[80].

Обращаясь к слушателям, арзамасский оратор торжественно провозглашал: «...Светлана [т.е. В.А. Жуковский] была с нами, как невеста с богатым приданым; на руке ее блистало *камение честно*, не *сронившееся* с высот в подачу подлости, но дарованное уважением к достоинству»[81].

Одновременно с «Посланием к брату», в том же 1810 г., выходит из печати самое значительное произведение Шихматова — «лирическое песнопение» «Петр Великий»[82]. Стремление к смешению и слиянию жанров, к созданию единой литературной системы,

---

[79] Поэты 1790—1810-х. С. 669, 843.

[80] Там же. С. 417. В Рукописном отделе РНБ (Эрмитажное собрание. №227) хранится поднесенный императору Александру I рукописный экземпляр «Пожарского». Видимо, за него Шихматов и получил награду.

[81] Арзамас, 1. С. 400. «Подлостью» поэма Шихматова, как бы ни относиться к ее литературным достоинствам и политической позиции автора, могла быть названа только в полемическом задоре.

[82] *Ширинский-Шихматов С.А.* Петр Великий, лирическое песнопение, в осьми песнях. СПб., 1810 (указания на страницы — в тексте).

основанной на высоком слоге, порождающем постоянное лирическое напряжение, сказалось уже в определении «лирическое песнопение». Шихматов придумывал новый, доселе не существовавший в литературе жанр, в котором он попытался слить воедино лирическое и эпическое начала («песнопение» и «лирику»).

Новая поэма Шихматова более строго выдержана в эпических традициях, чем его первый опыт. Повествование здесь развивается во времени — рассказывается почти вся жизнь Петра, от создания русского флота и до кончины великого царя. Такой размах обусловил и принципиальную ориентацию на Гомера как образец эпического повествования. В кульминации поэмы, описании Полтавской битвы, автор восклицает:

Кто даст мне кисть Омира? —

а в конце сетует на отсутствие гомеровской гениальности:

Дерзнул бы я во след Омиру...
Тебя достойно бы воспел (с. 216).

Вводит Шихматов в поэму и классический эпизод (повторенный вслед за «Илиадой» и в «Энеиде» Вергилия) — взвешивание жребиев:

Над поприще, решитель боев,
Весы свои спускает рок,
Извесил обоих героев,
И Карл является легок (с. 90)[83].

«Рок» появляется в стихах Шихматова намеренно и закономерно. У античных авторов судьбу героев решают соответственно Зевс или Юпитер. Глубоко и ортодоксально религиозный поэт не любил античной мифологии и никогда не называл в своих произведениях имен античных богов. «Творец или Верховное существо, — писал Шихматов в 1810 г. в упоминавшейся рецензии на книгу И. Рижского, — из всех древних народов одним только иудеям был ведом; следовательно, нельзя сказать, чтобы сердца язычников исполнялись любви, благоговения и благодарности к Творцу или что они

[83] Ср. «Илиада», песнь 22, ст. 188—212; «Энеида», кн. 12, ст. 725—730.

когда-либо имели искреннее чувствование отношений человека к Верховному существу. Напротив, известно, что идолопоклонники при совершении своих обрядов предавались всякой невоздержанности и даже неистовству»[84].

Об отвращении Шихматова к образам античной мифологии свидетельствует Жихарев: «Избави меня Боже... почитать пособием вашу мифологию и пачкать вдохновение этой бесовщиной, в которой, кроме постыдного заблуждения ума человеческого, я ничего не вижу. Пошлые и бесстыдные бабьи сказки — вот и вся мифология. Да и сама-то древняя история, до времен христианских — египетская, греческая и римская — сущие бредни, и я почитаю, что поэту-христианину неприлично заимствовать из нее уподобления не только лиц, но и самых происшествий, когда у нас есть история библейская, неоспоримо верная и сообразная с здравым рассудком. Славные понятия имели эти греки и римляне о божестве и человечестве, чтобы перенимать нелепые их карикатуры на то и другое и усваивать их нашей словесности!»[85]

Неприятие античной культуры Шихматов сохранил, по-видимому, до конца жизни. Во всяком случае, правя свои сочинения уже много позднее, в 1834 г., он убрал из своих стихов «лихого Борея», а *фурий* заменил на *демонов*[86].

Несмотря на такую вражду к античности, многие художественные приемы, использованные Шихматовым, восходят к гомеровским поэмам. Эпитеты, особенно сложные, двусоставные — характерный пример гомеровской речи. Шихматов обильно употребляет их в тексте своей поэмы: *громопламенны громады* (с. 175), *злочастная страна* (с. 200), *водостланная равнина* (с. 139), *солнцелучный полдень* (с. 140), *брань достославная* (с. 144) и т.д.

По словам современного исследователя, гомеровские сравнения «развертывают перед слушателями целые картины, независимые от

---

[84] Архив РАН (СПб.). Ф. 8. Оп. 3. №. Л. 2об.

[85] Жихарев. С. 352.

[86] См.: Гардзонио. С. 72. Пользуюсь случаем исправить ошибки С. Гардзонио на с. 68 и 71 его статьи: в книге «Поэты 1790—1810-х годов» (Л., 1971) биография Палицына и комментарии к «Посланию к Привете» написаны не М.Г. Альтшуллером и Ю.М. Лотманом, а М.Г. Альтшуллером. Биография Шихматова и комментарии к его стихам написаны не Ю.М. Лотманом, а автором этой книги. См.: Поэты 1790—1810-х. С. 811—812. Биографию Шихматова см. также: *Marc G. Altshuller*. Sergii Alexandrovich Shirinskii-Shikhmatov (Dictionary of Literary Biography. V. 150. Early Modern Russian Writers, Late Seventeenth and Eighteenth Centuries, 1995. P. 356—362).

хода рассказа и далеко выходящие за рамки того образа, который послужил поводом для сравнения»[87]. Сравнения в «Петре Великом» носят именно такой, подчеркнуто гомеровский характер. В начале поэмы Россия уподобляется тучным полям, и описание этих полей растягивается на шесть строф (72 строки), Петр — солнцу, Мазепа — извергающейся Этне, Карл — затравленному парду. На несколько страниц развернуто сравнение в начале четвертой песни. Каждая строфа начинается с обращения «Представь...»:

Представь... —
Две тучи с двух железных гор...
Представь... —
Дождевные потоки...
Представь... —
Быстрины мятежны...
Представь... —
Пламенные реки...
Представь... —
Пропасти бездонны... —

так начинаются пять строф, в которых подробно описываются и тучи, и потоки, и пропасти, а затем оказывается, что все они были первым членом сравнения, и лишь теперь следует очень короткий — второй:

Се вид битвы́ Полтавской знойной.
Се вид, как поражает росс[88]. (с. 79—81)

Две строфы занимает исполненное энергии описание ожесточенной схватки Петра и Карла, которые

Как два враждебные орла...
Терзают, рвут один другого,
Терзают, рвут, терзают вновь
От облак до лица земного
Дождит дымящаяся кровь... (с. 89)

[87] Тронский. С. 5.

[88] Ударение «битва̀» объясняется смоленским происхождением Шихматова (см. его биографию в кн.: Поэты 1790—1810-х. С. 365). На этот диалектизм обратил внимание Кюхельбекер, писавший: «Отдадим на жертву критике областное смоленское ударение битва̀ вместо битва» (Кюхельбекер 1979. С. 479).

«Зримость гомеровской поэзии [характерная вообще для ранних стадий художественного мышления. — *М.А.*] ведет к олицетворению отвлеченных понятий. То, чего нельзя охватить взором, для Гомера просто не существует»[89]. В «Илиаде» и «Одиссее» олицетворены Обида, Молитва, Вражда и пр.

Видимо, сознательной ориентацией на Гомера объясняется обилие олицетворений и в поэме Шихматова, который искусственно подгоняет свое мироощущение — человека XIX в. — под гомеровские представления. Здесь: *Зависть воздвигалась* (с. 7), *не смирялся Бунт* (с. 9), *Страх витал среди семейств* (с. 9), *Роскошь... телом спит и дремлет духом* (с. 11), *Зависть и Крамолу попрал* (с. 14), *узрела Зависть тусклым оком* (с. 18), *тобой, о Хищность величава* (с. 52), *Молва... свирепствует по всей земле* (с. 200), *Храбрость зыблется сама* (с. 139) и т.д. Персонификация подчеркивается последовательным, через всю поэму проведенным написанием этого типа слов с прописной буквы.

Однако при всем том эпическая поэма в полном смысле слова у Шихматова не получилась. Как и в «Пожарском», лирический элемент в «Петре» является преобладающим. Шихматов не рассказывает о делах Петра, он только называет их, а главное для него — выразить свое восхищение величием петровских деяний, будь то поездка за границу или морская битва со шведами:

Там Петр славнейший из владельцев,
Единствен в век пример такой,
Труждался в сонме древодельцев. (с. 36)

Несмотря на то что тема поэмы — вся жизнь Петра, текст распадается на ряд отдельных эпизодов — песней, которые зачастую могут рассматриваться совершенно самостоятельно. Таковы, например, воззвание к Рафаэлю, Полтавский бой, морская битва со шведами и т.д.

То, что удалось сделать в сравнительно небольшой, написанной на одном дыхании первой поэме, в громоздкой второй не получилось: она распалась на ряд отдельных од, из которых каждая посвящена самостоятельной теме.

В передаче лирического мироощущения существенную роль сыграл пейзаж: картины природы занимают в поэме много места,

[89] Маркиш. С. 41.

причем тяготение Шихматова к напряженности, трагизму оказывается в преимущественном обращении к изображению грозных, катастрофических явлений природы, что свойственно не только художественной манере Ломоносова, но и преромантической лирике (Оссиан, Юнг), знакомство с которой, особенно с Юнгом, скажется в последующих произведениях Шихматова.

В изображении картин природы намечается известная закономерность, проходящая через всю поэму. Вначале дается спокойный сельский пейзаж:

Растут дубравы насажденны,
Холмов присолнечных венцы,
Густою тенью усажденны
Поют воздушные певцы. (с. 28)

Затем пейзаж становится все более грозным, и максимальной напряженности изображение природы достигает в описании Полтавской битвы:

Земля волнуется как море,
Из бездн всплывают острова,
На дно пучины грязнет суша;
Природа, весь свой чин разруша,
Болезнует, едва жива. (с. 80)

К концу поэмы буря утихает. В седьмой песне автор обращается к Рафаэлю, призывая художника изобразить величие России и деяния Петра. Пейзаж, который надлежит нарисовать Рафаэлю, должен показать умиротворение и покой, наступившие в России в результате деятельности Петра:

Представь млеком текущи горы
И холмы каплющи вином...

Вся седьмая песнь представляет собою растянутое обращение к великому итальянскому живописцу.

Нелепая для эпической поэмы вставка объясняется и здесь стремлением Шихматова слить воедино оду и эпопею. Непосредственным источником этой идеи послужил Шихматову, вероятно, ломоносовский «Разговор с Анакреоном», где художнику предлага-

ется изобразить Россию; в то же время само имя Рафаэля как адресата поэтического обращения, возможно, подсказано одой Державина «Изображение Фелицы».

«Петр Великий» был произведением, рассказывавшим главным образом о победах русского оружия (Полтавская битва — центральный эпизод поэмы). В конце ее автор обращается к сегодняшним противникам России:

...бойтесь, дерзкие соседи.
Его [Петра. — *М.А.*] воинственная тень
Сильна еще стяжать победы,
Создать другой Полтавский день,
И в персть низвергнуть ваши войски. (с. 203)

Это делало «Петра Великого» произведением политически актуальным и, при наличии несомненных художественных достоинств, должно было способствовать торжеству патриотической шишковской партии — чего, однако, не произошло.

Первым серьезным откликом на поэму Шихматова явилась статья С. Глинки в «Русском вестнике»[90]. Она начинается с полемики по поводу уподобления России до Петра тучным, но «не обработанным науками полям». «Земледелие задолго до Петра Первого цвело в России», — говорит Глинка. Петра, по его мнению, можно воспевать, «не называя прежних наших полей *пустынными*, не изображая в глубоком сне *благие дары Небес*»[91]. Как известно, оценка

[90] Известие о книге под заглавием Петр Великий, лирическое песнопение в осьми песнях, сочинение князя Сергея Шихматова: с присовокуплением некоторых замечаний // Русский вестник. 1810. №5. С. 85—145. Рецензия не подписана. Авторство раскрывается в конце ее, где рецензент говорит о себе как об издателе журнала: «...приму с величайшей благодарностью все замечания и долгом поставлю напечатать оные в «Русском вестнике» без всякой перемены» (Там же. С. 141).

Впервые С.Н. Глинка был назван автором «Известия о книге... Петр Великий» в нашей статье «“Слово о полку Игореве” в кругу “Беседы любителей русского слова”» (см.: Альтшуллер 1971). Ф.Я. Прийма без достаточных оснований приписал рецензию издателя Сергея Николаевича Глинки, — его брату Федору Николаевичу (*Прийма Ф.Я.* «Слово о полку Игореве» в творчестве С.Н. Глинки // Древнерусская литература и русская культура XVIII—XIX вв. Л.,1971 [=Труды Отдела древнерусской литературы. Вып. 26]. С. 126). Это утверждение было убедительно оспорено Л.Н. Киселевой, присоединившейся к нашей точке зрения (см.: Киселева 1982. С. 97—100).

[91] Русский вестник. 1810. №5. С. 89—90, 100—101.

роли Петра в истории России была одним из основных пунктов позднейшей ожесточенной полемики между западниками и славянофилами. Замечание Глинки является одним из самых ранних ее проявлений. Шихматов, как ни странно, оказывается, с точки зрения Глинки, недостаточно последовательным защитником славянской идеи.

Далее Глинка подвергает критике использование *гомеровских* эпических приемов. Сравнения он называет «чистыми витийственными описаниями»: в песни первой Петр уподоблен солнцу; во второй — древняя Россия уподобляется пространным тучным и пустынным полям; в четвертой находится уподобление Полтавской битвы ужаснейшим явлениям в Природе. «Если бы автор, — продолжает Глинка, — чаще обращался к прошлому России [новый упрек Шихматову за невнимание к допетровской Руси. — *М.А.*], то легко бы избежал сих частых уподоблений»[92].

Обилие сложных слов также рассматривается рецензентом как недостаток поэмы: «...главная погрешность сочинителя лирического песнопения состоит в излишнем наборе и составлении новых слов. К *небошарному* причисля *небопарное*, к *лепообразному достомужний*, сочинитель прибавил только несколько лишних слогов... стихотворческая кисть и без громозвучных и составных слов может пленить слух, взоры и мысль»[93]. Обилие славянизмов также не является достоинством: Глинка напоминает совет Ломоносова — не употреблять слов «весьма обветшалых». Единственная похвала Шихматову находится в конце статьи: «В обоих его произведениях есть речи и описания, показывающие дарование и стихотворческую способность»[94].

Для поэта, пользовавшегося безусловным признанием в кругу Державина—Шишкова, где Шихматова рассматривали как гордость и надежду русофильской партии, для автора двух поэм и многих стихотворений, отзыв Глинки представляется весьма сдержанным, особенно если помнить, что он был яростным противником Карамзина и сторонником Шишкова, что основной пафос «Русского вестника» заключался в проповеди и защите отечественной культуры.

Статья Глинки оказалась единственным более или менее положительным откликом на поэму Шихматова.

---

[92] Рус. вестник. 1810. № 5. С. 134.

[93] Там же. С. 145.

[94] Анализ этой статьи см.: Мордовченко. С. 85—86.

Карамзинисты не замедлили начать ожесточенные нападки на «Петра Великого». Двенадцатый номер журнала «Цветник» за 1810 г. насыщен полемическим литературным материалом. Здесь заканчивается начатая в предыдущем номере статья Д.В. Дашкова, направленная против Шишкова[95]. В ней, в частности, высмеивается пристрастие к сложным, двусоставным эпитетам гомеровского типа, что, несомненно, задевает и Шихматова. Далее, в послании В.Л. Пушкина «В.А. Жуковскому», говорится:

Поэма громкая, в которой плана нет,
Не песнопение, но сущий только бред.

Наряду с излишней громкостью (обычный для карамзинистов упрек), В. Пушкин отмечает и бесплановость поэмы. Он остается здесь в рамках обычных для классицизма представлений о необходимости в литературном произведении строгой соразмерности частей и демонстративно опирается на авторитет столпов классицизма:

Вот мнение мое! Я в нем не ошибаюсь
И на Горация и Депрео ссылаюсь...[96]

Следом за посланием Пушкина в двенадцатом номере «Цветника» напечатана за подписью «А.А.» издевательская рецензия на шихматовское «Послание к любезному моему брату князю Михаилу Александровичу». Верный принципу единого для всех жанров высокого поэтического стиля, Шихматов в том же 1810 г., когда вышел «Петр Великий», использовал в этом послании прием олицетворения отвлеченных понятий, что и стало главным объектом насмешек рецензента. Цитируя Шихматова, он пишет: «Роскошество — чудовище пространно... После *роскошества* сочинитель видит *бледную зависть*, за нею следует *мрачная гордость*... за *мрачной гордостью* сочинитель видит *пеструю моду*...»[97] Рецензент смеется над попыткой представить в виде живых существ (олицетворить) такие обыденные понятия, как моды и др. Шутку

[95] [*Дашков Д.В.*]. Перевод двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика [рецензия] // Цветник. 1810. №11. С. 298—299.

[96] Цветник. 1810. №12.

[97] Послание к любезному моему брату князю Михаилу Александровичу. 1810 год, месяц Серпень, Спб. В Московской типографии [рецензия] // Цветник. 1810. №12. С. 471—472.

«Цветника» подхватывает в письме к Н.И. Гнедичу Батюшков, которому рецензия А.А. очень понравилась: «...С *вожделением* прочитал игривые стихи его сиятельства к своему брату, стихи, в которых

...роскошество, чудовище престранно,
На яствах возлежа, питается пространно.

Бесподобно. Роскошь, лежащая на пастетах, котлетах и подовых пирогах: мысль жирная, оригинальная и — так сказать — немного смелая».

Батюшков воспринимает Шихматова как разрушителя вкуса и нападает на «Петра Великого» с позиций защитника классических принципов, тоже опираясь на Гомера и Буало: «...напечатали у Шнора Петриаду, лирическую поэму... в 300 листов, лирическую поэму, о которой еще с сотворения мира понятия не имел, ниже Гораций, который был невежда, ниже Боало, который был пьяница, ниже сам Гомер, который врал шестистопными стихами от искреннего сердца, как простак. Нет, эта лирика меня бесит»[98].

К рецензии А.А. приложен «словарь странных слов и выражений», заимствованный из поэмы «Петр Великий», в котором основное место занимают двусоставные эпитеты: *зложадная грудь*, *многосладостная жизнь*, *кровоедные готы*, *чревоболящая пожарами Этна* и т.д.[99].

Игривая заметка «Цветника» вызвала сочувственный отзыв не только Батюшкова, но и графа Хвостова, для классического мышления которого оказался неприемлемым отказ Шихматова от нормативного разграничения лирического и эпического элементов. В своеобразном литературном дневнике, куда Хвостов заносил заметки о событиях литературной жизни и где он отмечал свое к ним отношение, он сочувственно отметил критику «Цветника»: «...ис-

[98] Письмо от 6 мая 1811 г. (Батюшков 1989. Т. 2. С. 167); письмо Гнедичу от 1 апреля 1810 г. (Там же. С. 130). Ю.М. Лотман еще в 1960 г. справедливо писал: «Вопреки общераспространенному мнению, “Беседа” ни в малой мере не была связана с традициями классицизма, то есть рационалистической эстетики в духе Буало. Само имя этого последнего гораздо чаще встречается в эти годы как авторитет в сочинениях Вяземского, В.Л. Пушкина и начинающего А.С. Пушкина» (Лотман 1997 (2). С. 426).

[99] Цветник. 1810. №12. С. 474—476.

числение слов странных и диких, в поэме кн. Шихматова находящихся, смешно и справедливо»[100].

Даже Шишков, верный друг и покровитель Шихматова, отнесся к поэме без большого энтузиазма. Он, правда, по свидетельству С.Т. Аксакова, восхищался изощренной архаикой «Петра Великого» не менее, чем «Пожарским»[101], однако не воспользовался предложением С.Н. Глинки напечатать в «Русском вестнике» любое возражение на статью о Шихматове. Возможно, он тоже чувствовал в новой поэме слишком резкое нарушение жанровой системы, еще привычной сознанию большинства литературно образованных людей начала века, что, видимо, и удержало его от публичного выступления в защиту своего любимца.

Спустя семь лет, в кратком обзоре, посвященном всей творческой деятельности Шихматова, Шишков очень осторожно и как-то неуверенно говорил о «Петре», не понимая жанра этого произведения: «Лирическое стихотворение его “Петр Великий”, невзирая на некий необыкновенный состав свой (ибо не есть ни поэма, ни ода), изобилует однако и многими красотами...»[102]

Спустя семнадцать лет поэма все еще не была распродана, и Шихматов, после выхода в отставку нуждавшийся в деньгах, 10 декабря 1827 г. просил Российскую академию купить у него сто экземпляров «Петра Великого» за 250 рублей[103].

Выход поэмы Шихматова оказался, таким образом, крупной литературной неудачей, которую самолюбивый автор пережил, видимо, очень болезненно. В стихотворении «Сельский житель» он жалуется:

...быв словесности любитель...
...сам охочусь иногда
Бряцать на лире тихострунной,
Хоть есть и тут своя беда...
Но бросим жалобы пустые...

[100] Хвостов (2). С. 370.

[101] Аксаков, 2. С. 373—376.

[102] *Шишков А.С.* Предложение в Российскую Императорскую академию // Известия Российской академии. СПб., 1817. Кн. 4. С. 221.

[103] Архив РАН (СПб.). Ф. 8. Оп. 1. №32. Л. 347.

[104] Шихматов 1814. С. 15.

Литературные неудачи, возможно, еще усилили глубокую религиозность, которой Шихматов, как и вся его семья, отличался с раннего детства. После 1810 г. в творчестве его намечается перелом, первым проявлением которого была появившаяся в 1812 г. поэма «Ночь на гробах» — подражание Юнгу.

Основные темы новой поэмы Шихматова: ночь, смерть, бессмертие души, Страшный суд — характерны вообще для раннего русского романтизма, и прежде всего для творчества Семена Боброва.

Зловеще-романтическим характером отличается, например, у Шихматова изображение всеобъемлющей смерти, знакомое, впрочем, русскому читателю и по многочисленным переводам Юнга, по Державину, Боброву и многим другим поэтам:

...все его [земного шара. — *М.А.*] лице обширно и пространно,
Корою облеклось из трупов и костей;
Моря его текут по черепам людей,
И грады зиждутся от камений надгробных,
Мы жнем насущный хлеб от персти нам подобных...
И сею перстию земля пресыщена:
Гробами нашими вселенная полна...[105]

В кругу «Беседы» преромантические идеи пользовались большой популярностью. В первой книге «Чтений» сочинения Юнга были охарактеризованы следующим образом: «Мрачность их нравоучительна, она имеет свои красоты, приятности и пользу»[106]. Поэтому здесь новая работа Шихматова была встречена с полным сочувствием. В восьмой книге «Чтений в Беседе» напечатаны большие отрывки из нее, отмечено, что это «нравоучительное стихотворение исполнено многими красотами». Мистицизм Шихматова, любование ужасами смерти вызывают полное сочувствие рецензента: «Важность содержания... возносит ум наш к тому высокому любомудрию, которое... учит нас в самих себе видеть самое ничтожное и величественное... приводит читателя к тому страшному нам, но неизбежному месту, где спят усопшие телеса смертных...»[107]

В то же время классик Хвостов заносит в свои заметки резко отрицательный отзыв о новом произведении Шихматова: «Видно,

[105] Шихматов 1812. С. 6.
[106] Чтение, 1. С. 57.
[107] Чтение, 8. С. 78—79.

что песнопевец знает свой язык, но и только. Сочинение все составлено из общих мест, без вымысла, огня и живописи. Дикословия пропасть, но есть, хотя редко, прекрасные стихи...»[108]

Печатный отзыв «беседчиков» на книгу своего сочлена оказался единственным: к началу 20-х годов Юнг был уже очень хорошо известен русскому читателю[109], и появление еще одной его реминисценции прошло незамеченным. От актуальных литературных проблем поэма Шихматова (возможно, это входило в намерения автора) была очень далека.

В последующих произведениях Шихматова продолжается разработка мистико-романтических сюжетов, связанных с юнгианским тяготением к ночной тематике. Такова «Ночь на размышления», в которой мы находим мысль о роковом движении времени, чей бег символизируется боем часов и звоном колокола, известных уже русскому читателю по переводам Юнга, Державину и Боброву.

Что зыблется мой слух. Часов я слышу звон.
Се время вопиет во уши человека,
Чтоб он воспомянув земного краткость века,
Всю важность времени умом своим постиг;

И так, разумна мысль дать времени язык.
Услышав глас его, я бодростью возник[110].

По сравнению со своими предшественниками Шихматов не вносит в разрабатываемую тему ничего нового — «Ночь на размышления» также прошла незамеченной.

В последующие годы Шихматов мало печатается, а в 1824 г. выходит его последнее опубликованное при жизни произведение — книга «Иисус в Ветхом и Новом Завете, или Ночи у креста».

Жизненный путь Шихматова естественно завершился выходом 9 ноября 1827 г. «по прошению за болезнию»[111] в отставку и пострижением 25 марта 1830 г. в монахи под именем Аникиты.

---

[108] Хвостов (2). С. 389.

[109] См.: Заборов 1966.

[110] Шихматов 1814. С. 10. Ср: «Я слышу час биет. Мы примечаем время по единой оного утрате, премудро поступил человек, дав колоколу язык. Я чувствую важный звук сей, якобы слова ангела» (Юнг. С. 6—7).

[111] Высочайший приказ по флоту... (РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 1—2. №3583. Л. 24—24об.).

Умер он в 1837 г. в Афинах, где был начальником русской духовной миссии.

Казалось, Шихматов был осмеян, непризнан и окончательно забыт. Однако уже в середине 1820-х гг. его творчество привлекло внимание декабристов, сделалось для них важным и интересным, хотя по своим настроениям он был весьма далек от революционных кругов русской интеллигенции. В официальной подписке, данной после восстания 14 декабря, 12 мая 1826 г., Шихматов писал: «Ни к какому тайному обществу ни внутри государства ни за границами оного не принадлежал, не принадлежу и принадлежать не буду»[112].

Декабристская лирика нуждалась в изобразительных средствах, способных передать высокий гражданственный пафос, активность бунтарского самосознания. Опыт Шихматова, создателя патриотических поэм, соединивших лиризм с высоким стилем повествования, был учтен декабристами.

Особенно плодотворными и интересными оказались поиски Шихматова в области использования старославянского языка, языка Библии, для создания высокого стиля[113]. В 1826 г. выходят «Опыты священной поэзии» Ф.Н. Глинки, написанные в первой половине 1820-х гг. и подготовленные к печати еще до восстания[114]. В.Г. Базанов следующим образом характеризует этот сборник: «шероховатость стиля, частые инверсии, усложненность словаря и синтаксиса, "словотворчество", новизна оборотов и изобретение более свободных форм стиха»[115]. Все сказанное, за исключением «изобретения свободных форм стиха», с полным правом может быть отнесено к поэмам Шихматова, опыт которого не мог не быть учтен Глинкою, тем более что брат его Сергей Николаевич, издатель «Русского вестника», как мы видели, относился к творчеству Шихматова, несмотря на сдержанный отзыв о «Петре Великом», с сочувствием и вниманием.

В начале 1820-х гг. старославянский библейский стиль начинает появляться и в произведениях В.К. Кюхельбекера. В 1822 г. он пи-

[112] Отобрание от чиновников обязательств о принадлежащих и не принадлежащих к масонским ложам или тайным обществам и предоставление оных в Государственную Адмиралтейств-коллегию с 1822 по 1826 г. (РГА ВМФ. Ф. 422. Оп. 1—2. № 3583. Л. 43об.)

[113] О «восточном стиле» как «стиле свободы» и использовании для этого церковнославянской и библейской лексики см.: Гуковский 1946. С. 216.

[114] Ф. Глинка. С. 456—457.

[115] Там же. С. 27.

шет стихотворение «Пророчество», посвященное борьбе греков за независимость. Оно выдержано в строгих тонах псалма:

Глагол Господень был ко мне...
Восстань, певец, пророк Свободы[116].

Затем в стихах упоминаются Саваоф, Священный пастырь и т.д. Для Кюхельбекера библеизмы важны как показатель высокого стиля. В поисках этого стиля он обращается к Шихматову: «Пришли мне, — пишет Кюхельбекер В.Ф. Одоевскому весной 1825 г., — Шихматова: 1) Петра Великого; 2) Освобожденную Россию; 3) Ночь на размышление; 4) Две его оды на1812 год и на смерть Кутузова; 5) буде можешь, оду на освящение Казанского собора и 6) забытую мною в моих бумагах, сложенных в короб, эпистолу к Юному другу. Пришли, сделай милость, непременно: одна из главных причин, побудивших меня сделаться журналистом, — желание отдать справедливость этому человеку...»[117]

Результатом тщательного изучения Шихматова, о котором свидетельствует это письмо, явилась статья Кюхельбекера «Разбор поэмы князя Шихматова “Петр Великий”». Она начинается с демонстративного, рассчитанного на изумление читателя заявления о громадном поэтическом даровании Шихматова: «У нас есть Поэт с дарованием необыкновенным, который (не упоминаю уже о других его истинно прекрасных трудах) подарил нас двумя лирическими Эпопеями, из коих одна должна назваться *единственною* по сю пору на языке русском, а другая менее совершенна, однако же изобилует великими красотами... говорю о князе Сергее Александровиче Шихматове, написавшем поэму “Петр Великий”»[118].

Кюхельбекер подчеркивает лирическое начало в творчестве Шихматова, сравнивая поэта с Байроном, а самоё поэму — с одами Ломоносова. Критику-декабристу дорог гражданский пафос разбираемого произведения, его учительная, воспитательная ценность, которая достигается повышенной эмоциональной напряженностью, свойственной не эпической поэме, а оде. По Кюхельбекеру, последовательное изложение жизни Петра отнюдь не

---

[116] Кюхельбекер 1967. Т. 1. С. 158.
[117] Рус. старина. 1904. № 2. С. 113.
[118] Кюхельбекер 1979. С. 468—492. Об отношении Кюхельбекера к Шихматову см. в этом изд. статью М.Г. Альтшуллера и Н.В. Королёвой «Личность и литературная позиция Кюхельбекера» (С. 610—611).

является задачей поэмы. Творческую манеру Шихматова он называет «эпико-лирической», когда «чувства поэта излагаются во славу главного лица для возбуждения к нему в внимающем народе благодарности, удивления, благоговения... Он свое лирико-эпическое творение создал по образцу не Илиады Гомеровой, а похвальных од Ломоносова». Кюхельбекер, однако, вынужден признать, что как художественное целое поэма оказалась слишком громоздкой: «...он [поэт. — *М.А.*] должен предположить необыкновенную, неустающую силу души и участия в своих слушателях, но кто — обыкновенный читатель — выдержит гимн в четыре тысячи стихов»[119]. При всем том, с точки зрения Кюхельбекера, Шихматов имеет «право на одно из первых мест между нашими Лириками и Поэтами-Живописцами»[120].

Гибель декабристов и разгром декабристского литературного движения прервали ту линию развития русской поэзии, которая непосредственно была связана с творчеством Шихматова. Основной принцип его творчества заключался в дальнейшем разрушении строгих жанровых перегородок. Только путь у Шихматова был иной, чем у карамзинистов или Державина: он распространил высокий лирический стиль, насыщенный архаизмами (кстати сказать, в гораздо большей, чем у Ломоносова, степени), на все литературные жанры, от эпической поэмы до дружеского послания.

---

[119] Громоздкую неуклюжесть поэмы Шихматова подчеркивает известная эпиграмма Батюшкова:

Какое хочешь имя дай
Твоей поэме полудикой:
Петр Длинный, Петр Большой, но только Петр Великой —
Ее не называй.

[120] Кюхельбекер 1979. С. 491.

Глава 3

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ «БЕСЕДЫ»
(И.А. Крылов, А.А. Шаховской, Г.Р. Державин)

Многие члены «Беседы» были известными драматургами (Шаховской, Крылов, Николев, Капнист, Ильин, Судовщиков, Висковатов), другие пробовали свои силы на театральном поприще (Шишков, Державин, Жихарев, Горчаков, Марин). Иначе и быть не могло. Литераторы-публицисты, желавшие проповедовать свои идеи как можно большему числу людей, ориентировавшиеся на публичную, открытую, громкую деятельность созданного ими общества, естественно обращали взоры к театральной рампе, стремясь утверждать свои политические взгляды, свой гражданственный пафос, свою литературную позицию с кафедры, обращенной к максимально большой аудитории. Такой кафедрой являлся театр.

Невозможно подробно проанализировать всю театральную деятельность «беседчиков». Мы остановимся в основном на творчестве самых крупных драматургов общества: Крылова, Шаховского, Державина — и рассмотрим, как в их пьесах отражалась идеология «Беседы».

В 1799—1801 гг. в селе Казацком у князя Голицына Крылов написал пьесу «Пирог». Живая и остроумная, она построена по обычным принципам драматургии XVIII в.: двое плутоватых слуг, двое бесцветных влюбленных, неудачливый соперник и пр. Вместе с тем одна из ролей (Ужимы, матери Прелесты — главной героини комедии), выпадая из общей схемы комедии положений, несет на себе яркий отпечаток литературной борьбы. Ужима в совершенстве владеет всем арсеналом сентиментальных ситуаций («...мы будем наслаждаться приятным воздухом, ...мы где-нибудь сядем у ручей-

ка, ...вы станете целовать мои руки, а я буду отвечать на ваши нежности умильными взорами») и сентиментальной лексики: «Я очень люблю утешать несчастных любовников; мы станем читать с ним вместе элегии, где была бы ночь, луна, и звезды, и блестящая слеза... Ах! Я воображаю, что мы с ним зачувствуемся!»[1]

Так Крылов после долгого перерыва начал новый этап своей литературной деятельности с удара по модным литературным настроениям.

22 апреля 1802 г. «репертуарным членом» был назначен князь А.А. Шаховской[2], ненавистник сентиментальной и романтической драматургии. Неудивительно, что при новом репертуарном начальнике пьеса Крылова увидела свет рампы уже 20 июля 1802 г.[3]. Выступление Крылова против сентиментализма было весьма своевременным. Ожесточенная война между сторонниками старого и нового слога должна была вот-вот разгореться. В 1803 г. вышла из печати книга А.С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». Если у Крылова связь сентиментализма с заграничным влиянием была лишь едва намечена («Прелестушка, друг мой, с тобою ли Флориан?» — восклицает Ужима [2, 395]), то у Шишкова связь сентиментализма с преклонением перед европейской культурой и, вследствие этого, пренебрежение нравами и обычаями своей страны были сформулированы как обвинение Карамзину и его последователям. В качестве образца дурного слога Шишков приводит примеры из переводных романов, он упрекает Карамзина за вопрос «Отчего в России мало авторских талантов?» и особенно яростно нападает на представителей «нового слога» за нежелание искать образцы языка в церковных книгах. Пьеса Крылова, с одной стороны, книга Шишкова — с другой, оказали, видимо, влияние на создание одной из самых ранних пьес Шаховского, комедии «Коварный»[4], которая была поставлена 16 декабря

---

[1] Крылов 1946. Т. 2. С. 395, 397 (в дальнейшем ссылки на это издание даются в скобках в тексте).

[2] Арапов. С. 157.

[3] Там же. С. 159. На титульном листе рукописи указано: «...в первый раз представлена в С.-Петербурге 1802 июля 20» (Санкт-Петербургская театральная библиотека [далее — СПТБ]. Шифр: 1, VI, 28, №6319). Пьеса Крылова, видимо, не пользовалась успехом у публики: она выдержала три представления в 1802, 1805 и 1806 гг. (по одному в год) и одно в Москве в 1804 г. См.: Репертуарная сводка. Т. 2. С. 506. О драматургии Крылова начала XIX в. см.: Фомичев.

[4] Анализ пьесы см.: Гозенпуд. С. 8—10.

1804 г.[5]. Как и у Крылова, носительницей сентиментальной идеологии является лишь одна из героинь пьесы — старая девушка княжна Кермская. У Крылова Вспышкин, муж Ужимы, смеется над сумасбродством своей жены; у Шаховского Кермской противопоставлен ее брат, который восхищается своим отечеством и ненавидит все иностранное. Роль Кермской и вместе с этим значение литературной полемики у Шаховского оказывается более существенным, чем у Крылова. Вероятно, под влиянием идей Шишкова ложная чувствительность в «Коварном» сливается с любовью ко всему иностранному. Заграничное происхождение сентиментализма все время подчеркивается в речах княжны Кермской: «Завтрак и прогулки переносят меня в отечество Кларис и Памел»[6]. Она же говорит об одном из героев пьесы: «Это Ловелас с душою Грандисоновой!»[7] В числе иностранных слов, портящих русский язык, Шишковым названо и слово «монотонный» (2, 144). Быть может, неслучайно оно вложено Шаховским в уста княжны Кермской в подчеркнуто антипатриотической тираде: «Теперь ничто не мешает нам оставить эту монотонную Россию, этот варварский климат. Вечная весна ожидает нас в Италии, ум, просвещение и вкус во Франции; философия, художество и сентиментальность в Англии»[8]. Ложная чувствительность сливается в пьесе с любовью ко всему иностранному, а эксплуатирует сентиментальность героини пройдоха-иностранец. Сентиментализм, таким образом, оказывается не только смешным и сравнительно безобидным заблуждением, как у Крылова, но и прикрытием коварства и обмана[9].

Пьеса Шаховского, не имевшая успеха у зрителей, должна была понравиться в кругу Шишкова. И действительно, в декабре 1804 г. Державин написал четверостишие, в котором обвиняет «подьячих», т.е. чиновников, освиставших «Коварного» за то, что они узнали себя в главном герое пьесы:

На подьячего, свиставшего в комедии «Коварный»

Как ты «Коварного» решился освистать? —
Сказал дьяку так дьяк, быв хитрый сам пролаза, —

[5] Арапов. С. 169. Пьеса не имела успеха и выдержала лишь одно представление (Репертуарная сводка. Т. 2. С. 483). Подробнее см.: Назарова.

[6] СПТБ. №1477. Л. 12об. (*Шаховской* [*А.А.*]. Коварный. Комедия в 5 действиях).

[7] Там же. Л. 4об.

[8] Там же. Л. 54об.

[9] Подробнее об этом см.: Гозенпуд. С. 8—10.

Наш долг, тот отвечал, себя здесь защищать:
И ворон ворону не выколет ведь глаза[10].

(3, 296)

Борьбу с сентиментализмом Шаховской продолжил в следующем, 1805 г., посвятив разоблачению ненавистной ему литературы целую пьесу — «Новый Стерн»[11].

А 27 июля 1806 г. была в первый раз представлена пьеса Крылова «Модная лавка». Как неоднократно указывалось, в этой пьесе использованы излюбленные Крыловым мотивы «Почты духов»: борьба с галломанией, погоней за модой, насмешки над петиметрами и пр. Однако после книги Шишкова и пьес Шаховского галлофобия, столь привычная для русской литературы еще со времен журналов Новикова, приобретает особый и литературный, и политический характер — она сливается с борьбой против сентиментализма и идей Французской революции. Герой пьесы — господин Сумбуров, «старик, правда, добрый, но вспыльчивый и горячо привязанный к дедовским русским обычаям; тот день только и счастлив, когда удастся ему побранить или моды или иностранцев» (2, 421). По сравнению с «Пирогом» в «Модной лавке» борьба с иностранным влиянием заметно усилена. Сумбуров представляет некоторую параллель Вспышкину, о чем свидетельствует и синонимичность фамилий. Однако галлофобия Сумбурова гораздо активнее, энергичнее и принципиальнее, чем снисходительно-насмешливое отношение Вспышкина к сентиментальным выходкам Ужимы. Очень резки в пьесе выпады против иностранного воспитания, в котором, с точки зрения автора, нет никаких положительных сторон: «Я воспитал ее, — говорит о своей дочери Сумбуров, — быть доброю женою, доброю хозяйкою и доброю матерью, а не по-сорочьи щекотать. ...Стыдно не учиться музыке, стыдно не уметь танцевать, стыдно очень не лепетать по-французски...» (2, 466).

---

[10] Л.Н. Назарова, впервые обратившаяся к рукописи «Коварного», по какому-то недоразумению сочла неуклюжее четверостишие в защиту пьесы эпиграммой на нее. См.: Назарова. С. 547.

[11] Подробный анализ пьесы и полемики вокруг нее см.: Гозенпуд. С. 10—18. В отличие от «Коварного», новая пьеса Шаховского имела шумный успех. Она выдержала десятки представлений и не выходила из репертуара в течение многих лет (в последний раз шла на сцене в 1836 г.). См.: Репертуарная сводка. Т. 2. С. 501; Т. 3. С. 286.

Пьеса Крылова была восторженно принята публикой[12], рецензентами[13] и особенно Шаховским, который не без основания увидел в Крылове своего полного единомышленника[14].

В начале 1807 г. Шаховской написал сатиру, с успехом прочитанную 31 марта на литературном вечере у И.С. Захарова в присутствии Крылова, Шишкова, Державина и др.[15]. Классик Шаховской начинает свою сатиру с обращения к Мольеру и, подражая ему, в соответствии с просветительской точкой зрения стремится

Полезным сделаться порока осмеяньем[16].

Крылову сатира Шаховского очень понравилась; он говорил, что портреты в ней весьма сходны с оригиналами[17]. И, может быть, имел в виду не только посетителей салона А.А. Нарышкина, в которых, по рассказу Жихарева, метил Шаховской, но и героя своей «Модной лавки» Недощетова, о котором говорят: «Уж нечего сказать, ученый человек, да эконом какой! И теперь для экономии остался в деревне; знаешь, — все на иностранный манер, и сеет и жнет все по немецкому календарю; да но, земля-то у нас такая дурацкая, что когда ему надобно лето, тут-то как на смех, и придет осень, — разоренье да и все тут!» (2, 434). Сходного героя изобразил и Шаховской:

Тот захозяйничал и в деревнях мудрит:
Из иностранных книг и с образца чужого
Без толку, без пути он сеет русский хлеб:
Да на чужой манер хлеб русский не родится[18].

Позднее Шаховской использовал образы «Модной лавки» в пьесе «Пустодомы» (1818), где одной из героинь является горнич-

---

[12] См.: Жихарев. С. 420, 548. Комедия не сходила со сцены в течение всей первой половины XIX в. и выдержала множество представлений. См.: Репертуарная сводка. Т. 2. С. 494; Т. 3. С. 277.

[13] Лицей. 1806. Сентябрь. С. 100—103.

[14] Немного позднее, в 1808 г., Шаховской написал на пьесу похвальную рецензию: «Суждение о Модной лавке, комедии в трех действиях, соч. И.А. Крылова» (Драматический вестник. 1808. Ч. 1. №1. С. 9—15).

[15] Жихарев. С. 450.

[16] Шаховской. С. 75.

[17] Жихарев. С. 450.

[18] Шаховской. С. 75.

ная Маша, «взятая из модной лавки» (т.е., в этом контексте, и из пьесы Крылова). Она снабжает свою госпожу фарфором, бронзами, шалями и пр. из лавки мадам Каре (так же зовут хозяйку модной лавки у Крылова)[19].

Завершая тему «Пирога» и «Модной лавки», Крылов создает в 1807 г. одно из лучших своих произведений — одноактную комедию «Урок дочкам». Как известно, сюжет пьесы заимствован из комедии Мольера «Смешные жеманницы»; при этом, вероятно, использованы и названия написанных в то же время пьес Мольера «Урок мужьям» и «Урок женам». В пьесе Мольера была жестоко осмеяна прециозная литература. На русской почве прециозность легко могла обернуться сентиментализмом, однако Крылов в «Уроке дочкам» намеренно отказался от литературных проблем. Като и Мадлен у Мольера говорят о литературе: «Каждый день узнаешь... какие-нибудь светские новости, тебе становится известен изящный обмен мыслей и чувств в стихах и прозе. Можешь сказать точно: такой-то сочинил лучшую в мире пьесу на такой-то сюжет, такая-то подобрала слова на такой-то мотив, этот сочинил мадригал по случаю удачи в любви, тот написал стансы по поводу чьей-то неверности, господин такой-то вчера вечером преподнес шестистишие девице такой-то, а она в восемь часов утра послала ему ответ, такой-то писатель составил план нового сочинения, другой приступил к третьей части своего романа, третий отдал свои труды в печать. Вот что придает цену в обществе, и, по моему мнению, кто всем этим пренебрегает, тот человек пустой»[20]. В соответствующем монологе «Урока дочкам» Фекла и Лукерья с упоением описывают праздное злословие светской жизни — результат уродливого воспитания: «По утру, едва успеешь сделать первый туалет, явятся учители, — танцовальный, рисовальный, гитарный, клавикордный; от них тотчас узнаешь тысячу прелестных вещей, тут любовное похищение, там от мужа жена ушла; те разводятся, другие мирятся; там свадьба навертывается, другую свадьбу расстроили; тот волочится за той, другая за тем, — ну, словом, ничто не ускользнет, даже до того, что знаешь, кто себе фальшивый зуб вставит, и не увидишь, как время пройдет» (2, 566).

Возможно, Крылов намеренно отказался от осмеяния сентиментализма в «Уроке дочкам», считая, что Шаховской уже справился с этой задачей в «Коварном» и особенно в «Новом Стерне», и не

[19] См. об этом: Гозенпуд. С. 44, 781.
[20] Мольер. Т. 1. С. 244.

желая повторять тему написанной[21] комедии своего друга, в которой, кстати сказать, обыгрывался литературный аспект мольеровской пьесы, что подчеркивалось эпиграфом, взятым из «Смешных жеманниц»: «А вы, виновники их безумия, дурацкие бредни, пагубные забавы, праздник умов, романы, стишки, песни, сонеты и сонетишки, провалитесь вы ко всем чертям!»[22]

«Урок дочкам» целиком направлен против «чужебесия», дурного воспитания и галломании — пороков, подвергшихся яростным нападкам Шишкова в «Рассуждении о старом и новом слоге». «...дети знатнейших бояр и дворян наших, — писал Шишков, — от самых юных ногтей своих находятся в руках у французов и прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий...» (2, 6). Иллюстрацией к этим словам Шишкова служит разговор Феклы и Лукерьи в пьесе Крылова: «Мадам Григри, которая была у тетушки нашей гувернанткою, ничего не упустила для нашего воспитания... сколько раз... в магазинах принимали нас за природных француженок!» (2, 570). Шишков негодует на молодых людей, которые «говорят языком их [французов. — *М.А.*] свободнее, нежели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке своем никогда не упражняются, не токмо не стыдятся не знать оного, но еще многие из них сим постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшающим их достоинством хвастаются и величаются» (2, 6—7). Инвективы Шишкова воплощаются Крыловым в живые картины быта. Фекла и Лукерья с гордостью сообщают мнимому маркизу: «Ах, нет, нет! мы клянемся вам, что до самого приезда сюда иначе не говорили мы, как по-французски, даже до того, что по-русски худо знаем. О! мадам Григри за этим очень смотрела!.. Не в похвалу себе скажу, маркиз, только я, право, двух строк по-русски без двадцати ошибок не напишу; зато по-французски...» (2, 579).

Крылов потому и сблизился с Шаховским, а затем с кружком Шишкова—Державина, что это были люди, идейно ему близкие. Крылов так же энергично проповедовал взгляды этого круга в художественном творчестве, как Шишков — в публицистических трактатах.

«Урок дочкам» с восторгом был принят современниками и, естественно, с особым восхищением — в кружке Шишкова—Дер-

[21] Напомню, что «Новый Стерн» был написан и поставлен в 1805 г.
[22] Шаховской. С. 735.

жавина. 5 мая 1807 г. на литературном вечере у А.С. Хвостова присутствующие, в числе которых были и Державин и Шишков, делали Крылову «множество комплиментов и между прочим чрезвычайно хвалили его комедию “Урок дочкам”»[23]. С.Н. Марин, посетитель литературных вечеров Державина—Шишкова, впоследствии член «Беседы», обратился к ее автору со стихами:

Любя отечество, люблю я тех душой,
Которы общею не страждут слепотой.
На моды не смотря, привыкли тем гордиться,
Что привела судьба их Русскими родиться.
В числе их ты, Крылов, — и дочкам дав урок,
Соотчичей драгих являешь нам порок,
Осмеивая то постыдно состоянье,
В которо привело нас модно воспитанье[24].

Несмотря на явный и громкий успех, «Урок дочкам» стал последним драматическим произведением Крылова. Почему столь популярный драматург, давно стремившийся на сцену и получивший наконец полное признание, вдруг забросил театр, можно только гадать. Вероятно, немалую роль сыграли здесь привычки Крылова, тот образ жизни, который окончательно сложился у него в 1800-е гг. А этот образ жизни был результатом того холодно-созерцательного взгляда на мир, который поэт выработал тоже на рубеже веков. Наилучшим литературным жанром для выражения этого взгляда и стала басня. Если в 1793 г. Крылов жаловался на фортуну за то, что она не помогает тому, кто за ней «волочится всей душой» (3, 253)[25], то в баснях «Фортуна и Нищий», «Фортуна и трое братьев» люди сами виноваты в своих несчастьях, то ли из-за неумеренности желаний, неумения вовремя остановиться (первая басня), то ли из-за безделья (вторая). Сам же автор подчеркнуто отказывается от активной жизненной позиции. Стремление к покою, уюту и неподвижности — вот главные черты облика поэта, которые бросались в глаза современникам уже в 1800-е годы[26].

[23] Жихарев. С. 506.
[24] Драматический вестник. 1808. Ч. 1. №8. С. 72; тот же текст с минимальными разночтениями см.: Марин. С. 124.
[25] Стихотворение «К счастью».
[26] См., например: Лобанов.

Человек, про которого сравнительно близкий к нему С.Н. Марин писал:

В постеле век лежит Андреич косолапой
И тем лишь не медведь, что лапу не сосет.
Всяк в дураках теперь, его кто басен ждет.
Забывши Муз и чтя обжорство и Морфея,
Лишь сон и пироги в уме сего злодея[27], —

вряд ли хотел заниматься таким хлопотным, нервным и беспокойным делом, как работа для сцены. С другой стороны, выработанная Крыловым жизненная позиция должна была еще более укрепить его устойчивые литературные вкусы, окончательно утвердить его творчество на позициях классицизма. А в театре эти позиции становились все менее и менее приемлемы. Крылов понял это и ушел из театра.

Распрощавшись со сценой, Крылов сосредоточил все свои творческие силы на басне — жанре, канонизированном в иерархии классицизма, — и довел ее до такой степени совершенства, которого русская басня более уже никогда не знала.

В большей степени, чем комедия, «беседчиков», тяготевших к общественной проблематике, а следственно, и к торжественным, важным формам, занимала трагедия. Этот жанр давал максимальные возможности для проповеди гражданственных общегосударственных идей. В трагедиях «беседчиков» обсуждаются судьбы России, ее история сопоставляется с настоящим.

Русская история, изображение национального колорита — одна из основных теоретических проблем в театральной деятельности «Беседы». Робкий романтизм «беседчиков» проявлялся в поисках исторической достоверности и в ожесточенной полемике с нарушением исторического правдоподобия в пьесах В.А. Озерова — самого значительного драматурга начала XIX в. Исследователи справедливо отмечают, что драматургия Державина оформилась в борьбе с озеровским направлением, образовав в истории русского театра течение, которое можно назвать державинским[28]. Трагедии Озерова лишь условно могут быть названы трагедиями в классическом по-

---

[27] Марин. С. 175.

[28] О «державинской» и «озеровской» группировках см.: Бочкарев 1964. С. 19; Медведева. С. 55—61; Бочкарев 1959. С. 383.

нимании этого жанра: внимание автора привлекают не идеи, проблемы, а переживания, изображение чувств страдающих героев[29].

Сентиментальность трагедий Озерова отлично почувствовал и выразил В.В. Капнист в послании к автору «Эдипа»:

«Эдипа» видел я, — и чувство состраданья
Поднесь в растроганной душе моей хранит
Гонимого слепца прискорбный, томный вид.
Еще мне слышатся несчастного стенанья...
Еще в ушах моих печальной Антигоны
Унылый длится вопль и раздаются стоны[30].

Снижение высоких героических характеров, выспренних чувств до уровня простого человеческого переживания приводило к снижению и высокого трагедийного слога. Язык Озерова изобиловал не только сентиментально-слезливой лексикой, но и просторечиями.

Озеров сознательно отказывается от исторической достоверности. Нам еще придется говорить о нарушении историзма в «Дмитрии Донском», написанном на русском материале, но драматург антиисторичен и в использовании мифологического текста в том смысле, что он позволяет себе переделывать, изменять сюжет, который образованному русскому обществу был известен не хуже, чем афинским зрителям. У Озерова Эдип остается в живых, а погибает Креон, представленный в трагедии злодеем.

Наконец, Озеров испытал на себе увлечение либеральной политикой Александра I в начальные годы его царствования. Благородный Тезей в своих тирадах формулировал конституционные идеи молодого монарха:

Где на законах власть царей установленна,
Сразить то общество не может и вселенна.

Именно эти слова возбудили внимание зрителей: «...театр поколебался от рукоплесканий и криков: “браво” и проч. Спасибо нашей публике, которая, какова ни есть, не пропускает однако ж ничего, что только может относиться к добродетелям обожаемого государя»[31].

[29] См.: Медведева. С. 30.
[30] Капнист 1973. С. 234—235.
[31] Жихарев. С. 99.

Все эти особенности озеровской драматургии оказались неприемлемыми для будущих деятелей «Беседы любителей русского слова». В кругу Шишкова—Державина озеровский «Эдип в Афинах» оживленно обсуждался. С педантизмом и придирчивостью рассматривался каждый стих. Результаты этого обсуждения сохранились в рукописной тетрадке, представляющей разбор первого акта трагедии. Разбор этот является результатом коллективного творчества: как сказано в преамбуле, замечания «были деланы в собрании»[32]. Язык и стиль их, по-видимому, свидетельствуют, что окончательная обработка принадлежит Шишкову, а участие в работе Державина подтверждается письмом поэта к А.Н. Оленину («Я люблю автора и желаю ему успехов: чистосердечно хотел бы ему самые маленькие вещи заметить...» [6, 178]) и «Объяснениями» Державина на свои сочинения, автор которых, «рассмотрев хорошенько сию трагедию с приятелями, предоставляет себе право прислать ему на оную примечание» (3, 580).

Эти замечания, несмотря на осторожность и сдержанность формулировок, что можно объяснить нежеланием раздражать обидчивого и неуравновешенного Озерова, в целом представляют собой резкую критику его пьесы. Авторы разбора располагают все произведения по шкале ценностей между слабой трагедией «Траян и Лида»[33] и творениями Ломоносова: «Никто не станет рассматривать Траяна и Лиду; но можно Ломоносова рассматривать, дабы показать, каким числом великих красот заменил он малые и редкие недостатки или неисправности. В России стихотворцев всех помещая между Ломоносовым и сочинителем Траяна, смотреть должно, к которым из двух кто ближе. Глас публики и те, кои право мыслят и чувствуют, определили многим места. К кому ближе г-н Озеров, о том нет вопроса, образ начала его таков, что сближение с первым нашим стихотворцем несомнительным представляется. А от сего и вывожу следствие, что за рассмотрение хорошего сочинения не

---

[32] ОР РНБ. Ф. 247. Т. 5. Л. 57. В дальнейшем ссылки на эту рукопись в тексте. Ср.: Медведева. С. 57.

[33] Трагедия «Траян и Лида» в пяти действиях, «сочиненная прапорщиком В.Л.» (СПб., 1780), приписывалась Василию Левшину (см.: Сводный каталог. Т. 2. С. 133). Однако В.В. Пухов в докладе, прочитанном на заседании группы по изучению русской литературы XVIII века (Пушкинский Дом) в октябре 1975 г., показал, что автором трагедии является Василий Васильевич Лазаревич. Трагедия была встречена неодобрительной рецензией и насмешками современников. О Лазаревиче см. статью В.В. Пухова в: Словарь... XVIII в. Вып. 2. С. 183—184; *Его же*. Загадочный В.Л. // В мире книг. 1978. №2.

должно негодовать, буде не сопровождается оно колкостью, желчью, завистью и проч.: и любителям литературы можно считать такое упражнение за должность так, как сочинителю за уважение к трудам его» (л. 250—250об.).

Трагедия Озерова, с точки зрения составителей разбора, несомненно, ближе к Ломоносову. Но сама возможность сопоставления «Эдипа в Афинах» с безвестным творением никому не ведомого Василия Лазаревича должна была больно задеть самолюбивого и болезненно мнительного драматурга.

Далее Державин и Шишков нападают на сентименталистов с их известным тезисом о хорошем поэте, который «пишет так, как говорят, кого читают дамы», тем самым показывая, что они и Озерова воспринимают в кругу сентиментальных настроений. «В рассмотрении Сида, так как и в рассмотрении Едипа, найдутся некоторые схоластические мелочи, которые покажутся педантством чтецам поверхностным и дамам тем, коих без соблюдения точных грамматических правил тронуть до слез можно...»

И действительно, казалось бы, мелочные стилистические упреки авторов разбора явственно показывают неприемлемость для них сентиментального словоупотребления. Так, по поводу реплики «Чтоб ближние смущали и то уныние несчастного слепца» говорится: «*Смущать уныние* нельзя сказать...» (л. 254).

Много внимания уделяют авторы замечаний просторечиям, которые кажутся им неуместными в высокой трагедии. Так, в стихе «Мой царский трясся дом» слово «трясся» названо «простонародным» (л. 253), слова «перед дворцом вопил» представляются критикам «низкими» (л. 254 об.), а о стихе «Желает пред тебя введенным быть Креон» они говорят, что «слова *введенным быть* не отвечают важности трагедии» (л. 253).

Не следует думать, что эти мелкие замечания о языке и стиле «Эдипа» вызваны лишь нарушениями нормативной поэтики классической школы, стремлением сохранить требования «высокого штиля» для классической трагедии. Просторечия воспринимаются авторами замечаний как нарушение исторической достоверности: так не могли говорить великие цари античного мира. Славянизмы, употребляемые как архаизмы, противопоставленные обыденному, повседневному словоупотреблению, в принципе могут становиться знаком любой давно прошедшей эпохи: античной, восточной или славянской.

Наконец, замечания направлены и против политической позиции Озерова, прославляющего либеральные начинания молодого царя. Рядом с той самой репликой о конституционных планах монарха («Где на законах власть царей установленна...»), которая вызывала восторг публики, кратко и энергично написано: «Мысль не правильная» (л. 256 об.).

Трагедия «Дмитрий Донской» (1807), написанная уже на русском историческом материале, не могла не усугубить разрыв Озерова с державинским кружком. Для Державина и его окружения был неприемлем политический пафос пьесы, посвященной Александру I. В этом посвящении автор соотносил подвиг героя своей трагедии с будущими подвигами российского императора: «Дмитрий, поразив высокомерного Мамая на Задонских полях, положил начало освобождению России от ига татарского. Ваше императорское величество возбудили славу россиян на защищение свободы европейских держав. Будущие века благословят твердость и великодушие монарха, принявшего оружие для спасения разноплеменных народов от ига честолюбивого завоевателя»[34]. Пьеса, как известно, начиналась патриотическими тирадами, воспринимавшимися зрителями как призыв к победоносной войне с французами[35].

Ближайшие исторические события: поражение русских войск при Фридланде, Тильзит — превратили эти патетические тирады в горькую насмешку над самим царем. Державин резко отозвался о пьесе при дворе: «...выдал он трагедию *Димитрия*, которая двором была хорошо принята, но как находились в ней великие погрешности, то в бытность автора при дворе спросили автора [т.е. Державина. — *М.А.*], как он ее находит. Поелику она не имела порядочного плана и характеры великих князей весьма были подлы, то хотя автор и отговаривался сказать свое мнение, но наконец принужден нашелся сказать правду» (3, 580).

Принципиальный антиисторизм озеровской трагедии был для будущих «беседчиков» особенно неприемлем. Хорошо известна саркастическая реплика Державина по поводу исторических несообразностей пьесы: «...мне хочется знать, на чем основывался Озеров, выведя Дмитрия влюбленным в небывалую княжну, которая одна-одинешенька прибыла в стан и, вопреки всех обычаев тогдаш-

---

[34] Озеров. С. 289.

[35] Жихарев. С. 303, 311, 320, 324—325.

него времени, шатается по шатрам княжеским да рассказывает о любви своей к Димитрию»[36].

С этой репликой Державина хорошо согласуются дошедшие до нас и, к сожалению, опубликованные не полностью пространные замечания Шишкова на пьесу Озерова. Они показывают, что Шишков и Державин во взглядах на театр были абсолютными единомышленниками. «Завязка сей трагедии на такой невероятности основана, — пишет Шишков, — что никакими натяжками нет возможности ее оправдать. Отец мой, говорит Ксения (в третьем явлении второго действия), не успел выдать меня за Тверского во время тишины. Не показано причины, для чего не успел... Да какая же причина послать ее в стан венчаться накануне сражения? Что его так приспичило? Разве нельзя ему было подождать решения битвы?»[37] Шишков возмущен историческими несообразностями пьесы: «Как? Ксения без всякой нужды накануне битвы приедет в стан? — Зачем? Чтобы *перед взорами татар* обвенчаться с Тверским! — Свадьба на поле в день сражения! Ну, право, это диковинная вещь! ...И подлинно это новое зрелище, не только для российских воев, но и для всех, видеть свадьбу, где бы надобно смотреть битву! — Ну, да как татары в это время нападут? Проклятые тотчас погасят брачные свещи»[38]. По словам Аксакова, «Шишков принимал за личную обиду искажение характера славного героя Куликовской битвы, старинных нравов русской истории и *высокого слога.* «Хорош великий князь Московский! — говорил Шишков. — Увидав красивую девицу в Успенском соборе, невзвидел святых мощей и забыл о них. Можно ли написать такую дичь о русском великом князе, жившем за четыреста лет до нас?»[39]

Немного позднее (1810) в кругу Шишкова пьеса Озерова была осмеяна в остроумной пародии «Митюха Валдайский». Автором ее был П.Н. Семенов (1791—1832), игравший вместе с Аксаковым в домашнем театре Шишкова, «мастер передразнивать всякие карикатурные личности»[40], написавший известную пародию на оду Державина «Бог». В пьесе Семенова изображается драка («битва») валдайских целовальников с зимогорскими ямщиками, в которой благодаря Митюхе кабатчики одерживают решительную победу.

---

[36] Жихарев. С. 331.
[37] Цит. по: Сидоров. С. 152.
[38] Там же. С. 163.
[39] Аксаков, 2. С. 303.
[40] Там же. С. 298.

Семенов умело пародирует сцену в храме, когда Димитрий впервые увидел Ксению. Этой сценой, как мы видели, сильно возмущался Шишков:

...ты не был в день Крещенья
На знатном празднике в монастыре у нас,
Где я Аксютушку увидел в первый раз;
Тут все мое лицо как спьяну загорело,
А сердце у меня заныло, засвербело...
Всего меня палит как будто бы огнем...
Схватило мне живот и посперло всю глотку...

Выразительные и острые инвективы Шишкова и Державина об исторических несообразностях пьесы Озерова резюмируются в словах старого и мудрого целовальника Елисея, человека «образованного и начитанного», т.е. превосходно знакомого с лубочной литературой: «Бову читал и Еруслана, // Читал историю я Смурого Кафтана, // И Ваньку Каина, Петра Златых Ключей». Однако, несмотря на всю свою начитанность, Елисей

...ни в одной еще того не встретил сказке,
Чтоб ссорились свои за девушкины глазки,
Тогда как надобно идти в сраженье им;
Чтобы к богатырям или царям каким
Возили на войну невест, чтобы венчаться,
А девкам не в свое ненадобно мешаться[42].

Недовольство господствующими драматическими формами приводит членов кружка к мысли о создании трагедии, соответствующей их литературным и политическим взглядам. Державин в «Объяснениях» на свои сочинения так рассказывает об обращении к исторической драматургии: «...он [Озеров. — *М.А.*] разгласил в публике... что автор [т.е. Державин. — *М.А.*] из зависти не одобряет его трагедий, которых сам не умеет написать. ...автор думал, что критика легка, а искусство трудно; то и решился испытать сил своих в рассуждении трагедии... Вот истинная причина, от которой автор начал в трагедиях упражняться» (3, 580). Конечно, глубокий

[41] Русская стихотворная пародия. С. 213.
[42] Там же. С. 229.

интерес к драматической литературе, напряженная работа над историческими пьесами не могут быть сведены только к соперничеству с Озеровым. Признания Державина важны в другом отношении: они свидетельствуют о его сознательных, программных антиозеровских установках.

Озеров был сентиментален, антиисторичен, допускал смешение стилей, обращаясь к просторечию, — всего этого подчеркнуто не будет в драмах Державина. Для него, как и для древних афинян, театр был «политическим учреждением», которым «Греция поддерживала долгое время великодушные чувствования своего народа, превосходство ее над варварами доказывающие» (7, 609).

Для Державина важнейшим достоинством его пьес была их историческая достоверность. Пренебрежение исторической правдой, искажение исторических характеров, как мы видели, воспринималось державинским кружком как унижение национальной культуры. Державин в предисловиях к пьесам всегда указывает источники, к которым он обращался, и с гордостью говорит о точном им следовании. Поэт не был цеховым ученым, и критика текста, естественно, лежала за пределами его интересов. Уровень историзма для него — большая или меньшая близость к источнику, априори признанному достоверным. Только с этой точки зрения и следует говорить об историзме Державина.

В предисловии к «Пожарскому» сказано: «...взял я характеры действующих лиц... из самых деяний, бытописаниями и преданиями нам свидетельствуемых. Любопытный благоволит прочесть Ядро Российской Истории и прочие летописи: то увидит, правильно ли мною извлечены из самых дел характеры» (4, 109). В основу «Ирода и Мариамны» положен «отрывок из древней истории, оставленный нам Иосифом Флавием, писателем о войне иудейской, в котором описывает он жизнь царя Ирода и его супруги таким образом, что могут они в самых твердых душах произвесть сожаления и ужас» (4, 181). Сюжет «Евпраксии» заимствован из «Сказания о нашествии Батыя на Русскую землю» (4, 319), сюжет «Темного» — из летописей, и подробное изложение летописного рассказа приведено в предисловии (4, 322—324). Сопоставление с источниками показывает, что Державин последовательно их придерживается и гораздо более точен в передаче исторических событий, чем Озеров[43].

[43] См. подробный разбор историзма державинских пьес: Бочкарев 1959. С. 369 и след. Ср.: Медведева. С. 37.

Исторический буквализм, однако, не является для Державина самоцелью — он нужен для истинного воспроизведения *личности* в истории, исторических характеров. Отходя от самой сущности поэтики классицизма, для которой человеческая природа всегда (и в Античности, и в Новое время, и в Азии, и в Европе) оставалась неизменной, Державин декларирует тезис об обусловленности человеческого характера историческим временем и обстоятельствами жизни. Он озабочен, «правильно ли... извлечены из самых дел характеры» (4, 109), отмечает специально, что «все сии характеры... взял я из истории» (4, 110), стремится «возможно ближе и изобразительнее представить характер еврейского народа, из коего суть все почти действующие лица» («Ирод и Мариамна»; 4, 182), в «Евпраксии» желает «напомянуть доблесть и непорочность нравов предков наших обоего пола» (4, 251). Державин стремится сохранить ту верность историческим характерам и обстоятельствам, в несоблюдении которой он сам и Шишков упрекали Озерова. Отсюда, например, подчеркнутый этнографизм в описании княжеских покоев, с упором на старинные детали быта, подчеркнуто и названные устаревшими словами: червленый бархат, золотые рясна, рынды на страже («Евпраксия»; 4, 252).

Требование историко-психологической достоверности определяет и язык трагедий Державина. Тяжелые, изобилующие славянизмами, они почитались совершенно несценичными уже современниками поэта. Так, Аксакову, читавшему для Державина вслух «Ирода и Мариамну», казалось, что пьеса написана на «неизвестном языке»[44]. Однако в этой тяжеловесности была своя система. Труднопроизносимые, архаичные фразы в «Пожарском», «Евпраксии» и «Темном» должны были воссоздавать исторический колорит, на сцене воскресала старина, в речах актеров звучала величественная речь древних россиян. Такова, например, патетическая сцена, где Евпраксия церковнославянскими словами оплакивает горячо любимого мужа:

И на груди, твоей поддержанная выей,
Уж дланей я твоих не буду к персям жать
И сладости любви из уст твоих вкушать!
(4, 308)

[44] Аксаков, 2. С. 303.

Другую, но тоже историко-этнографическую функцию выполняет высокий обильный славянизмами слог «Ирода и Мариамны». «...жестокие кровожаждущие выражения, а также и восточный слог, — пишет Державин, — употребил я нарочно, дабы сколько возможно ближе и изобразительнее представить характер еврейского народа, из коего суть все почти действующие лица. Погрешил бы, кажется, и был бы подвержен справедливому осуждению художников благоразумных, ежели бы Палестинцев заставил я изъясняться чувствами и оборотами Французов. Главное правило писателя следовать природе» (4, 182).

Приведу только один пример. Мариамна говорит Ироду, как страстно она его любит, как бы несчастна она была, если бы судьба не сделала Ирода ее супругом, и пр. Все это выражено в одной фразе, состоящей из четырнадцати строк, завершающихся восклицательным знаком:

В улыбке, в радости, в восторге вне себя,
Не насыщаяся смотреньем на тебя,
Мечтаю иногда, против тебя седяща
И взор мой на тебя и душу всю стремяща,
Что если б не было положено судьбой
Быть сопряженною на вечность мне с тобой,
Чело бы я твое венцом не увенчала,
Порфирою моей рамен не украшала,
И ты на низкой бы ступени исчезал,
Но личным только бы достоинством блистал,
А я бы, знав тебя, твой ум и сердце знала,
Но страстью не к тебе, к другому воспылала:
Каких бы благ тогда лишила я себя,
Вообразя, что я живу не для тебя!

(4,199)

Затрудненность и усложненность этих стихов усиливается нагнетанием в первых строках неблагозвучных согласных *щ* и *ш*: насы*щ*аяся, седя*щ*а, ду*ш*а, стремя*щ*а. К этому следует добавить и славянизмы, очень архаичные, которыми изобилует 14-строчная фраза: *чело*, *венец*, *порфира*, *рамена*.

Державин оставался верен этим принципам до конца жизни. Ту же функцию создания торжественного, высокого и вместе этнографически-библейского стиля выполняют славянизмы в последнем

(1814) драматическом произведении Державина — оперном либретто «Эсфирь»[45]. Текст изобилует такими, например, строками:

О юницы лепообразны!
Чистейших стадо голубиц!

Да отдохнут в своих чертогах
И возвратятся вспять сюда...
(«Эсфирь»; 370, 373)

Так коренным образом переосмысляется важнейший тезис классицизма — следование природе. Если природа человека неизменна, то следование ей не требует исторического правдоподобия характеров. Романтический постулат о ценности и значительности любой культуры, а отсюда интерес к характеру, этой культурой обусловленному, требует от художника непременного соблюдения исторической достоверности.

Проблема соблюдения местного колорита при воспроизведении чужеземной или отдаленной во времени культуры оживленно дебатировалась в кругу «Беседы любителей русского слова». Так, Евгений Болховитинов осудил А.А. Палицына за перевод «Слова о полку Игореве», в котором явился «почтенный с бородою седою русский старец в нынешнем французском кафтане»[46]. В 1813 г. в заседаниях «Беседы» разгорелась известная полемика о переводе «Илиады», и С.С. Уваров защищал гекзаметр как наиболее подходящий размер для воссоздания духа оригинала («Омер в русском зипуне столько же мне противен, как во французском кафтане»).

Творчество Державина, как видим, тоже лежит в русле этих преромантических и романтических рассуждений. Его Ирод в заключительном монологе говорит, перечисляя свои будущие преступления — избиение младенцев, усекновение главы Иоанна Крестителя:

Гул слышу жалобна из преисподней стона;
Младенцев тысящи плывут ко мне в крови;

---

[45] Долгие годы остававшийся в рукописи текст «Эсфири» был недавно опубликован А.О. Деминым. См.: *Демин А.О.* Оперное либретто Г.Р. Державина «Эсфирь» // XVIII век. Сб. 22. СПб., 2002. С. 358—408. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.

[46] См. главу «“Слово о полку Игореве” в “Беседе”». См. также: Альтшуллер 1971. С. 118.

На блюде голова в неистовой любви
Творит упреки мне и льет потоки кровны;
Несчетны остовы, толпы теней безмолвны
С окостенелыми очами вкруг идут
И кровь свою мне пить пригорщми подают;
Побед моих трубы ревут мне вслух отвсюды,
Передо мной лежат и позади тел груды...
Раскаяние рвет, воображенье жжет...
Ужасный полк духов отрады не дает!..
Змеистых молний вкруг стрел туча вниз багрова
Летит, разит!

(4, 246)

И дело не в том, насколько удалось Державину в «кровожаждущих выражениях» передать исторический ориентальный колорит и дух изображаемого народа (заметим, что строчкам этим нельзя отказать в выразительности), — важно то, что Державин в трагедии ставил перед собой историко-литературные задачи подобного масштаба.

Пристальное внимание к прошлому у ранних русских романтиков обусловливалось часто напряженным интересом к современности. Настоящее познавалось через историю. Ситуации прошедшего становились моделями для изучения событий современности. Историзм оборачивался сугубой актуальностью. Таким образом, система аллюзий становилась принципиальной чертой русской драматургии начала XIX в. Она не только не противоречила стремлению к историзму, а напротив, обусловливала его.

Театральная публика чутко улавливала все намеки на современность в исторических пьесах и бурно реагировала на них. Так, горячими овациями встречались все патетические и патриотические монологи в трагедии Озерова «Дмитрий Донской». Такая аллюзионность, свойственная еще поэтике классицизма, может быть названа декларативной. Не связанный проблемой исторической достоверности, автор вкладывает в уста героя нужные политические, патриотические и другие тирады, называя этого героя любым подходящим именем: Дмитрий Донской, Вадим Новгородский и пр.

Аллюзионность Державина, которую можно назвать исторической, была значительно глубже, конкретнее и потому злободневнее. В том же 1805 г., когда Озеров писал и ставил «Дмитрия Донско-

го», Державин написал оперу «Пожарский», где воедино слились историзм и аллюзионность. Державин выражал в этой пьесе взгляды литературных и политических архаистов, с мнением которых позднее пришлось считаться молодому царю.

Авраамий Палицын характеризует в опере Державина правление Бориса Годунова, которое привело к неисчислимым для России бедствиям:

...гнусные дела чтоб в мутной скрыть воде
И сделаться царем любезнейшим народу,
Он начал послаблять господствующу власть
И черни попустил с земель сбродить свободу

Соблазны чуждых стран в престольный внедрил град,
Их стражей окружил палат своих гордыню...
(4, 133)

Отрицательную характеристику Годунова Державин нашел в «Ядре российской истории», где сказано: «Людям боярским царь Борис допустил на своих господ клеветать, из чего последовало, что господа своим людям не только что противное делать или говорить не смели, но и больше того многими дарами своих людей от позволенного им на себя клеветания воздержать тщалися, а унять их не могли»[47].

Державин как будто следует за источником, говоря о «послаблении» черни, однако Годунов отменил Юрьев день и тем самым окончательно закрепостил крестьян, поэтому строка «Черни попустил с земель сбродить свободу» не имеет никакого отношения к Годунову, а направлена прямо против Александра I и закона о вольных хлебопашцах (20 февраля 1803 г.), который решительно осуждался Державиным и в личных беседах с государем, и в кругу сенаторов (6, 773—778).

[47] Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом князем Андреем Яковлевичем Хилковым, в пользу российского юношества, и для всех о российской истории краткое понятие иметь желающих в печать изданное с предисловием о сочинителе сей книги и о фамилии князей Хилковых. М., 1770. На протяжении XVIII в. книга издавалась еще несколько раз. Об ее истинном авторе см.: *Соловьев С.М.* Писатели русской истории XVIII века. 1. Манкиев // *Соловьев С.М.* Сочинения. М.: Мысль, 1995. Кн. 16. С. 188 и след.

И другие реплики монолога Палицына, прочитанные в свете ожесточенных политических дискуссий начала XIX в., могли быть адресованы непосредственно императору. Конституционные планы монарха, прославленные Озеровым в «Эдипе», особенно беспокоили консервативно настроенных представителей старшего поколения. Недаром Палицын упрекнул Годунова за «послабление господствующей власти». Защитником коллегиального управления выступает в опере Державина молодой честолюбец Трубецкой:

Рим славно чрез сенат владел над всей вселенной:
Не сближиться ли нам к правлению сему? —
(4, 157)

ему возражают носители авторских идей — Пожарский:

В ограду от толпы мятежной, разъяренной
И тамо часто власть вверялась одному —
(4, 157)

и особенно Палицын:

Не токмо в бурну нощь, как с ревом страшны волны
Восходят до небес, и бездн падут во мглу,
Но плавать по морю в дни ясны и покойны
Един искусный вождь потребен кораблю.
(4, 157)

Принципиальный монархизм является ведущей политической идеей «Ирода и Мариамны» (1807). Герой трагедии — жестокий, страшный деспот, который «не раз... гроба дверь невинным отверзал» (4, 193). Однако Мариамна формулирует тезис о беспрекословном подчинении монарху, каков бы он ни был:

Молчи! не нам судить деяния царей.
Их участь связана с блажеством их людей:
Пускай их судит Бог; а мы, благоговея,
Пороки, страсти их оплачем, сожалея.
(4, 193)

Недавнее прошлое, в том числе и годы, прожитые самим стареющим поэтом, давало ему обильную пищу для размышлений о

«деяниях царей»: Петр I казнил сына, Екатерина II убила мужа и отстранила от власти законного наследника, Павел I был задушен при молчаливом одобрении собственного сына — и тем не менее принцип единодержавного правления незыблем для автора трагедии. Он предпочитает жестокого царя, убийцу и злодея, слабому правителю, выпускающему из рук законодательную и исполнительную власть. В этом единственном случае — когда сам царь отступает от монархического принципа — Державин позволяет себе осуждать личность, поступки, законодательные акты монарха. Так, в трагедии «Темный» (1808):

Не делай перемен без крайних в царстве нужд,
Чтоб только мудрым слыть: тщеславья мудрый чужд;
Законы лишь смотри, чтоб исполнялись строго:
Тот слабо царствует, кто издает их много...

(4, 379)

Здесь же мы найдем резкую, нелицеприятную характеристику молодого царя с прямыми намеками на непоследовательность законодательства, военные неудачи и пр. Личные достоинства частного человека становятся у Державина недостатками главы государства (кротость превращается в слабость), а недостатки (любовь к лести) еще более усугубляются официальным положением монарха:

Чрез меру кроткий царь царем быть неспособен.
Пороки попустя, он доблестей был враг;
Заботлив в малостях, медлителен в делах;
На старых слаб путях, сбивался и на новых;
Не воин, а в крови багрился битв суровых;
Душ честных не терпя, склонял свой слух к льстецам;
Законы издая, не исполнял их сам,
И словом, добр, умен, приветлив, беспристрастен,
Предмет был хвал и хул, — везде, во всем несчастен.

(4, 350)

В этих строчках без труда прочитывается портрет молодого царя, который «добр, умен, приветлив», однако совсем не умеет управлять вверенным ему государством. Особенно страшны для Державина попытки ограничить власть Богом данного монарха, о чем всерьез задумывались Александр и его молодые друзья. Дема-

гогические разговоры могут привести только к бунту — Державин полностью разделяет отношение Шишкова к революциям:

Народ, влияньем душ коварных упоен
И бунтом яростным внезапно воспален,
Бывает пьяному неистовцу подобен,
Который яр в хмелю и во похмелье злобен,
На винных мечется и правых не щадит...
(4, 354)

Одну из важнейших причин государственных неудач он видит в решении царя отказаться от услуг старых и опытных советников (в том числе, конечно, и его самого). В другой трагедии он пишет:

Царя есть первый долг, чтобы уметь избрать
Советников себе и должности им дать.
(«Ирод и Мариамна»; 4, 220)

Отчетливо проступающие автобиографические мотивы легко увидеть во многих трагедиях Державина, что, в общем-то, противоречит поэтике жанра и объясняется темпераментом великого поэта, могучим личностным началом, явственно ощущаемым во всем его поэтическом творчестве. Так, в трагедии «Темный» одним из главных положительных героев становится Багрим с сыном своим Державой, о котором в другом месте поэт писал, что этот Багрим выехал «из Золотой Орды на службу к великому князю Василию Васильевичу Темному, от коего дети были Нарбек, Кегль, Акинф и Держава; от них произошли роды Нарбековы, Кеглевы, Акинфовы и Державины...» (3, 475). Впрочем, можно напомнить, что и Пушкин в «Борисе Годунове» сделал своего предка важнейшим персонажем трагедии и отдал ему свои заветнейшие размышления о судьбах народа и России, об историческом процессе.

Отношение Василия к Багриму вполне походит на поведение Александра, уволившего его потомка от должности. Багрим «был презрен по наветам», князь Василий «не соблюл... почтенья» к «его летам» (4, 330). В опере «Эсфирь» Зосара уговаривает своего мужа Амана:

Осыпан благами ты мира,
Сребристой старостью покрыт.

Оставь двора сияньи ложны,
Вдали что блещут, мрачны вблизь,
Подобные гнилушкам древа.
Брось их, и в обществе друзей
Во Идумею удалися
На лоно родины твоей.
Я за тобой с детьми приеду
Делить жизнь сельску и покой.
Не угодивший царской воле
И не имевший уже сил
Способствовать народну благу
Блажен, коль презрит суеты!
(«Эсфирь», 397)

В опере злой вельможа не последовал разумному совету, зато сам Державин в этих стихах идиллически описал свое вынужденное удаление от двора и свою «жизнь Званскую». В последних четырех строчках он, на восьмом десятке, кажется, уже примиряется со своим отходом от активной общественной жизни.

Особенно интересна своими историческими аллюзиями трагедия Державина «Евпраксия». В сентябре 1808 г. Александр I отправился для свидания с Наполеоном в «Эрфуртскую орду»[48]. Злая шутка была горьким упреком царю, поехавшему, по мнению оппозиции, на поклон к могущественному императору французов, как некогда русские князья ездили за ярлыком на княжение к татарским ханам. Поездки эти не всегда кончались благополучно, и по аналогии в России беспокоились, наверное не вполне серьезно, не полонит ли современный Батый не в меру храброго императора[49].

Может быть, с Тильзитом и Эрфуртским свиданием аллюзионно связана и трагедия «Темный». Герой ее князь Василий, как мы узнаем из разговоров действующих лиц, получил ярлык на княжение от татарского хана. Как мы показали несколько ранее, некоторые упреки Василию явно имеют в виду Александра I. Возможно, и зависимость Василия от татарского хана тоже намекала на подчинение русского императора Наполеону. В «Евпраксии» же эта система аллюзий проходит последовательно через всю пьесу.

Державин приступил к работе над трагедией в конце 1808 г. Историческую ее основу составил рассказ из «Сказания о наше-

[48] См.: Тарле. С. 268.
[49] Там же. С. 227.

ствии Батыя на Рязань» о поездке князя Феодора к Батыю с дарами и гибели его в Орде. Державин в общем передал в трагедии содержание сказания, правда, закончив ее гибелью Батыя в соответствии с традициями русской исторической драматургии[50]. Посмотрим, однако, как охарактеризованы здесь завоеватели-татары и их влияние на Россию. Славяне, по мысли автора трагедии, теперь,

...презря свой, горды ордынским языком:
На нем беседуют, забавят, размышляют;
Цвет полов обоих пришельцы воспитают,
И словом: думаешь где русских зреть бояр
Там видишь поступью, одеждою татар.
(4, 230)

Совершенно ясно, что здесь под татарами следует разуметь французов и что перед нами один из тех яростных выпадов против галломании, «чужебесия», которыми так богата русская литература от Новикова и Фонвизина до Шишкова, Грибоедова и декабристов.

Естественно теперь посмотреть и на все содержание трагедии с точки зрения ее аллюзионности. Батый последовательно сравнивается с Наполеоном. Дипломатические успехи этого «Батыя» суть успешные действия Наполеона в Тильзите и Эрфурте:

Он [Атилла, которому подражает Батый. — *М.А.*] царства
покорял не только лишь все кровью,
Но миром ложным брал и дружбой и любовью, —
Тех ссорил меж собой, тех златом закупал;
Тех, усыпя в цветах, под меч свой подклонял;
Обетов рассыпал и лести громки звуки
И с клятвой воздевал на небо хищны руки,
Трон предлагал тому, с собою ложе сей,
Чтоб пало все пред ним, чтоб был он царь царей.
(4, 264)

Из поражений, понесенных русскими войсками от «татар», считает Державин, следует извлечь уроки, и он предлагает царю отречь-

[50] Бочкарев 1959. С. 390—391.

ся от своих молодых друзей, от Сперанского, убрать из военного командования, в соответствии со славянофильской программой «беседчиков», иностранцев, в основном немцев:

...прошедшие несчастья
Да научают нас беречься несогласья;
Младых несведущих в совет свой не вмещать,
Иноплеменникам меча не поручать.
(4, 306—307)

В.А. Бочкарев, изучая историческую драматургию Державина, отметил в качестве недостатка «Евпраксии», что автор, «гиперболизируя роль любовной интриги, заставил Батыя... заниматься исключительно добыванием себе наложницы»[51]. Однако исследователь совершенно напрасно упрекает поэта за то, что составляет самую сущность, основную идею его трагедии. В конце эрфуртского свидания Наполеон, пока неофициально, начал переговоры о своей женитьбе на одной из великих княжон, сестер царя[52]. И вся трагедия проникнута негодованием от одной только мысли, что русская княгиня, представительница царствующего дома, может достаться басурманину. Евпраксия восклицает:

...вы меня к тому кумиру шлете в дар,
Который мне своей любви являет жар,
Который окружен невольниц тьмой прекрасных,
И ползают пред кем толпы царей подвластных...
(4, 272)

Державин выражал настроения тех кругов, которые не желали никакого сближения с французами, а в возможности брака русской княжны с безродным завоевателем видели позор и унижение русского национального чувства, национальной гордости:

О росс! воспрянь, воспомнь, что был, что ныне ты:
Звук славных дел твоих промчался, как мечты;
Союзники тебе глумятся и соседы.
Где древние твои гремящие победы?

[51] Бочкарев 1959. С. 390.
[52] Шильдер 1897. Т. 2. С. 234.

Где доблестей твоих парящий в мире слух?
Где князи, где вожди, о Россы! где ваш дух?
Бывало сильные страны вы потрясали,
Сестр греческих царей и веру присвояли.
На струги паруса вам шили из камки,
Купили златом мир от вашей все руки,
А ныне сами вы дотоль уничижились,
Что срамом покупать покой вы свой решились!

(4, 274)

В разгар работы над «Евпраксией» произошло событие, которое должно было еще более поднять дух Державина и укрепить его в тех настроениях, которыми питалась трагедия: 1 января 1809 г. состоялось обручение великой княжны Екатерины Павловны с принцем Ольденбургским. Это был достаточно недвусмысленный ответ Наполеону на его притязания[53]. Матримониальным замыслам французского императора решительно противилась вдовствующая императрица Мария Федоровна, покровительствовавшая кружку Шишкова—Державина и разделявшая их славянофильские убеждения. В ее дворце в Павловске бывали и читали свои произведения члены этой литературной группы[54].

Вскоре после окончания трагедии (февраль), в апреле 1809 г. стараниями императрицы Марии Федоровны состоялось бракосочетание Екатерины Павловны с принцем Георгием Ольденбургским — событие, по словам историка, «не лишенное политического значения в смысле некоторого затаенного протеста против нашего официально признанного союзника Наполеона»[55].

Однако актуальность трагедии этим событием не снималась: в царском семействе оставалась еще одна княжна, Анна, руку которой Наполеон официально попросил у Александра 10 ноября 1809 г., требуя категорического ответа в течение двух дней. Однако благодаря стараниям Марии Федоровны переговоры затянулись, окончательного ответа так и не было дано до тех пор, пока стремительный и быстрый в решениях Наполеон не женился на дочери австрийского императора (апрель 1810). Политическую злободнев-

[53] Шильдер 1897. Т. 2. С. 240; Тарле. С. 243. Подробнее о матримониальных планах Наполеона в отношении великой княжны Екатерины Павловны и об отношении к этим планам русского общества см.: Зорин. С. 223—230.

[54] Георгиевский. С. 110.

[55] Шильдер 1897. Т. 2. С. 240.

ность державинской трагедии, по всей вероятности, имел в виду Евгений Болховитинов, когда 8 июля 1809 г. писал автору: «Монологи Евпраксиины весьма характерны, а патриотизм разлит по всей трагедии разительнейшими чертами, которые могут пристыдить нас в нынешнее время» (4, 320).

Политические аллюзии «Евпраксии» были очевидны для современников. Хорошо осведомленный Д.И. Хвостов рассказал в своих записях, что трагедию Державина «долго держали в цензуре по причине сходства Батыя с Наполеоном»[56]. Поэтому, думается, следует без особого доверия относиться к подробному и хорошо известному рассказу Жихарева о попытках автора поставить «Евпраксию» на сцене. Из рассказа Жихарева явствует, что Шаховской ни за что не соглашался на постановку неудачной пьесы, потом потребовал в ней «некоторых изменений», наконец, ловкий и уклончивый Дмитревский уговорил простодушного старика ограничиться домашним спектаклем[57].

Можно думать, что Шаховской был озабочен не только художественной слабостью пьесы и потому неизбежным ее провалом. Державин брал на себя расходы[58], и финансовая сторона дела могла не тревожить заведующего репертуарной частью, тем более что «Евпраксия» в общем не уступает другим драматическим сочинениям Державина (а шла же на сцене трагедия «Ирод и Мариамна») и в целом находится на уровне тогдашней исторической драматургии.

Не исключено, что постановка на сцене пьесы, не просто насыщенной аллюзиями, а сугубо современной по самой сути своей, могла превратиться в грандиозный политический скандал. Этого, видимо, и опасался Шаховской, всеми силами противясь проникновению «Евпраксии» на сцену.

Вместе с тем есть основания полагать, что «Евпраксия» оказала известное влияние на пьесу Шаховского «Дебора», написанную вскоре после трагедии Державина (закончена до 4 декабря 1809 г.)[59]. Шаховской, избрав местом действия своей трагедии Палестину, стремился к историческому и этнографическому правдоподобию. Он не только опирался на библейский рассказ, но и пригласил себе в сотрудники и соавторы знатока еврейской словесности Л.Н. Не-

---

[56] Хвостов (1). С. 387.
[57] Жихарев. С. 574—575.
[58] Там же. С. 574.
[59] Стихотворная трагедия. С. 615.

ваховича[60]. Трагедия изобилует славянизмами, выполняющими функцию не только высокого слога, но и библеизмов. Таков, например, сон Деборы, по обилию архаизмов и славянизмов ничуть не менее громоздкий, чем монологи в трагедиях Державина:

В дремоте зрится мне свет юныя денницы,
Земля и небеса в чудесной лепоте;
На ветренних крылах несомый в высоте,
Лучами венчанный, одеян дивным светом,
Явился ангел мне; рассекши твердь полетом,
Он манием меня вознес ко облакам...[61]

При этом трагедия Шаховского внутренне глубоко аллюзионна, и система аллюзий здесь та же, что у Державина. Сисар, иноземный завоеватель Израиля, ассоциируется с Наполеоном. Сама Дебора, хотя политически активнее Евпраксии (она вдохновительница борьбы с Сисаром), но похожа на державинскую геройню преданностью национальной идее. Дебора у Шаховского попадает в ту же ситуацию, что и Евпраксия: ее выдачи тоже требует завоеватель. И, как русские князья, израильские старейшины готовы послать Дебору «во стан свирепого Сисара»[62]. Успех «Деборы» — в какой-то степени свидетельство того, что и пьеса Державина, политически гораздо более острая, в случае постановки могла быть хорошо принята зрительным залом[63].

Принципы театральной поэтики, которые мы называем державинскими, сказались и в восторженно встреченной публикой пьесе Крюковского «Пожарский» (1807). Мы не говорим здесь о влиянии Державина, скорее речь идет о некотором типологическом сходстве, тем более что и связь с принципами озеровской трагедии у Крюковского ощутима. Аллюзионность пьесы носит, как у Озерова, в соответствии с нормами классической трагедии, декларативный, общий, абстрактно-патриотический характер. По слова́м

---

[60] Стихотворная трагедия. С. 453—454.
[61] Там же. С. 477.
[62] Там же. С. 484.
[63] А.Л. Зорин убедительно показал, что система аллюзий, связанная с Екатериной Павловной, отвергнувшей притязания Наполеона, была использована и в пьесе Л.Н. Неваховича «Сульеты, или Спартанцы осьмнадцатого столетия» (1809). См.: Зорин. С. 227—229.

современника, роль Пожарского состояла из «афоризмов и деклараций о любви к отечеству»[64].

Вместе с тем в трагедии Крюковского «чувствуется стремление... соблюдать историческую истину»[65], а некоторые его аллюзии носят, можно сказать, конкретно-исторический характер. Так, в пьесе говорится о военных неудачах:

И росс, что свой перун за синий Дон метал,
За Волгой, за Днепром кичливых низлагал;
Тот самый росс теперь чело свое склоняет,
Отраду жизни сей бессмертие теряет![66]

Есть здесь и славянофильские декларации, оппозиционные Александру I и выдержанные вполне в духе Шишкова:

Не любо, государь, что в русскую страну
Стараются вводить опасну новизну![67]

В одной из реплик можно увидеть намек на действия «Негласного комитета», в котором видную роль играл Адам Чарторыйский:

Поляки кабалу в России разрешают
И вольности мечтой сограждан обольщают[68].

Впрочем, этот намек был достаточно безопасен, так как к моменту появления трагедии кружок интимных друзей Александра фактически уже распался.

В русле державинской, антиозеровской традиции лежит и трагедия Ф.Н. Глинки «Вельзен, или Освобожденная Голландия» (1808). Строя свое произведение на некотором историческом материале, на фоне уместного для северной страны оссиановского колорита, Глинка, как это убедительно показал С.С. Ланда, имеет в виду союз европейских государей против незаконного похитителя

[64] Жихарев. С. 544.
[65] Бочкарев 1959. С. 467.
[66] Стихотворная трагедия. С. 272. Ср. выше те же темы в позднее написанной «Евпраксии».
[67] Там же. С. 273.
[68] Там же. С. 273.

престола Флорана — т.е. Наполеона[69]. Будущий декабрист Глинка выступает здесь как монархист и легитимист: его Вельзен, как Пожарский у Державина, отказывается от предлагаемой короны в пользу законного государя[70].

Таким образом, можно наметить три основных черты русской драмы, как они оформились в трагедиях Державина:

1. Стремление к историческому правдоподобию: верность этнографических деталей, национального характера и пр., следование подлинным историческим событиям.

2. Источником такого *историзма* являются, однако, не тщательные (более или менее) специальные исторические штудии, а обычно один, много два, текста, которые априори признаются аутентичными. Для Державина это была «Иудейская война» Иосифа Флавия в «Ироде и Мариамне», «Ядро русской истории» Манкиева в «Евпраксии» и пр.

3. Идейной основой трагедии является важная современная мысль, ради которой и пишется пьеса. Это не совсем конкретная аллюзионность трагедии классицизма, а проповедь некоей, обычно злободневной идеи. У Державина это была святость самодержавия, монархической власти, идея актуальная в пору конституционных проектов Александра I.

Принципы державинской театральной поэтики, как, впрочем, и вся система литературных взглядов «Беседы», оказали сильное влияние на деятельность писателей-декабристов. Историзм и аллюзионность суть важнейшие принципы декабристской поэтики. Отнюдь не разделяя политических взглядов «беседчиков», они часто стремятся к созданию литературных произведений на достоверном историческом и этнографическом материале. Трагедия Кюхельбекера «Аргивяне» (1822—1825) в этом отношении особенно показательна.

Кюхельбекер, архаист по своим литературным взглядам и пламенный либерал по убеждениям, должен был испытывать большой интерес к новаторским поискам Державина в области драматургии. С его напечатанными пьесами он был, несомненно, знаком.

Блестяще образованный человек, превосходный знаток античности, читавший и перечитывавший Гомера в оригинале, Кюхельбекер основывает сюжет своей трагедии на двух сравнительно не-

[69] Ланда. С. 6—10.

[70] Ф. Глинка. С. 109—110. Ср.: Державин, 4, 160—162.

больших текстах. Это первый параграф из краткой биографии Тимолеонта в книге Корнелия Непота «О знаменитых иноземных полководцах» и три параграфа (III—V) из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, тоже повествующих о событиях биографии Тимолеонта.

Кюхельбекер следует за рассказом античных авторов, описавших захват власти в Коринфе Тимофаном. Брат Тимофана Тимолеон организовал убийство тирана, хотя сам и не омочил рук в его крови: «...когда происходило убийство, он стоял в стороне и караулил, чтобы какой-нибудь телохранитель не подоспел на помощь»[71] («отошел немного в сторону и, покрыв голову, заплакал» — у Плутарха[72]).

В полном соответствии с романтической поэтикой Кюхельбекер в трагедии на античную тему пытается воссоздать на сцене жизнь и искусство подлинной Древней Греции. Само название «Аргивяне» дано пьесе по хору пленных аргивян. Этот хор, как в античной трагедии, разделен на два полухория с корифеем во главе каждого из них. Партии хора разделяются на строфу и антистрофу, за которыми следует эпод. Текст трагедии снабжен обильными (59) и подробными примечаниями, в которых разъясняются имена, реалии, исторические события античной жизни.

Архаическая лексика, которой изобилует трагедия, наряду с высокостью содержания призвана у Кюхельбекера играть роль couleur local, как и у Державина, но несет она здесь другую функцию. У Державина славянизмы были библеизмами или знаками русской высокой и давней архаики[73]. У Кюхельбекера они становятся, так же как в переводе «Илиады» Гнедичем, знаками античной культуры. Таковы у Кюхельбекера: *высоковыйность*, *воспрестоленный* (т.е. занявший престол, ставший царем), *одесную*, *чело*, *рамена*, *пурпур*, *стогны* и мн. др. Приведу только один пример:

...с твоих рамен
До ног, волнуясь, нистекает пурпур
И под владычной светлой диадемой,
Под благовонной прядию власов
Блестит смиренно гордое чело![74]

---

[71] Корнелий Непот. С. 82.
[72] Плутарх. Т. 1. С. 333.
[73] О роли славянизмов в русской поэзии начала XIX в. см.: Гуковский 1946.
[74] Кюхельбекер 1967. Т. 2. С. 199. В дальнейшем ссылки на «Аргивян» в тексте.

Вместе с тем Россия достаточно явственно просвечивает у Кюхельбекера сквозь греческий антураж его трагедии. Еще Ю. Тынянов обратил внимание, что *агора* часто превращается в «Аргивянах» в *вече*, а греческий тиран — в *царя* и *государя*:

На бурю веча буйство чернь сзывало... (с. 200)
Я то на шумном вече доказал (с. 265)
Царь блещет в радостном венце (с. 260)
О государь, прими благодаренья... (с. 264)[75]

12 июля 1823 г. директор Лицея Е.А. Энгельгардт, близкий друг Кюхельбекера, писал своему бывшему ученику, ознакомившись с его трагедией: «...в “Аргивянах” есть множество мест, мыслей, выражений, из коих могут извлечь яд, чтобы тебя отравить, погубить»[76].

Энгельгардт был прав. Сам сюжет трагедии наводил читателя, привыкшего к аллюзиям, на опасные сопоставления. У Кюхельбекера (впрочем, так же, как в его источниках) Тимолеон не решается поднять руку на брата: он настоятельно уговаривает, упрашивает Тимофана отказаться от царского венца, от самодержавия, единовластия. Этот мотив тщательно обыгрывается в обеих дошедших до нас редакциях трагедии. Только когда все убеждения и уговоры оказываются тщетными, Тимолеон допускает убийство брата-тирана, сам, по возможности, не вмешиваясь в события.

Нетрудно увидеть здесь явный намек на современность. В сознании русского дворянства Павел I был жестоким тираном («увенчанный злодей», «курносый злодей» и пр.). Этот тиран, как всем хорошо было известно, погиб если не при участии, то при попустительстве и даже одобрении собственного сына. Братоубийство в трагедии Кюхельбекера вполне могло быть воспринято как намек на отцеубийство, на царствующего императора.

При этом современная аллюзия перерастала в серьезнейшую политическую проблему. Державин, как мы видели, в своих трагедиях последовательно защищал принцип самодержавия. Кюхельбекер столь же последовательно утверждал, что самодержавие есть абсолютное зло. Накануне декабрьского восстания он включается

[75] Тынянов 1929. С. 300.

[76] Цит. по: Кюхельбекер 1967. Т. 2. С. 77. См.: Пушкин, XII. С. 242 («Заметки на полях статьи П.А. Вяземского “О жизни и сочинениях В.А. Озерова”»). Анализ этих «Заметок» см.: Медведева. С. 65—67.

в оживленные политические споры и последовательно защищает республиканскую точку зрения. Позиция Кюхельбекера была хорошо известна Пушкину.

Пушкин решительно отвергал принципы озеровской драматургии, считал его «очень посредственным» писателем: «Озерова я не люблю <...> не вижу в нем ни тени драматического искусства»[77].

В споре Державина с Озеровым он принял сторону первого и в принципе, кажется, одобрил даже тяжеловесные стихи старого поэта, обращенные к Озерову. Вот для примера одна строфа этого «Послания»:

О ты, что собою представил
Софокла с Оссианом вдруг,
В Эдипе нам в бардах прославил
Расинов, Кребильйонов дух,
Дев слез ремесло!

(2, 365)

Когда Вяземский сказал, что стихи эти «отзываются старостию поэта и не стоят прозы Озерова», то Пушкин сердито заметил: «Милый мой, уважай Отца Державина! Не равняй его стихов с прозой Озерова!»[78]

Можно быть почти уверенным, что Пушкин был знаком с напечатанными трагедиями Державина. Об этом свидетельствуют, видимо, не случайные параллели в «Борисе Годунове». Так, Марина Мнишек обольщает Пожарского в саду у фонтана (правда, названного в соответствии с языковыми теориями Шишкова *водометом*). Сама же Марина у Державина, как это справедливо отметила И.Н. Медведева, похожа на ту Марину, о которой позднее будет говорить Самозванец в «Годунове»:

....в хитростях
Со златосребрянной сверкающей ехидной
Виющейся она похожа на цветах.

(4,116)

Сравним:

---

[77] Пушкин, XII. С. 229.

[78] См. статью Ю.Н. Тынянова «“Аргивяне”, неизданная трагедия Кюхельбекера» (Тынянов 1929).

И путает, и вьется, и ползет,
Скользит из рук, шипит, грозит и жалит.
Змея! Змея!

Мы уже замечали, что автор «Годунова», как Державин, сделавший Багрима с сыном его Державой важными персонажами трагедии «Темный», с гордостью изображает своего предка Гаврилу Пушкина в самом центре головокружительных событий Смутного времени и, как Державин, отдает этому предку самые важные размышления о политических событиях прошлого и настоящего.

Однако гораздо более существенным представляется то обстоятельство, что можно говорить о некоторых параллелях художественной системы Пушкина и Державина. При этом следует учитывать, что Пушкину ко времени написания «Годунова» хорошо были известны «Аргивяне», по всей очевидности, испытавшие влияние державинской поэтики. Он внимательно читал «Аргивян», по крайней мере опубликованные части трагедии, и, несомненно, знал ее содержание[79]. Как известно, несколько строк из «Аргивян» были взяты Пушкиным в качестве эпиграфа к третьей главе «Арапа Петра Великого»:

Как облака на небе,
Так мысли в нас меняют легкий образ,
Что любим днесь, то завтра ненавидим.

Влияние «Аргивян» на «Бориса Годунова» было существенным. Кюхельбекеру, по всей вероятности, был обязан Пушкин размером своей трагедии: белым пятистопным ямбом. От Кюхельбекера, видимо, идет и спорадически появляющаяся в «Годунове» легкая рифма. У Пушкина она встречается значительно реже, чем у Кюхельбекера. Наконец, что еще важнее: поэтика «Бориса Годунова» тесно связана с той драматической системой, которую мы анализируем в этой главе.

В самом деле, трагедия Пушкина опирается на один труд, который является, по существу, единственным источником исторических разысканий (если их можно так назвать) Пушкина. Это X и XI тома «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Ссылки на летописи, как показал комментарий Г.О. Винокура, в

[79] Пушкин 1935. С. 459 и след.

подавляющем большинстве случаев тоже восходят либо к самому тексту «Истории», либо к обширным примечаниям Карамзина.

Пушкин, как и Державин, и Кюхельбекер, и Шаховской в «Деборе», и вообще все авторы, причастные к романтической поэтике, стремится к соблюдению местного и исторического колорита в своей трагедии. Только делает он это на гораздо более высоком уровне, чем его современники и предшественники. В «Годунове» противопоставлены два мира: патриархальная Россия и европеизированная Польша. Для создания образа старой России Пушкин, как и его предшественники, обращается к славянизмам, которые на этот раз играют роль уже не библеизмов или знако́в античной культуры, а свою собственную роль — русских архаизмов.

Пушкин пользуется славянизмами с большим вкусом и умеренностью. Чаще всего это легкая архаизация текста. Таково, например, начало трагедии с устарелым прямым дополнением к глаголу «ведать»:

Наряжены мы вместе город *ведать*

Иногда (редко) славянизмы сгущаются, как, например, в стилизации заимствованной у Карамзина молитвы во здравие государя:

Царю небес, везде и присно сущий,
Своих рабов молению внемли:
Помолимся о нашем государе...
Храни его в палатах, в поле ратном,
И на путях, и на одре ночлега.
Подай ему победу на враги...

В польских сценах появляется легкая рифма, которую мы видели в «Аргивянах». У Пушкина она маркирует легкую, изящную западную культуру, противопоставленную тяжеловесной, патриархальной русской. Так, сравнительно недавно профессор Шоу обнаружил, что знаменитое обращение Мнишека к Вишневецкому: «Мы, старики, уж нынче не танцуем...» — представляет собою правильный петраркианский сонет, по содержанию восходящий к «Ромео и Джульетте» Шекспира[80].

---

[80] *Shaw J. Th.* Romeo and Juliet, Local Color and «Mnishek's sonnet» in *Boris Godunov* // Slavic and East European Journal. Vol. 35. №1 (Spring 1991). P. 1—35.

Не лишена трагедия Пушкина и характерной для всего русского театра начала века аллюзионности. Так, реплика Бориса: «Противен мне род Пушкиных мятежный...» — явно носит автобиографический характер. Поэт в михайловской ссылке соотносит свою бурную биографию, царские гонения с приключениями мятежного предка. Упоминание царя Ирода, т.е. Годунова, убийцы младенца-царевича, возможно, намекает на роль Александра в убийстве собственного отца (или могло так восприниматься).

Однако эти аллюзионные намеки не играют сколько-нибудь существенной роли в идейном построении трагедии. Гораздо важнее размышления Пушкина о путях истории, о судьбах России как раз накануне попытки декабристского переворота. Как и все (или почти все) его современники, Пушкин знал о готовящемся заговоре и предчувствовал приближение грозы.

Друг его, пылкий республиканец Кюхельбекер, считал всякую самодержавную власть злом. Для Державина и Карамзина самодержавная власть была единственным гарантом благополучия страны: «Самодержавие есть Палладиум России, целость его необходима для ее счастия».

И Кюхельбекер, и Державин строили политическую (историческую) аллюзионность своих пьес в соответствии со своими политическими представлениями. Так же поступал и Пушкин. Однако его аллюзии носили гораздо более глубокий и страшный характер. Широкая картина исторических событий нужна поэту для размышлений о роли народов в историческом процессе, о судьбах народных революций, о философии истории. Все это было (и остается) очень актуальным и намного превосходило достижения драматургии Державина и его последователей, включая Кюхельбекера.

В «Борисе Годунове» история движется по замкнутому кругу. Всякий переворот ведет только к появлению нового правителя, что ведет к бессмысленному народному бунту и новому перевороту. Не имеет значения, *безмолвствует народ* или кричит: *Да здравствует царь Димитрий Иванович*. Все равно прольется новая кровь. Будь то коллективная анархия и разброд, как в наступающие *смутные времена*, или наскоро выбранный самодержец — Россию ожидают гибель и разорение. «Борис Годунов» — одно из самых мрачных и пес-

---

Русский перевод см.: Проблемы пушкиноведения: Сб. статей. Псков, 1994. С. 5—43.

симистических творений Пушкина, результат его размышлений накануне очередного бунта в русской истории.

Таким образом, наряду с сентиментальным театром Озерова, мы можем выделить в русской драматургии начала XIX в. театр преромантический. Он начинается трагедиями Державина и заканчивается вершиной русской романтической драмы — «Борисом Годуновым» Пушкина.

Возвращаясь к драматургической деятельности «Беседы» в целом, мы можем сказать, что эта деятельность внесла существенную лепту и в историю русской общественной мысли, и в историю русского театра.

Глава 4

БАСНЯ В КРУГУ «БЕСЕДЫ»

К началу XIX в. в русской басенной традиции отчетливо обозначились два основных направления, которые можно назвать сумароковским и дмитриевским[1]. Первое продолжало традиции русской басни, как они сложились еще в творчестве А.П. Сумарокова. Басня с этой точки зрения прочно входила в иерархическую жанровую систему классицизма. Важнейшей стилистической ее особенностью было употребление, в соответствии с нормами «низкого штиля», слов просторечных и простонародных. При этом некоторое ограничение, вводимое Ломоносовым в жанры «низкого штиля» («Простонародные низкие слова могут иметь в них место по рассмотрении»)[2], на практике баснописцами не соблюдалось. (Ср., например, у Сумарокова: *навоз*, *врать*, *скотина*, *брюхо*, *брюхато*, *болван*, *кабак*, *напилась*, *как стерва*, *осетить*, *детина* и т.д.[3].) Принципы Сумарокова в основном сохранились и в последующей басенной традиции вплоть до начала XIX в. Эти принципы (вольный стих, столкновение разных стилевых рядов, грубость сюжетов, многочисленные авторские отступления)[4] были последовательно развиты и доведены до логического завершения Д.И. Хвостовым в его «Притчах», выпущенных в 1802 г. Теорию басни Хвостов сформулировал в специальном послании «О притчах» (1814), восполняя отсутствие соответствующего раздела в «Искусстве поэзии» Буало. Важнейшей особенностью притчи Хвостова была ее ярко выраженная дидактичность[5]. Обращаясь к Буало, Хвостов формулирует основные задачи басни:

---

[1] См. об этом, напр.: Н. Степанов 1977. С. 31 и след.; В. Степанов 1975. С. 196 и след.; Серман 1975. С. 221 и след.

[2] Ломоносов 1952. С. 590.

[3] Сумароков. С. 203—204, 209—211, 220, 227, 234, 235.

[4] В. Степанов 1969. С. 651.

[5] Там же.

Поведай мне теперь, поэтов образец,
Как можно получить за басенки венец?
Как в притчах надобно осмеивать пороки?
Как басней подслащать невкусные уроки?[6]

Нравоучительные тенденции басни как литературного жанра были очень важны для сторонников старого слога, стремившихся к активному воздействию на общественное сознание. Естественно, что в «Беседе» почетное положение заняли И.А. Крылов, который в начале XIX в. перешел исключительно к басенному жанру, и Д.И. Хвостов, чьи «Притчи» в обширной и довольно пестрой группе литераторов-«беседчиков» воспринимались как архаический вариант подлинно классической басенной традиции.

Поскольку творчество Хвостова никогда не становилось объектом научного анализа, мы постараемся здесь дать его общий очерк. Что же касается Крылова, о котором существует громадная научная литература, то мы остановимся только на связях его творчества с «Беседой любителей русского слова».

Д.И. ХВОСТОВ

Репутация графа Хвостова, прочно сложившаяся в первые десятилетия XIX в., не позволила исследователям сколько-нибудь серьезно подойти к его обширному печатному и рукописному наследию[7]. А между тем эта колоритная фигура, очень активная в литературной жизни начала позапрошлого столетия, заслуживает самого пристального внимания историка литературы.

Немногие авторы, писавшие о Хвостове, справедливо рассматривали его как ортодоксального последователя классицизма. За долгую жизнь теоретические взгляды Хвостова, по существу, не изменились, до последнего дня он оставался верен усвоенным в молодости литературным принципам. В предисловии к полному собранию своих сочинений Хвостов говорит: «Каждый может писать что ему угодно, но должен стараться, чтобы везде у него было со-

[6] Хвостов 1817. Ч. 2. С. 159.

[7] Самая значительная работа о Д.И. Хвостове принадлежит П.О. Морозову (см.: Морозов). Она представляет собою далеко не полный обзор архива Хвостова и материалы для его биографии.

гласие с правилами искусства, вкуса и языка»[8]. «Искусства нет без правил», — провозглашает он в одном из посланий (2, 163)[9].

Такой нормой, собранием правил, на которые следует ориентироваться, стало для Хвостова творчество Ломоносова. Ему Д.И. Хвостов и подражал в торжественных одах. В 1811 г. была написана ода на освящение Казанского собора.

В этом характерном для Хвостова произведении отчетливо прослеживается его зависимость от ломоносовских приемов и традиций. Хвостов обращается к важнейшей у Ломоносова теме Петра. Ломоносовский Петр с небес наблюдает за своими потомками и радуется деяниям своей дочери.

На запад смотрит грозным оком
Сквозь дверь небесну дух Петров...
«Исполнен я веселья ныне,
Что вновь дела мои растут...»[10]

Хвостов тоже заставляет Петра с высоты небес восхищаться строительным искусством потомков:

Свершитель подвигов чудесных,
Живущий днесь в чертоге звезд,
Великий Петр с высот небесных
Явился посреди сих мест;
Огромный видя храм, вещает:
«Моя Россия не рождает
Громад чудесных таковых;
Но удивительно мне боле,
Искусство хитрое отколе?
То верно дело рук чужих!»

Перекликаясь с Ломоносовым, Хвостов своей одой отвечает на известный призыв поэта показать,

---

[8] Хвостов 1828. Т. 1, кн. 1. С. VII (в дальнейшем ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страницы).

[9] «Послание IV-е. Об изящной природе, о единстве узла, о том, что есть собственное в певце, о различных родах Поэзии, о правильности языка и вкуса поэта». *Узел* у Хвостова — это центральная идея, смысл басни. Ср. в пародии Вяземского: «В сей притче кроется толикий узл на вкус: / Что госпожа ослица, / Хоть с лаю надорвись, не будет век лисица» (Арзамас, 2. С. 193).

[10] Ломоносов 1965. С. 97.

Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

У Хвостова Петр сначала сомневается, как мы видели, могли ли русские создать такой храм. Екатерина II, «лучами блещуща жена», отвечает Петру:

Сей храм, где Бога умоляет
О счастии подвластных царь,
Сей храм, о Петр! тебе являет
Благодарения алтарь.
Все здесь сокровища драгия
Твоя произвела Россия;
Ты мне открыл сию корысть;
Ты ввел искусства и науки;
Что зришь, — творили Россов руки:
Их зодчество, резец и кисть[11].

Можно думать, что эта прямая перекличка с Ломоносовым и патриотический, русофильский настрой привлекли к оде сравнительно доброжелательное внимание современников. Так, Александр Семенович Хвостов (1753—1820), известный остряк, поэт и переводчик, двоюродный брат Дмитрия Ивановича, откликнулся, по преданию, на оду двустишием. Эти стихи являются единственной более или менее доброжелательной эпиграммой в обширной «хвостовиане», накопившейся в течение десятилетий вокруг имени поэта:

Се храма нового неизреченно чудо!
Хвостов стихи скропал — и, говорят, не худо![12]

Очевидно, что стихи, подобные цитированным (а количество примеров можно умножать сколько угодно), не будучи новаторскими, в то же время ничем не отличались, а частью и превосходили средний уровень продукции 1780—1810-х гг. Таким образом, качеством стихотворений Хвостова никак не объясняется тот поток

[11] Хвостов 1811. С. 3—4.
[12] Морозов. №7. С. 96.

издевательств, которые обрушивали на него сменявшие друг друга поколения литераторов.

Существенную роль в этом граде насмешек сыграла, вероятно, личность Хвостова. Современников поражала открыто провозглашаемая им страсть к метромании, версификации и жажда видеть свое имя напечатанным. Так, строку из своего послания к И.И. Дмитриеву: «Люблю писать стихи и отдавать в печать» — Хвостов трижды ставил эпиграфом к третьему тому своих сочинений. Эта строка пользовалась широкой известностью. А. Пушкин, например, писал Дельвигу (1823): «Я полу-Хвостов: люблю писать стихи (но не переписывать) и не отдавать в печать (а видеть их в печати)»[13]. И наряду с этой, как полагали современники, ущербной графоманией, Хвостов был богат и знатен, успешно продвигался по служебной лестнице.

Последовательная поддержка традиций классицизма поставила Хвостова во враждебные отношения к сторонникам «нового слога» и сделала его противником карамзинской реформы, которая, с точки зрения Хвостова, привела к упадку русской литературы после Ломоносова. В неопубликованной работе «Поэзия, или Наука о российском стихотворстве и его родах» Хвостов писал, наедине с листом бумаги отдавая дань своему неумеренному литературному честолюбию и утверждая свои архаико-классические симпатии: «Со времен преобразования России Петром Великим князь Кантемир есть первый стихотворец отечества нашего. От него начинается летоисчисление поэзии нашей, вторую эпоху составляют Ломоносов, Сумароков, Третьяковский и последователи их до бесконечности. Что же касается до третьей эпохи, то не знаю, примет ли кто на себя быть главой оныя, по крайней мере, я от этой чести отказался бы, ибо полагаю... что третья эпоха ознаменовывает порчу или падение языка...»[14]

Самолюбивый стихотворец полемизирует здесь с известным делением русского слога на эпохи в «Пантеоне российских авторов» Н.М. Карамзина, где первая и вторая определяются именами Кантемира и Ломоносова, третья — переводами И.П. Елагина, а четвертая характеризуется «приятностью слога»[15].

---

[13] Пушкин, XIII. С. 75.

[14] РО ПД. Ф. 322 (Д.И. Хвостов). №205. Л. 34об. (в дальнейшем ссылки на документы из этого архива даются в тексте).

[15] Карамзин 1964. Т. 2. С. 162. О полемике Шишкова с Карамзиным по поводу пресловутых «трех эпох» см. выше.

В стихах Хвостов намеренно обращается к архаической лексике:

Так мыслят жадные утробы,
Корысти угобжая яд...
(1, 9)

или:

Упругий, ралу непокорный...
Не даст пшена песчаный слой...
(1, 37)

В примечаниях Хвостов показывал, что эта архаизация и славянизация проводится им вполне сознательно. Употребив слово «ячество» вместо эгоизм, Хвостов пишет, что почитает его «выразительным и... ясным» (1, 288), а по поводу слова «ушеса» объясняет, почему именно в данном случае прибег к этому славянскому слову (1, 288). Иностранными словами Хвостов пользуется с крайней осторожностью. К строке: «Спешат и дама и герой» — дано примечание: «Слово *дама* иностранное, но здесь употреблено по чрезвычайной его каждому известности» («Майское гуляние в Екатерингофе»; 2, 126).

Естественно, что Хвостов примкнул к тому кругу литераторов, которые группировались вокруг А.С. Шишкова, наиболее целеустремленного, последовательного противника Карамзина и защитника «старого слога». Хвостов повторяет идеи Шишкова, зачастую его же словами, ссылается на его работы в примечаниях:

Язык наш, выражаясь ясно,
Не расточая много слов,
Являет зрелище прекрасно
Разнообразием цветов.
Он краток, важен, звучен, силен,
Великолепен, быстр, обилен,
Прельщает мысли, сердце, слух...

В примечании к этим строчкам Хвостов ссылается на Ломоносова, Шишкова, на работу последнего «Перевод двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика» (1, 156, 297).

Хвостов вместе с Шишковым, Державиным и Крыловым был одним из основателей «Беседы любителей русского слова», рев-

ностным посетителем ее заседаний и постоянным участником ее литературных мероприятий. Он был членом второго разряда «Беседы» под председательством Державина. Своим участием в обществе Хвостов очень гордился. После смерти Державина он жаждал стать во главе разряда и проводить заседания. В архиве Хвостова сохранилось его письмо к А.С. Шишкову, в котором он пытается возобновить развалившуюся после смерти Державина «Беседу»: «Любовь вашего высокопревосходительства к отечеству, ревностные и постоянные труды, подъемлемые на пользу просвещения и коренного богатого языка нашего, побуждают меня отнестись к вам как к президенту Российской Императорской Академии и первого разряда Беседы любителей российского слова с покорнейшею просьбою, чтобы вы приняли на себя труд в знак дружеского одолжения и благодеяния ко мне исходатайствовать у Российской Императорской Академии дозволение сделать собрание 2-го разряда беседы и чтения перед посетителями в зале ее до перестройки.

Как скоро по журналу Академии я удостоюсь получить от вас благосклонное уведомление, то, имея честь по смерти Гаврила Романовича Державина быть старшим членом второго разряда, за долг себе поставлю учредить первое чтение в ознаменование благодарности второго разряда знаменитому поэту и благодетелю Беседы. Основательные слухи о возобновлении по милости Вашей оной при российской Академии и те почести, которые общества при Московском и Казанском университетах воздавали певцу Бога и Фелицы, налагают на меня непременный и священный долг через покровительство Ваше исходатайствовать лестное от Академии на сие дозволение, я, получа оное, за щастие почту приступить с помощию родственника покойника и члена 2-го разряда его превосходительства Федора Петровича Львова к сему похвальному делу, так чтобы чтение назначить около половины наступающего сентября. Впрочем о приуготовительных 2-го разряда постановлениях не премину после каждого собрания оного доносить Вам как председателю Академии и обновителю беседы дневными записками.

Усугубляя о сем мою покорнейшую просьбу и умоляю ревнителя отечественного слова доставить мне таковое счастие, честь имею пребыть с истинным почтением и преданностью и проч. Апреля 24 дня 1818 года» (№205, л. 86—87).

Полностью разделяя основные идеи Шишкова, Хвостов все же занимал в «Беседе» несколько особую позицию. По своему составу, как уже говорилось, это литературное объединение не было однородным. В перенапряженных юнгианских стихах С.А. Ширин-

ского-Шихматова, в увлечении Державина Оссианом, скандинавской поэзией и идеями Гердера чувствуется влияние романтических настроений. Романтизм сказывается и в повышенном интересе Шишкова к фольклору, славянской старине и «Слову о полку Игореве».

Этим настроениям Хвостов остался абсолютно чужд. Ему не понравилась написанная Шихматовым по мотивам Юнга поэма «Ночь на гробах»[16]. Он выступает против романтической трактовки вдохновения в трактате Державина «Рассуждение о лирической поэзии или об оде»[17]. Большим успехом пользовались в «Беседе» сочинения С.С. Боброва. Хвостов же в сатире «К разуму» (подражании Буало) иронически называет Боброва Бурловым, вероятно от слова «бурлить», «бурный», а в примечании прямо вспоминает имя Боброва и ссылается на поэму «Ночь в Тавриде», путая и соединяя в одно произведение его поэмы «Таврида» и «Древняя нощь Вселенной» (6, 56, 88).

В конце 1820-х гг. князь П.И. Шаликов, некогда воевавший с Хвостовым с позиций «нового слога», помирился с ним и заискивал перед богатым меценатом[18]. Поэтому в «Дамском журнале» Шаликова появилась одна из немногих хвалебных рецензий на сочинения Хвостова, подписанная Юс...ъ Кат...ъ. Рецензент противопоставляет творчество Хвостова модному романтизму: «Конечно нет в них [сочинениях Хвостова. — *М.А.*] ничего полувоздушного, туманного и зверского; согласны, что они не живописуют восхитительной картины развращенных нравов, не проповедуют о сладостях праздной лени и грубой свободы Африканских побродяг; они не пленяют воображения ужасной жизнью извергов человечества, скрывающихся в дремучих лесах и тайных вертепах...»[19]

---

[16] Хвостов (2). С. 389. Замечания Хвостова см. в разделе о поэмах С.А. Ширинского-Шихматова.

[17] Там же. С. 375.

[18] Морозов. №6. С. 577—578. Об отношениях Шаликова и Хвостова, об их ссоре в 1806 г. см.: Альтшуллер 1975. С. 95—108. Подробнее о журнальной перепалке между «Другом просвещения» и «Московским зрителем» и ее роли в литературной жизни эпохи см. в статье В.Э. Вацуро «И.И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века», изобилующей, как всегда, занимательными деталями (Вацуро 2000. С. 9—53).

[19] Дамский журнал. 1827. №14. С. 83. Рецензент намекает на Жуковского, Батюшкова, южные поэмы Пушкина, повести Шатобриана, ранние романы Купера и Гюго и пр. Комизм ситуации, вероятно непонятный самому рецензенту, заключался в противопоставлении этих громких имен графу Хвостову.

Хвостов действительно заявляет о неприемлемости для него мрачной, перенапряженной романтической поэзии. Так, в стихотворении «Потомство» он писал:

Питомцы роскоши, разврата
Пускай кровавый любят пир...

Как обычно для Хвостова, его не совсем точно выраженная мысль поясняется в примечаниях: «В наше время многие молодые поэты выбирают содержания мрачно-ужасные; такого рода стихотворения часто препятствуют исполнить благородную цель поэзии» (1, 91, 288). Хвостов, таким образом, последовательно стоял на своих классических позициях, куда более ортодоксальных, чем взгляды Державина или Шишкова. В то же время Буало высоко ценился и «арзамасцами». С позиций защитников «разума» и «логики» они нападали на Боброва, Шихматова и, как увидим, на самого Хвостова. Однако классические позиции Хвостова формулировались им с такой архаической старомодностью, с таким каноническим упрямством, что это делало его одной из наиболее удобных мишеней в литературной войне «Арзамаса» и «Беседы».

И все же не это объясняет ту громкую славу, которую оставил после себя в потомстве граф Хвостов, заслуживший звание самого бездарного, самого нелепого, самого глупого из русских поэтов. Этой славе Хвостов обязан излюбленному своему жанру — басне.

Тщательно соблюдая ломоносовскую систему «трех штилей» и внимательно изучив своих предшественников в этом жанре (Эзопа, Федра, Лафонтена), Хвостов еще в 1802 г. выпустил книгу «Избранные притчи из лучших сочинителей российскими стихами». В этой книге осел, «хватая лапами», лезет на рябину, голубь «разгрызает зубами узелки», и совершается много других забавных и противоестественных действий. Прежде всего следует задать вопрос: неужели Хвостов не знал, что у голубей нет зубов, а у слонов копыт или что большие предметы издали кажутся маленькими, а не наоборот?

Противники Хвостова объясняли эти нелепости патологической слабостью версификации: неумелый автор ставит в стих любое слово, лишь бы добыть нужную рифму. Так, пародируя притчи Хвостова, в 1815—1816 гг., в разгар литературной борьбы «Арзамаса» и «Беседы», П.А. Вяземский писал:

В одном лесу гулял охотник,
Тут был и плотник,
Иль если правильней сказать, то дровосек.
Но нет беды! Ведь он такой же человек.
Читатели простят, я не грамматик,
А просто баснослов-лунатик.
К тому ж, с кем муза здесь дружна,
Тот знает, что подчас нам рифма солона,
Горька, как редька[20].

Вероятно, около 1814 г. Пушкин сочинил обсценную балладу «Тень Баркова». Вначале он приписывал ее Вяземскому, но потом признался в собственном авторстве[21]. Может быть, подражая старшему другу (басня Вяземского написана в 1813 г.), молодой Пушкин тоже изображает Хвостова творческим импотентом, изнемогающим в тщетной борьбе с проблемами версификации:

Как некогда поэт Хвостов,
Обиженный природой,
Во тьме полунощных часов
Корпит над хладной одой;
Пред ним несчастное дитя,
И вкривь, и вкось, и прямо
Он слово звучное кряхтя
Ломает в стих упрямо:
Так блядь трудилась над попом;
Но не было успеха...[22]

Остроумные шутки были в данном случае несправедливы. Хвостов, как показывают его произведения, достаточно хорошо владел техникой стиха, и говорить о его неспособности подобрать рифму или сладить с ритмом не представляется возможным. Переведенная им «Андромаха» до войны 1812 года исполнялась в Петербурге и Москве двенадцать раз[23].

Не был он, разумеется, и каким-то глупцом-недоумком, о чем свидетельствует его вполне успешная служебная карьера. О добро-

[20] Вяземский 1963. С. 8.
[21] См. коммент. М.А. Цявловского в изд.: Пушкин 2002. С. 164 и след.
[22] Там же. С. 34.
[23] Репертуарная сводка. Т. 2. С. 453.

те и порядочности Хвостова говорят многие мемуаристы. В одном из анекдотов, которых про Хвостова ходило множество, Суворов, на племяннице которого Хвостов был женат, говорит перед смертью: «Любезный Митя, ты добрый и честный человек! Заклинаю тебя... брось твое виршеслагательство...»[24] И сочинитель анекдота, и слушатели не сомневались, что эта нравственная характеристика вполне заслуженна. Катенин, например, называл Хвостова «добрым, ласковым старцем, который во весь век ни против кого, кроме себя самого, грешен не бывал»[25].

Ответ на вопрос, почему в притчах Хвостова содержится такое большое количество смысловых несуразиц, нужно искать в чем-то другом, и нам придется обратиться к анализу тех представлений о басенном жанре, которые существовали у писателей и критиков к началу XIX в.

Еще Лессинг отнес басню к области риторики и философии, а не поэзии. Такой она была у древних, и только такая басня является истинной басней («Исследование о басне»; 1759)[26]. Лафонтен, говорит Лессинг, придал ей «легкую поэтическую форму», и после него «все только в этой форме и хотели видеть басню». По Лессингу же баснописец должен заимствовать «безыскусственное изложение басни у историка, а выводы из нее у философа»[27]. Батте в своем трактате, следуя Лессингу, выделяет две тенденции в развитии басни. «Он [Эзоп] довольствовался везде ясностию и точностию... потому, что он почитал силу и чистоту гораздо более, нежели украшения. ...Характер Эзоповых басней состоит ...в обнаженной простоте; он строгий философ, ищущий одной силы и истины»[28]. Эзопу противопоставлен Лафонтен, который «почитал за должное сделать свое сочинение забавнее Федрова, будучи, как он говорил, не способен подражать ему в красоте и краткости»[29]. Таким образом, в сознании читателя и писателя 1800-х гг. существовали два типа басни. Первый, идущий от Эзопа, стремился сохранить классическую прелесть нагой простоты, это было краткое прозаическое повествование, в котором важную роль играла обязательная для этого типа басни мораль. Таковы были басни Лессинга. Второй тип, созданный Лафонтеном, превращал басню в изящный и живой

[24] Анекдот. С. 154.
[25] Пушкин в воспоминаниях. Т. 1. С. 191—192.
[26] О Лессинговой теории басни см.: Выготский. С. 117 и след.
[27] Лессинг 1904. С. 16.
[28] Батте. Т. 2. С. 29, 35.
[29] Там же. С. 53.

поэтический рассказ, где морализаторские тенденции явно отступали на второй план. Заметим, что и современный исследователь видит в развитии басенной традиции вплоть до наших дней те же две тенденции: моралистическую от Лессинга и повествовательную от Лафонтена[30].

Хвостов был сторонником лессинговского направления и ориентировался на простоту и безыскусственность Эзоповой басни. В работе, специально посвященной басне («Послание 2. О басне, сказке, Локмане, Видпае, Эзопе и других баснописцах»), даже в заглавии упомянуты лишь древние писатели, создатели краткой прозаической басни. Новейшие же стихотворцы отнесены автором в разряд «других». «Басня Эзопа, — говорит Хвостов, — есть пример удивительной краткости» (2, 243).

Важнейшим свойством басни, с точки зрения Хвостова, является простота: в басне должно «разговорами простыми веселить» (2, 153), автор должен быть «прост и благороден» (2, 158). Хвостов много говорит о «милой простоте» басенок (2, 159); Хемницер прельщает его «простотой своей» (2, 160); за простоту ценит Хвостов и Сумарокова (2, 250). «Простоте» противопоставлена изысканность и украшенность слога:

Ты пустословия прилежно избегай,
И острого словца за диво не считай,
Ослу в рот не вложи разумных разговоров[31],
Сове и филину не дай прекрасных взоров...
(2, 166)

Хвостов в принципе против всяких поэтических излишеств:

...коль соблюдешь разнообразье плавно,
Тогда и без прикрас творенье будет славно.
(2, 158)

---

[30] М. Гаспаров 1971. С. 232.

[31] Строка эта восходит к басне Лессинга «Эзоп и его Осел»:

«Осел сказал Эзопу:

— Когда ты придумаешь про меня новую побасенку, то уж дай мне сказать там что-нибудь мудрое и остроумное.

— Тебе? — удивился Эзоп. — А что люди скажут? Не скажут ли они, что ты мудрец, а я осел?» (Лессинг 1972. С. 468).

Эту же строку взял в качестве одного из эпиграфов к своим пародиям на «Притчи» П.А. Вяземский (Арзамас, 2. С. 183).

Являясь сторонником Лессинговой точки зрения, Хвостов в целом отрицательно относится к Лафонтену. Однако, будучи в литературной жизни человеком весьма робкого нрава и опасаясь насмешек со стороны противников, он очень осторожно выражает свое мнение о великом баснописце. В «Послании» рассыпаны комплименты в его адрес, он назван «чудесный Лафонтен, Поэт и Философ» (2, 157). Автор послания готов даже примириться с поэтической манерой Лафонтена:

Рисуй, как Лафонтен, коль дуб нам представляет,
От ада до небес он рост его являет;
Когда у пастуха горит от страсти кровь,
Примолвит, что Пергам разрушила любовь;
Из шелка вьет слова для угожденья лести
И кусом королей зовет отраву мести.

(2, 157)

Но все же такая манера повествования, с точки зрения Хвостова, мало приемлема, и в примечаниях к этим строкам он осторожно заявляет: «Лафонтен рассыпал в Притчах иногда лишние прикрасы... г. Лафонтен, будучи великий стихотворец, предавался часто пылкости своего воображения. Из сего видно, что смежный сему порок — пустословие; оно — Харибда для всех родов Поэзии, а паче для Притчей. Наставляй и забавляй, не вмешивая постороннего витийства» (2, 245—246).

В неопубликованном пространном письме к Н.И. Гнедичу Хвостов откровенно и более четко излагает свою позицию. Письмо направлено против статьи Жуковского о баснях Крылова (1809). Хвостову, который завидовал успехам Крылова-баснописца, эта статья, естественно, не могла понравиться. Жуковский, по установившейся традиции, рассматривает три этапа развития басни. Первый, когда басня не выделилась в самостоятельный жанр, а являлась лишь риторическим приемом, примером, сравнением. Второй период, когда басня «получила бытие отдельное, способ предложения моральной истины для ритора или философа нравственного». Таковы басни Эзопа, Федра, Лессинга. Последний, по Жуковскому, дал лучшие образцы этого типа (ничего лишнего, полное отсутствие украшений). Третий период, когда басня «из

области красноречия перешла в область поэзии». Крупнейшим представителем этого периода является Лафонтен[32].

Хвостов не признал деления басни на древнюю, в основном прозаическую, и новую, стихотворную. Последняя, с его точки зрения, есть в конечном счете лишь размывание целостной античной басни, за счет, как называет ее Хвостов, «дробной поэзии», т.е. украшений, поэтических деталей (poésie de détail). «Древние заключали поэзию, — пишет Хвостов, — в рисовке только обстоятельств об одном сказуемом и свойстве лиц: мы поступаем свободнее, и вводим более или менее обстоятельства побочные, наблюдая только, чтобы они красиво и приятно описаны были. Вот мне кажется определение о Федре и Лафонтене и вместе о басне в их времени. Из чего не следует, чтобы наши басни существо свое переменили или бы более имели поэзии — нет, но может быть в наших — более дробной поэзии, а у древних — вещественной. Древние блюли единство повести как вещь священную, которое должно быть первое правило во всех родах Поэзии. Мы от сего для красивых описаний, как выше сказано было, более или менее отступаем. Притча существенно у нас то же, что и у древних, но рассказ ее более разнообразен именно от дробной поэзии. Бате говорит, что притчетворца совершеннее Федра быть не может. Лафонтен, по его словам, не столько чист, краток и сжат. И я заключу, что Лафонтен редкий писатель, но от рода притчей несколько отступил. А иные с меньшими дарованиями, гоняясь за дробною поэзиею, и совершенно от рода сего удаляются» (№ 19, л. 19об.—30). Последняя фраза направлена уже против современных русских баснописцев и имеет в виду давних соперников Хвостова, Крылова и Дмитриева, о которых в другом месте письма снова говорится: «[Лафонтен] одарен будучи великим гением, иногда отступал от рода басен, но сие ему простительно. Я предостерегаю его последователей. Они в опасности от дробной поэзии совсем погубить род басен, не приобретя себе славы...» (Там же, л. 31). Заканчивая письмо, Хвостов указывает на адресата своей критики: «Вот Вам мое мнение о проповеди Г. Ж[уковского], кою я за основательную принять не могу. (Смотри Вестник Европы, издание Г. Жуковского — разбор о баснях Ив. Андр. Крылова.)» (Там же, л. 32).

[32] *Ж<уковский> В.* Басни Ивана Крылова // Вестник Европы. 1809. Ч. 45. №9. Май. С. 40—41.

7 — 1140

Наиболее ярким представителем «дробной поэзии», неудачным подражателем Лафонтена был для Хвостова И.И. Дмитриев. Еще в 1805 г. в басне «Госпожа и ткачи», напечатанной в журнале «Друг просвещения», Хвостов высмеял стихи Дмитриева:

Так рассуждает ввек пиита-самохвал.
Коль вылощит стихи, пускай они не сладки,
Лишь глянец был бы в них, лишь были б гладки,
А там, хотя идей и чувства нет,
Кричит: «вот élégance и я поэт!»[33]

Стихи были направлены против украшательства, «красивых описаний», «дробной», как говорил Хвостов, «поэзии». Дмитриев узнал себя в этом портрете. Он жаловался Д.И. Языкову на цензоров: «...Хвостова притчу на меня "Барыня и ткачи" пропустили»[34] — и ответил Хвостову довольно неуклюжей эпиграммой:

Без имя Рифмодей глумился сколько мог
Над глупостью — хвалить в стихах *красивый* слог.
Не худо бы потом на *вкус* слепить сатиру,
А там и здравый смысл ухлопать в добрый час
И кончить там свою поэтику для нас,
Тогда уж смело дуй в свою перунну лиру![35]

Эпиграмма бьет по основным, с точки зрения противников Хвостова, недостаткам его поэтических произведений; у него отсутствует «красивый слог», нет «вкуса» и «здравого смысла». Последнее замечание надо отнести прежде всего к притчам Хвостова, вышедшим отдельным изданием в 1802 г. Их сам Хвостов противопоставлял лафонтеновской поэтической басне (соответственно и последователям Лафонтена в России). В письме к Крылову он говорил о своих притчах: «Есть в них счастливые стихи и, может быть, некоторая простота» (№ 15, л. 18). Эта простота, которую Хвостов считал, как мы видели, важнейшим достоинством басни, понималась им как некое простодушие, детскость, наивность. (Характерно, что «naïf», «Naïveté» Хвостов называет «прекрасным французским сло-

[33] Цит. по: Дмитриев 1967. С. 460.
[34] Дмитриев 1893. Т. 2. С. 199.
[35] Дмитриев 1967. С. 356.

вом» (3, 149). Для верного последователя Шишкова это весьма знаменательное признание.)

Однако современники, воспитанные на поэзии сентиментализма и раннего романтизма, на Карамзине и Жуковском, если говорить о русской поэзии, предпочитали и в басне изысканность и изящество Лафонтена—Дмитриева нагой простоте Эзопа и Федра. А.Е. Измайлов высмеял и практику, и теоретические рассуждения Хвостова в злой эпиграмме (1814), не забыв и важнейшего для Хвостова принципа простоты:

Шутов наш фабулист примерный,
Нет в притчах у него искусства, пышных слов,
А сколько простоты! Вот в них-то совершенный
Язык скотов![36]

В стихотворении «Наши стихотворцы», напечатанном в 1812 г., князь Шаликов, в эту пору друг Дмитриева и враг Хвостова, оценивает басни по одежде:

...Смотри на этот басен ряд —
Везде их главное достоинство наряд...

Метафора «наряд» отлично показывает, что в басне ценилось не содержание, не идея даже (они, мол, известны со времен Эзопа или Пильпая), а лишь исполнение: изящество, изысканность и красота слога. С точки зрения Шаликова, лучшие басни принадлежат Дмитриеву, писавшему по-лафонтеновски, «наряд» его басен

Как прост, как чист, с каким невидимым искусством...
Не кажется ль, что сам трудился вкуса бог
При туалете их: что все в нем дышит чувством,
Рассудком, скромностью, невинностью, умом?

Ему противопоставлен, по всей видимости, Хвостов, наряд которого неряшлив и грязен (заметим, что современники нередко отмечали неопрятность, грязную одежду, неряшливость самого автора басен[37]):

---

[36] Сын Отечества. 1814. Ч. 16. №28. С. 242.

[37] «Рифмач, палач Хвостов, неряха...» — называл его Измайлов; «...дух нечистый средь людей, то есть вонючий», — писал Вяземский (Эпиграмма и сатира. Т. 1. С. 170, 134).

...Теперь прошу скорее
На притчи бросить взгляд.
Скажи, мой друг, каков наряд?
Ох! неопрятнее, древнее
И безобразнее ничто не может быть!
Не станем же при них и времени губить.
А если имя знать ты их творца желаешь —
В шести строках его титула начитаешь[38].

Можно видеть в эпитете «древнее» намек на пристрастие Хвостова к античной басне в противовес современной — лафонтеновского типа. Когда И.И. Дмитриеву «присвоили в Москве название русского Лафонтена», Хвостов, завидуя, «негодовал». Он, однако, утешился, когда московский градоначальник А.А. Беклешов назвал его русским Эзопом[39].

Опираясь на прозаическую басню Эзопа, Хвостов тем не менее пишет свои притчи стихами; своим учителем он мог здесь считать Федра, которого, наряду с Эзопом, противопоставляет Лафонтену в уже цитированном письме к Гнедичу. Современный ученый, кстати, называет Федра «едва ли не самым прозаичным из всех латинских поэтов»[40].

Будучи строгим последователем теории классицизма, Хвостов считал важнейшим принципом этой теории требование единства действия, прилагаемое не только к драматическим произведениям. В «Послании о басне» он говорит:

Как роды всех стихов, и Притча так равно
Имеет действие и место действ одно...
(2, 155)

Та же мысль в упоминавшемся письме Гнедичу: «Древние блюли единство повести как вещь священную, которое должно быть первое правило во всех родах поэзии. Мы от сего для красивых описаний... более или менее отступаем». Во имя этого сохранения простоты, наивности, цельности повествования Хвостов пренебрегает, что называется, «здравым смыслом», подчеркнуто не заботясь о реальных деталях своего басенного повествования. В этом нет

[38] Поэты 1790—1810-х. С. 644.
[39] Жихарев. С. 22. Ср.: Вацуро 2000. С. 21.
[40] М. Гаспаров 1971. С. 60.

никакого противоречия с рационалистическим правдоподобием, которое требовалось от искусства по классической теории Буало. Правдоподобие — не натурализм и не подлинная реальность мира, а лишь его «подобие». Хвостов очень точно понимал и букву и дух «L'art poétique», когда писал о басне: «Притчанное повествование должно быть кратко, ясно и вероподобно»[41]. «Иносказательный ряд... имеет свои принадлежности, кои суть: правдоподобие, нравоучение и рассказ»[42].

Теоретические рассуждения Хвостова нисколько не противоречат общим классицистическим представлениям об искусстве: подражание природе, правдоподобие — важнейший принцип классицизма. Они не очень расходятся и с рассуждениями о басне В.А. Жуковского, тоже утверждавшего, что «мир, который находим в басне, есть некоторым образом чистое зеркало, в котором отражается мир человеческий. Поэзию называют *подражанием природе*;

и баснописец поэт необходимо должен, подражая той природе, которую берет за образец, нравиться своим подражанием»[43]. Расхождения с Жуковским, которые Хвостов декларировал в письме к Гнедичу, заключаются в том, что Хвостов отрицает достоинство Лафонтеновых басен, которые для Жуковского являются образцом басни «стихотворной, в которой вымысел украшен всеми богатствами поэзии»[44]. В то же время в теоретической части статьи Жуковского настойчиво проводится одна мысль, которая не обратила на себя внимания Хвостова, хотя, казалось бы, имеет к его басенной практике непосредственное отношение, хотя Жуковский, разумеется, об этом и не помышлял: в его статье подчеркивается, что в басне, в силу особенностей жанра, создается некий специфический мир, не похожий на действительность, создаваемую другими видами искусства. Басенное *зеркало* оказывается весьма своеобразным: «Итак в басне стихотворной я должен под личиною вымысла находить существенный мир со всеми его оттенками; животные, герои басни, представляют людей; следовательно, они должны для воображения моего сохранить не только собственный, данный природою им образ, но вместе и относительный, данный им стихотвор-

[41] Наука о стихотворстве Буало Депрео, перевел с французского граф Дмитрий Хвостов. СПб., 1808. С. 95—96.

[42] *Граф Хвостов*. Некоторые мысли о сущности басни // Труды Вольного общества любителей российской словесности. 1819. Ч. VI. С. 36.

[43] Жуковский. С. 182, 185.

[44] Там же. С. 185.

цем, так чтобы я видел перед собою в одном и том же лице и животное и тот человеческий характер, которому оно служит изображением, со всеми их отличительными чертами. Баснописец-поэт составляет *один фантастический* мир из двух *существенных*: в одном из сих последних заимствует он характеры, свойства моральные и само действие, в другом — одни только лица. Чего же я от него требую? Чтобы он пленял мое воображение верным изображением лиц; чтобы он своим рассказом вынудил меня принимать в них живое участие; чтобы овладел и вниманием моим и чувством, заставляя их действовать согласно с моральными свойствами, им данными, чтобы волшебством поэзии увлек меня вместе с собою в тот мысленный мир, **который создан его воображением**, и сделал на время, так сказать согражданином его обитателей... Таковы басни стихотворцев новейших, и в особенности Лафонтеновы»[45]. [Курсив везде Жуковского, жирный шрифт — мой. — *М.А.*]

Жуковский, говоря о подражании природе, о фантастическом мире, созданном из слияния двух правдоподобий, естественно, не имел в виду нарушения физических законов бытия. Недаром он ссылался в качестве образца на Лафонтена, который, как мы видели, для Хвостова образцом ни в коей мере не является. Хвостов создает в своих баснях иной, заключенный в самом себе, самодостаточный мир. Соблюдение физических законов здесь совсем не обязательно — лишь бы было соблюдено *правдоподобие, подражание природе*, но природе басенной, т.е. верность созидаемому воображением автора миру.

Особенно показательна в этом отношении изданная в 1802 г. книга «Избранные притчи из русских сочинителей российскими стихами». Именно о ней писал Вяземский в предисловии к своим пародиям: «Эти притчи писаны в подражание, и, сказать можно без хвастовства, довольно удачно, притчам гр. Хвостова, особенно тем, которые заключаются в первом издании, явившемся в свет в первых двух-трех годах текущего столетия. Эта книга была нашею настольною и потешною книгою в Арзамасе. Жуковский всегда держал ее при себе и черпал в ней нередко свои Арзамасские вдохновения»[46]. Робкий и нерешительный в отстаивании своих литературных мнений, Хвостов в следующих изданиях переделывал, изменял (и ухудшал) первоначальный текст. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать в основном тексты именно этой книги.

[45] Жуковский. С. 185.

[46] Вяземский 1963. С. 380—381.

Обратимся к басне «Туча, Гора и Куча». Она восходит к Эзоповой басне «Путники». Люди увидели в море некий предмет и решили, что это большой корабль, когда предмет пригнало ветром поближе, они решили, что это плот; в итоге оказалось, что это была куча хвороста[47]. В истории, рассказанной Эзопом, все правомерно: на море ошибка в определении расстояния ведет к тому, что маленький предмет издали может показаться большим. На суше по законам перспективы при приближении к предмету он становится больше, при удалении уменьшается. В басне Хвостова двое прохожих сначала увидели перед собой тучу и горюют:

Как хлынет дождь, ударит гром,
Беда идти пешком...

При приближении туча уменьшается:

Где тучу видели, там гору примечали,
И ну опять судить:
Трудненько будет нам на гору восходить...

Дальнейшее движение делает предмет небольшим по размеру и презренным по своей сущности:

Где видели Кавказ, где тучу зрели грозну,
Нашли
Лишь кучу там навозну[48].

Именно последнее: ничтожность, презренность предмета, представлявшегося сначала величественным, — важно для Хвостова. Чтобы показать это, он создает некий странный, ирреальный мир: предмет, который должен увеличиваться в нашем восприятии по мере его приближения к нам (закон прямой перспективы), в басне

[47] Эзоп. С. 115.

[48] Хвостов 1802. С. 43—44 (в дальнейшем ссылки на это издание в тексте). Кстати сказать, по нашему мнению, при печатании притч Хвостова не следует руководствоваться основным текстологическим правилом о приоритете последнего прижизненного издания. В историко-литературном отношении первое издание предпочтительнее. Поэтому и автор этих строк в книге «Поэты 1790—1810-х годов», и В.П. Степанов с Н.Л. Степановым («Русская басня XVIII—XIX веков»), думается, были не правы, печатая притчи Хвостова по последнему собранию его сочинений.

Хвостова уменьшается. Создается тем самым противоречие общепринятым физическим законам, «здравому смыслу», повседневному опыту (какое-то соответствие этим приемам Хвостова можно увидеть в иконе с ее обратной перспективой).

Современники удивлялись подобным нелепостям, не могли понять, почему «в его сочинениях сама природа является иногда навыворот. Например, известный закон оптики, что отдаленный предмет кажется меньше; а у него в притче “Два прохожих” сперва кажется им издали *туча*; потом она показалась *горою*; потом подошли ближе, увидели, что это *куча*»[49].

Нарушаются пространственные отношения и в басне «Буря и Вор». О ее герое, Мужике, говорится:

...в бок поворотясь, увидел он, что вор
Ружье наметил из-за гор,
В него стреляет.
(с. 63)

Вдумаемся в эти строки. Стрелять можно из-за дерева или какого-либо другого укрытия. Чтобы стрелять из-за горы, разбойник должен быть соизмерим с этой горой: мы должны представить себе картину, где на переднем плане по дороге идет мужик, а на заднем плане, как на лубочной картине, поверх горы или где-то рядом с ней расположена громадная человеческая фигура. Таким образом, и в этой басне мы сталкиваемся с нарушением «нормальных» для «здравого смысла» законов перспективы.

В этом странном мире не только искажаются пространственные отношения, здесь и сами тела меняют свою физическую природу, вещи на глазах читателя превращаются из одной в другую, когда это вызвано требованиями сюжета. Так, в басне «Два голубя» мальчик бросает «камышек», чтобы поразить голубя. Камень должен пролететь некое расстояние и, главное, попасть в цель. Поэтому в следующей строке он превращается в «стрелу»:

Пошла стрела в свою дорогу
И прямо голубю в крыло и в ногу...
(с. 102)

[49] М. Дмитриев. С. 197.

Басня по самой природе своей допускает важнейшую условность: животные и даже неодушевленные предметы наделены в ней человеческими способностями, характерами и выступают как люди. Сам жанр основан на подстановке людей на место изображаемых персонажей. Такая подстановка осуществляется подготовленным читателем басни автоматически. Избегая «дробной поэзии», т.е. обилия деталей, Хвостов, стремясь сделать функциональным каждое слово своей басни, приписывает изображаемому персонажу те атрибуты, которых он заведомо не имеет и не может иметь. Поэтому у Хвостова персонификация проводится гораздо последовательнее, чем у других баснописцев. Когда поэт рассказывает о собаке, которая предоставила свой дом, хату (а не конуру!) для роженицы, то он так прямо и пишет:

Сыскалась сука доброй человек[50].
(с. 35)

Заяц бежит из лесу, опасаясь, что уши его могут быть приняты за рога.

А ты куда спешишь, комола заяц птица? —

спрашивает его лисица. Рога могут быть у зверя (даже у человека!), но не у птицы. Назвав зайца «комолой птицей», автор подчеркнул, что уж у него-то, во всяком случае, рогов быть не может.

Виноград у Хвостова становится «упрямым» и «не падает никак» (с. 28). А в басне «Слон и червяк» Слон наделен копытом:

Копыто у Слона червяк исправно гладит
И мыслит так:
Конечно, червяка копытом слон задавит...
(с. 104)

Баснописцу важно сопоставить очень большое существо (поэтому слон, а не конь) с очень маленьким. В то же время мягкий червяк должен быть раздавлен чем-либо твердым, похожим на камень, и Хвостов снабжает своего слона копытом.

---

[50] Ср., кстати, у Достоевского: «Осел добрый и полезный человек» («Идиот», кн. 1, гл. 5).

Когда же другой персонаж басни ищет брода и пробует ногой воду, то мы читаем:

Тряхнувши головой, осел пятой толкал;
С походкой важности ушами закачал,
Искал
Искусно броду.
(с. 165)

Таким образом, в иной ситуации копыто осла превратилось в «пяту». Точно так же «вопит» у Хвостова попавшая на уду щука (с. 67), толкает «ногой по дереву» лисица (с. 27) и т.д. Естественно, что когда голубь попал в тенета, то он, пытаясь освободиться,

Кой-как разгрыз зубами узелки
И волю получил...
(с. 162)

Не менее колоритны детали другой знаменитой басни Хвостова «Осел и Рябина». Басня высмеивает глупость, носителем которой является обычный для этого жанра персонаж — осел.

Хотя осел не умный господин,
Но боль он чувствует, как всякая скотина.
(с. 206—207)

Глупый осел решил спрятаться от дождя на рябине, как прячутся птички. Создается комическая ситуация: неуклюжее существо лезет на тонкую рябину к маленьким птичкам:

Я вижу птички там, —
Так для чего не быть ослам!
Ослиной головой мотает
И крепко лапами за дерево хватает.
Ползет —
И дерево грызет
Цепляется ногами
Но длинными ушами
За ветку зацепил, осел
Мой сел...

Чтобы усилить нелепость и комизм положения, осел снабжается «лапами». По существу, «в лапах» не больше «здравого смысла», чем в самой ситуации: осел на дереве. Но они усиливают зрительное впечатление: мы видим ослиные лапы, вероятно, с когтями, поскольку они вцепляются в дерево. В следующих строчках эта картина разворачивается в диковатое и странное зрелище:

Все стало дело,
Ослино тело
На верх нейдет
И отпуска с рябины ждет.

В небольшой басне (45 коротких строк) 13 раз встречается слово «осел». Это повторение должно подчеркнуть глупость басенного героя: он осел, у него ослиная голова, ослиное тело, от него остался ослиный прах. Эти тринадцать упоминаний усилены противопоставленным им четырнадцатым. Осел, которому не удалось, цепляясь лапами, влезть на рябину, предпринимает новую попытку:

«На легкость я мою в надежде
На дерево скакну» — и в миг
Ослица прыг...

Превращение осла в ослицу совершено автором явно с целью подчеркнуть еще большую глупость персонажа. С той же целью речь осла насыщается комичными, некстати употребленными выражениями. Характеризуя свою неудачную попытку влезть на дерево, осел говорит:

«Коли не удалось мне так разгрызть орех,
Я новым опытом найду успех...»

В конце речь осла сливается с речью автора, и басня заканчивается странным, комическим словосочетанием: *находит раз*:

...Ослица прыг,
Летит на дерево с размаху.
Рябина потряслась, — ослу последний час;
Упал — находит раз.
Теперь ослиного ищите праху.

Просторечное выражение «раз», кратко представляющее действие, употреблено Хвостовым и в басне «Груша с золотыми ветвями»:

Он [Мужик] взял топор, дал раз —
И груши нет.
(с. 220)

Таким образом, становится ясным, что все нарушения общепринятых представлений, все то, что казалось читателям-современникам проявлением скудоумия несчастного графомана, на самом деле является художественным приемом. Каждая нелепость, если рассматривать ее с точки зрения внутренней системы хвостовской басни, становится функционально действующей: намеренно просторечной безыскусностью. Если даже ее нельзя счесть художественно необходимой, то, во всяком случае, она внутри системы становится понятной и логически обусловленной. Перед нами возникает странный, с гиперболизированными деталями, почти сюрреалистический мир, похожий на те чудовищные картины, которые мы гораздо позднее найдем в странных композициях Сальвадора Дали или Михаила Шемякина. Этой внутренней логики художественной системы Хвостова не поняли и не могли понять современники.

«Арзамасцы», так же как ранее Дмитриев, критиковали басни Хвостова с позиций плоского, примитивного «здравого смысла», обвиняя автора в патологической тупости — отсутствии элементарных представлений об окружающем мире: «Какая нам будет польза, если неутомимый рифмоткач узнает наконец, что у козла нет свиной туши, а у голубей зубов, точно так, как нет здравого рассудка в стихах его»[51]. Не поняли они и внутренней органичности рассмотренной нами басни «Осел и Рябина». В речи Жуковского о хвостовских притчах она занимает центральное место: «Водрузив перед самым гробом развесистую рябину, важный осел, *зацепивший за ветку ее длинными ушами, висит, и сидит, и крепко лапами за дерево хватает* и перед ним безмолвное собрание всех скотов, в первый раз исторгшихся на волю из нераскупленного издания избранных притчей. Все безмолвны, оратор начинает:

«Что делаем, скоты? Кого погребаем?»[52]

---

[51] Арзамас и арзамасские протоколы. С. 152.

[52] Шуточная парафраза начала знаменитого «Слова на погребение всепресветлейшего державнейшего Петра Великого» Феофана Прокоповича: «Что се

О друзья мои, более сего оратор сказать не мог. Сильное слово его как молния поразило всех предстоящих. Все всколебалось — он сам от жестокой скорби прянул с рябины, *ослицею нашел раз и не разгрыз ореха!*»[53]. Речь Жуковского, «погребавшего» Хвостова, была одной из лучших арзамасских речей, в которых хоронили «покойников» из «Беседы». «...Светлана превзошла сама себя, отпевая петого и перепетого Хлыстова. То-то была речь! То-то протоколы!» — в восторге писал Д.В. Дашков Вяземскому 26 ноября 1815 г.[54].

Те же несообразности, нарушение законов природы видел в баснях Хвостова А.Е. Измайлов. В 1816 г. клеврет Хвостова В.И. Тебекин, искавший покровительства и защиты у людей богатых и знатных, выпустил книгу «Басни и сказки»[55]. Измайлов написал остроумную рецензию, в которой высмеял не только эпигона, но и самого Хвостова: «Чего не делает всемогущая поэзия? Прикоснется ли магическим жезлом своим к Голубку, запутавшемуся в сети, — мгновенно вырастают у него зубы, и он разгрызает ими узелки, к Ослу — новый длинноухий Тирезий переменяет пол и превращается в Ослицу»[56]. При этом Измайлов все же заметил в баснях какую-то закономерность, увидел, что Хвостов создает свои нелепости, сообразуясь с какими-то правилами собственной поэтики, своего «магического жезла».

Интереснейший материал для представления о восприятии басен Хвостова современниками дают уже упоминавшиеся пародии Вяземского, который, как мы видели, сам считал их «довольно удачными». Для Вяземского главным объектом насмешки становится нарушение в притчах логических связей и непредсказуемая последовательность событий. Такова, например, басня «Обжорство», пародирующая в первую очередь знаменитую притчу «Осел и Рябина»:

есть? До чего мы дожили, о Россияне? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем!» (Панегирическая литература. С. 279; ср.: Арзамас, 1. С. 547).

[53] Арзамас, 1. С. 294.

[54] Там же. С. 314.

[55] Биографию Тебекина по архивным материалам написал В.П. Степанов. См.: Стихотворная сказка. С. 680—681; Русская басня. С. 605—606.

[56] Сын Отечества. 1816. Ч. 30. №20. С. 19 (цит. по: Поэты 1790—1810-х. С. 844). Тиресием хвостовский Осел назван потому, что греческий прорицатель семь лет пробыл женщиной, а потом снова превратился в мужчину

Один Француз
Жевал арбуз.
Француз, хоть и Маркиз Французский,
Но жалует вкус русский,
И сладкое глотать он не весьма ленив.
Мужик, вскочивши на осину,
За обе щеки драл рябину,
Иль, попросту сказать, российский чернослив:
Знать, он в любви был несчастлив!
Осел, увидя то, ослины лупит взоры
И лает: «Воры! Воры!»
Но наш Француз
С рожденья не был трус;
Мужик же тож не пешка,
И на ослину часть не выпало орешка.

Здесь в притче кроется толикий узл на вкус:
Что госпожа ослица,
Хоть с лаю надорвись, не будет век лисица[57].

Сначала в пародии речь идет о Французе, который ест арбуз, который почему-то отвечает *русскому вкусу*. После француза рассказ баснописца неожиданно перескакивает на Мужика, который рвет на осине ягоды рябины, которая, в свою очередь, именуется *российским черносливом*, который потом станет *орешком*. Причиной, заставившей Мужика есть рябину, является *несчастная любовь*. Третий персонаж, Осел, не лезет на рябину, как у Хвостова, а почему-то *лает* и становится *ослицей*, которая не будет *лисицей*.

Вяземский не задумывается о причинах нарушения закономерностей реального мира. Функционально обусловленные у Хвостова, метаморфозы басен представляются Вяземскому лишь нелепыми алогизмами, они никак не обоснованы: они результат глупости и беспомощности версификатора. У Хвостова же, как мы пытались показать, была некая система, на которой он строил свои превращения. Кстати, нужно заметить, что «превращение» осла в ослицу, вызвавшее такое веселье у читателей, может быть, подчеркивает глупость, отрицательные качества персонажа. Для этого иногда употреблялся женский род. Например, у Фонвизина Правдин об-

[57] Вяземский 1986. С. 90.

ращается к Митрофану: «Негодница! Тебе ли грубить матери?» («Недоросль», действ. 5, явл. 7). То же у Пушкина в письме к П.В. Нащокину от 10 января 1836 г.: «Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура — что с ними связываться невозможно»[58].

Кажется, только один современник, впрочем, потешавшийся над Хвостовым не менее других, заметил, что Хвостов является создателем собственного фантастического мира, в котором все действия, поступки героев подчиняются своим логическим закономерностям: нарушение общепринятых представлений наступает, когда этого требует поэтика басни. То был Николай Иванович Гнедич, сочинивший в Приютине, имении Олениных, комедию для домашнего театра «Стихотворец в хлопотах». Здесь сынок Хлыстова (то бишь Хвостова) так характеризует притчи стихотворца-отца (курсив наш): «*Папенька создал новый мир*, папенька населил его новыми тварями, у папеньки горлицы с зубами, собаки с рогами, животные, *если нужно*, изменяют свой образ; например, помните <...> притчу “Корова и Липка”, — когда корова лезет на макушку липки, чтобы спрятаться от дождя, и вдруг слезает назад быком!»[59]

С точки зрения Хвостова, нравоучение, мораль не является обязательной принадлежностью басни. Здесь Хвостов отступает от принципов эзоповской традиции, на которую он главным образом ориентируется. Эзоп, пишет Хвостов, «нравоучение всегда у притчей ставил» (2, 154), сам же он считает по-иному:

Нравоучение где хочешь ты включай,
В начало иль в конец, как есть тому случай;
Но можешь и совсем отсечь или убавить,
Коль хитростно умел свой узелок составить;
Для наставления не трать напрасно строк,
Знай — само по себе подобие — урок.
(2, 156)

Следует заметить, что размышления Хвостова совпадают с мнением Л.С. Выготского, который считает, что, вопреки общепринятому мнению о морали «как неотъемлемой и самой важной стороне басни», она в художественной структуре басенного текста играет» подчиненную роль и может отсутствовать[60].

---

[58] Пушкин, XVI. С. 73.
[59] Цит. по: Георгиевский. С. 76.
[60] Выготский. С. 141—153.

Так и в притчах Хвостова мораль не только не играет сколько-нибудь существенной роли, но часто вообще отсутствует. Современники, привыкшие к обязательной морали в басне, потешались и над этой особенностью хвостовских притч. В упоминавшейся пьесе Гнедича молодой человек рассказывает о притчах своего папеньки, где «смысл... часто открывается следующей притчею»[61]. Иначе говоря, мораль одной басни может быть приложена к другой, т.к. смысла в них все равно нет. О том же говорит один из шуточных приютинских законов, принятых в семействе Олениных: «...кто уж слишком много глупого скажет, того тотчас заставить прочесть басню Хвостова: а смысл этой басни прочесть в предыдущей басне»[62].

В пародии Вяземского «Обжорство» со свойственным этому поэту блистательным остроумием именно в финальной «морали» концентрируются все особенности притч Хвостова, как они понимались современниками, и подчеркивается отсутствие или незначительность выводов в его баснях:

Здесь в притче кроется толикий узл на вкус:
Что госпожа ослица,
Хоть с лаю надорвись, не будет век лисица.

Хвостов пытался защищаться. Он нападал на «арзамасских гусей» в послании «Катерине Наумовне Пучковой»:

Вообрази, где был воспитанник Парнаса:
Пешечком улицы обмерял Арзамаса,
Там общество гусей он видел у реки;
Но жаль, что не нашлось меж их бойца прямова,
Обыкновенные, как и везде, гуськи,
Такие именно, как в басенке Крылова.
Ну, право, несмотря на множество похвал,
Я таковых гуськов и при Неве встречал.
(3, 120—121)

Но силы были слишком неравны. В отличие от Тредиаковского, которого также преследовали безжалостные насмешки про-

[61] Георгиевский. С. 75.
[62] ОР РНБ. Ф. 542. №877. Л. 102об.

тивников[63], Хвостов не был ученым, его системе недоставало последовательности, он сам формулировал ее для себя недостаточно четко. Поэтому, в отличие от Тредиаковского, он отступал и уступал. Он выбрасывает из последующих изданий наиболее одиозные, с точки зрения арзамасских противников, басни и переделывает другие. Так, в басне «Два голубя» вместо строки: «Кой-как разгрыз зубами узелки» — стало:

Кой-как распутался и потащил с собой
Петличку от силка[64].

В то же время при переделке басни «Туча, Гора и Куча» в угоду насмешникам «навозна куча» заменена кучей песка, что, конечно, сделало басню слабее, но та своего рода «обратная перспектива», о которой шла речь, Хвостовым сохранена: прохожие видят сперва тучу, потом гору, потом кучу песка (4, 58—59).

Басня «Сука и щенята» сильно сокращена и названа «Собака-родильница». Из нее исчезло и знаменитое выражение «сука — добрый человек». Возможно, все эти изменения сделаны лишь для того, чтобы убрать неблагозвучное, слишком низкое слово «сука» (4, 60—61).

При этом Хвостов все же буквально до конца дней не отказывается от своих принципов построения басенного мира. Он упорно отстаивает свое право называть вороний клюв пастью: «Автор знает, что у птиц рот называется *клювом*. Несмотря на то, он заменил сие речение употребляемым в переносном смысле, ибо говорится и о человеке: “Он разинул пасть” (Словарь Российской Академии)».

В черновой записи этого примечания Хвостов так сформулировал принцип усиленного метафоризма в аллегорическом басенном мире: «Пускай учитель натуральной истории скажет, что у вороны рот или клёв. Пасть только употребляется относительно зверей, но я разумею здесь в переносном смысле широкий рот и рисую неспособность к хорошему пению»[65].

Обращая в примечании внимание читателей-насмешников (а иных, если не считать льстецов и подхалимов, поэт почти и не знал)

---

[63] См. об этом: *Reyfman I.* Vasilii Trediakovsky. The Fool of the ‘New’ Russian Literature. Stanford, CA, 1990.

[64] Поэты 1790—1810-х. С. 844, 434.

[65] Там же. С. 844, 435.

на слово «пасть», Хвостов никак не комментирует гораздо более важную строку в самом начале басни. В «Притчах» 1802 г. про ворону было сказано:

Несла во рту кума ворона сыр...
(с. 3)

Здесь степень очеловечивания басенного персонажа вполне укладывается в читательское восприятие. Если у Лафонтена ворон держит сыр в клюве[66], то у Крылова, как и у Хвостова, ворона

...позадумалась, а сыр во рту держала.
(«Ворона и лисица», 1813)

В последнем издании басен (1830) Хвостов, изображая ворону, вводит такую гротескную деталь, которая превращает ее в некое сюрреалистическое чудище, нисколько не уступающее пресловутым зубастым голубям или ослам с лапами:

Однажды после пира
Ворона унесла остаток малой сыра,
С добычею *в губах* (курсив мой. — *М.А.*)
Немедля на кусток
Ореховый присела.
(4, 9)

Эта ворона «с губами» показывает, что Хвостов до конца остался верен своим басенным принципам. Другое дело, что, будучи от природы человеком мягким и уступчивым, он не имел ни знаний, ни воли, ни смелого литературного таланта, чтобы последовательно бороться за свои идеи.

Хвостов старел, но его увлечение литературой не остывало. Он откликался стихами на все значительные события. Так, после страшного петербургского наводнения было написано несколько тяжеловесное «Послание к N.N. о наводнении Петрополя, бывшем 1824 года 7 ноября»[67].

[66] «Maître Corbeau sur un arbre perché // Tenait en son bec un fromage» (Fables. Livre 1, fab. 2).
[67] Невский альманах на 1825 год. СПб.,1825.

А.Е. Измайлов тут же сочинил эпиграмму:

Господь послал на Питер воду,
А граф сейчас скропал и оду.
Пословица недаром говорит:
«Беда беду родит»[68].

Пушкин позднее, в 1833 г., в «Медном всаднике» иронически помянул своего предшественника в описании наводнения:

Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье Невских берегов[69].

Злые языки сочинили за автора смешные и нелепые строки, будто бы имеющиеся в послании «О наводнении». Строки попали в анекдоты о Хвостове, а вслед за тем и в научную литературу. Комментируя эпиграмму Измайлова, В.Н. Орлов писал: «В этом послании ("О наводнении Петрополя") попадаются такие, например, стихи:

...по стогнам валялось много крав,
Кои лежали там, ноги кверху вздрав»[70].

Разумеется, ничего похожего в стихах Хвостова нет. Однако Александр Бенуа, иллюстрируя поэму Пушкина, нарисовал графа в небесах (на облаках) и под его шаржированным портретом изобразил коров с задранными кверху ногами[71].

По свойственному ему доброму нраву старый поэт не обижался. В изящных стихах, которые вполне были на уровне поэзии 1820-х гг., он по-прежнему говорил о своей страсти к сочинительству:

---

[68] Распространялась в рукописи; впервые напечатана в 1871 г. (см.: Русская эпиграмма. С. 233, 705).

[69] Анализ этих строк и характеристику (излишне, по нашему мнению, резкую) отношения пушкинского круга к Хвостову см. в статье Н.В. Измайлова в кн.: Пушкин 1978. С. 268—269.

[70] Эпиграмма и сатира. Т. 1. С. 178.

[71] Пушкин 1989. С. 42; ср.: Осповат, Тименчик. С. 249—250.

Меня винят за поздний к Музе жар,
Толкуют вслух: писать стихи я стар;
Творец для дам сонетов, мадригалов,
Дитя сует и посетитель балов,
На ложе роз готовлюся заснуть
И парки нить, играя, протянуть.
(5, 15)

Никто, однако, не хотел читать ни плохих, ни хороших стихов графа Хвостова. Над ним смеялись, не читая. Достаточно было уже написанного, устоявшейся привычки. Так, у А.Е. Измайлова, который часто изощрял свое остроумие на бедном графомане, имелся даже особый портфель, который назывался «Хвостовиада». В этот портфель собирались материалы, относившиеся к Хвостову: анекдоты о нем, эпиграммы, сатирические стихотворения и пр. Так создавался устойчивый образ[72]. «Биография Хвостова-графомана, — совершенно справедливо писал В.Э. Вацуро, — строилась последовательно и целенаправленно; изо всей его необозримой поэтической продукции отбирались и передавались из уст в уста именно “примеры галиматьи”... от него ждали стихотворных нелепостей и читали с этой установкой»[73]. К середине 1820-х гг. построение хвостовской биографии уже закончилось. Он утратил индивидуальные писательские черты, превратился в некую литературную маску, которую легко и удобно было использовать в литературно-полемических целях.

Так, Пушкин в 1825 г. написал пародийную «Оду его сият<ельству> гр<афу> Дм<итрию> Ив<ановичу> Хвостову, с примечаниями автора». Отталкиваясь от имени и излюбленных приемов (обильные примечания к стихам) своего мнимого адресата, Пушкин, как это давно показал Ю.Н. Тынянов, боролся с архаическими установками гораздо более значительных противников — Кюхельбекера и Рылеева[74].

Таким образом, странные, одновременно смелые и робкие, попытки Хвостова создать в своих притчах новые, совсем не стандартные формы изображения действительности не смогли оказать влияние на современное ему литературное развитие. Сказалось

[72] Поэты-сатирики. С. 688.
[73] Вацуро 2000. С. 47—48.
[74] Тынянов 1968. С. 105—115.

здесь и то обстоятельство, что сама басня, достигнув расцвета в творчестве Крылова, после него никогда не занимала сколько-нибудь серьезного места в литературном движении. Путь, избранный Хвостовым, привел его в тупик.

Шли годы. Творчество Хвостова, по-видимому, было прочно забыто. Вряд ли кто-нибудь читал его сочинения. К ним почти не обращались даже ученые-филологи. Однако история культуры развивается по своим собственным законам. И, хочется думать, ничто не исчезает в ее потоке бесследно. В интеллектуальной памяти продолжала жить легенда о выдающемся странном и смешном графомане. Издавались анекдоты и воспоминания, в которых звучало имя Хвостова, вспоминались пародии на него.

Во второй половине 1920-х гг. в Ленинграде появилась странная группа поэтов-обэриутов, которые обратились к «заумной семантике», «главным понятием в их поэтике стала бессмыслица, битва со смыслами». Они создавали в своих произведениях чудовищный, страшный по гротескности и алогизму мир, который являлся достаточно последовательным отражением чудовищного и страшного мира, созданного в России кровавой большевистской революцией. Многомерная абсурдизация в творчестве обэриутов, говорит исследователь, создает «собственный семантический универсум»[75]. Этот семантический универсум иногда удивительно напоминает тот хвостовский новый мир, над которым потешался Гнедич, — мир, где животные, люди, предметы, если нужно, меняют свой облик. В самом деле, улыбка жареного карася или гибнущие в классовой борьбе жук-буржуй и жук-рабочий[76] стоят зубастых голубей или комолой птицы-зайца. Когда же Н. Олейников говорит:

Пышно над ними колышет
Смородина свой виноград[77] —

то этот абсурд ничуть не уступает рябине, растущей на осине в пародии Вяземского.

---

[75] См.: *Мейлах М.Б.* «Я испытал слово на огне и на стуже...» // Поэты группы «обэриу» / Изд. подготовили М.Б. Мейлах, Т.Л. Никольская, А.Н. Олейникова, В.И. Эрль. СПб.,1994.

[76] См., например: Олейников. С. 60, 126.

[77] Там же. С. 145.

Вряд ли обэриуты читали Хвостова, но пародии, шутки, эпиграммы, создавая опосредованные отблески хвостовских нелепостей, какими-то путями, может быть, входили в их сознание и, возможно, сыграли свою роль в создании кафкианского отражения советской действительности, какое мы находим в их стихах.

И.А. КРЫЛОВ В «БЕСЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

Когда в 1807 г. по инициативе Шишкова в среде петербургских литераторов начались регулярные еженедельные литературные собрания, И.А. Крылов стал их постоянным, активным и аккуратным посетителем. Когда на основе этих собраний организовалась «Беседа любителей русского слова», он вошел в это объединение и, естественно, стал его влиятельным членом. Б.М. Эйхенбаум в этой связи совершенно справедливо называет Крылова одним из основателей «Беседы»[78]. Опубликованные В.А. Десницким журналы общества показывают, что Крылов был не только одним из самых аккуратных посетителей всех заседаний «Беседы», как предварительных, так и публичных, но и активнейшим ее деятелем: на его квартире собираются «беседчики», он отдает «Беседе» свои басни и читает на ее заседаниях не только собственные, но и чужие произведения[79].

По подсчетам Б. Гальстера, в 1811—1815 гг. Крыловым было опубликовано 45 басен. Из них 12 — в сборнике «Новые басни» (1811), одна — в сборнике «Описание торжественного открытия имп. Публичной библиотеки...» (СПб., 1814), 22 — в «Чтениях в Беседе любителей русского слова» и 10 — в «Сыне отечества». В периодике, таким образом, за пять лет было напечатано Крыловым 32 басни[80]. Если учесть, что в «Сыне отечества» Крылов печатался главным образом в период Отечественной войны (см. об этом ниже), то следует признать, что в годы существования «Беседы» именно ей отдавал в основном Крылов свои творческие силы.

Упорно державшаяся легенда о враждебно-ироническом отношении Крылова к «Беседе» покоится прежде всего на двух свиде-

---

[78] Жихарев. С. 642. См. также: Galster. S. 353.
[79] Десницкий. С. 106.
[80] Galster. S. 353—354.

тельствах. Первое — это замечание в «Записках» Ф.Ф. Вигеля: «Крылов хотя и выдал особу свою “Беседе”, но, говорят, тайком посмеивался над нею. Доказательством тому поставляют вскоре после ее открытия выданную им басню *Квартет*, где проказница мартышка, осел, козел да косолапый мишка спорят о местах, и автор говорит им “Друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь”»[81]. В то же время существуют свидетельства М.А. Корфа и М.Н. Лонгинова о том, что Крылов написал свой «Квартет» по поводу образования Государственного совета, разумея под Мартышкой Мордвинова, под Ослом — Завадовского, под Козлом — Лопухина, под Медведем — Аракчеева: «...продолжительным прениям о том, как их рассадить, и даже нескольким последовавшим пересадкам мы обязаны остроумною баснью Крылова “Квартет”», — отмечал барон Корф[82]. А.П. Могилянский показал ошибку Вигеля: «“Квартет” не может относиться к “Беседе”, так как эта басня была сдана в печать 8 марта 1811 г., а написана была, по обыкновению Крылова, видимо, много раньше»[83]. Официальное же открытие «Беседы» состоялось 14 марта 1811 г.

Второе свидетельство — пространный, очень хорошо известный и часто цитируемый рассказ М.Е. Лобанова об обстоятельствах, при которых была прочитана Крыловым басня «Демьянова уха»: «В Беседе русского слова, бывшей в доме Державина, приготовляясь к публичному чтению, просили его прочитать одну из его новых басен, которые тогда были лакомым блюдом всякого литературного пира и угощения. Он обещал; но на предварительное чтение не явился, а приехал в Беседу во время самого чтения и довольно поздно. Читали какую-то чрезвычайно длинную пиесу; он сел за стол. Председатель отделения А.С. Хвостов, сидевший напротив него за столом, в полголоса спрашивает у него: Иван Андреевич, что, привезли? — Привез. — Пожалуйте мне. — Вот ужо, после. — Длилось чтение, публика утомилась, начинали скучать, зевота овладела многими. Наконец, дочитана пиеса. Тогда Иван Андреевич руку в карман, вытащил измятый листочек и начал: “Демьянова уха” Содержание басни удивительным образом соответствовало обстоятельствам, и приноровление было так ловко, так кстати, что публика громким хохотом от всей души наградила автора за басню,

[81] Вигель 1892. Ч. 3. С. 192.
[82] Корф. Т. 1. С. 118.
[83] Крылов 1956. С. 390—391.

которою он отплатил за скуку ее и развеселил ее прелестью своего рассказа»[84].

На основании рассказа Лобанова принято считать, что в «Демьяновой ухе» высмеяна целиком вся «Беседа». Однако прежде чем делать окончательные выводы, попробуем восстановить обстановку, в которой была прочитана басня. Хотя до нас не дошли протоколы того заседания «Беседы», где она читалась, однако известно, что по уставу «Беседы» разряд, проведший публичное заседание, выпускал затем книгу «Чтений», в которой печатали произведения, прочитанные перед слушателями[85]. Таким образом, можно установить, *что* было прочитано в этом заседании до Крылова. В 11-й книге «Чтений в Беседе любителей русского слова» опубликованы стихи С. А. Ширинского-Шихматова «Песнь россиянина в новый 1813 год», «Мысли разных сочинителей» А.С. Хвостова, стихи Д.П. Горчакова, С.И. Висковатова, Ю.А. Нелединского-Мелецкого, «Письма к графине Н.Н.» Ф.П. Львова. Все эти произведения невелики по объему: максимум 10—15 страниц небольшого формата. Исключение составляет «Рассмотрение Овидия» Я.А. Галинковского. Конец этого «Рассмотрения», «Повесть Вертумна и Помоны», как свидетельствует примечание, «не был прочитан в “Беседе” при посетителях»[86]. Повесть занимает девять страниц. Следовательно, остальные сорок страниц посетители были вынуждены выслушать. Хотя Крылов и не был на предварительном заседании (если доверять рассказу Лобанова), но с материалами чтения он должен был быть знаком: эти материалы рассылались для замечаний всем членам разряда, готовившего публичное чтение. Таким образом, Крылов заранее знал, что его насмешка попадет прежде всего в Галинковского, второстепенного и малозаметного литератора, хотя и секретаря «Беседы»[87]. В то же время особенно важным в этой басне Крылова был ее конец, «мораль»:

Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь;
Но если помолчать во время не умеешь
И ближнего ушей ты не жалеешь,
То ведай, что твои и проза и стихи
Тошнее будут всем Демьяновой ухи.

(3, 102)

[84] Лобанов. С. 54—55.
[85] Десницкий. С. 123.
[86] Чтение, 11. С. 61.
[87] См. о нем: Лотман 1959.

Эта концовка и должна была вызвать тот громкий хохот собравшихся, о котором пишет Лобанов. Стихи эти, разумеется, не имеют никакого отношения к Галинковскому, который не только не был поэтом, но и вообще был более переводчиком и теоретиком, чем оригинальным автором. Главным адресатом басни Крылова является давний его недоброжелатель и «соперник» граф Д.И. Хвостов[88], незадолго до крыловской басни зачитавший самого черта в басне А.Е. Измайлова «Стихотворец и Черт» (1811)[89].

Хвостов очень ревниво относился к успехам Крылова-баснописца. Наивно стараясь отвлечь соперника от басенного творчества, Хвостов настоятельно советовал ему вернуться к драматургии:

Для дочек написав уроки,
Крылов, ты после замолчал...

Неглупый и незлой по природе, он, конечно, понимал достоинства басен Крылова, осыпал его комплиментами, адресовал ему послания и в то же время писал на него злые эпиграммы:

Небритый и нечесаный,
Взвалившись на диван,
Как будто неотесанный
Какой-нибудь чурбан,
Лежит совсем разбросанный
Зоил Крылов Иван:
Объелся он иль пьян?[91]

Вероятно, Крылов был выведен под именем Обжоркина в послании Хвостова к И.И. Дмитриеву (1811):

Обжоркин каждый день для всех твердит одно,
Что сытный был обед и вкусное вино...
Он счастлив, вне себя за лакомым столом...
Глазами жадными все блюда пожирает:
На гуся целит, ест пирог, форель глотает,
Котлетов требует...

---

[88] См.: Крылов 1956. С. 409.
[89] См.: Поэты-сатирики. С. 332—333, 688.
[90] Драматический вестник. 1808. Ч. 3. №58. С. 41.
[91] Жихарев. С. 360.

Обжоркину жена, и совесть, и рассудок,
Дары и почести — один его желудок[92].

Крылову хвостовская басня, прочно связанная с традициями классицизма и поэтому в основе своей просторечная и простонародная, была в чем-то близка. Однако в зрелую пору Крылов отказывается от намеренной площадной грубости, характерной для басни сумароковского типа, которой не пренебрегали ни Хвостов, ни позднее Измайлов. У Крылова эта грубость сильно смягчена, вероятно, под влиянием басни Дмитриева, и функцию низкого стиля у него выполняют русизмы[93], идиоматические обороты, создающие впечатление разговорного языка, но начисто лишенные резкости и грубости, свойственной басне XVIII в. Этот «низкий стиль» по преимуществу и является стилем самого автора. Так, его ворона не будет держать сыр «губами» и в «пасти» — у Крылова она держит его во «рту», однако при этом она «позавтракать было совсем уж собралась, // Да позадумалась». «...было совсем уж собралась», «позадумалась» — и являются теми русизмами, которые создают полное ощущение народной жизни, столь восхищавшее современников и потомков баснописца.

Там же, где Хвостов находит точные слова для характеристики народного бытия, Крылов пользуется его достижениями почти цитатно. У Хвостова в басне «Дровосек и Смерть» герой жалуется на судьбу:

С тех пор как зачал жить, чем веселился?
Заимодатели, подушное, оброк,
И дети, и жена, тягчит всечасно рок[94].

У Крылова в басне «Крестьянин и Смерть» в ряду крестьянских жалоб заменено лишь одно слово: не «заимодатели», у которых Крестьянин сам некогда брал деньги и поэтому должен их отдать, а «боярщина» — еще одна повинность, которую вынужден нести Крестьянин. Тем самым картина тяжкой жизни Крестьянина становится целостно завершенной:

---

[92] Поэты 1790—1810-х. С. 444, 846.

[93] О «русизмах» Крылова см. в статье Белинского «Иван Андреевич Крылов» (Белинский. Т. 8. С. 573—574).

[94] Хвостов 1802. С. 12.

Нуждаюся во всем; к тому ж жена и дети,
А там подушное, боярщина, оброк...
(3, 110)

Уже современники обратили внимание на эти «прекрасные стихи», а исследователи творчества Крылова цитируют их, чтобы показать, что баснописец говорит именно «о крепостной России, о тяжелом положении русского мужика, а не крестьянина вообще»[95].

Однако, несмотря на такое явное заимствование Крыловым удачной характеристики народного быта из басни Хвостова, в целом он относился к Хвостову, как и другие современники: насмешливо и пренебрежительно. В 1808 г. Крылов написал эпиграмму на хвостовский перевод «Поэтического искусства»:

«Ты ль это, Буало?.. Какой смешной наряд!
Тебя узнать нельзя: совсем переменился!»
— Молчи! Нарочно я Графовым нарядился;
Сбираюсь в маскерад.
(3, 310)

В шуточных баснях, вероятно написанных в 1810-х гг. в имении Олениных Приютино: «Паук и Гром», «Осел и Заяц», «Комар и Волк», — Крылов пародировал стиль, лексику и поэтические приемы хвостовских басен. Здесь Паук «разинул рот, оскалил зубы», Осел стремится летать, «как Орлиха», а Волк, прыгнув на полати, проглотил Комара «да сам таков и был» и т.п. (3, 212—213).

Продолжал Крылов преследовать Хвостова и в «Беседе». Не исключено, что Хвостова задевает известная басня «Гуси», опубликованная в первой книге «Чтений». Ее основная мысль — проповедь внесословной ценности человека — конечно, значительно шире узколичных применений. Эта мысль, не новая для русской литературы еще со времен Кантемира, не могла не прийтись по душе основной массе членов «Беседы», среди которых много было людей служилых, сделавших крупную карьеру или делавших ее и всем обязанных только самим себе. Так, Державин, министр и поэт, с гордостью и по праву писал о себе:

Кто вел его на Геликон
И управлял его шаги?

[95] Жихарев. С. 342; Н. Степанов 1969. С. 35—36.

Не школ витийственных содом, —
Природа, нужда и враги!
(2, 257)

Едва ли не единственным человеком в «Беседе», гордившимся своей знатностью, был граф Д.И. Хвостов. Суворов попросил для своего племянника этот титул у короля Сардинии, и племянник с гордостью его носил. Насмешники называли его «сардинским графом». Когда Шаховской прочитал в «Беседе» свою ироикомическую поэму «Расхищенные шубы», Хвостов выговаривал автору: «На что нам, особливо Беседе, наедаться и перенимать лай собачий у французских писателей? Что им позволено, то нам нет, мы двуипостасные. <...> Мы все князи да графы. Осмеяние относится на наших жен, детей и на наше в обществе состояние, какого литераторы иных земель не имеют»[96]. Все это говорилось в присутствии Крылова на одном из заседаний «Беседы». Видимо, Хвостов и ранее не упускал случая подчеркнуть свою титулованность. Потуги графа на знатность и высмеял Крылов:

...мы свой знатный род ведем от тех Гусей,
Которым некогда был должен Рим спасеньем:
Там даже праздники им в честь учреждены!
(3, 75)

Косвенным подтверждением справедливости нашего предположения, что «Гуси», как и «Демьянова уха», направлены против Хвостова, является его стихотворение:

Баснописцу Крылову 1822 года

Крылов! Хвала ему и честь!
Погибни лесть,
Он любит говорить и умное подслушать,
Подчас умеет он попотчевать друзей,
Демьянову уху, зажаренных гусей
Потомство будет кушать[97].

[96] Хвостов (2). С. 383.

[97] Хвостов 1828. С. 246. С примечанием: «Стихи баснописцу Крылову в первый раз печатаются. Сочинены 1823 года».

«Попотчевать друзей» в контексте стихотворения звучит как «достается и друзьям», а то, что незлобивый и незлопамятный Хвостов ставит рядом «Гусей» и «Демьянову уху», свидетельствует, возможно, о том, что в его сознании стояли рядом басни, в которых Крылов «употчевал» прежде всего его самого.

Насмешки над Д.И. Хвостовым, которые позволяли себе и другие члены «Беседы», например А.С. Хвостов, С.Н. Марин[98], естественно, не могут ни в коей мере служить показателем отношения Крылова к этому литературному объединению в целом. Басня «Демьянова уха» лишь намекает на конкретные эпизоды деятельности «Беседы» и высмеивает конкретных ее членов. Эта басня свидетельствует не столько о расхождениях по принципиальным вопросам, сколько об интенсивной литературной жизни «Беседы», где были сложные внутренние отношения и различные группы.

С другой стороны, нуждается в уточнении идиллическая картина дружбы Крылова с Жуковским, изображенная Плетневым. Эта дружба отнюдь не доказывает идейно-литературного сближения. Крылов действительно бывал у Жуковского, «являлся как общий друг», пишет Плетнев[99]. Однако литературные симпатии его были на стороне не Жуковского, а Шаховского. К осмеянию Жуковского в «Липецких водах» (1815) он отнесся, по свидетельству «арзамасца» Вигеля, вполне сочувственно: «Победа казалась на стороне Шаховского, новая пиеса его имела успех чрезвычайный, публика приняла ее с шумным, громогласным одобрением. <...> Крылов, с которым на другой день я увиделся, сказал мне с коварною улыбкой: «Как быть, les rieurs sont de son côté»[100].

Нужно сказать, что и сами «арзамасцы» при всем их уважении к таланту Державина и Крылова рассматривали этих писателей как полноправных членов «Беседы». Так, Д.Н. Блудов (Кассандра), изображая «беседное» сборище, говорил: «...вот Крылов на собственной *Свинье*, а вот виляет вдали и друг наш Гнедич на гекзаметре без просодии. И последний (ибо первые здесь последние), последний Державин, отбросив вдохновенные песни своей юности, садился на Званскую жизнь»[101].

---

[98] См., например: Русская эпиграмма. С. 51; Поэты-сатирики. С. 190.
[99] Плетнев. С. 81.
[100] Вигель 1891. Ч. 4. С. 172. *Перевод*: Насмешники на его стороне (*фр.*).
[101] Арзамас, 1. С. 319.

Таким образом, представление о промежуточной между «Беседой» и «Арзамасом» позиции Крылова, высказываемое в некоторых работах[102], с нашей точки зрения, не может быть принято.

Расходясь со своими коллегами по «Беседе» Державиным и Шихматовым в «художественных принципах»[103], Крылов разделяет идейную позицию «Беседы», и в первую очередь ее руководителя А.С. Шишкова.

Основными темами художественной литературы, и особенно публицистики, в начале XIX в. по-прежнему остаются просвещение и связанная с просвещением тема воспитания. Однако отношение к обсуждаемым вопросам становится в этот период существенно иным. Если литература XVIII в. негодует на засилье плохих учителей, то сама по себе ценность просвещения под сомнение не ставится. Так, высмеивая кучера Вральмана как плохого учителя, Фонвизин заставляет Софью читать Фенелона и устами Стародума восхваляет автора «Телемака». В крыловской «Почте духов» нищие мудрецы противопоставляются богатым вельможам, и нравственное превосходство всегда остается на стороне первых.

Французская революция потребовала переосмысления этих, казалось бы, незыблемых положений. Разум как единственно правильный мировоззренческий критерий не выдерживает испытания временем. Оглядываясь в прошлое, Лагарп в 1806 г. заставляет мудреца Казота пророчествовать об эшафотах, воздвигнутых «в царстве разума и во имя философии, человечности и свободы»[104].

В этих условиях Шишков пытается противопоставить западноевропейской, прежде всего французской, просветительской идеологии исконно народные русские православные начала. В его работах, пожалуй, впервые возникает мысль о разрыве между дворянской интеллигенцией, усвоившей в результате Петровских реформ иноземные нравы и культуру, и простым народом, сохранившим исконные формы бытия и непосредственность чувств, отразившуюся в фольклоре. Делая в «Рассуждении» основной упор на проблему языка, Шишков противопоставляет современному, с его точки зрения, испорченному французскими кальками, «древний, славенский язык <...> который есть корень и начало российского языка» (2, 1—23). По существу, те же идеи развивает «Драматический вестник», упрекнувший в вводной редакционной статье «лю-

[102] См., например: Н. Степанов 1958. С. 142—147; М. Гордин. С. 205—213.
[103] См.: Альтшуллер 1975 (2). С. 159—161.
[104] Лагарп. С. 245.

дей большого света, приученных иностранными воспитателями глядеть с некоторым презрением на отечественные произведения ума»[105]. В программной речи при открытии «Беседы» Шишков противопоставил церковные книги и фольклор (истинные, исконные ценности) заимствованным «родам сочинений», которые появились в результате «рабственного подражания чужим народам», а следствием этого подражания стало «отклонение себя от собственных своих понятий»[106].

Речь Шишкова была произнесена 11 марта 1811 г., а за три дня до этого, 8 марта 1811 г., в Санкт-Петербургский цензурный комитет был представлен сборник произведений Крылова, в котором находилась басня «Листы и Корни»[107]. 11 ноября 1811 г. Крылов прочел эту басню в «Беседе»[108]; 15 ноября сборник басен Крылова вышел из типографии[109], и в тот же самый день в цензуру поступила четвертая книга «Чтений в Беседе любителей русского слова», в которой вновь перепечатывается только что опубликованная басня. Отметим, что это единственный случай, когда Крылов дает в «Чтениях» повторную публикацию — другие его басни всегда печатаются сначала в этом органе «Беседы». Видимо, и сам Крылов, и его коллеги придавали «Листам и Корням» особое значение.

До Крылова подобный сюжет был использован М. Н. Муравьевым в басне «Верхушка и Корень». Басня Муравьева имеет ярко выраженный социальный смысл и направлена против Корня, который губит Верхушку и погибает сам:

...все пути к Верхушке он пресек,
Чрез кои он ей слал питательную воду.
Приблекло деревцо, свернулись ветви вдруг.
И наконец Верхушка бух;
И Корень мой с тех пор стал превращен в колоду[110].

Крыловская басня направлена против Листов, тема которых носит подчеркнуто литературный характер: трижды на протяжении 18 строк употреблено слово «зефир» и ни разу «ветер»:

---

105 Драматический вестник. 1808. Ч. 1. С. 6.
106 Чтение, 1. С. 39.
107 Крылов 1956. С. 293.
108 Десницкий. С. 123.
109 Крылов 1956. С. 293.
110 Муравьев. С. 63.

Листы на дереве с зефирами шептали

И вот как о себе зефирам толковали:

«Да вы, зефиры, сами
Почти не расстаетесь с нами».

Листы изображены по канонам сентиментализма, для Крылова всегда отрицательным и несколько карикатурным: «Прекрасный летний день», «...странника в тени прохладной укрываем», «Плясать сюда пастушек привлекаем», «Насвистывает соловей». В речи Листов и в первых пяти строках почти отсутствуют русизмы (кроме: «Хвалить себя мы можем без греха»). Когда начинается разговор с корнями, то ответ Листов хотя и лишается налета сентиментальности, но не утрачивает книжности:

Кто смеет говорить столь нагло и надменно!

Язык басни меняется и становится более просторечным, когда в разговор вступают Корни:

Примолвить можно бы спасибо тут и нам.
(3, 83)

Корни — и это соответствует консервативной общественной позиции Крылова — ни в коей мере не протестуют против существующего порядка вещей:

Красуйтесь в добрый час!

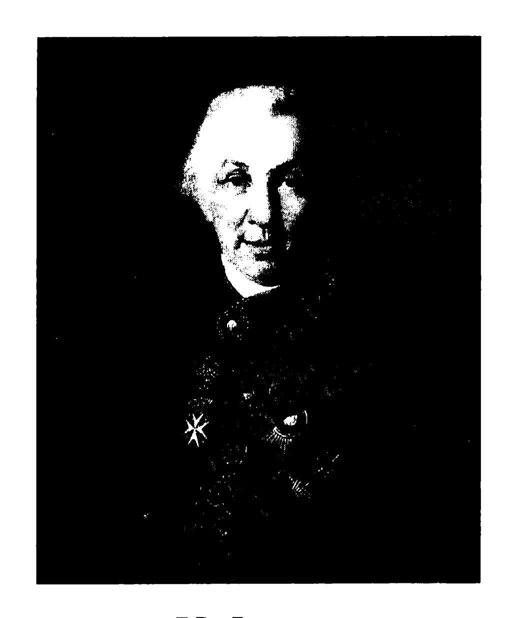
Однако баснописец подчеркивает, что главное в государственной жизни — это корни, т.е. национальные устои. Поверхностная заемная культура недолговечна:

...с новою весной лист новый народится.

Но если она подорвет основы народного бытия, это может грозить самому существованию нации:

Александр I.
Гравюра Б.К. Крусле по рисунку К. Скульпа
Начало XIX в.

М.И. Кутузов.
Гравюра А. Осипова. 1813

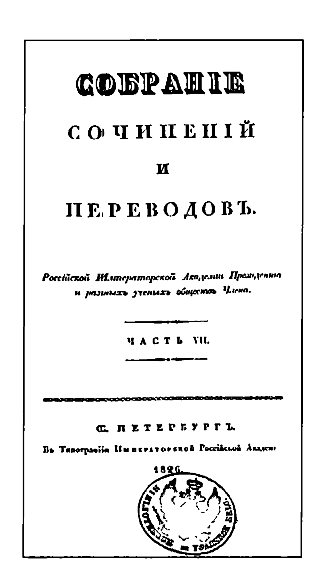


Г.Р. Державин.
Портрет работы В.Л. Боровиковского. 1811

А.С. Шишков.
Гравюра Н.И. Уткина с портрета Дж. Доу. Конец 1820-х гг.

Г.Р. Державин.
Гравюра Ф.И. Иордана с портрета работы С.Тончи.
Начало 1800-х гг.

Дом Державина на Фонтанке.
Гравюра Менже с акварели Е.М. Абрамова. 1819



СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

И

ПЕРЕВОДОВЪ.

*Россійской Императорской Академіи Президента
и разныхъ ученыхъ обществъ Члена.*

ЧАСТЬ VII.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Въ Типографіи Императорской Россійской Академіи

1826.

А.С. Шишков. «Собрание сочинений и переводов».
Титульный лист ч. VII

Вид Адмиралтейской набережной.
Неизвестный художник 2-й четверти XIX в.

С.Н. Глинка

ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ,

ЛИРИЧЕСКОЕ ПѢСНОПѢНІЕ,

Князь Сергій Шихматовъ.

Императорской Россійской Академіи

членъ.

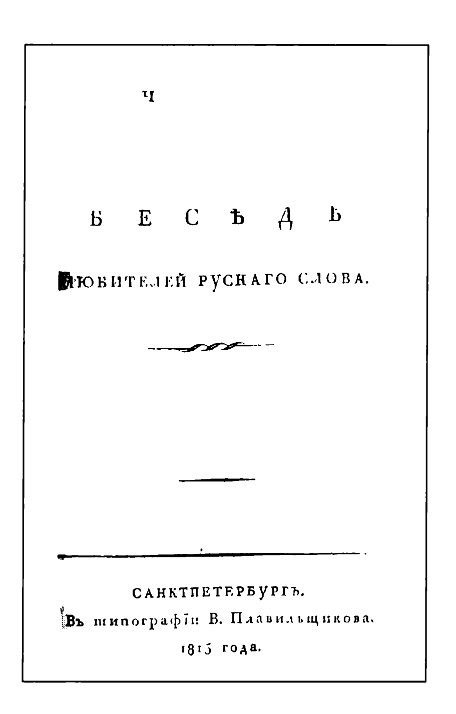
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,

печатано въ Типографіи Шнора, 1810 года.

Титульный лист поэмы С.А. Ширинского-Шихматова «Петр Великий»

Дом Державина на Фонтанке.
Центральная часть фасада со стороны двора.
Фотография. 1960-е гг.

Парадная зала в доме Державина.
Здесь проходили заседания «Беседы»



Ч

Б Е С Ѣ Д Ѣ

ЛЮБИТЕЛЕЙ РУСКАГО СЛОВА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Въ типографіи В. Плавильщикова.
1815 года.

Титульный лист «Чтения в Беседе» (кн. 18)

Публичная библиотека.
Гравюра С. Галактионова по рисунку П.П. Свиньина.
1820-е гг.

И.А. Крылов.
Рисунок О. Кипренского. 1800-е гг.

И.А. Крылов.
Рисунок О. Кипренского. 1800-е гг.

А.А. Шаховской.
Портрет работы неизвестного художника. 1820-е гг. (?)

А.П. Бунина

Д.И. Хвостов.
Гравюра А.Г. Ухтомского по рисунку О. Кипренского. 1812

Свозили лодки.
                    И Хвостовъ,
Поэтъ, любимый небесами,
Ужъ пѣлъ безсмертными стихами
Нещастье невскихъ береговъ.

Д.И. Хвостов.
Иллюстрация к изд.: «Медный всадник. Петербургская повесть А.С. Пушкина / Ил. Александра Бенуа. СПб.,1923»

Митрополит Евгений (Болховитинов)

А.Н. Оленин.
Рисунок О. Кипренского. 1813

С.С. Уваров.
Портрет работы О. Кипренского. 1815

Н.И. Гнедич

ИРОИЧЕСКАЯ ПѢСНЬ

О

ПОХОДѢ НА ПОЛОВЦОВЪ

УДѢЛЬНАГО КНЯЗЯ НОВАГОРОДА-СѢВЕРСКАГО

ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА,

СТАРИННЫМЪ РУССКИМЪ ЯЗЫКОМЪ

ВЪ ИСХОДѢ XII СТОЛѢТІЯ

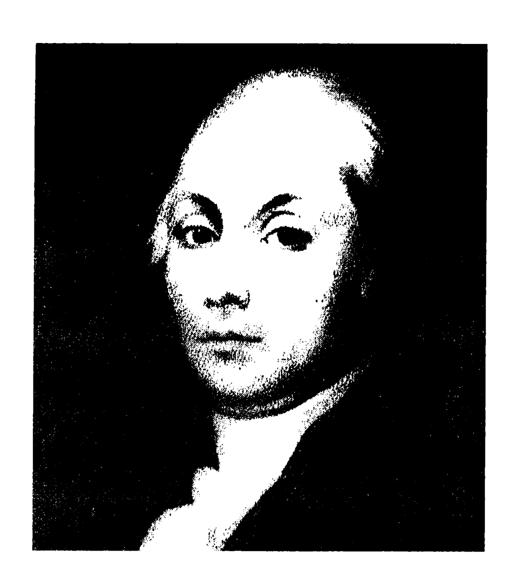
съ переложенiемъ на употребляемое нынѣ нарѣчiе.

МОСКВА
Въ Сенатской Типографiи,
1800.

Титульный лист первого издания «Слова о полку Игореве»

В.К. Тредиаковский.
Гравюра А. Колпашникова

М.В. Ломоносов.
Гравюра с портрета работы Г.К. Преннера



А.Н. Радищев.
Портрет работы неизвестного художника.
Не позднее 1790

...если корень иссушится, —
Не станет дерева, ни вас.
(3, 84)

Один из современников рассказывает, что в ответ на просьбу императрицы Марии Федоровны прочесть свою любимую басню Крылов не затруднился в официальной придворной обстановке Гатчинского дворца выбрать «Листы и Корни», и чтение этой басни навело присутствующих на разговор «о красоте, силе и великолепии языка русского» и вызвало сетование императрицы на воспитание, «от простоты удаленное»[111].

Возможно, именно «Листы и Корни» с их идеей разрыва между образованной верхушкой и народом имел в виду Вигель, когда, размышляя о судьбах России, писал: «С бесчисленными теориями уже являлось к нам множество иностранцев, совершенно не знавших народного духа России, ни пороков, ни доблестей ее жителей, ни доброй, ни худой их стороны, не подозревающих неодолимых препятствий, которые законодатель должен встретить, если бы дерзнул приступить к совершенному ее преобразованию. Все смотрят на пример Петра Великого и полагают, что у нас стоит только приказать, дабы все изменилось. Он остриг только верхушки дерев, а до корней и он не смел коснуться»[112]. В «Записках» Вигеля имеются и другие реминисценции из басен Крылова.

К «Листам и Корням» органически примыкает басня «Огородник и Философ», которой открывается подборка басен Крылова в первой книге «Чтений». Мы уже говорили, что Шаховской использовал тему Крылова из «Модной лавки» в своем послании. Теперь же Крылов обращается к развитой Шаховским теме, чтобы показать, насколько пагубно просвещение: ведь следуя его идеям, дворянская интеллигенция порывает с народным бытом. С точки зрения Крылова, такой разрыв ведет к полному идейному краху этой социальной группы:

А Философ —
Без огурцов.
(3, 68)

[111] Цит. по: Георгиевский. С. 110.
[112] Вигель 1891. Ч. 5. С. 46.

Антипросветительские тенденции этой басни хорошо понял последовательный западник и либерал П.А. Вяземский: «Не нравится мне... басня "Огородник и философ"... Не рано ли у нас смеяться над философами и теми, которые *читают, выписывают, справляются*, как указано в басне. Правда, автор говорит о *недоученном философе*. Но всякий ли поймет эту оговорку? Большая часть читателей зарубят себе на память одну мораль басни: "А философ // Без огурцов", — и придут к заключению, что лучше, выгоднее и скорее *в шляпе дело* не быть философом. Два эти стиха, выражением и складом своим, так и просятся в пословицы. Тем хуже»[113].

Тем не менее в ряде басен Крылов по-прежнему придерживается обычных для XVIII в. просветительских взглядов. Он выступает против галломании, слепого копирования иностранных образцов. Такова, например, басня «Обезьяны», в которой глупые зверьки, бездумно подражая охотнику, запутались в умело расставленных сетях. По своим идеям она вполне совпадает с тем, что писалось Новиковым, Фонвизиным и самим Крыловым в XVIII в. Общие просветительские идеи: насмешка над невеждами, которые не понимают пользы просвещения, не учатся и не умеют пользоваться его плодами, — звучат в баснях «Петух и Жемчужное зерно» (напечатана в 1809 г.), «Мартышка и очки» (напечатана в 1815 г.), «Свинья под Дубом» (1825).

Однако общий кризис просветительского рационализма оказал сильное влияние и на Крылова, который уже с 1790-х гг. «постепенно теряет свойственную ему ранее оптимистическую веру в конечную победу разума и добродетели над невежеством и корыстолюбием»[114]. В конце 1790-х гг. им было написано «Послание о пользе страстей» (напечатано в «Драматическом вестнике» в 1808 г.[115]). Здесь поэт противопоставляет разуму человеческие страсти и подвергает сомнению тезис «мудрецов», которые считают, что

...полезен ум один;
Против него все вещи в мире низки;
Он должен быть наш полный властелин....
(3, 306)

[113] *Вяземский П.А.* Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева. Приписка // Вяземский 1982. Т. 2. С. 91.

[114] Серман 1970 (2). С. 23.

[115] О датировке стихотворения см.: Бабинцев. С. 254.

Не случайно стихи Крылова появились именно в «Драматическом вестнике». Главным редактором этого журнала был князь Шаховской. Крылов был инициатором издания, одним из владельцев типографии, где журнал издавался, членом редакции и, естественно, одним из ведущих сотрудников[116]. На страницах журнала постоянно встречаются выпады против «новой философии, от которой избави господи всякого честного человека»[117], под покровительством которой «отворились двери французского феатра для унижающих душу творений»[118]. Здесь, таким образом, развивались те идеи и высказывались те опасения, о которых говорил Шишков еще в самом начале своей публицистической деятельности. Он, как мы помним, предпочитал голубиную кротость змеиной мудрости и предостерегал молодежь от чрезмерного увлечения французскими книгами: «...молодому человеку, наподобие управляющего кораблем кормщика, надлежит с великою осторожностию вдаваться в чтение французских книг, дабы чистоту нравов своих в сем преисполненном опасностию море не преткнуть о камень...» (2, 9—10). И далее на первом месте среди этих сочинений Шишков с отвращением поминает Вольтера и Руссо.

Мы имеем возможность посмотреть, какие именно идеи и в какой формулировке казались Шишкову и его окружению наиболее опасными. В 1807 г. будущий член «Беседы» И.С. Захаров[119] написал глупую и слабую пьесу «Изгнание французов». Герой этой пьесы учитель Поазонье, тайный французский агент, который «искусен украшать богомерзкие правила свои пленительным языком истины». Он проповедует разрушение старой морали и ссылается на те книги, чтения которых так опасался Шишков. Рецензия на пьесу, подписанная «Р.С.Т.», появилась в журнале «Драматический вестник». Рецензент, не обладая ни темпераментом и публицистическим талантом Шишкова, ни твердолобым консерватизмом убежденного в своей правоте Захарова, предпочитает уклониться от открытого боя с «новыми философами» и советует автору пьесы,

---

[116] См.: Сводный каталог сериальных изданий. Т. 2. С. 76—77.

[117] Драматический вестник. 1808. Ч. 2. №36. С. 77.

[118] Там же. Ч. 1. №20. С. 162.

[119] Авторство устанавливается по «арзамасской» речи Д.Н. Блудова 14 декабря 1815 г.: «Покойник лежал окутанный печатными и письменными твореньями: *Похвала женам* служила ему возглавием; на сердце была *Высылка французов*, пониже *Приданое...*» (Арзамас, 1. С. 320). Указано В.П. Степановым в статье «Захаров Иван Семенович» (Словарь... XVIII века. Вып. 1. С. 330).

чьи взгляды он полностью разделяет, сделать то же самое: «В четвертом явлении 1-го действия Поазонье развращает своего воспитанника — такими доводами, против которых не всякий молодой человек найдет достаточные возражения»[120].

Обратившись к тексту пьесы, мы увидим, что учитель Поазонье проповедует отказ от моральных принципов во имя эгоистических интересов («когда нужно»), уничтожение законов и пр.: «Смотри на героев века сего... Торжественные обещания, когда только нужно, нарушены; законы — неприкосновенность коих освятили столетия — ниспровергнуты». Не очень умный французский шпион опирается на авторитет знаменитых французских просветителей, чья деятельность подготовила революцию. Мы помним, что от чтения их книг предостерегал Шишков. Поазонье предсказывает их полную моральную и историческую победу: «Читай прилежно символы патриархов любомудрия [т.е. философии. — *М.А.*] осмогонадесять века. — Волтер, Дидро, Гельвециюс, Д'Аламбер зовут тебя в объятия свои — и усовершенствуют в тебе человека. — История последних годов раздерет покрывающую зеницы твои завесу; событие оправдает их пророчества»[121].

В отличие от робкого рецензента «Драматического вестника» Крылов от боя уклоняться не стал, тем более что басня давала возможность выразить самые консервативные идеи в несколько уклончивой форме. Хотя он и отдает, как мы видели, некоторую дань общепросветительским идеям, однако в большинстве басен априорная, безусловная ценность просвещения подвергается существенному сомнению. В целом в начале XIX в. Крылов разрывает с просветительскими традициями, когда стало ясно их полное банкротство: Французская революция, идеологическая наследница просветительских идей, прошла через кровавый якобинский террор и закончилась новой наполеоновской монархией. В то же время молодой царь со своими реформами, казалось, пытался возродить эти просветительские идеи в России.

Понятно поэтому, что Крылов быстро сблизился с консервативными кругами, оппозиционными и враждебными царю, и навсегда сохранил настороженно-недоброжелательное отношение к Александру (не Николаю!), который, впрочем, платил ему той же монетой.

---

[120] Драматический вестник. 1808. Ч. 3. №65. С. 94.

[121] Высылка французов. Комедия в пяти действиях. СПб., 1811. С. 11.

В 1812 г. в пятой книге «Чтений» была напечатана басня «Червонец». Двадцати строкам основного текста предшествует почти столько же (семнадцать) строк нравоучения. Подобная композиция, где мораль занимает половину всей басни, весьма редка у Крылова и вызвана, вероятно, стремлением автора изложить без оговорок, публицистически ясно, свои убеждения. В принципе Крылов (он не мракобес) не возражает против просвещения («Полезно, слова нет о том»), но ложное, мнимое просвещение отвергается:

...просвещением зовем
Мы часто роскоши прельщенье
И даже нравов развращенье...
(3, 27—28)

Здесь, в общем разделяя взгляды Шишкова, баснописец становится на руссоистскую точку зрения, говоря о том, что просвещение несет с собой порчу добрых нравов, искажает естественную природу простого человека.

Сложная система взглядов Руссо, в которой существеннейшую роль играло противопоставление естественного, простого, биологического человека с врожденными ему добродетелями и неестественного, раздираемого пороками общества, давала возможность противопоставлять руссоизм другим течениям французской общественной мысли[122]. Еще Фонвизин в своих заграничных письмах противопоставил Руссо, который «всех почтеннее и честнее господ философов нынешнего века»[123], Д'Аламбертам и Дидеротам[124]. И в «Недоросле» в одной из реплик Стародума формулируется в какой-то степени руссоистское отношение к просвещению: «Я боюсь для вас нынешних мудрецов. Мне случалось читать из них все то, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корню добродетель»[125].

Спустя несколько десятилетий та же руссоистская концепция находит выражение в басне «Червонец»:

Так надобно гораздо разбирать,
Как станешь грубости кору с людей сдирать,

[122] Целостное изложение системы Руссо см.: Лотман 1967. С. 210 и след.
[123] Фонвизин. Т. 2. С. 452.
[124] Там же. С. 481.
[125] Фонвизин. Т. 1. С. 149—150.

Чтоб с ней и добрых свойств у них не растерять,
Чтоб не ослабить дух их, не испортить нравы,
Не разлучить их с простотой...
(3, 28)

Те же идеи развиваются Крыловым в басне «Бочка». Исследователи обращали внимание на связь этой басни с размышлениями Крылова в «Почте духов»[126]. А.П. Могилянский считает, что «недостаточная конкретность нравоучения басни тем и объясняется, что она развивает мотивы басен, уже бывших известными читателю (“Воспитание льва”, “Крестьянин и Змея”), открыто направленных против иностранного воспитания»[127]. Однако и в этой басне вопрос рассматривается не только «глубже», как говорит Кеневич, но и по-другому. В «Почте духов» речь фактически шла об отсутствии всякого воспитания: «танцевать, прыгать, вертеться, говорить по-французски и болтать целый день, не затворяя рта, в беседах». В «Бочке» же речь идет именно о ложном учении:

Нам стоит только с юных дней
Лишь вредным толком напитаться...

Так была сформулирована эта мысль в первой публикации. А уже в отдельном издании 1815 г. слово «толк» заменено «учением»:

Ученьем вредным с юных дней
Нам стоит раз лишь напитаться...
(3, 41)

Несколько позднее в басне «Котенок и Скворец» (1819—1824) Крылов вновь говорит о пагубности ложного просвещения: Скворец, «философ презнатный», уверяет Котенка, своего воспитанника, что совесть — «сущий бред // И слабых душ одни лишь предрассудки, // А для больших умов — пустые только шутки!». Ученик, внимательно выслушав наставления и усвоив их, говорит Скворцу:

---

[126] Кеневич. С. 141—142.
[127] Крылов 1956. С. 352.
[128] Чтение, 16. С. 5.

«Спасибо, милый кум!
Наставил ты меня на ум».
И, клетку разломав, учителя он скушал.
(3, 169)

Вред просвещения, хотя и сопровождаемый некоторыми оговорками, четко постулируется в большом апологе «Водолазы» (1813). Г.А. Гуковский считал его инспирированным Олениным и потому не отражающим истинных взглядов баснописца. И.З. Серман убедительно показал, что аполог органично вписывается в систему взглядов Крылова[129].

Все исследователи отмечают необычное для Крылова построение этого произведения и размер, в четыре-пять раз превышающий обычный размер крыловской басни (117 стихов). Аполог действительно построен несколько странно. Он как бы делится на две части: теоретическую и практическую. Сначала Царь задает мудрецам вопрос: нужны ли государству науки (т.е. просвещение), чего от них больше, вреда или пользы. В первой части аполога сталкиваются две точки зрения. Одна — руссоистская:

...люди от наук лишь только хуже стали:
...все ученье бред
...от него лишь нравам вред,
...за просвещеньем вслед,
Сильнейшие на свете царства пали.
(3, 104)

Другая — просветительская: науки и искусства даны человеку во благо. Постоянный прогресс приведет человечество к счастью. Эти идеи с предельной ясностью сформулированы в названии небольшой работы Кондорсе «Историческая картина прогресса человеческого разума», написанной за несколько недель до того, как автор принял яд, чтобы другие защитники прогресса не снесли ему голову на гильотине. Автор этого трактата уверен в перманентном «улучшении состояния человеческого рода в будущем», в постоянном «совершенствовании человека»[130] благодаря развитию

---

[129] Серман 1975. С. 225—227.

[130] *Кондорсе Ж. А.* Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936. С. 221 (пер. И.А. Шапиро). Любопытно отметить, что бинарную альтернативу Руссо/Кондорсе лет тридцать спустя выстроил герой Герцена в повести «Поврежденный» (1851); см.: Герцен. Т. 7. С. 375—377.

наук и искусств. Эта точка зрения сформулирована и в апологе Крылова:

...Неученье тьма;
...не дал бы нам Бог ума,
Ни дара постигать вещей небесных,
Когда б он не хотел,
Чтоб человек не боле разумел
Животных бессловесных,
И что, согласно с целью сей,
Ученье к счастию ведет людей.
(3, 103—104)

Какая же точка зрения является справедливой? Автор предлагает решить этот вопрос практической деятельностью людей. Пустынник рассказывает царю притчу о трех братьях, ловцах жемчуга. Один, лодырь и дурак, подбирал лишь то, что выбросит на берег море, и «едва-едва питался» (3,105), другой, «выбирать умея себе по силе глубину... жил всечасно богатея» (3, 105), третий же стремился

...достать морское дно на самой глубине...
В пучину кинулся; но, поглощенный ею,
За дерзость, не доставши дна,
Он жизнью заплатил своею.
(3, 105—106)

Таким образом, Крылов отвергает точку зрения Руссо. Ничего хорошего нет в так называемой естественной жизни: не трудясь, ничего не делая, лентяи и дикари обречены на прозябание. Не лучше и безбоязненное исследование проблем и мироздания, и человеческих отношений. Это та самая «дерзость», ведущая к безбожию и революциям, которой боялся Шишков, предостерегая молодых людей от чтения опасных книг и советуя им из «змеиной» школы почаще переходить в «голубиную», тем самым избирая для себя второй путь, путь «умеренности и аккуратности», столь жестоко высмеянный Грибоедовым десяток лет спустя.

Крылов полагает, что следование просветительским идеям, излишняя смелость мысли, додумывание самых острых вопросов до конца ведут к разрушению общества, к кошмару тех революций,

которые Европа только что пережила. И об этом он говорит в написанной тогда же (1813) басне «Безбожники».

Некий народ (французы) восстал на богов, ибо, как научили «зачинщики из удалых голов»,

...суд небес и строг и бестолков:
...боги или спят, иль правят безрассудно;
...проучить пора их без чинов.

(3, 30)

Такие бунты обречены («они от дел своих казнятся»), и описываемое в басне восстание закончилось бессмысленной гибелью мятежников:

...с шумом в воздухе взвилась
Тьма камней, туча стрел от войск богомятежных,
Но с тысячью смертей, и злых, и неизбежных,
На собственные их обрушились главы.

(3, 30)

Главная мысль Крылова, однако же, заключается не в описании неизбежной гибели невежественных глупцов. Басня обвиняет тех, кто главным образом виноват в кощунственном восстании и гибели одураченных людей. С точки зрения Крылова, это «мнимые мудрецы», философы, которые дерзко кидаются в пучину скепсиса, безбожия (см. «Водолазы») и пр. и ведут к гибели доверившихся им людей. Мысль эта выражена баснописцем тяжеловесно и не весьма вразумительно, но вполне определенно:

...ведайте народы, вы,
Что мнимых мудрецов кощунства толки смелы,
Чем против божества вооружают вас,
Погибельный ваш приближают час
И обратятся все в громовые вам стрелы.

(3, 30)

Поэтому естественно, что несколько лет спустя (в 1816 г., а может быть, и ранее) Крылов в басне «Сочинитель и Разбойник» изобразил такого конкретного мудреца, создателя гибельных идей и взглядов. «Сочинитель» этой басни *тонкий разливал в своих творе-*

ньях яд, славою наполнив свет, писал немножко вольно, вселял безверие, укоренял разврат, осмеивал супружество, начальства, власти, связи общества рвался расторгнуть, величал безверье просвещеньем, в приманчивый прелестный вид облек и страсти и порок. В результате его деятельности страна (очевидно, Франция) стала: «Полна // Убийствами и грабежами, // Раздорами и мятежами // И до погибели доведена...» (3, 146—148). Вероятнее всего предположить, что в сочинителе изображен Вольтер. Попутно заметим, что связь этого знаменитого писателя с силами ада для консервативно настроенных людей выглядела совершенно естественной. Так, в остроумной эпиграмме, напечатанной в 1808 г. в «Драматическом вестнике», говорится, что Вольтер писал свое самое «соблазнительное» творение прямо под диктовку самого Сатаны. Эта эпиграмма должна была быть известна Крылову:

Средь сонмища чертей Веельзевул читал
Волтерова труда Жан д'Арку велегласно,
И каждый черт ему в безмолвии внимал.
— Все чаду льстите вы Адамову напрасно, —
Со трона огненна рек адский судия; —
Он только что писал, а сказывал-то я[131].

Вскоре после выхода в свет басни «Сочинитель и Разбойник» Н.И. Греч в своем журнале «Сын Отечества» (1819) заметил, нисколько не сомневаясь, что Крылов под Сочинителем разумел Вольтера: «Знаменитый немецкий трагик Шиллер написал романтическую трагедию: die Jungfrau von Orleans, принадлежащую к числу лучших его произведений. Несколько раз покушались переводить и переделывать ее на французский язык и представлять сии переводы и подражания на театрах; но одно название: la Pucelle d'Orléans производило в одной части публики глупый смех, а в другой негодование. В этом случае можно сказать Вольтеру словами нашего Крылова:

...уже твои истлели кости,
А солнце разу не взойдет,
Чтоб новых от тебя не осветило бед.

[131] Драматический вестник. 1808. Ч. 3. №76. С. 178.

Твоих творений яд не только не слабеет,
Но, разливаяся, век от веку лютеет»[134].

А в 1823 г. в Париже вышла на французском языке известная антология русской поэзии Дюпре де Сен-Мора[135]. В ней были напечатаны переводы нескольких басен Крылова, в том числе и басня «Сочинитель и Разбойник» в переводе Ксавье де Местра[136]. Как и его брат Жозеф, Ксавье был убежденным противником Французской революции и просветительских идей. В его переводе сходство Сочинителя с Вольтером, кажется, еще более прояснилось: Сочинитель был назван разорителем отечества:

Son talent trop vanté prépara les malheurs
Qui devaient après lui désoler la patrie[137].

Неудивительно, что рецензент антологии Баур-Лормиан в «Journal de Paris» от 2 января 1824 г. «разбранил... Крылова за то, что он под сочинителем разумел в своей басне Вольтера»[138]. С неуклюжей защитой Крылова выступил Я.Н. Толстой в брошюре на французском языке, вышедшей в Париже в 1824 г. Толстой прибег к тому же аргументу, которым пользовались защитники Крылова много лет спустя: «...ведь Вольтер не единственный писатель, который в своих сочинениях нападал на духовных лиц и особенно на злоупотребление могуществом и силою религии». И далее защитник Крылова пытается, поскольку басня написана в России и для русских, найти такого писателя в отечестве баснописца: «Нельзя ли предположить с большею вероятностию, что и стрелы ее направлены на какого-нибудь русского философа [где в России автор нашел русского философа, «славою покрытого сочинителя»? — *М.А.*] или даже не имеют в виду отдельного лица»[139].

---

[134] Цит. по: Кеневич. С. 163.

[135] См.: Anthologie russe. Об этой книге см. также: *Десницкий В.* Западные антологии и обозрения русской литературы в первые десятилетия XIX в. // Десницкий. С. 206—209.

[136] «Traduite par M. le comte de ***, auteur du Voyage autour de ma chambre» [популярная книга Ксавье де Местра, 1794. — *М.А.*] (Anthologie russe. P. 250).

[137] Anthologie russe. P. 251.

[138] Остафьевский архив. Т. 3. С. 3, 370.

[139] Цит. по примечанию В.И. Саитова (Остафьевский архив. Т. 3. С. 370—371).

У русских интеллигентов позиция Крылова и адресат басни сомнений не вызывали. А.И. Тургенев саркастически писал Вяземскому 15 января 1824 г. о Крылове, вспоминая переводчика басни на французский язык: «Мейстер [т.е. Ксавье де Местр. — *М.А.*] собирается отвечать и оправдывать Крылова. Он посадил в котел Вольтера, а не Крылов. Умница наш был осторожнее». Ответ де Местра нам неизвестен, но и без стараний переводчика замысел русского баснописца был вполне ясен читателям. И Вяземский отвечал Тургеневу спустя неделю, 21 января: «Басня Крылова подлая и угождение нынешнему мнению. Она мне всегда была тошна»[140]. А Тургенев и спустя два года хорошо помнил «басню Крылова о вреде Вольтера»[141].

Сам Крылов действительно был осторожен. Видимо полагая, что его Сочинитель недостаточно конкретен, он решительно отвергал обвинения. Прочитав рецензию в «Journal de Paris», он беседовал о ней с Ю.А. Нелединским-Мелецким, а тот писал дочери 20 декабря 1823 г.: Крылов «мне сказывал, что в каком-то французском журнале его обвиняют, будто в басне "Разбойник и Сочинитель" он метил на Вольтера, чего, говорит, и в голове у него не было»[142].

Однако оправдания Крылова не внушают особенного доверия. На самом деле он считал, что переводчики отнюдь не исказили его идей. Известно, что Крылов был доволен переводами своих басен, и, по словам составителя антологии, прослушав однажды несколько из них, сказал ему: «Если иногда дух вашего (т.е. французского) языка и заставлял вас при переводе отклоняться от моих выражений, то, говоря по истине, вы никогда не отдалялись от моих мыслей»[143].

Спустя много лет, в 1876 г., Вяземский подытожил свое отношение и к Крылову, и к этой басне в особенности, в умной и четко сформулированной небольшой статье. При некоторых незначительных оговорках, никаких сомнений в адресате басни у Вяземского не было. Эти размышления заслуживают того, чтобы приве-

---

[140] Остафьевский архив. Т. 3. С. 3, 5.

[141] А. Тургенев. С. 355 (дневниковая запись 20/8 ноября 1825 г.).

[142] Цит. по: Крылов в воспоминаниях. С. 318. В связи с этим письмом следует отметить некоторую неувязку в датировках. Тургенев пишет, что «Journal de Paris» с рецензией на «Anthologie russe» вышел 2 января 1824 г. (Остафьевский архив. Т. 3. С. 3), а Нелединский сообщает дочери о реакции Крылова на эту рецензию 20 декабря 1823 года. Видимо, произошла какая-то ошибка в датах при публикации или описка корреспондентов.

[143] Бычков. С. 85.

сти их целиком, хотя частями они неоднократно цитировались: «В Крылове не люблю *мотива*, направления, морали или заключения некоторых из басней его. Например, басня "Сочинитель и Разбойник" В ней, конечно, есть некоторая доля правды; рассказана она живо и мастерски; конец ее превосходен:

Сказала гневная Мегера —
И крышкою захлопнула котел.

Последний стих поразительно хорош, удачен и живописен. Но, признаюсь, по моим понятиям, как-то неловко и неблаговидно сочинителю, то есть поэту, выводить рядом на очную ставку разбойника и сочинителя, и еще с тем, чтобы отдать преимущество разбойнику перед сочинителем. Найдутся и без поэта люди, которые охотно выведут такое заключение и подпишут подобный приговор. Нам, людям пера, не подобает мирволить и потакать таким беспощадным осуждениям. По содержанию басни можно предполагать, что Крылов имел в виду Вольтера. Следующие стихи наводят на эту догадку:

И вот опоена твоим ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами
И до погибели доведена тобой.

Но к счастью для Вольтера, если тут Вольтер, стихи, произносимые Мегерой, довольно плохи. Но будь они и лучше, все не желал бы я видеть, что с согласия Крылова *захлопнулась крышка котла* над Вольтером или другим великим писателем, хотя и великим грешником. Питаю надежду, что в таком случае и сама Мегера могла найти некоторые обстоятельства, облегчающие вину того, который

Был славою покрытый сочинитель.

Заметим мимоходом, что и здесь не посчастливилось Крылову: стих нехорош и выражение *покрытый славою* неправильно и неживописно»[144].

[144] Вяземский 1982. Т. 2. С. 90—91.

Вяземский и другие современники были правы. Нет почти никаких сомнений в идентичности Сочинителя и Вольтера. Деятельность Сочинителя описана слишком конкретно, чтобы быть обобщенным портретом. Среди многих других только два писателя могут быть названы *славою покрытыми сочинителями*, чье творчество, учение *опоило* целую страну и идеологически подготовило революцию: *убийство, грабежи, раздоры, мятежи, погибель*. Эти два писателя суть Вольтер и Руссо. Однако о последнем нельзя сказать, что он писал вольно (т.е. в контексте басни «фривольно») или *облек порок* в *прелестный* (т.е. прельщающий) *вид*. К Руссо вряд ли относятся слова: *осмеивал супружество, начальства, власти*. Но все это точно характеризует сатирическое, остроумное и фривольное творчество Вольтера[145].

Таким образом, мы видим, что Крылов вполне разделял неприязнь своих коллег по «Беседе» к французским философам-просветителям и в особенности к Вольтеру.

В 1812 г. регулярные заседания «Беседы» на несколько месяцев прекратились, и соответственно задерживался выпуск очередных номеров «Чтений». В эту пору самым влиятельным и очень оперативным (он выходил еженедельно) стал журнал Н.И. Греча «Сын отечества». Возникший в обстановке военного времени, он, естественно, «целиком посвящен был военно-патриотическому материалу»[146]. По крайней мере, в период Отечественной войны позиции «Сына Отечества» и «Беседы» совпадают. В журнале помещают патриотические материалы такие члены «Беседы», как И. Ковнько, М. Шулепников, П. Львов. Самым значительным явлением патриотической публицистики в «Сыне Отечества» стали знаменитые «Письма из Москвы в Нижний Новгород» И.М. Муравьева-Апостола. В «Сыне Отечества», наряду с другими «беседчиками», печатает свои басни о войне 1812 года и Крылов.

---

[145] И.З. Серман придерживается той точки зрения, что, «по-видимому, правильней было бы не искать в этой басне индивидуального портрета кого-либо из философов предреволюционной Франции, а рассматривать крыловского Сочинителя как собирательный тип мыслителя, чьи идеи подготовили умы к революции. Бедственные последствия революции для нации в целом — вот главная вина, главное преступление Сочинителя» (Серман 1975. С. 228). Близка к нашей позиция П.Р. Заборова: «...басня “Сочинитель и Разбойник” (1816) направлена против французской просветительской философии и, по всей вероятности, против Вольтера (хотя Крылов и утверждал позднее, что ничего подобного “у него и в голове не было”)» (Заборов 1978. С. 198). См. также нашу статью: Альтшуллер 1986.

[146] Михайловская. С. 57—83.

От Шишкова он одним из первых мог узнать об отчаянном положении французов в сожженной Москве. Шишков был единственным человеком, которому Александр I разрешил поговорить с И. Яковлевым, отцом А.И. Герцена, случайно оставшимся в Москве. Яковлев привез Александру I письмо от Наполеона[147]. «Я услышал от него [Яковлева. — *М.А.*] ужасы, поразившие меня до глубины души», — рассказывает Шишков[148]. Возможно, впечатления Шишкова послужили Крылову импульсом для создания басни «Ворона и Курица».

Как известно, Александр недолюбливал Кутузова. Об этом откровенно писал в своих мемуарах Шишков: «Государь не благоволил к нему со времени Тильзитского мира, потому что он, предводительствовавший тогда, в присутствии государя, войсками, был различного с ним мнения о распоряжении военных движений и действий, и как действия сии были неудачны, то, относясь к одному лицу государя, делали ему неприятным полководца, не разделявшего с ним толков о сих неудачных последствиях». Александр очень неохотно, почти против собственной воли, назначил Кутузова главнокомандующим вместо Барклая де Толли: «Никого не было в виду опытнее и знаменитее князя Кутузова; однакож государь не назначил его, но предоставил избрание полководца особо избранному на тот раз совету. Совет, ни мало не колеблясь, общим гласом избрал Кутузова, и государь согласился. Кутузов, сопровождаемый народными о нем мольбами, отправился принять главное над войсками начальство»[149]. Впрочем, нужно сказать к чести и Шишкова, и Крылова, что они публично, печатно не позволяли себе высказываний, порочивших опального Барклая.

Крылов прославил Кутузова в баснях «Волк на псарне» и «Обоз». Здесь в полной мере отразился народный взгляд на Кутузова, который, заменив полководца с «чуждым именем»[150], отправился к войскам, «сопровождаемый народными мольбами». Может быть, в басне «Обоз», прославляющей осторожность и выдержку старого полководца, Крылов, как и Шишков, защищал

[147] «Былое и думы», ч. 1 (Герцен. Т. 8. С. 20—21).

[148] Шишков. Записки, 1. С. 159—160.

[149] Там же. С. 153—154.

[150] Ср. в стихотворении Пушкина «Полководец»:

И в имени твоем звук чуждый невзлюбя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.

Кутузова от возможной его опалы после падения Москвы, чего опасались многие: «Известие о взятии Москвы подало повод к разным толкам, обвинявшим фельдмаршала Кутузова. Приметя, что и сам государь поставляет ему в вину, для чего не дал он вторичного под Москвою сражения, я осмелился спросить у него: не думает ли он сменить Кутузова? И очень обрадовался ответу его: "Нет, я отнюдь сего не думаю"»[151]. Н.Л. Степанов предполагал, что в заключительных строках басни: «А примешься за дело сам, // Так напроказишь вдвое хуже» — баснописец предостерегал царя от вмешательства в военные дела (3, 430).

В басне «Щука и Кот» Крылов высмеял старого врага Шишкова, адмирала П.В. Чичагова, которого обвиняли в том, что при Березине он упустил Наполеона и дал ему возможность уйти с остатками своей армии, избежав плена: «Нельзя изобразить общего на него негодования: все состояния подозревали его в измене, снисходительнейшие кляли его неискусство, и Крылов написал басню о пирожнике, который берется шить сапоги, т.е. о моряке, начальствующем над сухопутным войском»[152].

Шишков с давних пор терпеть не мог Чичагова, имел с ним постоянные столкновения по службе и так отзывался о нем в «Записках»: «...надменный мнимыми своими достоинствами, дерзкий на язык и ненавидящий отечество свое». Естественно, что он присоединился к общему хору обвинителей Чичагова: «Наполеон... личным спасением своим обязан оплошности и нерадению адмирала Чичагова, без чего не мог бы он избегнуть от плена или от общей всех сопутников своих участи — лежать в русской сырой земле»[153].

С Шишковым был вполне согласен Державин: «...министр морских сил г. Чичагов и отвечать не хотел в общем собрании и вышел из него с грубостию и презрением, когда у него спросили, по какой причине он флот, бывший при Екатерине, истребил, а нового не сделал» (6, 748). Вероятно, некоторая надменность и высокомерие действительно были в характере Чичагова, который знал себе цену и презирал хуже образованных и завидовавших ему сослуживцев: «Зависть офицеров оскорбляла меня... и это гнусное чувство я в особенности заметил в моем юном товарище А.С. Шишкове, состоящем при моем отце. ...я не мог при всем желании не сознать, что по познаниям в морском деле и образованию я был выше их всех».

---

[151] Шишков. Записки, 1. С. 159.
[152] Вигель 1928. Т. II. С. 28.
[153] См.: Шишков. Записки, 1. С. 66, 87—88, 111, 163.

О зависти Шишкова, о его ненависти, карьеризме Чичагов несколько раз упоминает в своих «Записках»: ...Я приобрел себе в Шишкове большого врага, который наделал мне много зла впоследствии, вооружив Кутузова против меня. Всегда завистливый, Шишков не мог терпеть мысли, что я был выше его чином ...этот волчонок умеет плясать под чужую дудку и сумеет потешать Государя [Павла I. — *М.А.*]»[154].

Окружение Шишкова, его соратники по «Беседе» вполне разделяли общее отрицательное отношение к Чичагову. В бумагах Державина сохранилась эпиграмма, написанная рукой его секретаря. Неясно, принадлежит ли она самому поэту. В ней прославляется Кутузов и осмеивается Чичагов:

Смоленский князь Кутузов
Предерзостных французов
И гнал и бил,
И наконец им гибельну он сеть связал;
Но земноводный генерал
Приполз, — да всю и распустил.
(3, 354)

В архиве Крылова имеется эпиграмма на Наполеона, написанная не его рукой. Она напечатана в разделе Dubia сочинений Крылова. В этой эпиграмме содержится отрицательная оценка не только Чичагова, но и Барклая, чего в общем не позволяли себе ни Шишков, ни Державин, ни Крылов:

Любви Марбефовой с Летицией приплод,
Досель был Герострат, стал ныне скороход,
С тех пор как русскую страну Господь спасая,
Кутузовым сменить благоволил Барклая,
А чтобы русский нос не слишком поднимал,
Бог адмирала дал.
(3, 327)

Список этой эпиграммы имеется и в архиве Олениных. Кстати сказать, отсутствие подписи в оленинском архиве скорее свидетельствует, что эпиграмма Крылову не принадлежит: хорошо

---

[154] Чичагов. С. 525—526, 636, 652 и др.

знакомые с его творчеством, Оленины, вероятно, указали бы имя автора[155].

В то же время либерально настроенные современники относились к личности и убеждениям Чичагова совсем по-другому[156]. И это прежде всего касается Александра I, который назначил его морским министром (1807). Чичагов вообще пользовался доверием и расположением либерального монарха. «Император Александр очень любил Чичагова», — вспоминал Вяземский[157]. Вот, например, характеристика, которая рисует адмирала совсем иначе, чем общая молва и пристрастные отзывы, часть которых мы только что приводили: «П.В. Чичагов был человек весьма умный и образованный. Будучи прямого характера, он был удивительно свободен и... прост в обращении и разговорах с государем и царскою фамилией. Зная свое преимущество над знатными придворными льстецами, как по наукам, образованию, так и по прямоте и твердости характера, Чичагов обращался с ними с большим невниманием, а с иными даже с пренебрежением, за что, конечно, был ненавидим почти всем придворным миром и всей пустою, высокомерною знатью»[158]. В отличие от Державина, Шишкова и других членов «Беседы» Чичагов был врагом крепостничества. Уходя в отставку в царствование императора Павла I, он мечтал: «Как хотелось мне испытать борьбу с нашим рабством и дать новое бытие закоптелым избам многих тысяч наших крестьян. Я чувствовал себя сильным, думал, что с отважным духом и великой моей любовью к отечеству я буду

---

[155] ОР РНБ. Ф. 542. №14. Л. 1. Впрочем, в авторстве Крылова очень сильно сомневался и комментатор (Г.А. Гуковский), включивший эту эпиграмму в Dubia (3, 563—564).

[156] Нужно, правда, заметить, что Вяземский не был в числе поклонников Чичагова. Он достаточно иронично отзывается о нем в «Записных книжках», а в известном ноэле «Спасителя рожденьем...» (1814) издевался над неудачами Чичагова при Березине и над его самомнением:

Вдруг слышен шум у входа:
Березинский герой
Кричит толпе народа:
«Раздвиньтесь: я герой!»
— «Пропустимте его, — вдруг каждый повторяет, —
Держать его грешно бы нам,
Мы знаем: он других и сам
Охотно пропускает!»

См.: Вяземский 1986. С. 68; Вяземский 2003. С. 82—83.

[157] Вяземский 2003. С. 83.

[158] *Толстой Ф.П.* Записки // Рус. старина. 1873. Т. 8. С. 44 (цит. по примечаниям В.И. Саитова в: Остафьевский архив. Т. 1. С. 666).

в состоянии преодолеть все препятствия»[159]. А.Я. Булгаков называет Чичагова «ультра-либералом, который... только тогда поедет во дворец, когда король [имеется в виду Людовик XVIII, ставший королем Франции после падения Наполеона. — *М.А.*] наденет трехцветную кокарду»[160].

Крылов прочитал басню «Кот и Щука» в знаменательном заседании «Беседы» 20 мая 1813 г., где выступал Филарет, читалось письмо Уварова о гекзаметре и гекзаметрический перевод «Илиады»[161]. Шишков на заседании не присутствовал: он находился при государе в действующей армии. Своей басней Крылов демонстративно подчеркивал свою поддержку и Шишкову и в целом настроениям «Беседы».

Со всем кругом общественно-политических проблем, волновавших Крылова и его друзей по «Беседе», связано их отношение к императору Александру I. Как мы уже говорили, государственные преобразования первых лет царствования Александра, деятельность его молодых друзей из Негласного комитета вызывали сильнейшее недовольство представителей старой администрации. Крылов в общем разделял эти опасения. Он тоже боялся резких социальных потрясений, примером которых была Франция. Свое отношение к проблеме «народ и власть» Крылов с предельной откровенностью высказал в поздней (написана до 1828 г. или несколько ранее[162]) басне «Крестьянин и Лисица». Крестьянин заботится о лошади, держит ее в «довольстве и холе», хотя, как считает Лисица, она глупее всех других зверей. Крестьянин отвечает с некоторым цинизмом, что дело не в разуме:

Мне нужно, чтоб она меня возила,
Да чтобы слушалась кнута.
(3, 188—189)

На роль строгого правителя с кнутом Александр не подходил. (Мы помним, как писал о нем Державин: «Чрез меру кроткий царь царем быть неспособен». Может быть, в Николае I Крылов увидел

---

[159] Чичагов. С. 640.

[160] Приписка к письму Вяземского Тургеневу 6 декабря 1819 г. (Остафьевский архив. Т. 1. С. 367).

[161] Краткий отчет об этом заседании см.: Сын Отечества. 1813. №3. С. 122—123 (перепечатано в наст. изд., Приложение 3). Ср.: Зорин. С. 257 и след.

[162] Крылов 1956. С. 525.

царя, способного управлять государством, и написал басню о покорной лошади в первые же годы нового царствования.)

В кругу «Беседы» было распространено убеждение, что воспитатель Лагарп внушил Александру I вредные либеральные идеи; Лагарпа считали, в частности, инициатором освобождения крестьян от крепостной зависимости. «Государь учителем своим французом Лагарпом упоен был <...> сею мыслию <...>, чтоб освободить от рабства народ», — писал Державин (6, 772). О том же говорил Шишков: «Имена вольности и равенства, приемлемые в превратном и уродливом смысле, начали твердиться пред младым царем, имевшим по несчастию наставником своим француза Лагарпа, внушавшего ему таковые же понятия»[163]. В конце своих «Записок» Шишков снова повторяет: «Сие несчастное в государе предубеждение против крепостного в России права, против дворянства и против всего прежнего устройства и порядка впущено в него было находившимся при нем французом Лагарпом...»[164]

Считается общепризнанным, что в басне «Воспитание Льва» (опубликована в 1811 г.) Крылов изобразил Александра I, царя, который под влиянием «птичьего воспитания» собрался «зверей учить вить гнезда»[165]. Нерешительность Александра в суровую пору войны подчеркнута Крыловым в басне «Кот и Повар», в которой Повару-царю баснописец посоветовал «речей не тратить по-пустому, // Где нужно власть употребить»[166].

На собрании «Беседы» 11 ноября 1811 г. Крылов прочитал поэму А. Буниной «Фаэтон». Анна Петровна Бунина (1774—1829), одна из очень немногих в те времена женщин-писательниц, обладала несомненным литературным дарованием. Она была почетным членом «Беседы». Поэма «Фаэтон» является одним из лучших произведений Буниной. Сюжет ее основан на античном мифе о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который не совладал с солнечной колесницей отца, погиб сам и едва не погубил Землю. Тема Фаэтона имеет в русской литературе начала XIX в. некоторую политическую традицию.

В 1803—1804 гг. Державин, находившийся, как мы помним, в сильной оппозиции к Александру I, написал стихотворение «Колесница». Сам поэт относил начало работы над ним к 1792 г. (окон-

[163] Шишков. Записки, 1. С. 85.
[164] Там же. С. 309.
[165] Кеневич. С. 93.
[166] Дурылин. С. 157—159.

чание — к 1804 г.) и объяснял, что оно написано по случаю «несчастной смерти [т.е. казни. — *М.А.*] французского Людовика XVI» (3, 567). Поэт изобразил «золотую колесницу», запряженную «отважными, гордыми животными». Возница легкомысленно ослабил вожжи, и лошади, опрокинув колесницу, погубили и себя и беспечного возницу. В 1963 г. В.А. Западов передатировал стихотворение концом 1803 — началом 1804 г. и в качестве адресата указал на «Александра I и кружок “молодых друзей” императора»[167]. Поскольку В.А. Западов не аргументировал своей точки зрения, полезно будет привести несколько соображений в ее поддержку.

Первые сведения об этих стихах относятся к 1804 г., когда упреки, адресованные только несчастному Людовику XVI, звучали бы и запоздало и бестактно. Вместе с тем у нас есть свидетельство о широком общественном резонансе, который получила «Колесница», разойдясь в большом количестве списков. Граф А.И. Мусин-Пушкин писал Державину из Москвы 18 апреля 1804 г.: «Копиев столько писец мой писал по требованию желающих, что, думаю, он знает ее теперь наизусть»[168]. Вряд ли такой интерес был вызван событиями десятилетней давности. Скорее всего, «применение» Державина не осталось тайной для окружающих. А сам автор в «Объяснениях», написанных при жизни Александра I, стремясь замаскировать смысл стихотворения, датировал его более ранним годом и отнес к Людовику XVI.

Используя миф о Фаэтоне, Державин изобразил молодого царя, отпустившего бразды правления и погубившего колесницу государственности. Тщательно зачеркнутое заключение, снятое, возможно, из-за слишком очевидных намеков, представляло собою прямое обращение к Царю:

О вы, венчанные возницы,
Бразды держащие в руках

Учитесь из сего примеру...
(1, 377)

Так была создана аллегория: Фаэтон — неумелый царь Александр I. Эта аллегорическая тема была развита в ироикомической

[167] Державин 1963. С. 302—303, 422—423.
[168] Державин, 1. С. 375.

поэме А.П. Буниной «Падение Фаэтона». Трудно сказать, имела ли поэтесса в виду Александра I: Бунина, насколько можно судить, вообще чуждалась политических намеков в своих произведениях. Тем не менее исключать возможность такой аллюзии не следует. Бунина была хорошо знакома с Державиным, входила в «Беседу», дружила с Шишковым и разделяла его взгляды. В 1811 г. отношения с Францией стали очень напряженными, недовольство сближением с Наполеоном росло[169]. В этой обстановке само использование образа Фаэтона, слабого, дрожащего, выпускающего из рук вожжи, даже вне зависимости от намерений автора, могло быть воспринято как острая политическая аллюзия. Во всяком случае, как свидетельствует даже недоброжелательный рассказ Хвостова, «Фаэтон» весьма заинтересовал «Беседу»: несмотря на недостатки, поэма Буниной сразу по получении была прочитана в публичном заседании. «В “Беседе” <...> нашлося, что Фаэтону не мудрено было упасть с небес. Ибо он и в стихах чуждался равновесия, так что многие были без стоп. Некоторые недостатки поправлены, и “Фаэтон” прочитан в “Беседе”»[170].

Мало того, судя по рассказу Буниной, «беседчики» всячески торопили ее с окончанием поэмы, так как время для политических аллюзий было самое подходящее — кончался 1811 год, последний предвоенный год: «Председатель должностного разряда Беседы любителей русского слова [А.С. Шишков. — *М.А.*] по личному ко мне снисхождению желал непременно в чтении своем иметь мое стихотворение; я по личному к особе его уважению обещала повиноваться. Время протекало. Он непрестанно повторял мне свою волю; я колебалась в выборе содержания, не умела на чем остановиться, — мешкала, — и чтение приближилось»[171].

Сочинение Буниной было прочитано на предварительном чтении 3 ноября 1811 г.[172]. Каково бы ни было намерение автора, но при уже имеющемся в сознании сопоставлении Фаэтон — Александр I следующие строки поэмы, очевидно, должны были восприниматься как намек:

Клименин сын, во все страны носимый,
Восчувствовал смертельный страх.

---

[169] См., например: Вигель 1891. Ч. 3. С. 186—187.
[170] Хвостов (2). С. 383.
[171] Бунина. Ч. 2. С. 81—82 (предисловие к «Падению Фаэтона»).
[172] Десницкий. С. 122.

Хотя бразды еще держал в руках,
Но правил он коньми без всякого устава...
Строптивым больше он дает в бегу свободы;
Послушных осаждает в зад.
Тогда-то в них настал вдруг беспорядок общий!

И особенно злободневно в предчувствии приближающейся войны звучали строки:

Тем мене он являл искусства,
Чем ближе быть опасность мнил.
В нем силы малились от конска буйства,
А буйство их росло с его потерей сил!
Однако же, храня отцово наставленье,
Еще из рук не выпускал вожжей...[173]

Крылов присутствовал и читал свои басни на том предварительном собрании, где слушали поэму Буниной[174]. Поэма, очевидно, ему понравилась, и он согласился (женщине было неприлично выступать перед аудиторией) прочитать «Фаэтона» в публичном собрании «Беседы» 11 ноября. Читал Крылов, как известно, мастерски, и благодарная поэтесса в комплиментарных стихах отнесла успех поэмы за счет чтения ее знаменитым баснописцем:

Читая баснь паденья знаменита,
Улыбкой оживил ты лица всех гостей,
И честь того прешла к стране пиита.
Во мзду заслуги сей,
Я лавры, сжатые тобою,
Себе надменно не присвою,
Когда б не ты ее читал,
Быть может, Фаетон вторично бы упал[175].

---

[173] Чтение, 4. С. 92—93. Автор монографии о Буниной не согласился с нашим предположением, что в «Фаэтоне» содержатся намеки на Александра I: поэтесса не могла обидеть императора, который заплатил ее долги и назначил ей пенсию (см.: Rosslyn. P. 179). Возможно, что аллюзии, как уже сказано, и не входили в намерения автора поэмы, но это не исключает толкования ее другими членами «Беседы» в соответствии с тогдашними настроениями общества.

[174] Десницкий. С. 122.

[175] Бунина. Ч. 2. С. 140.

Приблизительно в 1814 г. Крыловым была написана басня «Конь и Всадник». На тематическую связь этой басни со стихотворением Державина «Колесница» указывают все комментаторы[176], но никто не обратил внимания, что в самом начале 1810-х гг. та же тема возникла в получившей немалый общественный резонанс поэме Буниной, которая не случайно привлекла к себе внимание Крылова.

Басня «Конь и Всадник», однако, не только развивает идеи предшественников Крылова, но и несколько полемизирует с ними. И Державин, и Бунина обращают главное внимание на возницу, руководителя государственной колесницы: «Венчанные возницы... учитесь...» — восклицает Державин; у Буниной Фаэтон, «дерзкий возница», «с небес упал». У Крылова главное внимание переносится с возницы на Коня, т.е. на народ. У Буниной и Державина погибает возница, у Крылова Всадник отделался легким испугом, зато погиб Конь, с которого легкомысленный правитель снял узду и тем самым толкнул на гибель.

Мы знаем, что и в 1813, и в 1814 г., т.е. в то самое время, когда создавалась басня Крылова, Александр I продолжал громогласно декларировать в ближайшем окружении свои либеральные идеи. 22 декабря 1813 г. он вновь после большого перерыва вступил в переписку с Лагарпом. В этом письме Александр хвалит, в частности, либеральные мысли и республиканизм Каподистрии. В январе 1814 г. Лагарп прибыл в ставку Александра, к немалому огорчению Меттерниха, который находил, что Александр и без того преисполнен революционными идеями. 29 марта Лагарп награжден орденом Андрея Первозванного. 17 апреля Александр советует Людовику XVIII «не уклоняться от либеральных идей, не забывать армии и даровать Франции свободные учреждения». Несколько позднее он объявил французскому королю, что тот может въехать в Париж «не прежде, как приняв конституцию сената» или, в крайнем случае, «обнародовав декларацию о правах, даруемых им народу»[177].

Освобождение крестьян Александр продолжал считать своим кровным делом. В салоне госпожи де Сталь он говорил: «...каждый день я получаю хорошие вести о внутреннем состоянии моей империи, и, с божьей помощью, крепостное право будет уничтожено еще в мое царствование»[178]. В манифесте по случаю окончания вой-

[176] См.: Крылов 1956. С. 406; Державин, 1. С. 376.
[177] Шильдер 1897. Т. 3. С. 180—181, 184, 227—228.
[178] Там же. С. 231.

ны император вычеркнул фразу, в которой крепостное право характеризовалось как связь между помещиками и крестьянами, «на обоюдной пользе основанная». «Я не могу подписать того, что противно моей совести и с чем я нимало не согласен», — говорил Александр[179].

Отдельные факты, приведенные нами, могли быть и неизвестны Крылову, но в целом о настроениях Александра I он, несомненно, был хорошо осведомлен и предостерегал Всадника от бездумного расшатывания привычной системы народной жизни. Потом будет поздно, как бы предупреждал баснописец молодого царя, используя образ робкого и бессильного Фаэтона:

> Напрасно на него [Коня. — *М.А.*] несчастный Всадник мой
> Дрожащею рукой
> Узду накинуть покушался:
> Конь боле лишь серчал и рвался
> И сбросил, наконец, с себя его долой...
>
> (3, 96—97)

Естественно, что такая басня, в которой дрожащий правитель, уцелев сам, губил свой народ, не могла понравиться царю, и есть свидетельство, говорящее о неприязненном отношении Александра I к баснописцу в послевоенные годы. Ф.Ф. Вигель, рассказывая об О.П. Козодавлеве, пишет: «Некоторое время, гораздо позже, и то недолго, либеральные идеи были в моде при дворе: из раболепного подражания находил он тогда холопские чувства в некоторых баснях Крылова»[180]. Позднее, говоря о либерализме правительства сразу после окончания войны, Вигель вновь вспоминает: «Любопытно и даже забавно было видеть иных людей, в характере которых была резкая противоположность с правилами, которые вдруг начали они поддерживать: из раболепства стали они прикидываться свободомыслящими. Например, старый министр Козодавлев, который всегда смотрел, откуда при дворе дует ветер, находил в Крылове холопские чувства, в Крылове, который в баснях своих насказал так много смелых истин, едва завешивая их наготу полупрозрачными своими покровами»[181].

---

[179] Шишков. Записки, 1. С. 308.

[180] Вигель 1891. Ч. 3. С. 112.

[181] Там же. Ч. 5. С. 7—8. Ср. с этими словами Вигеля замечание Вяземского: «Как ни говори, а в уме Крылова есть все что-то лакейское: лукавство,

Таким образом, Вигель настойчиво упоминает о недовольстве двора, т.е. самого царя, Крыловым в послевоенные годы. Невозможно упрекнуть Крылова в раболепии перед сильными мира сего — басни его не дают для этого никаких оснований, о чем пишет и сам Вигель. Можно думать, что либеральный император находил холопские чувства в тех баснях, где защищалась идея сильной государственной власти. В этом отношении он не делал принципиального различия между Крыловым и другими консервативными и оппозиционными членами «Беседы». Так, в 1814 г. произошло резкое столкновение царя с Шишковым (см. главу «Манифесты А.С. Шишкова 1812 года») по поводу крепостного права.

Таким образом, можно утверждать, что И.А. Крылов являлся одним из основателей «Беседы любителей русского слова», постоянным и активным ее сотрудником. Его басни 1810-х гг. политически и идеологически находятся в русле интересов и занятий «Беседы». Есть все основания считать, что участие в этом общественно-литературном объединении оказало существенное влияние на творчество баснописца.

брань из-за угла, трусость перед господами, все это перемешано вместе» (письмо Пушкину от 16—18 октября 1825 г. — Пушкин, XIII. С. 238).

Часть II

УЧЕНАЯ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «БЕСЕДЫ»

Глава 1

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В КРУГУ «БЕСЕДЫ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

В своих литературных исканиях будущие члены «Беседы» постоянно обращались к старославянскому языку и проявляли интерес к памятникам древнерусской письменности.

Основные теоретические положения на этот счет были изложены уже в 1803 г. в книге Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». Не различая старославянского и древнерусского языка, Шишков считал «славенский язык истинным основанием» русского языка, без которого последний «не может быть ни силен, ни важен». «Из книг славенских» следует, по Шишкову, «почерпать красоту слога».

Прославление героев прошлого и побуждение современников к доблести и мужеству Шишков считал важнейшей задачей словесности: «Стихотворство сделало их [Агамемнонов, Ахиллов, Аяксов. — *М.А.*] бессмертными, и, может быть, оно же преисполнило их великостию духа: ибо хотя и кажется, что сама природа влагает в нас огонь смелости и мужества, однако же в какой славолюбивой душе не воспылает, не умножится сей огнь при чтении в Гомере подвигов Ахилла и Гектора?»[1]

Напечатанное в 1800 г. «Слово о полку Игореве» было написано тем древним языком, на который, по Шишкову, должна была ориентироваться современная литература. Это произведение было исполнено ораторского пафоса, прославляло и поучало, т.е. отвечало как раз тем требованиям, которые предъявлял Шишков к лите-

[1] Чтение, 1. С. 9 (речь при открытии «Беседы»).

ратуре. Естественно, что он сразу же использовал «Слово» для защиты и укрепления своей литературной позиции.

«Рассуждение о старом и новом слоге», вероятно, было закончено, по крайней мере в основной своей части, до появления печатного издания памятника. Этим, видимо, объясняется отсутствие в «Рассуждении» упоминаний о «Слове», хотя «Рассуждение» и вышло в свет в 1803 г. Но в прибавлениях к «Рассуждению» (1804) Шишков постоянно обращается к «Слову». Он находит в нем великолепные примеры красот славенского языка: «В Слове о полку Игореве сказано: Яр туре Всеволоде! Стоиши на бороне, прыщеши на вой стрелами, гремиши о шеломы мечи харалужными. Здесь глагол *прыскать* есть подлинно не обыкновенное, редко попадающееся уму человеческому, щастливое выражение»[2]. И далее: «...я, читая в песни Игоревой: а мои ти куряне сведоми к мети, под трубами повиты, под шеломы возлелеяны, концем копия вскормлени, нахожу, что в словах сих заключается мысль, какой сильнее не читал я ни в Виргилии, ни в Тассе, ни в Волтере»[3]. «Слово» подсказывает Шишкову мысль о расцвете древней литературы, которая не дошла до нас, но, очевидно, существовала: «Где сочинения Бояновы? Кто мне докажет, что и многих разного рода Боянов не поглотила река забвения»[4]. Само «Слово», с точки зрения Шишкова, могло возникнуть только как результат длительного предшествующего литературного развития: «Кажется нет возможности написать такую повесть [«Слово». — *М.А.*], не имея предшественниками Боянов: откуду в человеке ничего не читавшем родится вдруг богатство ума и красноречия?»[5] Наконец, Шишков постоянно подчеркивает связь «Слова» с устным народным творчеством. Приводя примеры из «Слова»: Игорь «поскочи горностаем», Влур «волком потече» и т.д., — Шишков говорит: «Сие отношение различных действий человеческих к свойствам животных примечаем мы и в простонародных наших сочинениях» (3, 103). И далее: «В Игоревой песни Ярославна говорит ветру: чему, господине, мое веселие по ковылю развея? В простонародной песне подобное же сему поется» (3, 105).

Уже в 1805 г. Шишков выпустил монументальную работу, посвященную «Слову о полку Игореве», которая заняла значительную

---

[2] Шишков. Прибавление. С. 81.

[3] Там же. С. 105.

[4] Там же. С. 93—94.

[5] Разговоры о словесности между двумя лицами Аз и Буки. — Цит. по: Шишков, 3. С. 82 (далее ссылки на это издание даются в тексте).

часть первого тома «Сочинений и переводов, издаваемых Российскою Академиею». Перепечатав полностью издание 1800 г., Шишков на 120 страницах дает пространный комментарий к каждой фразе древнего памятника, а за комментарием следует прозаический перевод «Слова». С точки зрения Шишкова, «Слову» не хватало последовательности изложения, темные места мешали однозначному пониманию памятника. Поэтому в переводе Шишков опускает темные места и значительно расширяет и дополняет текст своими вставками: «...рассудилось мне преложить, или паче переделать оную [песнь. — *М.А.*] таким образом, чтобы, оставляя все красоты подлинника без всякой, поколику можно, перемены слов, невразумительные места сократить или пропустить: прочие же, требующие распространения, дополнить своими приличными и на вероятных догадках основанными умствованиями. Сим средством песнь сия от начала до конца сделается ясною, и я надеюсь, что сколь бы ни были собственные мои распространения и присовокупления слабы, но сплетенные с сильными выражениями и красотами подлинника, нечто приятное составят они для чтения» (7, 125).

Первый в истории изучения «Слова» объяснительный перевод стал в то же время и самостоятельным литературным произведением, как бы вариацией на мотивы древнего памятника русской литературы, и это произведение вполне удовлетворяло принципам той литературной группы, которая несколько лет спустя организовалась в «Беседу любителей русского слова».

О значении, которое сам Шишков придавал своей работе, свидетельствует его письмо к патриарху русской литературы, который первым откликнулся на находку «Слова»[6], М.М. Хераскову: «Вы найдете в сей части [«Сочинений и переводов, издаваемых Российскою Академией» (Ч. 1, СПб., 1805). — *М.А.*] толкование мое на слово или песнь о полку Игоревом. Сочинение сие как по древности, так и по красоте своей показалось мне достойным того, чтоб вникнуть и разобрать оное подробнее. Не знаю, предуспел ли я рассеять тот мрак, в каком оно являлось быть скрыто, и не обманулся ли где в показывании стихотворческих красот. Есть ли бы я смел вас беспокоить, то пожелал бы знать ваше о том мнение, которое чем чистосердечнее, тем приятнее бы для меня было»[7].

---

[6] Елеонский. С. 96 и след.

[7] ОР РНБ. Ф. 862 (А.С. Шишков). №3. С. 14. Письмо датировано 20 сентября 1805 г.

В предуведомлении к переводу Шишков подробно развивает свои излюбленные мысли о древности русской литературы: начало словесности в России «покрыто мраком». «Однако заключить можно, что язык наш процветал издревле» (7, 35—36). Доказательства этой мысли, по Шишкову, суть следующие: во-первых, красота и сила переводов священных книг, откуда вытекает, что Россия еще до принятия христианства обладала выработанным литературным языком. Во-вторых, фольклор, в котором «часто видны бывают следы умопарения и стихотворческого духа». И, наконец, последнее, но занимающее важнейшее место в рассуждениях Шишкова — свидетельство «Слова»: «...высокое мнение и почтительное изречение о Бояне показывает, что славенский певец сей может быть гремел некогда таковою же славою, как и греческий Гомер. Где в стране поет один соловей, там, без сомнения, есть и другие: когда в Славенском народе был Боян, то, конечно, были и другие, подобные ему, но сочинения их до нас не достигли, и потому память их погибла» (7, 36—37).

Мысль Шишкова была подхвачена митрополитом Евгением, другом и литературным советником Державина, позднее почетным членом «Беседы». В ранней редакции «Опыта исторического словаря о русских писателях» Евгений говорит: «Г. вице-адмирал Александр Семенович Шишков, известный сочинитель книги *О старом и новом слоге российского языка*, в представленных Российской Академии *Примечаниях* своих на *Песнь о походе Игоря* на Половцов доказывает из сей самой песни, что, кроме сочинителя оной и упоминаемого в ней певца Бояна, существовали в древние времена русские писатели, стихотворческим духом и высокостию мыслей исполненные»[8]. Евгений ссылается не на печатный текст, а, очевидно, на рукопись представленных в Академию примечаний, так как, судя по письму Шишкова к Хераскову (см. выше), первая часть «Сочинений и переводов» вышла, вероятно, не ранее конца августа — сентября: Шишков не послал бы маститому старцу свою работу долго спустя после выхода. Евгений же отправил в Москву статью о Бояне в мае 1805 г.[9], т.е. еще до выхода в свет работы Шишкова. Таким образом, мысли Шишкова были для Евгения

[8] Опыт исторического словаря о русских писателях (Друг просвещения. 1805. Ч. 3. №8. С. 156—157).

[9] Переписка Евгения с графом Хвостовым // Сб. статей, читанных в Отделении русского языка и словесности имп. Академии Наук. СПб., 1868. Т. 5. Вып. 1. С. 122.

настолько важны, что он поторопился включить их в публикацию словаря, не дожидаясь появления печатного текста.

Позднее Евгений охладел к представлениям Шишкова о том, что древняя литература была богата авторами: ссылки на Шишкова в отдельном издании «Словаря», вышедшем уже после смерти Евгения, нет. В 1815 г. он пишет Державину только о Бояне: «Песнопевец полку Игорева сохранил нам память о некотором *Бояне*, которого называет он *соловьем старого времени* и *внуком Велесовым*... вот первый известный нам славенорусский лирик, которого однакож ни сочинений, ни жизни, ни века мы не знаем»[10].

Шишков рассматривает «Слово» как героическую песнь («песнью» он, кстати сказать, вслед за первым изданием всюду называет памятник), и поэтому основой его перевода становится «высокий штиль», в котором главную стилеобразующую роль играют славянизмы. Это особенно хорошо заметно в тех многочисленных местах текста Шишкова, которые не имеют соответствий в оригинале: «Но кто сей, исполину подобный, шествует бодро и грозно? Отчего толикая радость в войске Игоревом, и на кого взоры всех обращаются?» (7, 128); «Россияне... в молчании грядут...» (7, 130); «Се корысть, рекут воины, достойная великого вождя нашего и драгоценнейшая в очах его, чем злато и паволоки» (7, 131) и т.д. Шишков использует не только лексические, но и синтаксические славянизмы. Таков, например, дательный самостоятельный: «Тако разбиту, рассеянну врагу, далеко залетевшее храброе гнездо Ольгово дремлет в поле, покоится в безопасности» (7, 131).

Сравнительно малое влияние на перевод Шишкова оказало «оссиановское» восприятие памятника (т.е. прежде всего изображение мрачных картин природы, кровавых битв, призраков и прочего и соотнесение всего этого с настроением героев)[11], широко распространенное в литературе начиная с Карамзина[12]. Шишков даже фантастическому Диву пытается дать, отнюдь не в духе Оссиана, рациональное объяснение: «Слово сие происходящее или от *диво* (чудо) или от *дивий* (дикий), представляет здесь верховное половецкое правительство, которое, аки некое седящее на высоте престола страшилище, печется через приумножение сил своих нанести не-

---

[10] Державин, 7. С. 623.

[11] Об «оссианизме» «Слова» см. статью Ю.М. Лотмана «“Слово о полку Игореве” и литературная традиция XVIII — начала XIX в.» (Лотман 1997 (2). С. 43 и след.).

[12] Карамзин 1964. Т. 2. С. 147 («Несколько слов о русской литературе»).

приятелю всякое зло и вред» (7, 129). По поводу этих штудий Шишкова В. Олин, укрывшийся под псевдонимом «3—15» (он был близок к «Беседе», в 1813 г. стал ее членом-сотрудником и вряд ли хотел раздражать могущественного покровителя и позднее, в 1819 г.), с издевкой писал: «Не понимаю, почему див должен означать *правительство* или *верховную власть*? Весьма удивляюсь, как могло *правительство* сидеть на вершине дерева и кричать с оного?»[13]

Обилие славянизмов придает торжественную величавость даже тем немногочисленным местам переложения Шишкова, которые все-таки можно считать написанными под влиянием Оссиана: «Тако рек Святослав. Великая душа его, в теле ветхом и сокрушенном, колеблется и мятется, подобно трепещущим высокого дуба листвиям, когда бурный ветер играет ими. Очи его сверкают еще искрами любви к отечеству, но седая голова его невольно клонится уже к персям. Мрачен, углублен в размышление сидит посредь вельможей своих, печально окрест его стоящих. Безмолвное уныние царствует повсюду, в домах, на стогнах и в чертогах княжеских» (7, 144—145).

Рассуждая о красотах древнего памятника, Шишков, конечно, понимал, что не избежал влияния оссиановской фразеологии, и нашел нужным вспомнить о шотландском поэте, сравнивая с ним легендарного «словенского» Бояна: «Впрочем, не взирая на темноту некоторых слов, какой огнь красноречия блистает здесь: Игорь идет с войсками, буря над головами их ревет, ночь и мрак препинают им путь, враны готовятся трупы их терзать, волки на пожрание их разевают пасть свою, орлы, соглашаясь с зверями, кости их расхитить хотят, и лисицы, дыша злобою, лают на червленые их щиты! Меньше ли здесь славенский Оссиян шотландского?» (7, 55). Однако когда то же место включается в текст перевода, оно сокращается, приближаясь к оригиналу (выпадают типично оссиановские мотивы: «буря над головою их ревет»; «ночь и мрак препинают им путь»; «дыша злобою»), резко увеличивается число архаизмов («корысть» в значении «добыча»; «гладный» — «голодный»; «разверзают» вместо «разевают»). Это умеряет романтическую тональность первоначального варианта и придает «оссиановскому» абзацу торжественность, отвечающую общему колориту переложения: «Игорь твердый посреде всех сих страхов ведет полки свои к Дону. Уже

[13] Рассуждение о переводе г. Пожарского «Слова о полку Игореве» и примечаниях вместо сделанных им на оное (Журнал древней и новой словесности. 1819. Ч. 6. №11. Июнь. С. 127).

враны, провидя в них корысть свою, готовятся их трупы терзать; уже гладные волки разверзают на них пасть свою; орлы клектом на кости зверей зовут; лисицы брешут на червленые шиты» (7, 130).

В то же время перевод Шишкова подчеркивал связь памятника с народной поэзией. Подробная и тщательная классификация поэтики русского фольклора дана была Шишковым в 1811 г. в работе «Разговоры о словесности между двумя лицами Аз и Буки». Однако уже в переводе «Слова» видно обращение Шишкова к хорошо ему известным приемам народного творчества. Так, он вводит в текст перевода отрицательное сравнение, ибо «уподобления, которые можно назвать отрицательными, часто в старинном стихотворении нашем находим» (3, 100): «...не так дружно гонимые ветром волны морские несутся, как влекомые славою полки российские текут, поспешая достигнуть пределов страны неприятельской» (7, 129).

Особое внимание уделяет Шишков фольклорным постоянным эпитетам: «Хотя и новое стихотворство не убегает прилагательных имен, однако ж в старом были оные несравненно употребительнее, и почти каждое существительное имело свое прилагательное: красное солнышко, светлый месяц, частые звезды, синее море, черный соболь, белая лебедь и пр. и пр.» (3, 95). Поэтому Шишков не только сохраняет в переводе все постоянные эпитеты оригинала: «серым волком по земле, сизым орлом под облаки» (7, 126), «всядем... на борзых коней, да позрим синего Дону» (7, 127), «черный вран»[14], «нечестивый половчанин» (7, 132) и т.д. и т.п., но и добавляет их там, где в оригинале они отсутствуют: «Оно [воинство. — *М.А.*] дотоле, как лес густой, неподвижно стоявшее...» (7, 129); «Слава... повела в ратное поле... спать на сырой земле» (7, 133); «князь Всеслав рыскал, как серый волк» (7, 144). Один постоянный эпитет оригинала («восплескала лебедиными крылы на синем море у Дону») превращается у Шишкова в два: «Злоба врагов наших, как белая на синем море лебедь, йграет, радуется, плещет крыльями на Дону» (7, 135).

Об инверсии в связи с русским фольклором Шишков писал: «Особливо же помещение сих имен [прилагательных. — *М.А.*] позади существительных составляло не малую красоту» (3, 95—96). В переводе он часто прибегает к этому приему, совершенно неза-

[14] Для литературной позиции Шишкова показательно, что «ворон» оригинала превратился у него во «врана».

висимо от наличия или отсутствия его в оригинале: «...ополчается он на брань кровавую, собирает войско мужественное, выступает в поле пространное» (7, 126); «Стекается... воинство российское» (7, 128); Ярославна всходит «на стены градские» (7, 145); Игорь скачет горностаем к «тростнику речному» (7, 147). Иногда Шишков увеличивает количество прилагательных, стоящих вслед за определяемым существительным: «Печаль тучная, жирная, упитавшаяся слезами народа, ходит посреде России» (7, 136). (Ср.: «...печаль жирна тече средь земли Русский».)

«Слово о полку Игореве» постоянно сравнивается у Шишкова с поэмами Гомера — и то и другое представляет собою образец древнего героического эпоса. Шишков не исключает и непосредственного влияния Гомера на автора «Слова: ...разговор Донца реки с Игорем есть вымысл весьма употребительный у древних стихотворцев: тако Ахиллес разговаривает у Гомера с конями своими. Весьма вероятно, что сочинителю сей песни Гомерова Илиада была не безызвестна» (7, 116).

Для Шишкова «Илиада» и «Слово» были стилистически однородны, и принципы переложения русского памятника он сразу же (1806) использовал для прозаического перевода с английского XVI песни «Илиады». Как и почему возник этот странный замысел, Шишков рассказал в обширном вступлении-примечании. Некий ученый муж (может быть, это был И.М. Муравьев-Апостол, о котором см. далее, гл. 4) объяснил Шишкову, что французские переводы Гомера никуда не годятся, и если не знаешь греческого, то наиболее близким к подлиннику является английский перевод А. Попа. Английского Шишков, по собственному признанию, «тоже почти не знал», и он стал читать и разбирать «Илиаду» Попа с неким своим «почтенным приятелем»: «Я слушал, он мне толковал... Потом разговор наш обратился на великолепие, силу и звучность нашего Славенороссийского языка, и что, может быть, красоты Гомеровы не потеряли бы на нем достоинства своего, если бы искусное и трудолюбивое перо начертать их потщилось»[15]. Так появился этот перевод, и естественно, что славянизмы (создающие «великолепие... Славенороссийского языка») стали его основным стилеобразующим элементом, но, конечно, не указующим здесь на русскую культуру. Славянизмы в рассказе о Троянской войне суть знаки, с одной стороны, высокого героического стиля, с другой —

[15] Шишков 1806. С. 186.

древности, которая у Шишкова всегда ассоциируется с высокостью и героикой. Поэтому, строя свой перевод Гомера на славянизмах, Шишков избегает того, что носило бы специфически русский характер — здесь отсутствуют и постоянные эпитеты, и инверсия, придававшие древнему тексту «Слова» национальный русский колорит.

Стилеобразующие славянизмы русского перевода Гомера у Шишкова не имеют никаких архаических соответствий в английском оригинале: «Патрокл! рцы, кая скорбь грудь твою снедающая, толь сильно изливается в сих твоих слезах немужественных»[16]. Ср.:

> Patroclus, say, what grief thy bosom bears.
> That flows so fast in these unmanly tears[17].

Сугубо архаическому «рцы» в английском тексте соответствует нейтральная форма «say» — «скажи».

Иногда Шишков усложняет текст, вводя в него архаические выражения, отсутствующие в оригинале: «Ксант и Балий [кони Ахилла. — *М.А.*] от ветра рождены они и быстры яко ветер. Единого из них летучая Гарпия, другого скоротечная Подарга, от Зефира на берегах бурного моря очреватевшие, во ложеснах своих носили»[18]. Ср.:

> Xanthus and Balius, of immortal breed,
> Sprung from the wind, and like the wind in speed;
> Whom the wing'd Harpy, swift Podarge, bore,
> By Zephyr pregnant on the breezy shore...[19]

«Во ложеснах своих носили» в оригинале отсутствует.

Очень осторожно, один раз в «Слове» и один раз в переводе Гомера, употребляет Шишков слово «перси» в значении «мужская грудь». К началу XIX в. за этим словом уже закрепилось его сентиментально-эротическое значение: «женская красивая грудь». У Шишкова Святослав склонил голову на перси[20], Патрокл облекает

[16] Шишков 1806. С. 186—187.
[17] Pope. P. 359.
[18] Шишков 1806. С. 198.
[19] Pope. P. 363.
[20] Шишков 1806. С. 196.

свои перси в доспехи. Слова «breast» и «bosom» Шишков во всех других случаях переводит равно — «грудь»[21].

Перевод Гомера вызвал в основном отрицательно насмешливую оценку современников. Князь Б.В. Голицын (тот самый, который стоял у основания «Беседы») в трактате «Reflexions sur les traducteurs russes...» высмеял нелепую затею переводить Гомера с английского, язвительно подчеркнув простодушное признание самого переводчика, что он не знает не только греческого, но и английского языка[22]. А Измайлов, как это было установлено А.Н. Егуновым, отметил труд Шишкова остроумной эпиграммой:

О ужас! О досада!
Гомера перевел безграмотный Глупон.
От лошади погиб несчастный Илион,
А от осла погибла «Илиада»[23].

В то же время перевод и толкование «Слова» стали заметным явлением литературной жизни, хотя, естественно, оценивались противниками и сторонниками Шишкова по-разному. «Я... томов не пишу на древнего Бояна», — противопоставлял себя Шишкову В.Л. Пушкин в известном послании «К Д.В. Дашкову» (1811)[24]. А Сергей Глинка в статье о поэме С.А. Ширинского-Шихматова «Петр Великий» писал о «Слове» вполне в духе комментария Шишкова, восхищаясь красотами древнего памятника. Живо отозвался Глинка и на идеи Шишкова о значении «Слова» в общей истории русской литературы. Не стремясь, разумеется, связать генетически древний памятник с последующей литературной жизнью, он типологически сопоставляет «Слово» с одами Ломоносова, исходя из общей для обоих эстетической оценки: «Песнопевец подвига князя Игоря Святославовича писал в исходе двенадцатого столетия; но он так же располагал слова и мысли, как и Ломоносов, живший в осьмомнадесять столетии. Ум, одаренный природной способностью, изощренный знанием отечественного слова и руководимый

---

[21] Позднее Гнедич в переводе «Илиады», где умеренно употребляемые славянизмы стали средством искусной архаизации древнего памятника, смело пользуется словом «перси» в значении «мужская грудь» (даже «перси власатые» или «косматые перси»), «конская грудь», «грудь лани». См.: Егунов. С. 208, 209.

[22] Егунов. С. 143—145.

[23] Там же. С. 145.

[24] Поэты 1790—1810-х. С. 668.

опытом, во все времена и во всех странах действует одинаково»[25]. И Ломоносов, и автор «Слова» рассматриваются Глинкой как поэты, создающие свои произведения на основе богатого предшествующего опыта. Подобный взгляд на автора «Слова», как мы видели, и провозглашал Шишков.

Статья Глинки, напечатанная в майском номере «Русского вестника» на 1810 г., уже в конце этого года, в двенадцатом номере «Цветника», вызвала резкую отповедь В.Л. Пушкина, одного из главных полемистов карамзинского лагеря. Пушкин, обругав поэму Шихматова:

Поэма громкая, в которой плана нет,
Не песнопение, но сущий только бред, —

задел и ее защитника Глинку:

И Пиндар наших стран тем слогом не писал,
Каким Баян в свой век героев воспевал[26].

Ближайшим откликом на работу Шишкова о «Слове» явился перевод памятника, выполненный одним из наиболее ревностных последователей Шишкова, А.А. Палицыным. Самое значительное произведение этого малоизвестного поэта и переводчика — «Послание к Привете», обширный стихотворный обзор всей новой русской литературы от Кантемира до Каченовского[27]. В «Послании» Палицын нападает на Карамзина, правда не называя его имени, а лишь цитируя или упоминая его произведения, и заявляет себя решительным сторонником Шишкова:

Приводишь книгу ты [Привета. — *М.А.*] о слоге тут Шишкова.
Всю помня наизусть ее почти до слова.
Противу новостей смешных она твой щит...
Хотя он [Шишков. — М.А.] кажется иным и слишком строг,

---

[25] [*Глинка С.Н.*]. Известие о книге под заглавием Петр Великий, лирическое песнопение в осьми песнях, сочинение князя Сергея Шихматова: с присовокуплением некоторых замечаний (Русский вестник. 1810. №5. С. 116—117).

[26] Поэты 1790—1810-х. С. 664—665, 864 (послание «К В.А. Жуковскому»).

[27] См. наш комментарий к «Посланию к Привете» в кн.: Поэты 1790—1810-х. С. 881.

Но им чужих речей и слов удержан ток,
Готовый потопить наш прежний чистый слог[28].

В том же 1807 г., когда было напечатано «Послание к Привете», Палицын опубликовал и перевод «Слова». В качестве предисловия к своей работе он использовал, несколько сократив, введение к изданию 1800 г., закончив его похвалой Шишкову: «Читатель, желающий узнать красоты мыслей и слога в сей поэме, могущих навсегда служить образцом витийства, удовольствует похвальное любопытство свое, прочитав на нее примечания в 1-й части Сочинений и переводов Российской Академии 1805 года». Толкования Шишкова легли в основу перевода Палицына: «Переложение сей песни в прозе и остроумные примечания г. Шишкова подали мне и мысль и смелость переложить оную, как песнь, стихами, а лестное одобрение, коим он удостоил их начало, посудило меня окончить сие слабое стихотворение»[29].

Свой перевод вслед за Шишковым Палицын называет «героическая песнь», тем самым подчеркивая близость его к произведениям высокого жанра, прежде всего к эпической поэме. Этим обусловлен и размер перевода (единственный в истории поэтических переложений памятника) — шестистопный ямб, в русской традиции, следом за Францией, прочно прикрепленный к высокой трагедии и героической эпопее.

Основным стилеобразующим элементом у Палицына, как и у Шишкова, естественно, становятся славянизмы. Герои его «песни» торжественно «текут» в битву, как это делали их предшественники в «Россиядах» и «Петриадах», полководцы торжественно выступают и т.п.:

Уже российска рать течет от всех сторон...

Или:

Уже россияне вспять клонятся от боя,
Но паки в бой текут, узрев князей с собою (с. 8).

---

[28] Поэты 1790—1810-х. С. 761—762.
[29] Палицын 1807. С. VI (в дальнейшем ссылки на это издание в тексте).

Будучи последовательным классицистом, Палицын избегает необычных словоупотреблений. Когда в прозаическом переводе Шишкова он встретил выражение *жемчужная душа*, то эпитет этот показался ему слишком смелым. И в примечании Палицын предлагает своим читателям: «Если выражение *жемчужная душа* как ныне неупотребительное, хотя впрочем в древнем слоге красноречивое, кому не понравится, тот может сей стих прочесть так:

Дражайшая
Геройская душа твоя из храбра тела».

(с. 37)

Но в целом Палицын со скрупулезной точностью перелагает в стихи перевод Шишкова. Рабская зависимость его от оригинала особенно отчетливо проявляется при переложении вставок Шишкова, не имеющих соответствия в древнем тексте. У Шишкова: «Из древних преданий известно нам, каким образом славные во бранях князья и полководцы решали состязание свое о преимуществе: десять мужей выезжали на чистое поле, каждый с соколом на руке; они пускали их на стадо лебединое: чей сокол скорее долетал, тот и первенство одерживал, тому и песнь воспевалася» (7, 126). У Палицына:

Из древних повестей о том известно нам,
Что к почести князей, которых прославляли,
Им десять соколов на лебедей пускали:
Чей прежде долетал к предмету своему,
То воспевалася и прежде песнь тому (с. 1).

Шишков: «Тако нося в груди своей дух брани и мужества, презирают они великолепные, женам приличные украшения. Не злато нужно им: железо, орудия, копья, мечи!» (7, 131). Палицын:

Так бранный дух в груди и славу водворя,
Женам приличные отмещут украшенья.
Не злато нужно им: железо на сраженья (с. 6)!

Шишков был лично знаком с Палицыным. Он получил от последнего и опубликовал повесть И.Ф. Богдановича «Добромысл»[30].

---

[30] «Она [«Добромысл. Старинная повесть». — *М.А.*] отыскана по смерти его [Богдановича. — *М.А.*] и прислана ко мне от известного трудами своими в сло-

Покровительствовал Шишков любимому ученику Палицына Е.И. Станевичу, который был членом-сотрудником второго разряда «Беседы». Через Станевича он просит Палицына прислать что-нибудь для «Беседы»[31]. Когда вышел перевод «Слова», Палицын поспешил послать Шишкову экземпляр, ибо, по всей вероятности, именно Шишкова он называет «покровителем» в письме к Д.И. Хвостову от 3 октября 1807 г.: «Много у меня и прежних работ, но они лежат и лежат и, может быть, навсегда останутся в пыли, потому что стар и болен... Игоря моего, насилу выползшего, препроводил к его покровителю»[32]. Шишков, оценивший старания своего последователя, перепечатал перевод Палицына, выбросив предуведомление, стихотворные обращения и комментарии, в периодическом издании Российской академии[33].

Палицын усвоил лишь один аспект шишковского восприятия «Слова» — героическое начало и, интерпретировав его в привычных для себя представлениях, дал вариант героической поэмы классицизма на мотивы древнерусского памятника. Эту главную неудачу Палицына заметил Евгений, в письме которого к Хвостову перевод охарактеризован как «почтенный с бородою седою русский старец в нынешнем французском кафтане; читая Палицына, я только вспоминал о древности, тут вижу, с позволения сказать, передразнивание, а не переложение Игоревой песни»[34].

Письмо Евгения предваряет известную полемику о гекзаметрическом переводе Гомера (мы о ней уже говорили), разгоревшуюся несколько лет спустя на страницах «Чтений в Беседе любителей русского слова». Там Уваров настаивал на том, чтобы грека Гомера не одевали по-русски («Омер в русском зипуне столько же мне противен, как во французском кафтане»), здесь Евгений справедливо протестовал против превращения древнерусского воина во французского рыцаря. Письмо Евгения Хвостов читал у себя дома в собрании литераторов 10 апреля 1808 г. Оно, таким образом, было довольно широко известно и, может быть, оказало некоторое влияние на позицию Уварова в споре о Гомере.

весности господина Палицына. Он сообщил мне также и другие некоторые сего приятного стихотворца сочинения, найденные в оставшихся после него бумагах» (Шишков 1806. С. 73).

[31] Лащенков. С. 63.

[32] РО ПД. Ф. 322. № 60. Л. 373.

[33] Сочинения и переводы, издаваемые Российскою академиею. Ч. 3. СПБ., 1808. С. 81—111.

[34] Хвостов (1). С. 404.

После Палицына перевод Шишкова использовал для поэтического переложения памятника Н.И. Язвицкий, член-сотрудник второго разряда «Беседы», председателем которого был Г.Р. Державин. Язвицкий сохраняет в переводе вставки Шишкова, правда не так раболепно следуя за прозаическим текстом, как Палицын. Так, по Шишкову, боярам давно было известно о поражении Игоря, но они скрывали печальную новость от престарелого князя, сообщив ее только после «мутного сна» Святослава. В переводе Шишкова читаем: «Тогда бояре, прервав молчание, рекли князю: "Долго мы таили, долго, храня драгоценное для нас маститой старости твоей спокойствие, скрывали от тебя общие напасти. Но бедствие наше превосходит меру, и не можем далее оставлять тебя в неведении"» (7, 138).

Язвицкий, сохраняя мысль Шишкова, сильно сокращает его перевод:

Тут рекли бояра князю их:
Грусть давно тягчит умы у нас;
Князь! познай кручину общую:
Два слетели ясны сокола...[35]

Шишков не согласился с первыми издателями «Слова», которые «сорокы не троскоташа, полозию ползоша только» перевели: «Сороки не стрекотали, но двигались только по сучьям»[36], — справедливо заметив, что «сорокам не свойственно ползать или двигаться по сучьям» (7, 121). Он отнес глагол «ползать» к следующему предложению и перевел: «...галки молчат, сороки не стрекочут; одни только дятлы, по сучьям ползая, стуком носов своих путь к реке кажут» (7, 148)[37]. У Язвицкого сохранена мысль Шишкова:

По древам лишь дятлы ползая,
По реке путь кажут долбленьем[38].

В то время как Палицын, идя за Шишковым, подчеркнул в своем переводе героический характер памятника и переложил его на

---

[35] Чтение, 6. С. 44.

[36] Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новогорода-Северского Игоря Святославича. М., 1800. С. 43 (фототипическое воспроизведение в кн.: Слово о полку Игореве. М.; Л., 1950).

[37] См. перевод и комментарий Д.С. Лихачева к этому месту памятника: Там же. С. 464.

[38] Чтение, 6. С. 52.

поэтическую систему классицизма, Язвицкий подошел к тому же самому переводу с романтических позиций и подчеркнул его фольклорную основу.

В 1811 г. вышла из печати книга Язвицкого «Введение в науку стихотворства». Здесь дана пространная характеристика «Слова» и приведены отрывки из выполненного автором стихотворного перевода. Язвицкий также сравнивает «Слово» с песнями Оссиана. В последних он в соответствии с идеями Гердера[39] отмечает «пылкое стремление к свободе... В таковых песнях видна душа, исполненная природою, некоторое дикое величие, подобное тем лесам и горам, в коих обитали сии народы; в них приметна какая-то мрачность попеременно печальная и приятная... Сии люди... любили все мрачное, необразованное, дикое, не знали удовольствия жизни и были мало к оной привязаны; презирали ужасы смерти»[40].

Сходство между «Словом» и песнями Оссиана Язвицкий обнаруживает не столько в тематической близости, сколько в полной внутренней свободе создания обоих произведений: «Здесь [в «Слове». — *М.А.*] ...приметим во мноих местах удивительную быстроту, великие дарования и высокий ум, подкрепленный не наукою, не чтением Омиров и Вергилиев, но самою природою»[41]. Таким образом, Язвицкий отказывается от мысли Шишкова о связи «Слова» с предшествующей литературной традицией. Он ни разу не упоминает о Бояне, так как в романтической концепции искусства поэтические достоинства древнего памятника обусловлены именно отсутствием книжной литературной традиции. И если Шишков готов был предполагать знакомство автора «Слова» с Гомером, то Язвицкий, отрицая влияние «Гомеров и Вергилиев», демонстративно отвергает нормы поэтики классицизма, «правила» для анализа памятника древней русской литературы: «Сей песни не будем разбирать мы по правилам поэмы, не станем требовать единства действия, *чудесности* и других качеств, предписанных в различных умозрениях»[42].

Спустя год Язвицкий опубликовал свой перевод в печатном органе «Беседы». Здесь он убрал из предуведомления все, что могло быть воспринято как полемика с Шишковым, сослался на Дер-

[39] См., например: Извлечения из переписки об Оссиане и о песнях древних народов (Гердер. С. 27 и след.).

[40] Язвицкий. С. 110.

[41] Там же. С. 97.

[42] Там же.

жавина, который сопоставлял «Слово» с Оссианом в «Рассуждении о лирической поэзии», упомянул Шишкова и Палицына и подчеркнул в своей позиции то, что сближало ее со взглядами Шишкова: «...одна токмо любовь к всему славено-русскому, собственное мое удовольствие, пламенные чувствия, заключающиеся в песни сей, воодушевили меня и принудили как бы забыть недостатки сил моих»[43]. В заключение Язвицкий обрушился на противников Шишкова, отрицающих эстетическую ценность древней русской культуры: «...остается еще... довольное число вкусов и умов, кои не чувствуют образцовых красот *Игоревой песни*. Есть люди, кои не доверяют славе и величию воспетых в ней князей, кои ничего не значущею новизною или, лучше сказать, сами собою силятся оспорить достоинство почтенных наших предков-славян, совершенно презирают величественную простоту, первобытный наш вкус, истинные естественные красоты и нестареющееся витийство нашей древней словесности»[44].

Эти общие нападки на карамзинистов, возможно, имеют в виду и конкретного адресата — В.Л. Пушкина, который в послании «К В.А. Жуковскому» (1810) противопоставил европейское просвещение русским древностям:

В чем уверяют нас Паскаль и Боссюэт,
В Синопсисе того, в Степенной книге нет...
Я вижу весь собор безграмотных славян,
Которыми здесь вкус к изящному попран...
В славенском языке и сам я пользу вижу,
Но вкус я варварский гоню и ненавижу...

Отрицание книжной культуры у автора «Слова» естественно приводило Язвицкого к сближению этого произведения с устным народным творчеством, в чем он сходился с Шишковым. Последний, хотя и говорил о литературных традициях в «Слове», в то же время, как мы видели, провозглашал связь памятника с фольклором и показал это в своем переводе.

У Язвицкого связь с фольклором подчеркнута прежде всего выбранным для перевода дактило-хореическим размером: «Сохраняя, сколько возможно было, слова, выражения и красоты под-

---

[43] Чтение, 6. С. 33.
[44] Там же. С. 34.
[45] Поэты 1790—1810-х. С. 664—665.

линника, я переложил песнь сию русскими дактило-хореическими древними нашими стихами, потому,

Что пристойно слогом древности
Повесть рассказать печальную
О полку походе Игоря»[46].

Этот размер был охарактеризован Карамзиным в 1794 г. как «совершенно русский, каким сочинены все наши старинные песни»[47]. После «Ильи Муромца» Карамзина он вошел в общее употребление и до Язвицкого был использован И. Серяковым в первом стихотворном переводе «Слова» (1803).

А.Х. Востоков в разгромной рецензии на «Введение в науку стихотворства» упрекнул Язвицкого за выбор размера: «Вместе с текстом приводит автор собственное преложение оного стихами, так называемыми *русскими*... Преложение сие показалось нам вообще как-то вялым, в чем виним не столько слабость таланта автора, сколько неудобность размера, употребленного им. Если перелагать в стихи «Слово о полку Игореве», то мы бы предпочли для сего размер стопосложный, например ямбический 6-стопный, каким г. Палицын преложил оное (сие преложение помещено в 3 части *Сочинений* и *переводов* Российской Академии; но и оно так плохо, что невозможно дочитать его до конца). Причина же сему кажется нам та, что тон и слог сей древней русской поэмы более имеет сходства с греческим (и следовательно, также с тоном новейшей поэзии), нежели с простонародным русским, к которому прилажено стихосложение русское»[48]. Предпочтение, хотя и очень условное, Палицына Язвицкому свидетельствует о том, что Востоков отрицал фольклорную природу «Слова». Как показало дальнейшее изучение памятника, в этом споре прав был Язвицкий.

Помимо размера, воспринимавшегося современниками как народный, ощущение фольклорности придает переводу Язвицкого (и тут переводчик следует за Шишковым) обильное употребление постоянных эпитетов. Сохраняя постоянные эпитеты «Слова», Язвицкий, как и Шишков, добавляет свои: «поле чистое», «подхвативши половецких дев, красных полных, как светел месяц», «веют ветры с моря синего»[49] и т.д.

---

46 Чтение, 6. С. 33—34.
47 Карамзин 1964. Т. 2. С. 45.
48 Санкт-Петербургский вестник. 1812. Ч. 2. №6. С. 298—300.
49 Чтение, 6. С. 37—39.

Карамзинисты-«арзамасцы» сравнительно мало интересовались «Словом». Только сам Карамзин в своих исторических штудиях, естественно, уделял древнему памятнику очень большое внимание. Он еще в 1797 г. в журнале «Spectateur du Nord» сообщил европейским читателям о находке «Слова», а несколько позднее (1802) создал литературный портрет Бояна[50]. В «Истории государства Российского» Карамзин часто обращается к «Слову» и в седьмой главе третьего тома дает его подробный пересказ.

В январе 1817 г. В.А. Жуковский начал работу над переводом «Слова»[51]. Его перевод до сих пор считается одним из лучших[52]. Однако он так и остался неопубликованным. Работа не нашла отражения ни в переписке, ни в литературной деятельности друзей Жуковского. Видимо, она не очень занимала их. Да и сам автор, кажется, быстро к ней охладел. Р.В. Иезуитова, подробно проанализировавшая по рукописным материалам работу Жуковского над переводом «Слова», приходит к однозначному заключению: «Сохранившиеся рукописные материалы не дают ни малейших оснований для вывода о намерении поэта продолжать работу над памятником древнерусской литературы»[53].

Перевод Жуковского сохранился в бумагах Пушкина и был опубликован только в 1882 г. Е.В. Барсовым. Издатель приписал перевод Пушкину[54].

По-настоящему вторая жизнь «Слова» началась в «Беседе». Древний памятник, став важнейшим событием русской культурной жизни начала XIX века, сыграл существенную роль в формировании литературной позиции «Беседы», которая усиленно пропагандировала «Слово», обратила внимание на его героический характер, подчеркивала его фольклорную основу и тем самым сыграла значительную и благотворную роль в последующем изучении памятника.

---

[50] Карамзин 1964. Т. 2. С. 147, 156—157. Об изучении Карамзиным «Слова» см. подробную статью Л.А. Дмитриева (Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 3. С. 14—18). Здесь же краткие статьи о переводчиках и толкователях «Слова» в «Беседе» (по алфавиту).

[51] Иезуитова 1989. С. 127.

[52] См.: Еремин. С. 122, 127; Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 2. С. 193.

[53] Иезуитова 1989. С. 132.

[54] Об издании рукописи Жуковского см. статью Л.А. Дмитриева: Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 2. С. 193—194.

Глава 2

ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА В «БЕСЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

В «Речи при открытии "Беседы любителей русского слова"» Шишков охарактеризовал фольклор как второе по степени важности основание русской словесности (первое — книги духовного содержания). «Вторая словесность наша, — утверждал он, — состоит в народном языке, не столь высоком, как священный язык, однако же весьма приятном, и который в простоте своей сокрывает самое сладкое для сердца и чувств красноречие» (4, 140).

На основе славянского языка церковной литературы создаются произведения, обладающие «высотой и крепостью» (4, 140), а функцию изображения внутреннего мира человека, нежных движений души должна взять на себя не сентиментальная литература, опирающаяся на европейские традиции, а литература, ориентированная на отечественный фольклор с его «приятным» языком и «сладким для сердца и чувств красноречием».

В фольклоре, считал Шишков, отражается самое существо народного сознания, народного духа и народного быта во всех его деталях.

Сформулировав во вступительной речи при открытии «Беседы» мысль о важном значении фольклора для русской культуры, Шишков уделяет ему много внимания в книге «Разговоры о словесности между двумя лицами Аз и Буки». Изданная в 1811 г., книга эта, вероятно, была приурочена к открытию «Беседы». Построенная в форме диалогов, она состоит из двух частей: в первой говорится о правописании, во второй — собственно о литературе. Несколько неожиданное диалогическое построение должно было, по мысли Шишкова, подчеркнуть объективную правоту Б., который, излагая

мысли автора, по всем пунктам побивает А., защищавшего противоположную точку зрения. Однако темпераментный, энергичный и нетерпимый Шишков не был способен к объективно-бесстрастному изложению: очень глупый и бесцветный А. покорно соглашается со всеми положениями своего убежденного оппонента[1].

Вторая часть книги целиком посвящена изложению фольклористических взглядов автора. Фольклор для Шишкова принадлежит к старому идеально-утопическому допетровскому миру. Здесь, считает он, сохранились, хотя и «перепорченные, с прибавками и переменами» (3, 76), памятники древней словесности. Отсюда следует, что устное народное творчество хранит в себе первоклассные эстетические ценности. Проблема подлинности (записаны ли действительно бытующие в народе тексты, или некий автор что-то сочинил на основе народных произведений) не очень интересует Шишкова, поскольку «древние красоты» все равно подвергаются трансформации.

Шишков пользуется в основном печатными текстами, с весьма различной степенью достоверности воспроизводящими подлинные произведения устного народного творчества. Определение источников для «Разговоров о словесности» поможет нам по достоинству оценить глубину и оригинальность фольклористических штудий их автора.

Шишков различает три основных вида фольклорных текстов. Это сказки, куда входят и былины; песни; пословицы и поговорки.

«Разговоры о словесности» показывают несомненное знакомство Шишкова с многочисленными изданиями сказок в конце XVIII — начале XIX в. Некоторые из этих сборников «по своей структуре и стилю близки к сказке народной»[2]. И нужно сказать, что Шишков умеет видеть в текстах подлинно фольклорные образы и выражения: «Какая красота представляется взорам его? Такая, у которой тело столь необычной белизны и нежности, что видно, *как из косточки в косточку мозжечок переливается*. Не показывает ли одно сие выражение, с какою тонкостию древние наши писатели умели представлять себе красоту женскую?» (3, 77).

---

[1] С.Т. Аксаков рассказывает, что именно его беседы с Шишковым «вошли в состав “Разговоров о словесности между двумя лицами Аз и Буки” ...Я не мог не смеяться, читая их, потому что нередко узнавал себя под буквою Аз, и весьма часто с невыгодной стороны» (Аксаков, 2. С. 282).

[2] Колесницкая. С. 198. Обзор публикаций русских сказок в XVIII — начале XIX в. см.: *Померанцева Э.В.* Судьбы русской сказки. М., 1965.

Пленившее Шишкова описание встречается в сборнике сказок «Лекарство от задумчивости и бессонницы»: «Царевна Елена прекрасная сидит под окошечком, и у ней из косточек в косточку мозжечок переливается»[3]. Известно оно и в записях подлинных народных текстов: «...девица царевна, румяна, белолица и тонкокожа, аж видно, как мозги переливаются по косточкам», или «алый цвет у ней по лицу рассыпается, белый пух по груди расстилается, и видно, как мозжечок из косточки в косточку переливается»[4].

Чтобы убедить своего оппонента в достоинствах русских сказок, Б. (т.е. сам Шишков) приводит полностью описание выезда доброго молодца, сочиненное Г.А. Глинкой и вставленное в его книгу «Древняя религия славян» (1804)[5]. Сама книга Глинки даже для своего времени была крайне слабой в научном отношении[6], однако стихотворение его по использованию фольклорных мотивов представляет несомненный интерес. Один из современных фольклористов считает, что отрывок этот, хотя и является в целом «плодом личного творчества автора... представляет собою любопытнейший монтаж чисто фольклорных образов и мотивов... Причем... “фольклорные элементы” выступают здесь в соответствующем же фольклорном оформлении, что позволяет предполагать обращение Глинки к сказочной и былинной поэзии... Здесь и традиционная присказка: “Начинается сказка от Сивки, от Бурки...”, здесь сказочные баба-яга, Кощей и змей Горыныч... традиционные сказочные формулы — обращение героя к Сивке-Бурке (“Стань передо мной, как лист перед травой”), ...бег богатырского коня (“Где конь побежит, там земля задрожит”), формула характеристики героя (“ни видать, ни слыхать, ни пером описать, только в сказке сказать”)»[7].

Многие «чисто фольклорные мотивы», о которых говорит исследовательница, на самом деле имеются в печатных сборниках сказок, в частности, как будет показано ниже, в книге Петра Тимофеева «Русские сказки» (1787), вероятно, послужившей Глинке основным источником.

---

[3] Лекарство от задумчивости. С. 100.

[4] Афанасьев. Т. 1. С. 321—324.

[5] Работа Глинки была переиздана в странной книге «Мифы древних славян» (Саратов, 1993. С. 89—140). См. рецензию О. Проскурина: НЛО. №14 (1995). С. 329—331. Цитируемое Шишковым обширное стихотворение находится на с. 106—108 этого издания.

[6] Азадовский. С. 129.

[7] Лупанова. С. 33—34.

В стихах Глинки внимание Шишкова привлекли подлинные народные тексты, почти не подвергшиеся правке, и Шишков цитирует их в своей книге:

Ты сивка, ты бурка,
Ты веща коурка!
Ты стань передо мною,
Как лист перед травою.
(3, 83—84)

Эта постоянная для сюжета о трех конях присказка[8] встречается в упомянутом сборнике Тимофеева: «...Старик свистнул, гаркнул молодецким посвистом, богатырским покриком: сивка бурка, вещая коурка! Стань передо мной, как лист перед травой»[9]. Для Шишкова это описание Сивки-Бурки исполнено «огня и пылкости воображения» (3, 85).

Убедив своего оппонента А. в высокой эстетической ценности сказки, Шишков обращается к анализу отдельных поэтических приемов фольклора. Таково описание сбруи богатырского коня:

На спинку положит
Седельцо Черкаско,
Попонку Бухарску;
На шейку уздечку
Из белого шелку,
Из шелку Персидского...
Шелк не порвется,
Булат не погнется,
И красное золото
Ржаветь не будет.
(3, 85)

Это описание, видимо, также заимствовано Глинкой из сборника Тимофеева: ...приказал привести себе доброго коня, и как привели, то клал на него еседеличко Черкасское, подпружичку Бухарскую, двенадцать подпруг с подпругами шелку Шемаханского, шелк не рвется, булат не трется, яровицкое золото на грязи не

[8] Афанасьев. Т. 3. С. 473 (указатель).
[9] Тимофеев. С. 175, 177.

ржавеет»[10]. В стихотворном переложении Глинка сохранил уменьшительные суффиксы оригинала, и Шишков характеризует их как существенный факт русской фольклорной поэтики: «По свойству языка нашего уменьшительные имена не одно умаление значат, но также и красоту вещи или просто учтивость и ласку» (3, 85—86).

Главное внимание в своих фольклорных штудиях Шишков уделяет народным песням. Как и в отношении к сказкам и вообще к словесности, древность является для Шишкова важнейшим критерием исторической оценки: «...мы под Русскими песнями... разумеем не вообще все песни наши, но только те, которые имеют старинный слог и поются в простом народе» (3, 107). «Простонародные песни, сложенные в низком быту людей», он предпочитает «новым, сочиненным просвещенными умами и в благородных обществах» (3, 108).

В новых песнях «большею частью виден ум» (3, 109), и в поисках «голубиной невинности» Шишков обращается к старинным песням, где и находит «язык сердца, язык истинных чувствований» (3, 125): «Старинные песни... суть лирические рассказы... В них есть и воображение, и сила, и огонь, и язык страсти» (3, 109). И для доказательства этого положения Шишков с большим воодушевлением и точностью пересказывает одну из популярных народных песен: умирающий на ратном поле удалый воин лежит на ковре подле огня, припекая раны свои кровавые... Умирающий воин прощается с конем своим, велит ему... сказать молодой его вдове, что женился он на другой жене, в приданое взял поле чистое, свахою была каленая стрела, а спать положила пуля мушкетная» (3, 109—110).

Если в качестве примера сказки Шишков предложил читателям стихотворный пересказ Г. Глинки, лишь трансформирующий образы подлинной народной сказки, то, анализируя песни, он обращался к истинным фольклорным текстам. Вероятно, основным источником песен послужило Шишкову издание Новикова — «Новое и полное собрание российских песен...»[11] (Ч. 1—6. М., 1780—1781). Во всяком случае, большинство цитированных Шишковым текстов встречается в этом сборнике. Шишков отбирает, в соответствии со своим определением («поются в простом народе»), толь-

[10] Тимофеев. С. 29—30.

[11] В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: НиП, с указанием на часть (римская цифра) и страницу (арабская).

ко подлинные. Вместе с тем, поскольку, с точки зрения Шишкова, древние памятники искажены в современном народном исполнении, он позволяет себе манипулировать текстами песен, сокращать, переставлять, а может быть, и заменять отдельные фрагменты. Не исключены и стилистические замены в некоторых песнях.

Так, например, процитировав следующий текст:

Лежит убит доброй молодец,
Разметав свои руки белые,
Растрепав свои кудри черные,
Из ребер его поросла трава,
Ясны очи песком засыпались, —

Шишков восклицает: «Какая смелая кисть! Какой ужасный вид смерти! Какая страшная картина!» При этом он ни словом не упоминает о финале песни, ибо эта концовка вносит резкий диссонанс в представления Шишкова об идеальной семейной жизни простого народа, верности долгу, почитании старших и пр.:

Убивается его матушка родимая;
Ах, как я тебе, сын, говорила,
Не водись, мой сын, со бурлаками,
Что с бурлаками со ярыгами,
Не ходи, мой сын, во царев кабак,
Ты не пей, мой сын, зелена вина,
Потерять тебе, сын, буйну голову.
(НиП, II, 157—158)

Стремление взять из фольклора только то, что отвечает концепции автора, проявляется в цитировании текстов. Так, рассматривая песню «На восходе красна солнышка», где есть строки:

Молодец ходил по бережку,
Что по бережку Невы реки, —
(НиП, III, 70—71)

Шишков опускает строку «по бережку Невы реки», ибо деревня, а не город является для него средоточием народной жизни. Тем более чужд народному сознанию, с точки зрения Шишкова, должен быть такой европеизированный город, как Петербург.

Последовательно снимает Шишков тему социальных противоречий, обрывая цитаты из народных песен там, где начинает намечаться социальный конфликт. Он с восхищением говорит о «кротости и чувствительности» голубки, у которой сокол растерзал голубка (3, 143—144), сочувственно рассказывает о добром молодце, который пробирается к своей возлюбленной «серой утицей, перепелицей, белой ласочкой, горностаишкою, ясным соколом» (3, 103—104), опуская при этом вторую часть песни, в которой возлюбленный оказывается слугой и обнажается вражда между господином и холопом:

Ах негодница холоп, я с двора тебя сошлю.
Боярыня сударыня, я и сам сойду.
Я и сам сойду, три беды снаряжу:
Ах первую беду, ворона коня сведу,
А другую ту беду, твою дочь уведу,
А третью беду, самоё тебя убью.
(НиП, III, 137—138)

Иногда это стремление взять из фольклора лишь то, что соответствует его представлению о народном характере, приобретает у Шишкова тенденциозный характер. Так, он приводит лишь первые две строки очень популярной песни:

Что повыше было города Царицына,
Что пониже было города Саратова... —

считая, что эти строки «принадлежат к тем стихам, которые самими музами внушаются» (3, 113—120). Но он отказывается от анализа последующих строф этой песни, где говорится о том, как казаки убили князя Меньшикова (НиП, I, 142—143) или, по другому варианту, «царского посланника Карамышева» (Там же, 143—144).

Шишков хорошо постиг эстетическую систему русского фольклора. Это позволило ему создать тщательно продуманную классификацию основных поэтических средств устного народного творчества, которая явилась, по словам М.К. Азадовского, первым по времени сочинением по поэтике фольклора[12]. Эти выделенные Шишковым приемы суть следующие:

[12] Азадовский. С. 146.

1. Повторы. — «Старинное русское стихотворство не только терпит, но и любит повторение, как в именах и целых речениях, так и в предлогах»:

Ах на горе, горе
На высокой горе,
На высокой на горе...

2. Постоянные эпитеты. — «Каждое существительное имело свое прилагательное: красное солнышко, светлый месяц, частые звезды...»

3. Инверсия. — «Помещение сих имен прилагательных позади существительных составляло не малую красоту»:

Отворяет ворота широкие,
Ведет во гридни светлые...

4. Обилие эпитетов. — «Прилагательные имена без всякого разделяющего их знака ставились по два рядом: темный дремучий лес, белая кудрявая береза, крутой красный бережок».

5. Усечение прилагательных, которое «красоту, благогласие и приятность приносило»:

Один у меня мил сердечный друг.

Иногда усеченные прилагательные ставились «по два рядом: бел горюч камень, млад ясен сокол». (Образование ритмически одного слова.)

6. Уменьшительные и увеличительные суффиксы. — «Старинное наше стихотворение любило... в нежных и приятных сочинениях уменьшительные имена:

Ты детинушка, сиротинушка,
Бесприютная твоя головушка.

В шутливых и забавных сочинениях употреблялись иногда увеличительные имена:

Полетел комарище в лесище,
Садился комар на дубище...

7. Идиоматические выражения. — «Некоторые приговорки или прибавочные слова... совершенно особенные, которых ни на какой другой язык перевести не можно, как, например: видом не видать, слухом не слыхать...»

8. «Причастие, кончающееся на *-чи*...

Сидит сова на печи
Крылышками треплючи...»

9. Отрицательные сравнения. — «Особого рода уподобления, которые можно назвать отрицательными...»

Не черная туча из-за гор поднималася,
Поднималося храброе Русское воинство.

10. «Составление стихов таким образом, что, несмотря на полный смысл первого стиха, второй служит ему как бы неким дополнением или красивою прибавкою».

Под мышкою палица
Серебряная,
А под левой меч
Со жемчужиною.
(3, 95—107)

«Разговоры о словесности» были в целом сочувственно встречены критикой. Единомышленник Шишкова С.Н. Глинка с восторженными похвалами перепечатал куски из книги и добавил свои примеры к фольклорным цитатам Шишкова[13]. С некоторыми возражениями выступил издатель «Вестника Европы» М.Т. Каченовский, который, почти полностью согласившись с размышлениями Шишкова о фольклоре, не столь высоко оценил художественные достоинства народной поэзии: «Я не думаю однако ж, чтобы все в них [народных песнях. — *М.А.*] находящееся надлежало принимать за красоты образцовые, достойные подражания. Довольно уж и того, ежели мы будем любоваться ими как произведениями отечественными, как изобретением умов простых, как младенческими невинными игрушками». Анализ же поэтики фольклора, проделан-

[13] С. Глинка (1). С. 80—131; С. Глинка (2). С. 8—43.

ный Шишковым, принят был Каченовским без всяких ограничений: «Сделанные господином сочинителем замечания об отличиях старинного русского стихотворства должны занять место в памяти каждого любителя отечественной словесности; они остроумны и справедливы; они суть плод продолжительного труда и многократных сравнений»[14]. До нас дошел и сочувственный отзыв читателя-современника о работе Шишкова: «Любители нашей словесности много найдут в ней любопытного, особливо в отношении к древнему русскому Стихотворению»[15].

Хотя Шишков был поэтом и переводчиком, его художественное творчество занимает в истории русской литературной жизни неизмеримо меньшее место, чем его теоретические выступления. Тем не менее необходимо отметить, что Шишков активно обращается к фольклору и в художественном творчестве. Так, во время заграничного похода в 1813 г. он по просьбе придворных дам начал было писать небольшую пьесу под названием «Маленький праздник, или Слабая дань благодарности русским воинам в лице главноначальствующего над ними»[16], в которой изображалось, с каким восторгом европейцы встречают русских солдат, победителей Наполеона. Это удивительно слабое и ультрапатриотическое произведение, оставшееся незаконченным, построено в значительной степени на цитатах и реминисценциях русских песен. Так, начинается оно с хора:

Хожу я по улице,
Да не нахожуся.
То-то люли,
То-то люшеньки люли

и т.д., а заканчивается песней «Ехал казак за Дунай».

В архиве Шишкова хранится написанная его рукой незаконченная сказка «Утеха», подражание «Душеньке» Богдановича. Можно думать, что это произведение принадлежит самому Шишкову. Утеха, героиня сказки, является дочерью Амура и Душеньки, и очень интересно, что зачин написан автором в системе русской лубочной и фольклорной литературы:

---

[14] Вестник Европы. 1811. №13. С. 54—55.

[15] *Поленов* [*В.А.*]. О книгах (ОР РНБ. Ф. 1673. Оп. 1. №66. Л. 1об.). О В.А. Поленове (1776—1851) см.: Черейский. С. 338—339; Пушкин 1969. С. 450—451.

[16] Шишков. Записки, 1. С. 188—194.

...добрая старуха,
Старуха по годам, а по уму воструха,
Осенним вечерком
У печки руки грея,
Рассказывала нам из старых новостей
Про волка серого, Петра златых ключей,
Про ведьму киевску и про Летуча Змея,
Про белых лебедей,
Русалок и чертей,
Про всяку всячину, какую лишь знавала.
Вот что нам и про дочь Амура рассказала...

Увлечение фольклором Шишков вносил и в повседневный свой быт. С.Т. Аксаков рассказывает, как он, исчеркав альбом светской красавицы, внес туда фольклорный комплимент хозяйке:

Без белил ты, девка, бела,
Без румян ты, девка, ала,
Ты честь-хвала отцу-матери,
Сухота сердцу молодецкому[18].

Кроме Шишкова большое внимание фольклористическим проблемам, как в художественном творчестве, так и в научных занятиях, уделял Г.Р. Державин, с которым Шишков особенно близко сошелся в начале 1800-х гг. Исследователи давно отмечают усиленный интерес Державина к фольклору именно в 1800-е гг., когда были написаны опера «Добрыня» (1804), «Атаману и войску Донскому» (1807), «Похвала комару» (1807)[19]. Возможно, эти темы выбраны Державиным не без влияния Шишкова.

---

[17] РГИА. Ф. 1673 (А.С. Шишков). Оп. 1. №66. Л. 1об.

[18] Аксаков, 2. С. 30. Следует сказать, что текст Шишкова близок к подлинно фольклорному. Ср.:

Без белил она бела,
Без платья толста,
Без румян румяна...

(Лирика русской свадьбы / Изд. подготовила Н.П. Колпакова. Л., 1973. С. 49).

Эти фольклорные стихи, видимо, были достаточно широко известны. Найдя строку «Ты без белил бела, ты без румян румяна» в стихотворении Ф.Ф. Иванова «Послание к Лиде в день рождения», Батюшков заметил, что «это стих совершенно купеческий» (Батюшков 1989. Т. 2. С. 190, 616).

[19] См., например: Азадовский; Ионин.

Особенно близко к фольклорным образам шуточное стихотворение «Похвала комару», содержащее скрытую цитату из народной песни:

Глас народа мне вещал:
С дуба-де комар упал.
(3, 312, 319)

Из произведений Державина, написанных в эти годы под влиянием фольклора, может быть, наиболее интересен романс «Царь-девица». Справедливо подчеркивая связь этого произведения с фольклором[20], современные исследователи не обратили, однако, внимания на явную параллель первых строк «Царь-девицы» с былиной о Соловье Будимировиче из сборника Кирши Данилова. У Державина:

Терем был ее украшен
В солнце, в месяцах, в звездах...
(3, 86)

Ср.:

На небе солнце, в терему солнце,
На небе месяц, в терему месяц,
На небе звезды, в терему звезды[21].

Это заимствование из былины особенно важно потому, что те же строки из Кирши Данилова упоминаются и Шишковым в «Разговорах о словесности», и Державиным в его литературно-теоретическом трактате «Рассуждение о лирической поэзии, или об Оде».

С 1811 г., т.е. с момента официального создания «Беседы любителей русского слова», Державин начал публикацию этой обширной работы в печатном органе общества. Как мы говорили, он поставил перед собой необычайно масштабную задачу: проследить развитие мировой лирики во времени и пространстве — от Пиндара и до Оссиана, от Индии и до Скандинавии. В этом обширном ряду, естественно, русскому фольклору отводилось сравнительно скром-

---

[20] Соколов. С. 381 и след.; Лупанова. С. 58 и след.; Ионин. С. 59 и след.
[21] Кирша Данилов. С. 7.

ное, но все же заметное место. При этом в державинской трактовке русского фольклора можно заметить сильное влияние фольклористических взглядов Шишкова.

Так же как и Шишков, Державин относится к былинам весьма скептически, не считая их истинным фольклором. Так, он пишет: «...в них нет почти поэзии, ни разнообразия в картинах, ни в стопосложении, кроме весьма немногих. Они одноцветны и однотонны. В них только господствует гигантеск, или богатырское хвастовство, как в хлебосольстве, так и в сражениях, без всякого вкуса. Выпивают одним духом по ушату вина, побивают тысячи бусурманов трупом одного, схваченного за ноги, и тому подобная нелепица, варварство и грубое неуважение женскому полу изъявляющая. А как рассказы таковых побед почти все оканчиваются над татарами, то и должно заключить из сего, что по освобождении уже от ига их они сочинены каким-нибудь одним человеком, а не многими, чем и доказывается не вкус целого народа. Примечания же в них только то достойно, что видны при некоторых случаях повторения, как и в Гомеровых песнях, того же самого и теми же точными словами, что уже выше было сказано» (7, 614—615).

Митрополит Евгений не согласился с мнением Державина о позднем происхождении былин: «Напрасно вы относите к песням “Древние Русские стихотворения” Ключарева. Они суть не что иное, как северные *баллады* или *романсы*, как и сами вы прежде сказали. Гигантеск, или увеличивание, и повторение в них есть сущий северный скандинавский вкус. Хвастовство силою и попойками есть того же происхождения. Гаральд, норвежский принц, воспитывавшийся при дворе Ярославовом в Новегороде и Киеве, также хвастается силою своей. Самая дикость и грубость нравов, изображенных в сих стихотворениях, доказывает древность сей поэзии, хотя вы и вероятно заключаете, что стихотворения сии в татарском веке уже писаны, по крайней мере, духом древнейших сих времен. В наших летописях видно, что праотцы наши были пияки и забияки. Древние наши русские сказки прозаические такого же вкуса. А потому как сказки сии, так и стихотворения Ключарева почитаю я драгоценными для нас, хотя и испорченными остатками нашей древности» (3, 93; отрывок из письма Евгения к Державину, 1809).

Интересно отметить, что Державин принял некоторые положения своего оппонента и позднее дал более глубокую, чем в печатном тексте, интерпретацию былин.

В его архиве хранится беловая рукопись «Рассуждения», совпадающая с текстом, напечатанным в «Чтениях в Беседе любителей русского слова». Державин использовал ее для поправок и дополнений при подготовке «Рассуждения» к публикации отдельной книгой. В этой рукописи рассуждение о былинах перечеркнуто и рядом вклеен листок, на котором Державин записал: «Они [былины. — *М.А.*] сухи, одноцветны и однотонны по гигантеску или богатырскому хвастовству хлебосольством и боями, оказывается в них с одной стороны оттенок грубой скандинавской поэзии, свойственной и нашим предкам по склонности их к молодечеству и попойкам, что выпивают одним духом по ушату вина и побивают трупом одного мертвого татарина, схваченного за ноги, бусурманов до тысячи, а с другой по повторению в некоторых случаях одними и теми же словами того, что уже выше сказано, сходствуют с Гомеровыми поэмами, кроме вышеупомянутой нелепицы и неуважения к прекрасному полу, чего у греков нигде не примечается. Поелику ж все древние русские песни, или старинные наши романсы все почти повествуют о победах наших над татарами, то и должно из сего заключить, что они не весьма глубокой древности, а по освобождении уже России от сих варваров сочинены каким-нибудь одним человеком, а не многими, чем и доказывается не вкус целого народа, которого и нельзя, как в других наших песнях, искать. При всем том они как простонародного [писца?][22] список хотя бы были испорчены, как остаток нашей старины, весьма драгоценны»[23].

Учтя замечания Евгения, в частности, о скандинавах, Державин включил былины в историю развития мировой литературы и более высоко, чем в печатном тексте, оценил их древность. Этот последний вариант нужно рассматривать при выяснении отношения Державина к былинам.

Остановимся на некоторых конкретных замечаниях Державина о «гигантеске» и грубости русских былин. В сборнике Кирши Данилова, по которому Державин знакомился с былинами, он действительно нашел и «ушаты вина», и труп басурманина, схваченного за ноги[24], и, наконец, действительно «неуважение к прекрасному полу»:

---

[22] Зачеркнуто автором.

[23] ОР РНБ. Ф. 247. Т. 5. Л. 97.

[24] Кирша Данилов. С. 19—20, 171—172.

Не умеешь ты, Добрыня, с бабой дратися,
А бей-ка ты бабу по щеке ее,
Пинай ее бабу Горынинку[25].

Не исключено, что Державин был лично знаком с Ф. П. Ключаревым, владельцем сборника стихотворений Кирши Данилова. Грот называет его «приятелем Державина» (4, 106—107). О Ключареве с великим почтением и похвалой писал Державину из Астрахани в 1797 г. И. Маклаков, исполнявший в державинском доме секретарские обязанности (6, 67, ср.: 6, 670). С 1801 г. Ключарев жил в Москве[26]. Здесь он в 1804 г. издал знаменитый сборник, сразу привлекший к себе самое пристальное внимание всего образованного общества. Не исключено, что Державин имел возможность познакомиться и с рукописью, где цитированные нами строки, сильно смягченные в печатном тексте, звучали намного грубее: «...неумеешъ ты добрыня сбабои дратися абеи ты бабу блядь по щеке пинаи растуку мать подгузно аженскои пол отово пухолъ»[27]

Чтобы объяснить эту антиэстетическую грубость, Державин выдвигает гипотезу о позднем происхождении былин и единоличном авторстве[28]. Тем не менее Державин все-таки подчеркивал, особенно в окончательной ненапечатанной редакции, древний дух былин и связь их со скандинавским и гомеровским эпосом. В этом он перекликается с Шишковым, считавшим, что в русских былинах все же сохранились от древности отдельные прекрасные стихи, мысли и выражения (3, 92—93).

Вот почему Державин полагал, что из былин «много заимствовать можно чудесных происшествий» (7, 610). Именно так он и поступает в опере «Добрыня», где учтена и неоконченная поэма Львова, и сказки Левшина, и встречаются чисто фольклорные мотивы[29].

---

[25] Кирша Данилов. С. 144.

[26] О Ключареве см. обстоятельную статью Н.Д. Кочетковой (Словарь XVIII века. Вып. 2. С. 67—70).

[27] Кирша Данилов 1977. С. 191. Напомню, что не менее резко о любовном элементе русских былин писал три десятилетия спустя В.Г. Белинский: «...любовь является в наших народных поэмах так простонародно-неэстетическою, так цинически чувственною, так оскорбительно и возмутительно для чувства, в таких грубых кабацких формах» (Белинский. Т. 5. С. 363).

[28] Белинский тоже придерживался мнения о позднем происхождении былин (Там же. С. 353, 364).

[29] Азадовский. С. 91; Ионин. С. 54—59.

Кроме того, Державин находит в былинах много высокохудожественных образов и неоднократно пользуется ими в теоретических рассуждениях, чтобы показать всякого рода поэтические красоты. Так, в качестве примера «новости, или необыкновенности чувств и выражения... когда поэт неслыханными прежде на его языке изречениями, подобиями, чувствами или картинами поражает и восхищает слушателей...» приводятся уже цитировавшиеся нами строки из былины «Соловей Будимирович»:

Хорошо в теремах изукрашено:
На небе солнце — в тереме солнце и т.д.
(7, 559—560)

Шишков об этих же строках писал: «Построить такое жилище для своей любезной, в котором бы, как в зеркале, видны были все небесные явления, есть мысль высокая, которую бы ни Гомер, ни Виргилий не отвергнули» (3, 92—93).

Даже в качестве примера так называемого «лирического беспорядка», т.е. нарушения последовательного изложения под влиянием сильного одушевления поэта (un beau désordre, по выражению Буало), Державин приводит образ фольклорного происхождения. Он называет этот прием «перескоком, когда в жару мысли теснятся, летят и как всех их высказать не можно, то некоторые из них не договариваются или пропускаются, а важнейшие токмо как бы выпархивают в таком порядке, в каком находились в пылу нашего воображения... сие положение лирика прекрасно изображает наша древняя русская прибаутка:

Он бьет коня по крутым бедрам.
Конь его поднимается
Выше дерева стоячего,
Горы и долы между ног пускает
Быстрые реки хвостом покрывает».
(7, 565)

Строки эти очень близки к соответствующему месту «Сказки о Игнате Царевиче и о Суворе невидимке мужичке»: «...начал коня своего разъяривать, бил его по крутым бедрам, а конь осержается,

от земли отделяется, подымается выше лесу стоячева, что пониже облака ходячева...»[30]

В обработке Глинки цитирует сходные строки и Шишков в «Разговорах о словесности»:

Он ударит коня
По крутым бедрам,
Как по твердым горам.
Поднимается конь
Выше темного лесу...
Он холмы и горы
Меж ног пропускает... —

сопровождая их восхищенным комментарием: «Какое исполинское воображение, и какими благогласными стихами сказанное!» (3, 88).

Приведенные Державиным цитаты важны не только и не столько в качестве свидетельства обращения поэта к фольклорным текстам. Гораздо более существенно, что фольклорные образы рассматриваются Державиным среди самых высоких художественных ценностей, созданных русской литературой. «Новости» и «блестящие живые картины» он находит в былине о Казаренине, и у Петрова, и у Ломоносова (7, 561—562). «Перескоки», по Державину, «пристойны только в чрезвычайно важных, стремительных ощущениях страстей», и следом за «прибауткой» идут цитаты из «Книги Бытия», Ломоносова и Петрова (7, 566). В качестве образца сравнения, наряду с народной песней «...матушка плачет ...так, как река льется и т.д.» (7, 576), приводятся стихи Хераскова и Ломоносова.

Особенное внимание уделяет Державин русской песне. Как и Шишков, он очень высоко оценивает художественные достоинства народных песен, непосредственность и глубину выражения чувства: «Находятся такие [песни. — *М.А.*], в которых видно не только живое воображение дикой природы, точное означение времени, трогательные, нежные чувства, но и философское познание сердца человеческого» (7, 612—613).

Вслед за Шишковым Державин отмечает основные особенности поэтики народных песен: отрицательные сравнения, усечение имен прилагательных и др. (7, 612). Заканчивая обзор народных песен,

---

[30] Лекарство от задумчивости. С. 115. По словам исследователя, «тексты данной книги довольно хорошо передают содержание, строй и стиль народных сказок» (*Чернышев В.И.* Русские сказки в изданиях XVIII века // Сергею Федоровичу Ольденбургу...: Сб. статей. Л., 1934. С. 586).

Державин прямо ссылается на своего предшественника: «Можно о сем читать с великою основательностью писанное Шишковым в разговорах его о словесности, напечатанных в прошлом 1811 году» (7, 614).

Включая русский фольклор в мировую литературную систему и связывая русские былины, как мы видели, со скандинавской поэзией, Державин пытался иногда в художественном творчестве сплавить в единое целое мотивы скандинавской и русской, точнее, псевдорусской мифологии. Такова, например, небольшая пьеса «Пролог на рождение в севере порфирородного отрока, почерпнутый из древнего варяго-русского баснословия» (1799). Там действуют валки, барды, Один, Даждь-бог, Знич, Зимцерла, русалки, кикиморы и проч. (4, 25—34).

Таким образом, русский фольклор воспринимался в «Беседе» как проявление национальной культуры. Он входил в систему духовных ценностей, созданную народом. Подобное представление о фольклоре являлось частью общей романтической переоценки литературных ценностей. Это относилось прежде всего к Гомеру, поэмы которого стояли у истоков всей европейской культуры. В работах Гердера Гомер перестал рассматриваться как идеальный эстетический образец, а стал гениальным выразителем духа древних греков, как Оссиан — гениальным певцом шотландцев.

В «Беседе» принимали романтическую концепцию фольклора, по которой высокую эстетическую ценность имели не только Гомер или Оссиан, но и творения самых примитивных народов (Гердер, например, в рассуждениях об Оссиане с восхищением цитирует латышские и лапландские песни, которые, с его точки зрения, как выражение духа народа, не уступают эстетически Гомеру и Оссиану[31]). Еще Г.А. Гуковский, говоря о романтизме «Беседы», обратил внимание на публикацию в «Чтениях» стихотворения «Песнь курайча Рифейских гор»[32], в котором отчетливо виден не только этнографический, но и фольклорный башкирский колорит: здесь действует и башкирский певец «курайча», и батыры и джигиты, упоминается Дадьжал, о котором в примечаниях рассказывает башкирское предание, и пр.[33].

---

[31] Гердер. С. 32—34.

[32] Гуковский 1946. С. 9.

[33] Чтение, 13. С. 97. Автором этого стихотворения был Тимофей Беляев, крепостной человек Н.И. Тимашева (см.: Поэты 1790—1810-х. С. 497—502, 850—851).

В этой обстановке поверхностный фольклоризм Капниста, который предлагал использовать фольклорный размер для передачи на русском языке «Илиады» Гомера, встретил в «Беседе» резкую отповедь С.С. Уварова. Не согласился со своим старым другом и Державин: «Не метры те или другие дают славу истинную поэтам, а гений, их одушевляющий» (6, 314).

Таким образом, можно сказать, что «Беседа любителей русского слова» сыграла значительную роль в изучении русского фольклора, в создании теории устного поэтического творчества. Усвоение фольклорных текстов отразилось в ряде произведений Державина, в которых фольклорный материал оказался органически использованным в индивидуальном художественном творчестве. В «Беседе» получила широкое распространение романтическая концепция фольклора как выражения национальной культуры.

Глава 3

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА В КРУГУ «БЕСЕДЫ»

В «Речи при открытии “Беседы”» Шишков не только достаточно пренебрежительно отозвался о современной ему ли тера-туре карамзинского толка, но и поставил под сомнение ценность русской словесности XVIII в., возникшей после Петровских реформ. Он отводит этой словесности лишь «третье» по степени важности место в развитии русской литературы. «Первой словесностью», как уже говорилось, Шишков объявлял «книги духовного содержания», «второй» — фольклор, а «третьей» называл послепетровскую литературу: «Третья словесность наша, составляющая те роды сочинений, которых мы не имели, процветает не более одного века. Мы взяли ее от чужих народов, но... слишком рабственно им подражая и гоняясь за образом мыслей и свойствами языков их, много отклонили себя от собственных своих понятий» (4, 141).

Рассуждая об отклонении русской культуры «от собственных своих понятий», Шишков прежде всего метил в давнего своего противника Карамзина. Однако, говоря о «рабственном» подражании русских сочинителей, он, конечно, с полным правом мог включить в их число почти всех литераторов от Кантемира до Новикова.

Подражать общепризнанным образцам отнюдь не считалось зазорным с точки зрения эстетики классицизма. Но где проходит граница между эстетическим принципом и творческой слабостью? В.Г. Белинский через сорок лет после Шишкова и с позиции совсем другой идеологии говорил о слабости и подражательности русской литературы XVIII в., приводя, по сути дела, те же аргументы, что и Шишков: «Русская литература... не возникла самобытно и непосредственно на почве народной жизни, но была результатом крутой

общественной реформы, плодом искусственной пересадки. И потому она сперва была подражательною и риторическою, бедною содержанием, скудною жизнию»[1].

Мысль, что русская поэзия — «не туземное», а «пересадное растение», Белинский повторял неоднократно[2]. Много раз в различных статьях он иронически отзывался о русских писателях XVIII в. от Ломоносова до Хераскова, напоминая при этом, что критики-современники видели в них русских «Гомеров», «Пиндаров», «Вергилиев» и «Малербов».

Та мысль, которая для Белинского служила удачным примером в его концепции поступательного развития культуры (сто лет назад литературы не было, а теперь, в 1840-е гг., она движется к своему расцвету), формулировалась Шишковым для доказательства его идей о пагубном вторжении в культуру чужеродного духа и отклонении от национальных духовных основ.

Для Шишкова хранилищем национальных основ был прежде всего язык, «старый слог», не впитавший в себя чужеземных влияний. Не лишенная романтизма архаическая утопия ведет его к идеализации не только церковнославянских и древнерусских текстов, но и к признанию эстетической ценности русского фольклора (в чем он значительно опередил своих современников).

В литературе XVIII в. он, естественно, должен был признать лишь те тенденции, которые вели, как он считал, к сохранению национальных основ языка — «старого слога». Таким «архаистом» становится в восприятии Шишкова Ломоносов.

ЛОМОНОСОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В ВОСПРИЯТИИ СТОРОННИКОВ «СТАРОГО СЛОГА»

М.В. Ломоносов считался в начале XIX в. общепризнанным «отцом» русской словесности. По его адресу не позволяли себе

---

[1] Белинский. Т. 5. С. 650 (статья «Общее значение слова *литература*»; 1842).

[2] «Поэзия русская не была туземным цветом, свободно и самобытно развившимся из почвы национального духа; но, подобно нашей европейской цивилизации и нашему европейскому просвещению, она была привитым, или — еще вернее сказать — пересаженным растением» (Белинский. Т. 6. С. 600; статья «Сочинения Державина»; 1843).

никаких насмешек даже сторонники «нового слога», несмотря на то, что они постоянно осмеивали применение ломоносовских литературных принципов у других (восторженные похвальные оды, тяжеловесные поэмы и пр.). Так, даже неутомимый боец против «славян», задорный полемист В.Л. Пушкин называл Ломоносова «Пиндаром наших стран»[3].

Тем более уважения снискал себе талант Ломоносова среди сторонников «старого» слога. Можно сказать, что во всей истории русской литературы Ломоносов был самым почитаемым, самым прославленным и даже канонизированным классиком.

Каково же было специфическое отношение к Ломоносову главы будущих «беседчиков» А.С. Шишкова? Ведь он не мог не понимать, что Ломоносов, латинизируя русский синтаксис, реформируя русский стиховой ритм, следуя почти во всех жанрах установленной классицизмом нормативной поэтике, создал едва ли не самые яркие образцы подражательной поэзии, которая ничего общего не имела с русскими народными традициями. Однако Ломоносов был создателем теории «трех штилей», где на первом месте стоял высокий стиль, которым «преимуществует российский язык перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных»[4]. Эта точка зрения вполне устраивала Шишкова, и он считал для себя возможным постоянно обращаться к авторитету Ломоносова, который «умел воспользоваться великим количеством слов [из старинных русских книг. — *М.А.*], умел из сих кирпичей воздвигнуть преславное здание»[5]. «Он пылким воображением своим, соединенным с знанием языка своего, вознесся токмо выше всех современников своих, и главное достоинство его состояло в том, что он умел простой Российский язык сочетать с высоким Славенским языком и, так сказать, один из них растворить другим» (с. 111—112).

В борьбе с современными ему писателями «нового слога» Шишков пытался превратить Ломоносова в своего союзника, подчеркивая, например, что этот поэт мог употребить в стихах такое старинное слово, как *истнить*, «которого знаменование может быть не всякому известно» (с. 49), или цитируя «Российскую граммати-

---

[3] Послание «К В.А. Жуковскому» (Поэты 1790—1810-х. С. 665).

[4] Ломоносов 1952. Т. 7. С. 589.

[5] Шишков. Прибавление. С. 110—111. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте.

ку», в которой Ломоносов ратует за возрождение в «высоком штиле» дательного самостоятельного (с. 64)[6].

Однако красоты древнего славенского языка таковы, что даже Ломоносову не дано было превзойти их. Сравнивая славянские библейские тексты с переложением Ломоносова («Ода, выбранная из Иова»), Шишков пишет: «...не все красоты подлинника (или Славенского перевода) исчерпал он, и едва ли мог достигнуть до высоты и силы онаго...» (с. 72). По поводу изображения Бегемота Шишков замечает: «Мне кажется, изображение крепости и сил толь огромного животного, какой есть слон или единорог, в стихах у Ломоносова не довольно соответствует изображению и употреблению тех же самых сил его... Не отъемля славы у сего великого писателя, мнится мне, что надлежало бы сказать нечто более, нечто удивительнее сего» (с. 77). Заканчивая сопоставление славянского оригинала со стихотворным переложением, Шишков делает заключительный вывод: «...столь превосходный писатель, каков был Ломоносов, при всей пылкости воображения своего, не токмо прекрасными стихами своими не мог затмить красоты писанного прозою Славенского перевода, но едва ли и достиг до оной...» (с. 89).

Некоторая сдержанность по отношению к поэтическому дару Ломоносова именно в переложениях славянской Библии не случайна. Хотя Шишков провозглашает Ломоносова своим союзником, он не может не понимать, что его и ломоносовские взгляды на роль славянизмов в литературном языке существенно расходятся.

Несмотря на похвалу церковнославянскому языку, важнейшая идея знаменитой работы Ломоносова «Предисловие о пользе книг церковных» состояла как раз в ограничении роли славянизмов, которые могут наличествовать только в произведениях «высокого штиля». И, самое главное, Ломоносов при этом вообще исключает из литературного языка слова «неупотребительные и весьма обветшалые»[7].

В самом конце 1810 г., незадолго до открытия «Беседы», Шишков, не называя имени великого ученого, по существу, полемизировал с ним в «Рассуждении о красноречии Священного Писания», защищая именно слова «славенские и неупотребительные, которые начинаем мы оставлять» (4, 90). Эта внутренняя полемика, однако, началась раньше, уже в 1803 г., в том самом «Рассуждении о старом

---

[6] Ср.: Ломоносов 1952. Т. 7. С. 567.

[7] Там же. С. 588.

и новом слоге российского языка», где Ломоносову расточались панегирики (как лирик он выше Малерба и Ж.-Б. Руссо — 2, 122), но где отмечалось и превосходство славянских оригиналов над поэтическими переложениями Ломоносова. В качестве примера славянских слов, которые можно и следует употреблять, вопреки мнению новомодных писателей, названы: *брашно*, *требище*, *рясна*, *зодчество*, *доблесть*, *прозябать*, *наитствовать* (2, 28).

Особенно важно в названном Шишковым ряду слово «рясна» (женские украшения из золота и драгоценных камней), которое Ломоносов привел в качестве примера славенских слов устарелых, обветшалых, вовсе не употребительных: «обоваю», «рясны», «овогда», «свене»[8].

Можно думать, что слово «рясна» поставлено Шишковым намеренно. Он слишком хорошо знал и неоднократно цитировал знаменитое «Предисловие» Ломоносова и, видимо, вступал с ним в сознательную, хотя и завуалированную полемику, стремясь к расширению роли славянизмов и архаических конструкций в литературном языке.

В конце «Рассуждения о старом и новом слоге» были напечатаны два «Письма»: одно от сторонника авторских идей, другое — от его противника. Оба письма составлены, несомненно, самим Шишковым: такой прием издавна был известен в русской журналистике[9]. Первое письмо содержит ряд выписок из произведений разных писателей «для показания хорошего и достойного подражания слога» (2, 291—292).

В числе этих выписок мы найдем отрывок из «Похвального слова Екатерине Второй», сочиненного И.С. Захаровым. Сенатор Захаров, писавший мало и тяжело, был верным последователем Шишкова. Позднее он стал председателем одного из разрядов «Беседы». Его «Слово» написано высоким слогом с обильным употреблением славянизмов, архаических синтаксических конструкций, инверсий и пр.: «“Суворов”, — рекла Екатерина...» (2, 324); «Как бурный вихрь взвился он от стрегомых им границ Турецких...» (2, 324); «Колико благополучных, кои немощи ради человеческой извинены были» (2, 326) и т.д. Велеречивые, высокопарные похвалы Захарова, строго выдержанные в высоком стиле, для Шишкова —

[8] Ср.: Ломоносов 1952. Т. 7. С. 588.
[9] См.: Серман 1981. С. 331—359.

прекрасный образчик героического пафоса русской литературы. Такие произведения, замечает он, «всегда будут в почтении у тех, кои любят русский язык» (2, 331).

В том же самом 1802 г., одновременно с «панегириком» Захарова, появились такие же «похвальные слова» Н.М. Карамзина и М.В. Храповицкого[10]. Поскольку Александр I, как мы помним, по вступлении на престол провозгласил намерение следовать по стопам своей августейшей бабушки — Екатерины II, то похвала почившей государыне как бы распространялась и на царствующего императора, звучала как благожелательное напутствие новому царствованию. В эту пору похвала из круга будущих «беседчиков», еще не сформулировавших своего оппозиционного отношения к Александру I, была вполне естественной, тем более что они в полной мере разделяли программу обращения к идеям и нормам царствования Екатерины через голову только что закончившегося сумбурного владычества Павла I.

Следом за этой серией «похвальных слов», видимо, не позднее 1803—1804 гг. появились и получили широкое распространение и сатирические стихи, направленные против авторов панегириков[11].

Не исключено, что в них можно отыскать и политический подтекст: иронию по поводу льстивых похвал новому императору. Однако читательский успех и широкое рукописное распространение этой сатиры надо отнести за счет оживленного интереса к проблемам литературного языка, назревавшей борьбы «старого» и «нового» слога. Сатирик осмеивает и Захарова с его тяжеловесной архаикой:

Тяжелым, грубым, древним тоном
Тебе псалом свой прохрипел.
Твои деяния, щедроты,
И кротость, разум и доброты
Славянщиной нашпиговал,

[10] Историческое похвальное слово Екатерине Второй, сочиненное Николаем Карамзиным. М., 1802; Похвала Екатерине Великой. Сочинил сенатор Захаров. СПб., 1802; [М.В. Храповицкий]. Слово похвальное Екатерине Второй. СПб., 1802.

[11] См., например, рукописные копии: ОР РНБ. Ф. 247. Т. 28. Л. 58—58об.; ОР РНБ. Ф. 595 (Поленовы). №14. Л. 3об.— 4; РО ПД. Ф. 322. №4. Л. 83. Обычно в копиях отсутствует последняя строфа, посвященная менее известному похвальному слову Храповицкого.

И «сице», «абие», и «убо»,
И «аще», «дондеже», «сугубо»
Твердя, оригиналом стал...

и Карамзина с его новомодной чувствительностью:

К романам, к пасторальну слогу
Имея страсть, скроил эклогу
И слово «милая» вклеил.
Твои и лавры, и трофеи,
И храмы все, и мавзолеи
Слезою нежной окропил.

Оба представителя полярных литературных течений отвергнуты с позиций ломоносовской традиции. Оба они изменили установившимся классическим образцам:

Полезли смело на Парнас,
В разноголосицу завыли,
Слог Ломоносова забыли,
Сей посрамили век и нас[12].

Таким образом, сатира проницательно отмечает, что шишковская архаическая позиция в той же мере удалена от канонической ломоносовской традиции, как и новая школа Карамзина. Автор ее явно причисляет себя к истинным последователям Ломоносова. Эти претензии осмеял неизвестный, в ответных стихах заметивший, что автор сатиры,

По имени одном лишь Холмогорца зная,
Его единого примером ставит в свет[13].

Кто же был этот остроумный и проницательный защитник ломоносовских традиций?

В 1897 г. одесский библиограф Л.С. Мациевич напечатал «Стихи... на похвальные слова императрице Екатерине II» в журнале «Русская старина» по неисправному списку и с подписью: Брежин-

---

[12] Поэты 1790—1810-х. С. 489—490.

[13] Ответ хранится в архиве Хвостова вместе с текстом сатиры. Напечатан в: Поэты 1790—1810-х. С. 849—850.

ский[14]. Под именем Брежинского стихи были напечатаны еще дважды[15]. (Во второй раз — автором этой книги: пользуюсь случаем исправить или, во всяком случае, уточнить принятую атрибуцию.)

Авторство Брежинского может возбудить некоторые сомнения. Мелкий чиновник Андрей Петрович Брежинский (1777 — умер после 1843) служил в Комиссии составления законов. Там он познакомился с Радищевым и бывал в его доме. П.А. Радищев в биографии отца рассказывает: «Лица, посещавшие его во время последнего его пребывания в Петербурге, были: ...Бородавицын, Брежинский, Пнин — молодые люди, слушавшие его с большим любопытством и вниманием». И.П. Пнин, президент Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (ВОЛСНХ), написал на смерть Радищева известное стихотворение («Итак, Радищева не стало...»), обращенное к Брежинскому[16]. Знакомство с Радищевым объясняет несколько повышенный интерес к этому писателю советских историков литературы. Никакого сколько-нибудь заметного следа в русской литературе Брежинский не оставил.

Стихи он писал в основном панегирического характера, восхваляя своих покровителей из куска хлеба насущного. После Комиссии составления законов, в 1804—1808 гг. мы находим его библиотекарем у Платона Зубова, сосланного в свое имение Рюэндаль. Вероятно, попал он на это место не без помощи своих хвалебных писаний: «Долго я боролся, кого избрать своим меценатом, наконец решился вверить мою судьбу Платону Александровичу. Я ему направил Эпистолу довольно пространную. Приложил свою оду к Государю на день коронации и препроводил прошедшею почтою в Москву» (письмо к А.В. Казадаеву, 16 сентября 1801 г.). Сохранилась «Ода на выздоровление моего благодетеля», обращенная к Корсакову и переписанная Брежинским для Казадаева[17].

Позднее Брежинский появляется в кругу Державина и в «Беседе», где он стал членом-сотрудником в шишковском первом раз-

---

[14] Рус. старина. 1897. №11. С. 306. О Мациевиче см.: *Чижов Л.* Мациевич (Библиографическая поминка) // Известия Одесского Библиографического общества. 1917. Т. 5. Вып. 3—6. С. 150—151 (здесь же литература о Мациевиче и список его работ).

[15] Бабкин. С. 248—249; Поэты 1790—1810-х. С. 849—850.

[16] Биография Радищева. С. 99, 124; Бабкин. С. 253.

[17] См.: ОР РНБ. Ф. 325 (Казадаев). №12; Архив Петербургского отделения Института истории РАН. Ф. 238. Оп. 1. №665. Л. 37—50об.

ряде. Есть указание на неопубликованное письмо Державина к Брежинскому от 28 февраля 1816 г., из которого видно, что Брежинский принимал активное участие в спектаклях, ставившихся на домашнем театре. «Без вас театр наш не существует...» — писал Державин[18].

Известные факты биографии Брежинского рисуют нам человека бедного, робкого, ищущего покровителей побогаче и повлиятельнее. С этим обликом плохо вяжется независимый тон сатиры, где автор смеется над Карамзиным, в начале века уже влиятельным и популярным автором, издевается над тайным советником сенатором Захаровым, не щадит и Шишкова с его апологией «славянщины».

Основательный повод для сомнения в авторстве Брежинского дает еще один список популярной сатиры, хранящийся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом). Он называется: «На Захарова и Карамзина, сочинивших по похвальному слову Императрице Екатерине II». Под текстом на бумаге 1797 г. подпись: «Сочинение Марина»[19]. Считается, что бумага в XVIII—XIX вв. расходуется в течение 5—6 лет. Таким образом, можно отнести копию к 1802—1803 гг., т.е. непосредственно ко времени создания сатиры по поводу текстов, напечатанных в 1802 г. Свидетельство современника, если принять наши предположения, заслуживает большего доверия, чем перепечатка с дефектного и неизвестного нам списка в «Русской старине» (источник публикации Мациевичем, как обычно, не указан). Имя же Сергея Никифоровича Марина вводит нас в самую гущу политической и литературной жизни 1800-х гг.

Полковник Марин (1775—1813), один из самых активных участников заговора против Павла I, был блестящим, храбрым и остроумным офицером. Он скончался от ран, полученных в войнах с Наполеоном. Марин не принадлежал к цеховым литераторам, однако его блестящие сатиры пользовались громадным успехом в литературной среде 1800-х гг. Он был автором литературных пародий, посланий, сатир, дружил с Олениным, Денисом Давыдовым,

---

[18] Биография Брежинского, в основном на архивных материалах, восстановлена В.П. Степановым: Русские писатели 1800—1917. Т. 1. С. 325—326. Указаниями Степанова автор пользовался и в настоящей книге, и при написании биографии Брежинского в: Поэты 1790—1810-х. С. 488—489.

[19] РО ПД. Архив М.Н. Лонгинова. 23377/Cα XVII 65.

Крыловым, Шаховским, в сатирах осмеивал Карамзина и его подражателей, называл их «Ахалкиными»[20].

Шишковская позиция была ему достаточно близка, и Марин вместе с Олениным, Крыловым, Шаховским стал в 1811 г. членом «Беседы». Однако он, переводчик и подражатель Буало, не разделял крайних убеждений Шишкова. Именно Марин, если мы будем считать его автором сатиры, первым заметил отход архаистов от поэтической системы Ломоносова и тем самым от канонов русского классицизма, хотя при этом, разумеется, позиция карамзинистов была ему еще более чужда. Таким образом, путь Марина в «Беседу» был вполне закономерен, хотя это и могло удивлять современников, например П.А. Вяземского: «Замечательно и странно, что при такой наклонности к легким стихам он принадлежал не к новой школе, а к староязычеcкой школе Шишкова»[21].

Выступление будущего «беседчика» против основополагающих принципов архаистов показывает, что «Беседа» не была монолитной организацией, как и всякая живая, действующая и развивающаяся творческая группа, созданная на добровольных началах. Здесь были «классики», твердо стоявшие на ломоносовских пози-

---

[20] В «Сатире второй», напечатанной в «Драматическом вестнике» (1808), Марин пишет о Карамзине, называя его Ахалкиным:

Имел бы я слова для всякого случая.
Хваля красавицу — *небесной красоты*,
Тотчас бы я нашел — *прелестней солнца ты*!
Начав другой в стихах — *единственна в вселенной*!
А рифма тут и есть — *ты ангел воплощенный*!
И, словом, говоря не к месту в сих стихах
О солнце, о луне, о вздохах и слезах.
В творении моем без знанья, без искусства
Я мог бы высказать все Ахалкина чувства.

В 1811 г. в третьей книжке «Чтений в Беседе любителей русского слова» Марин печатает программное стихотворение «М<илонову> М<арин> здравия желает», где зло и остроумно издевается над попытками сентименталиста Карамзина избрать «новый путь» — написать историю России:

Пускай наш Ахалкин стремится в новый путь
И, вздохами свою наполнив томну грудь,
Опишет, свойства плакс дав Игорю и Кию,
И добреньких славян и милую Россию.

(Марин. С. 119, 179; Поэты-сатирики. С. 191, 194).

Нет нужды говорить о несправедливости подобного суждения и напоминать, что в 1811 г. Карамзин еще не напечатал свою «Историю государства Российского», а Марин, по всей вероятности, не был знаком с написанными томами.

[21] Вяземский 1878. Т. 8. С. 115.

циях четкого деления литературного языка на «штили», не принимавшие намеренной и подчеркнутой архаизации. (Показательно, что позиция «классиков» выявилась в сатире Марина именно на отношении к литературным принципам Ломоносова.)

Кроме Марина в группу «классиков», как мы показали, могут быть включены И.А. Крылов и Д.И. Хвостов. С другой стороны, интерес «Беседы» к фольклору, хранящему, хотя и в искаженном, переработанном виде, основы национального духа и подлинную народную эстетику, к архаике, сохраненной в духовных книгах, свидетельствует о наличии романтических тенденций среди «беседчиков». Сюда в первую очередь могут быть отнесены сам Шишков, а также Державин и Ширинский-Шихматов.

ТРЕДИАКОВСКИЙ В «БЕСЕДЕ»

Как уже говорилось, в 1802 г. в «Вестнике Европы» Н.М. Карамзин печатает характеристики русских писателей под названием «Пантеон российских авторов». С точки зрения Карамзина, основные достоинства писателя суть «вкус» и «вдохновение». Вкус для Карамзина — основа эстетического чувства, с его помощью отличают «посредственное от изящного, изящное от превосходного, выученное от природного, ложные дарования от истинных»[22]. Влияние романтической концепции искусства сказывается в том, что, по Карамзину, и вкус и вдохновение — не результат учения, а врожденные качества поэта (связь с представлениями классицизма ощущается в требовании «просвещенного» вкуса[23], в утверждении, что «ученик природы» должен быть «доучен искусством»[24]). Так, Ломоносова Карамзин называет «человеком с пламенным воображением», отцом «вдохновенного стихотворства». Он подчеркивает самобытность Ломоносова как творца — «гений его советовался только сам с собою»[25].

По этой же романтической концепции искусства судит Карамзин Тредиаковского, за которым еще в XVIII в. упрочилась репутация поэта бездарного, тупого и недалекого. Восприняв эту традицию, Карамзин отказывает Тредиаковскому в праве называться

[22] Кулакова 1968. С. 211.
[23] Карамзин 1964. Т. 2. С. 159.
[24] Там же. С. 164.
[25] Там же. С. 168.

поэтом: «Если бы охота и прилежность могли заменить дарование, кого бы не превзошел Тредиаковский в стихотворстве и красноречии?

Не только дарование, но и самый вкус не приобретаются; и самый вкус есть дарование. Учение образует, но не производит автора.

Тредиаковский учился во Франции у славного Ролленя; знал древние и новые языки; читал всех лучших авторов и написал множество томов в доказательство, что он... не имел способности писать»[26].

После выхода «Рассуждения о старом и новом слоге» началась бурная полемика о соотношении книжного и разговорного языков. П.И. Макаров, развивая идеи Карамзина и полемизируя с Шишковым, писал в «Московском Меркурии»: «...есть язык средний, тот, который стараются образовать нынешние писатели равно для книг и для общества, чтобы писать, как говорят и говорить, как пишут; одним словом, чтобы совершенно уничтожить язык книжной»[27]. Позднее та же мысль была афористически выражена Батюшковым, у которого «беседчики» проклинают тех,

Кто пишет так, как говорят,
Кого читают дамы...

Шишков протестует против этой излюбленной мысли карамзинистов. «Хотеть писать, как говорим, и говорить, как пишем, есть то же, что поравнять орла с синицею или нос свой с головою своею»[28].

Иначе говоря, карамзинисты ориентируются на разговорный язык, на ясность и понятность. Шишков утверждает, что в художественном творчестве должно употреблять язык особый, отличный от повседневного, сохраняющий связь с традициями книжной русской словесности. Тредиаковский с его намеренно утяжеленной лексикой, ориентированной на церковнославянизмы, писатель, которого в наказание читали придворные Екатерины II (анекдот этот приводит Карамзин в «Пантеоне»), в этом плане был фигурой, как будто нарочно созданной для литературной полемики.

В «Видении на берегах Леты» (1809) Батюшков так характеризует Тредиаковского:

---

[26] Карамзин 1964. Т. 2. С. 165.
[27] Московский Меркурий. 1803. Декабрь. С. 180.
[28] Шишков. Прибавление. С. 122.

...наездник хилый
Строптива девственниц седла,
Трудолюбивый, как пчела,
Отец стихов «Тилемахиды».

И тут же подчеркивает непонятность его творчества: только «отец "Тилемахиды"» оказывается в состоянии понять неуклюжие, изобилующие славянизмами стихи Боброва[29].

Как образец бездарности изображен Тредиаковский молодым Пушкиным (1816):

...на груды сел и прозы и стихов —
Тяжелые плоды полунощных трудов,
Усопших од, поэм забвенные могилы!
С улыбкой внемлет вой стопосложитель хилый:
Пред ним растерзанный стенает Телемах;
Железное перо скрыпит в его перстах
И тянет за собой гекзаметры сухие,
Спондеи жесткие и дактилы тугие[30].

Стремясь к созданию русской национальной литературы, Тредиаковский в своих теоретических рассуждениях выдвигал три основных источника, на которых она должна была строиться: во-первых, церковнославянский язык, который Тредиаковский считал древним и благородно-возвышенным аспектом русского языка; во-вторых, старинная русская поэзия (силлабическая) и, наконец, русский фольклор[31]. Два из этих трех аспектов: церковно-славянский язык, сохранившийся в духовных книгах, и народную поэзию, — как мы видели, считал определяющим для развития русской литературы и А.С. Шишков, сформулировавший эти положения в программной речи при открытии «Беседы»[32].

В 1773 г. Тредиаковский издал книгу под названием «Три рассуждения о трех главнейших древностях российских, а именно: 1. О первенстве словенского языка перед тевтоническим. 2. О

[29] Батюшков 1964. С. 95, 99.

[30] Пушкин 1999. С. 189. О восприятии «арзамасцами» Тредиаковского как патрона славянофилов см. там же комментарий на с. 669.

[31] См.: Гуковский 1964. С. 47.

[32] Чтение, 1. С. 38—39.

первоначалии россов. 3. О варягах руссах славенского звания, рода и языка»[33].

В этом странном, тяжело написанном сочинении, изобилующем фантастическими рассуждениями и этимологиями (Рогнеда — та, которая «рог не дала, девица, рога не дающая, то есть высоты и твердости не уступающая»; «московиты» происходят от библейского Мосха и пр. — с. 248, 163), последовательно проводилась мысль о древности России и ее языка, устанавливалось единство славян и скифов, сходство славянского языка с современным, единство современного и древнего в общем славено-российском языке. Все это подкреплялось горячим патриотизмом автора: «...древнейший сей язык Скитфский [скифский. — *М.А.*] называю я Словенским от *слова* не по любви к нашему Славено-российскому, к которому подлинно горю пламенным сердолюбием и который произошел с прочими славенскими от того Славенского первейшего...» (с. 25).

Можно думать, что Тредиаковский оказал некоторое влияние на лингвистические штудии Шишкова. Возможно, последний назвал свое сочинение «*Рассуждением* о старом и новом слоге *российского* языка» в унисон книге Тредиаковского. Не исключено, что и замысловатые этимологические изыскания Шишкова и других «беседчиков» (например, напечатанное в «Чтениях» рассуждение В.В. Капниста «Краткое изыскание о гипербореанах. О коренном российском стихосложении»[34]) тоже возникали не без влияния идей Тредиаковского.

У нас нет прямых свидетельств чтения в «Беседе» «Трех рассуждений». Однако в числе подписавшихся на эту книгу мы найдем М.М. Хераскова, князя М. Щербатова, прапорщика Державина и др. Державин пожертвовал «Беседе» свою библиотеку. В числе других там могла находиться и книга Тредиаковского.

Подтверждением серьезного интереса «беседчиков» к филологическим трудам Тредиаковского может служить следующий факт. В одном месте Шишков позволил себе посмеяться над стихами Тредиаковского: «Писать без дарования будешь Тредьяковский», — но тут же оговорился: «Я разумею о стихотворстве Тредьяковского; что ж принадлежит до исторических переводов его и писаний в прозе, то оныя отнюдь не должны почитаться наравне с его стихами» (2, 121).

---

[33] Тредиаковский 1773; далее указания на страницы этого издания приводятся в тексте.

[34] Чтение, 18; Капнист, 2. С. 165—168.

В 1802 г. в защиту Тредиаковского с подчеркнуто антикарамзинских позиций выступил молодой литератор Я.А. Галинковский, в 1800-е гг. резко порвавший с карамзинской традицией и быстро сблизившийся с кругом А. С. Шишкова.

Творческая деятельность Галинковского проанализирована в содержательной статье Ю.М. Лотмана «Писатель, критик и переводчик Я.А. Галинковский»[35]. Однако с последовательно проводимым Ю.М. Лотманом отторжением Галинковского от «Беседы любителей русского слова» согласиться нельзя. По своим родственным и дружеским связям Галинковский входил в круг «Беседы»: он был женат на родственнице первой жены Державина, близко сошелся со стареющим поэтом и активно помогал ему в работе над трактатом «Рассуждение о лирической поэзии»[36]. Организационно и идеологически Галинковский также принадлежал «Беседе»: он с самого основания общества стал членом-соревнователем 2-го разряда, где председателем был Г.Р. Державин[37], и ему «назначено было делать извлечения из общего круга литературы»[38], а в 1812 г. он становится секретарем общества[39].

В журнале «Корифей, или Ключ литературы» Галинковский дал развернутую характеристику Тредиаковского, отметив прежде всего его ученость: «Он был... первый профессор нашего красноречия, первый знаток древних авторов, человек необыкновенно глубокого знания в науках, человек, который едва ли являлся с тех пор с таким обширным учением... он один написал более полезных книг, нежели десять современников...»[40] Основное место в рассуждениях Галинковского занимает определение роли Тредиаковского в создании русского стиха: «...обесславили память его за одну смелую идею ввести в российский язык *стопосложение греческое*. В то самое время вводил Ломоносов *германские* стопы и рифмы, которые нимало не превосходнее сами по себе и имели только предстателем великое лично-особенное дарование. Ему надобно было идти против воды: он упал и под бременем сего великого предприятия; силы языка были еще слабы, необразованны в толь ранние годы нашей словесности. Соперник его был сильнее, восторжествовал, и мы

---

[35] Лотман 1959. С. 238—240, 246 и др.
[36] Там же. С. 254—255.
[37] Чтение, 1. С. X.
[38] Чтение, 2. С. 20—21.
[39] Десницкий. С. 124 и след.
[40] Корифей, или Ключ литературы. 1802. Ч. 1. С. 68.

забыли память его! Свидетельствуюсь его бессмертным духом, его творениями, что это не благородно. Время отмстит некогда сию обиду»[41].

Уже Ю.М. Лотман обратил внимание на удивительное (и в высшей степени маловероятное для случайного совпадения) сходство этих рассуждений с мыслями Радищева о роли Тредиаковского в истории русского стихосложения[42]. Именно Радищев первым противопоставил Тредиаковского Ломоносову и упрекнул последнего за ограничение русского стиха одними ямбами[43].

Следует обратить также внимание на то, что апология Тредиаковского помещена Галинковским в первой книге «Корифея», посвященной исторической науке. Называя имена наиболее крупных историков, Галинковский вспоминает Роллена, и поскольку Тредиаковский был его переводчиком, то далее и идет не лишенная запальчивости похвала, отрывки из которой цитировались выше. Она заканчивается обращением: «Читатели простят мне сие отступление». Принципиальный характер защиты Тредиаковского становится, таким образом, очевидным и особенно подчеркнутым.

С точки зрения Карамзина, отсутствие вкуса автоматически выводило Тредиаковского из круга писателей, заслуживающих серьезного внимания, поскольку в карамзинском кругу критерий вкуса был одним из самых важных. В то же время противники Карамзина довольно спокойно говорят о дурном вкусе Тредиаковского. В этом вопросе они также имели своим предшественником Радищева. В последней главке «Памятника дактило-хореическому витязю» (начало 1800-х), работы, написанной специально для того, чтобы объективно и в целом положительно оценить деятельность Тредиаковского, Радищев четырежды говорит о том, что Тредиаковский не имел вкуса, и заканчивает трактат категорическим суждением: «...Тилемахида есть творение человека ученого, но не имеющего о вкусе нималого понятия»[44].

Нельзя, разумеется, утверждать, что «Памятник», напечатанный в 1811 г., был известен участникам споров о Тредиаковском уже в 1800-е гг., хотя в таком предположении и нет ничего невозможного. Поскольку Николай Радищев, издатель сочинений отца, был

[41] Там же. С. 69.

[42] Лотман 1959. С. 242—244.

[43] См. главу «Тверь» в «Путешествии из Петербурга в Москву» (Радищев 1938. Т. 1. С. 353).

[44] Там же. С. 221.

деятельным членом «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», он, весьма вероятно, ознакомил своих сочленов с ненапечатанным сочинением отца, а при значительном, как мы видели, интересе к Тредиаковскому в первом десятилетии XIX в. «Памятник дактило-хореическому витязю» мог получить и более широкое распространение.

Во всяком случае, отсутствие вкуса у Тредиаковского не помешало Радищеву, в отличие от карамзинистов, рассматривать его как значительного писателя. То же отношение к Тредиаковскому найдем у митрополита Евгения. Этот почетный член «Беседы», постоянный литературный советчик Державина и большой знаток русской и мировой литературы, неустанно подчеркивает многообразные заслуги Тредиаковского перед отечественной словесностью. При этом понятие вкуса для Евгения есть нечто второстепенное, не определяющее подлинного значения писателя: «В Тредиаковском даже больше поэзии, нежели в Кантемире. Но вкус у обоих равен, и, право, нельзя предпочитать одного другому». Здесь Евгений, видимо, спорит с Шишковым, который не находил у Тредиаковского поэтического дара и ставил его гораздо ниже Кантемира.

Евгений находит поэтические достоинства и в «Тилемахиде». «Вкус словесности с веками переменяется, и для потомства, может быть, многие из наших современников покажутся Тредиаковскими. Если бы перевести на греческий язык (ибо на другой никакой невозможно) Телемахиду Тредиаковского, то и она показалась бы Гомером. Ибо в ней есть множество выразительных красот, но в старинном уже для нас наряде, как и у самого Гомера»[45]. Он не устает повторять, что Тредиаковский был основателем нашей литературы и наставником всех следовавших за ним поэтов, вплоть до современных: «Отец нашей тонической поэзии есть г. Тредиаковский»[46]. «Без него, может быть, не видали бы мы ни Ломоносова, ни Сумарокова...»[47]

Трудность, тяжеловесность с ориентацией на архаику и церковнославянизмы придают слогу, с точки зрения «беседчиков», истинную выразительность и торжественность. По этому пути шли они как в теоретических своих исследованиях («Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» Шишкова), так и в практическом их осуществлении (наиболее показательно в этом отношении твор-

[45] Евгений — Хвостову. С. 152 (письмо от 14 августа 1813 г.).
[46] Библиографические записки. 1858. Т. 2. С. 248—249.
[47] Евгений — Хвостову. С. 150 (письмо от 24 июля 1813 г.).

чество С.А. Ширинского-Шихматова). И именно на этом пути учителем своим, говорит Евгений, должны они считать Тредиаковского: «...Петров, кажется, оглядывался и на него и не брезговал иногда самовымышленными выражениями, похожими на Тредиаковского. Сие-то в нем брезгливые критики назвали надутою славянщизною. Но славянщизна останется для нас навсегда пробным камнем красноречия нашего»[48].

Несколько более сдержанно, чем в личной переписке, те же самые идеи Евгений высказал и в предназначенном для печати «Словаре русских... писателей», подводя здесь итоги своим размышлениям о Тредиаковском: «Сей муж был первым учителем не только российского красноречия, но и новейшего российского стихотворства и имел все классические об них сведения, хотя собственные его стихотворения и проза не сделались образцовыми. ...последователи Тредиаковского превзошли его изяществом слога, хотя в теории сего искусства он был сведущ не меньше их, а в тонической поэзии действительно упредил их. ...Что касается до содержания его сочинений, то достойны они всякого уважения за обширные и глубокие литературные сведения, коими почти все наполнены, и доказывают великую его начетливость древних и новых классических книг. Он сверх того был трудолюбивейший и неутомимейший из русских ученых, как то видно из весьма многих изданных и неизданных его сочинений и переводов»[49].

В 1811 г. появилась книга члена «Беседы» Н.И. Язвицкого «Введение в науку стихотворства[50]. Здесь Тредиаковскому посвящено семь страниц (118—125); для сравнения стоит заметить, что о Ломоносове и Сумарокове вместе говорится всего на двух (125—126).

Язвицкого более всего поражает диапазон научной, переводческой и поэтической деятельности Тредиаковского. Свою характеристику он начинает с восхищения перед человеческими качествами несправедливо осмеянного поэта: «Бессмертный по своему трудолюбию Тредиаковский, вероятно, более познакомил Россиян со стихотворством. Великий по терпению его ум пробудил природную леность в человеке, возбудил охоту к чтению. Тредиаковский воскресил в своих переводах древних и новых писателей стихотворства

---

[48] Там же.

[49] [*Митрополит Евгений*]. Словарь русских светских писателей. М., 1845. Т. 2. С. 215—216.

[50] Он, как и Галенковский, был членом-соревнователем во втором разряде. См.: Чтение, 1. С. X; Приложение 1.

и красноречия»[51]. Тредиаковский для Язвицкого — основатель русского стихосложения, и во «Введении» приводятся обширные цитаты из оды «по случаю сдачи города Гданска»: эта ода «достойна особенного внимания потому, что была самая первая на языке Русском и написана в 1734 году»[52].

В отличие от многих других защитников Тредиаковского, Язвицкий признает даже поэтический его талант и в качестве примера хороших стихов цитирует начало известного перевода из «Второзакония»:

Вонми, о! небо, и реку,
Земля да слышит уст глаголы:
Как дождь я словом потеку;
И снидут, как роса к цветку,
Мои вещания на долы[53].

С точки зрения Язвицкого, Тредиаковский — основоположник всей русской литературы: «...не должно над ним смеяться и презирать его, ибо он был началом и основанием того храма Поэзии, который великолепием своим не уступает ни Греческому, ни Римскому, ни храмам, сооруженным руками новейших народов»[54].

Ответ на книгу Язвицкого был дан А.Х. Востоковым, выдающимся ученым, одним из самых видных членов Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Это общество заняло по отношению к Тредиаковскому, как и вообще в литературной жизни, промежуточную позицию. Если И.М. Борн, один из руководителей общества, отмечал, хотя и с некоторыми оговорками, заслуги Тредиаковского в области русского стихосложения: «...он первый с 1735 года ввел *окансию* или стопы и писал Гекзаметрами (Телемахида); но стихи его не имеют плавности и приятной звучности ямбов, хореев и дактилей. Впрочем, неусыпные его труды в русской словесности, по всей справедливости, заслуживают нашу признательность»[55], — то Востоков сводит на нет бесспорную истори-

[51] Язвицкий. С. 119.
[52] Там же.
[53] Кстати сказать, эти действительно очень хорошие строки Тредиаковского зазвучали и в «оттепельной» беллетристике. В популярной повести И. Грековой «На испытаниях» их цитирует один из главных положительных героев, генерал Сиверс (Новый мир. 1967. №7. С. 15).
[54] Язвицкий. С. 134.
[55] Борн. С. 147.

ческую заслугу Тредиаковского — создание силлабо-тонической системы стихосложения: «...хвалят Тредиаковского только за его трудолюбие и терпение; смеются же над ним за смешные его стихи; презирают его как дурного стихотворца, который не имел ни гения, ни вкуса. Пусть он первый начал писать стихи стопосложные, но Ломоносов и Сумароков, верно, не требовали в том его руководства и сами весьма легко могли попасть на ту же стезю, имея перед собою Немецкие и Французские образцы, которым следовал и Тредиаковский. А посему и кажется нам очень сомнительно, чтобы сей последний мог быть назван *началом* и *основанием* нового стихотворства Российского»[56].

Сам ученый-филолог, Востоков не был удовлетворен филологическими штудиями Тредиаковского, которые к началу XIX в., конечно, уже устарели, особенно по сравнению с работами самого Востокова. Однако исторической перспективы в оценке деятельности своего предшественника автору «Опыта о российском стихосложении» явно не хватало.

В отличие от Радищева (в 1812 г. Востоков уже наверняка был знаком с «Памятником дактило-хореическому витязю», а в том, что он знал главу «Тверь» «Путешествия из Петербурга в Москву», сомневаться трудно), Востоков всячески умаляет в «Опыте о российском стихосложении», своей важнейшей работе, историческую роль Тредиаковского: «...Тредиаковский ...имел отвагу затевать новое, только не имел вовсе дарования и вкуса к учинению нового своего привлекательным; и потому своею ославленною Тилемахидою ославил размер, каким она написана, и надолго отвратил от оного публику»[57].

Очевидно, авторитет Востокова оказал влияние и на «Словарь древней и новой поэзии», очень популярную в свое время книгу Н. Остолопова, тоже члена «Вольного общества». Автор этого труда, целыми страницами цитируя работы Востокова, избегает упоминания имени Тредиаковского[58]. Так, в «Словаре» помещена большая статья о гекзаметре, принципиально важная с точки зрения составителя, так как «екзаметр почитается совершеннейшею из всех существующих форм поэзии, ибо заключает в себе главнейшую прелесть гармонии — разнообразие...»[59]. Замалчивая роль Тредиа-

[56] Санкт-Петербургский Вестник. 1812. № 4 (первое издание книги А.Х. Востокова «Опыт о российском стихосложении»).

[57] Востоков. С. 29.

[58] Остолопов. Ч. 1. С. 232, 238; Ч. 2. С. 218 и след.

[59] Там же. Ч. 1. С. 306.

ковского в создании русского гекзаметра, Остолопов только в самом конце громадной для словаря тридцатистраничной статьи уделяет ему несколько строк: «Оканчивая статью сию, напомним читателям, что Екзаметр вводим был в русский язык Тредиаковским, который перевел оным странствование Телемака и назвал перевод свой Тилемахидою; после Тредиаковского размер сей оставлен в совершенном забвении и появился опять в начале текущего столетия»[60].

В 1811 г. один из последователей Шишкова — И.С. Рижский, ректор Харьковского университета, в книге «Наука стихотворства» особо подчеркнул роль Тредиаковского как создателя русского стихосложения: «...в 1735 г. ...г. Тредиаковский, признав, что древнее Греческое и Латинское стихосложение сродно нашему языку, и показав свойственные оному правила слогоударения, первый предпринял ввести в наши стихи следующие стопы: ямб, хорей, дактиль и анапест»[61].

Оживление интереса к Тредиаковскому именно в 1811 г. было, очевидно, связано с официальным открытием «Беседы». На торжественном заседании, посвященном этому событию, прозвучала упоминавшаяся выше речь Шишкова, в которой он высказал положения, близкие принципам Тредиаковского.

Кроме того, Шишков опубликовал в 1811 г. одну из самых интересных своих филологических работ — «Разговоры о словесности», где он называет «основателями стихотворных сочинений наших Кантемира, Тредиаковского и Ломоносова» (3, 44).

Не исключено, что в этих работах он испытал некоторое влияние литературных взглядов Радищева. Политические идеи книги Радищева, несомненно, должны были ужаснуть Шишкова, однако литературная позиция автора «Путешествия из Петербурга в Москву», особенно четко выраженная в главе «Тверь», была не только вполне приемлема для Шишкова, но он мог с успехом черпать из нее нужные аргументы для борьбы с карамзинистами. И рассуждения Радищева в этой главе, и включенная в нее ода «Вольность» с ее запутанным синтаксисом и архаической лексикой, ориентированными на церковнославянский язык, и намеренная затрудненность стиха в целях «выражения трудности самого действия», и повышенное внимание к одическому жанру как лучшему средству

[60] Остолопов. Ч. 1. С. 335—336.
[61] Рижский. С. 29.

передачи высокого гражданского пафоса во многом были близки «беседчикам». Поэтому вполне объяснимо, что, характеризуя в «Разговорах о словесности» роль Тредиаковского в создании русского стихосложения, Шишков так же, как и Радищев, противопоставляет Ломоносова Тредиаковскому: Ломоносов, имея «великий дар, но последуя немецким стихотворцам, приучил нас к одним ямбам», а Тредиаковский «старался нам растолковать латинские хореи, дактили и анапесты; но не умея учения своего подкрепить сильными примерами и важными произведениями, не мог поселить в нас охоты к подражанию» (3, 47).

Большой интерес к Тредиаковскому в 1811 г. проявил и Державин. Он использовал строки Тредиаковского в переводе «Из второй песни Моисеевой»:

Вонми, о небо! что реку.
Земля, услышь мои глаголы:
Как дождь, на нивы потеку.
И как роса, на злачны долы...
(3, 412)

На обороте одного из черновиков этого стихотворения Державин набрасывает письмо об открытии «Беседы», и, может быть, это случайное совпадение показывает, как в сознании Державина параллельно существовали мысли о Тредиаковском и о деятельности «Беседы».

Свою работу в обществе Державин начал с создания и публикации обширного трактата «Рассуждение о лирической поэзии, или об Оде». На первой же его странице Державин упоминает Тредиаковского как своего предшественника: «...еще в 1752 году покойный профессор Тредиаковский писал о сем предмете...» (7, 530). В отличие от Евгения и Язвицкого, признание Тредиаковского у Державина не является апологетическим — он достаточно осторожен и более традиционен в своих оценках. В письме к Евгению (16 июня 1816 г.) Державин замечает: «...Тредиаковский был муж ученый и знал правила риитики и риторики (этого у него оспорить нельзя); но то беда, что не имел только вкуса...» (6, 382). С точки зрения Державина, главная заслуга Тредиаковского — не в создании русского стиха вообще, а в попытке, хотя и не удавшейся до конца, создания тонического, т.е. народного, размера: «...прокладывал несколько путь к древнему тоническому стихосложению г. Тредиаков-

ский, но ему не удалось превозмочь их, и никто ему в том до нынешнего времени не последовал, несмотря на то, что народные наши песни подражательны древним греческим...» (7, 604).

С именем Тредиаковского связана также литературная дискуссия о русском гекзаметре, развернувшаяся на страницах «Чтений» в «Беседе любителей русского слова». В десятой книжке Галинковский поместил перевод первой эклоги Виргилия, выполненный русским гекзаметром, т.е. тем дактило-хореическим размером, каким написана «Тилемахида». В предисловии к переводу Галинковский подчеркнул свою зависимость от Тредиаковского, сказав, что его мысль *«о введении у нас древнего размера* не переставала быть великою, прекрасною и достойною внимания стихотворцев»[62].

Поэтому когда в 13-й книге «Чтений» С.С. Уваров выступил с советом Н.И. Гнедичу переводить Гомера дактило-хореическим размером, то соотнесение этого совета с опытом Тредиаковского подразумевалось само собой.

И В.В. Капнист, отвечая Уварову, упрекает своего оппонента за то, что тот обратил Гнедича «на стезю утоптанную вечной тяжелостихослагательной памяти сочинителем Тилемахиды! — Поступок сугубо-злоумышленный, и для меня и для г-на Гнедича; — а наипаче для читателей его»[63]. Подняв брошенную ему перчатку, Уваров в остроумном и доказательном ответе для защиты Тредиаковского обращается к авторитету Радищева: он приводит обширную цитату из главы «Тверь», в которой Радищев противопоставляет Тредиаковского Ломоносову[64].

Капнист, продолжая спор в оставшемся в свое время неопубликованным письме, вновь несколько раз пренебрежительно упоминает Тредиаковского как создателя неудачного русского гекзаметра[65].

Несмотря на огромный теоретический интерес, полемика Уварова с Капнистом не имела уже практического значения, ибо Гнедич к ответу на первое письмо Уварова приложил гекзаметрический перевод шестой песни «Илиады». Не следует думать, что в решении Гнедича совет Уварова сыграл главную роль. Сам Гнедич еще в студенческие годы, по словам С.П. Жихарева, «...три раза

[62] Чтение, 19. С. 121.
[63] Чтение, 17. С. 21.
[64] Чтение, 17. С. 58—61.
[65] Капнист. Т. 2. С. 198, 209, 223.

прочитал “Телемахиду” от доски до доски и даже находил в ней бесподобные стихи...»[66].

С появлением перевода Гнедича спор не только о русском Гомере, но и вообще об интерпретации античной поэзии на русской почве был решен на многие десятилетия и вплоть до наших дней: дактило-хореический размер, создателем которого был Тредиаковский, становится важнейшим инструментом усвоения Россией всей античной культуры.

Таким образом, именно деятельность «Беседы» оживила имя Тредиаковского и упрочила в представлении карамзинистов духовную связь осмеянного поэта с «беседчиками». Невозможно поэтому согласиться с утверждением Ю.М. Лотмана в его ранней работе «К характеристике мировоззрения В.Г. Анастасевича» (она, кажется, позднее не перепечатывалась): «Карамзинисты неизменно зачисляли Тредиаковского в духовные отцы “Беседы” Однако подобное определение имело полемический смысл, реальный же характер литературной позиции шишковистов оснований для подобного отношения не давал»[67]. Как видим, именно реальная литературная позиция шишковистов давала карамзинистам все основания для использования образа осмеиваемого поэта в литературной борьбе. И они этими возможностями широко воспользовались.

Из лагеря «арзамасцев»-карамзинистов шел непрерывный поток насмешек, которыми осыпались «халдеи Беседы» и их духовный отец — Василий Кириллович Тредиаковский. Еще в «Видении на берегах Леты» (1809) Батюшков изображает сторонников Шишкова, его «сочленов», слагающих «варяго-росские» стихи на манер Тредиаковского, а сам «зело славенофил» изображен в иронической высокопарной тираде, которую Батюшков вкладывает в уста Тредиаковского:

...О муж, умом не скудный!
Обретший редки красоты
И смысл в моей «Деидамии»,
Се ты! Се ты!..[68]

Во имя концепции «Тредиаковский — вдохновитель архаистов» Батюшков идет на явное искажение фактов. Шишков считал Тре-

[66] Жихарев. С. 191.
[67] Лотман 1958. С. 26.
[68] Батюшков 1964. С. 100—101.

диаковского плохим поэтом и отрицательно отзывался именно о «Деидамии»: «...был он хотя и весьма худой стихотворец, однако ж, который ввел стопосложение в российские стихи и первый писал анапестами и дактилями». Далее Шишков, сравнивая Кантемира с Тредиаковским и приводя стихи из «Деидамии», говорит, что в трагедии Тредиаковского Ахиллес «изъясняется любовнице... смешным и странным слогом», в то время как Кантемир умеет описать «вестовщика и болтунью... прекрасными и остроумными стихами...»[69].

Как мы говорили, в период непосредственной организации «Беседы», в 1810—1811 гг., Н.И. Гнедич имел некоторые личные трения с этим кругом литераторов (особенно с Державиным). По всей вероятности, именно тогда написал он прозаическую шутку «Символ веры в Беседе при вступлении сотрудников», которая начинается кощунственной пародией: «Верую во единого Шишкова, отца и вседержителя языка Славеноваряжского...» И далее Гнедич называет Тредиаковского пророком и вдохновителем «беседчиков», объектом их поклонения: «...с отцем Беседою поклоняема славима глаголанного пророком Василием Тредиаковским»[70].

Батюшков в сатире «Певец в Беседе любителей русского слова» (1813), возможно не без связи с «Символом» Гнедича, изображает поклонение «беседчиков» Тредиаковскому:

Се Тредьяковский в парике
Засаленном, с кудрями,
С «Тилемахидою» в руке,
С Ролленом за плечами!
Почто на нас, о муж седой!
Вперил ты грозны очи?
Мы все клялись, клялись тобой
С утра до полуночи
Писать, как ты, тебе служить...

Деятельность «Беседы любителей русского слова» носила подчеркнуто серьезный характер. Создание высоких литературных жанров (ода, поэма), «речи», «слова», «рассуждения», трактаты «о литературе», «исторические сочинения» и пр. — все это несовмес-

[69] Шишков 1803. С. 408—409.
[70] Арзамас, 1. С. 165.
[71] Батюшков 1964. С. 148.

тимо с веселой и остроумной литературной полемикой (исключения, вроде поэмы Шаховского «Расхищенные шубы», редки). Одним из таких немногочисленных в этом кругу полемических выпадов является стихотворение В.Г. Анастасевича, в котором он высмеивает поверхностное зубоскальство хулителей Тредиаковского, не умеющих оценить его истинных, главным образом исторических, заслуг:

...наши умники, не зрев ее [Тилемахиды. — *М.А.*] в мой век,
Кричат наслышкою: ты глупый человек!
И слов пяти собой сложить не зная сами,
Живут чужим умом, вовек слывя скворцами.
Не гневайся, мой друг, не слушай ты их врак,
Пусть попугаи все твердят: «Дурак, дурак!»

Чрез века три тебе хвалу воздаст потомство,
Что первый с музами ты россов ввел в знакомство[72].

Вопрос о связях Анастасевича с «Беседой» достаточно сложен, так как формально членом общества он никогда не был[73]. Однако «арзамасцы» воспринимали деятельность Анастасевича как поддержку «Беседы». Так, у Батюшкова в сатире «Певец в Беседе...» он характеризуется как «холуй Анастасевич»[74]. Имя Анастасевича иронически упоминается в речах на собрании «арзамасцев». Может быть, именно за сочувственное отношение к Тредиаковскому и недоверие к тем, кто живет «чужим умом» и «твердит» чужие мысли (намеки на европейские интересы карамзинистов), и попал Анастасевич под «обстрел» «Арзамаса»[75].

Таким образом, в кругу «Беседы любителей русского слова» сложилось совершенно особое отношение к творчеству В.К. Тредиаковского — весьма сочувственное после многих лет насмешек и презрения, которым певец Телемака постоянно подвергался еще с легкой руки императрицы Екатерины II. Лишь Радищев, как уже говорилось, защищал «дактило-хореического витязя» в работе,

[72] Поэты 1790—1810-х. С. 566.

[73] Литературу вопроса и аргументы (не очень, впрочем, убедительные), противопоставляющие Анастасевича «Беседе», см.: Брискман. С. 65—69, 255.

[74] Батюшков 1964. С. 151.

[75] Существует предположение, что Д.П. Северин посвятил ему целую речь при вступлении в «Арзамас» («Арзамас» и «арзамасские» протоколы. С. 41).

написанной в 1801 г., чуть раньше «Рассуждения...» Шишкова, а напечатанной много позже (1811).

После выхода «Рассуждения о старом и новом слоге» (1803) имя Тредиаковского становится едва ли не знаменем, разделяющим два резко полемизирующих лагеря: сторонников «старого слога» (шишковистов-«беседчиков») и «нового слога» (карамзинистов-«арзамасцев»). Для архаистов Тредиаковский — хранитель истинно русских национальных традиций, достойный серьезного изучения. Для новаторов — анахронизм, враг хорошего вкуса, достойный лишь осмеяния.

С позиций карамзинизма неизменно выступали Батюшков, Жуковский, В.Л. Пушкин и др., с позиций «беседчиков» — не только Шишков и Державин, но и такие второстепенные литераторы, как митрополит Евгений, Язвицкий, Рижский и многие другие.

Позиция А.С. Пушкина была более сложной. Хотя он и советовал Батюшкову в 1814 г.:

...Тредиаковского оставь
В столь часто рушимом покое;
Увы! довольно без него
Найдем бессмысленных поэтов...[76] —

однако сам спустя два года в послании «К Жуковскому» (1816) изображает Тредиаковского автором священной книги «беседчиков», которые

...руку положив на том «Телемахиды»,
Клянутся отомстить сотрудников обиды[77].

Позднее отношение Пушкина к Тредиаковскому в корне переменилось. Он был очень недоволен карикатурным изображением Тредиаковского в романе И.И. Лажечникова «Ледяной дом» и в 1835 г. писал автору: «Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле... Волынского играет он лице мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать без негодования на его мучителя»[78].

---

[76] Пушкин 1999. Т. 1. С. 57.
[77] Там же. С. 190.
[78] Пушкин, XVI. С. 62.

В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833—1834) дана очень точная, сохраняющая свое значение и до наших дней характеристика Тредиаковского. Пушкин отмечает прежде всего его научные, филологические заслуги, но в то же время отдает должное и несомненным достоинствам Тредиаковского-поэта: «Тредиаковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывает необыкновенное чувство изящного. В “Тилемахиде” находится много хороших стихов и счастливых оборотов. Радищев написал о них целую статью (см. собрание сочинений А. Радищева). Дельвиг приводил часто следующий стих в пример прекрасного гекзаметра:

Корабль Одиссеев,
Бегом волны деля, из очей ушел и сокрылся.

Вообще изучение Тредиаковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков верно не стоят Тредиаковского, — habent sua fata libelli»[79].

РАДИЩЕВ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ «БЕСЕДЫ»

Мы видели, что Шишков отдавал лишь внешнюю дань уважения канонизированному имени Ломоносова. Глава архаистов не мог не понимать глубоко новаторского и западнического характера деятельности знаменитого ученого и поэта.

Вместе с тем в XVIII в. были две фигуры, на чью деятельность «Беседа» могла опираться в своих теоретических построениях. Главным противником Ломоносова был Василий Кириллович Тредиаковский, а Карамзину в исходе XVIII столетия противостояла оригинальная фигура Александра Николаевича Радищева.

Радищев вошел в историю русской литературы прежде всего как автор весьма радикальной и сразу же по выходе запрещенной кни-

[79] Пушкин, XI. С. 253—254.

ги «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790). Хотя книга была сразу же изъята из обращения и открытые упоминания о ней были запрещены вплоть до начала XX в., многие современники хранили и самоё книгу (даже переписывали ее[80]), и память об авторе. Политическим радикализмом, который показался опасным «бунтарством» Екатерине II в самые острые годы Французской революции, отнюдь не исчерпывалась ни идеологическая, ни литературная позиция Радищева. Современники знали его как автора многих других произведений, как оригинального мыслителя, прозаика и поэта.

Очень сложным и своеобразным было отношение Радищева к проблеме стилистических норм русского литературного языка. «Путешествие из Петербурга в Москву» было написано весьма архаизованным стилем, хотя, казалось бы, по композиции, подчеркнутому субъективизму описаний и многим «чувствительным» сценам приближалось к европейскому сентиментализму.

Свои литературные позиции и взгляды на задачи русской поэзии Радищев сформулировал, как известно, в главе «Тверь» «Путешествия из Петербурга в Москву» и уточнил в трактате «Памятник дактилохореическому витязю» (ок. 1801). Следовал он им и в своей литературной практике.

Основные положения Радищева сводятся к следующему: 1. В стихах следует употреблять различные стихотворные размеры (кроме ямбов — хорей, дактиль, гекзаметр). Поэтому заслуживает внимания и опыт Тредиаковского в «Телемахиде». 2. Рифма для стиха отнюдь не обязательна. Постоянное употребление ее — лишь результат бездумного подражания французам. 3. Текст стихотворения может быть неясен, «темен», когда речь идет о сложных и глубоких идеях. Читатель должен приложить усилие для понимания текста. (Стихотворец жалуется, что в Москве не хотели напечатать оду «Вольность» потому, что «смысл в стихах неясен...».) 4. В стихах главное не гармония, а выразительность. Отсюда следует, что стих может быть «туг и труден на изречение», если этого требуют художественные задачи. 5. В одном стихотворном произведении (в том числе в эпической поэме) могут употребляться различные стихотворные размеры.

---

[80] О многочисленных списках «Путешествия» см.: Кулакова 1956; в настоящее время таких списков насчитывается 96. См. статью В.А. Западова «История создания “Путешествия из Петербурга в Москву” и “Вольности”» в кн.: Радищев 1992. С. 475 и след.

Радищев умер в 1802 г., «Беседа» официально открыла свои заседания в 1811 г. Непосредственного контакта между Радищевым и шишковистами не было. Однако в «Беседу» входили люди, чьи творческие и личные контакты с Радищевым несомненны, и они в какой-то мере могли явиться в «Беседе» проводниками радищевских литературных идей. Таким был, например, А.П. Брежинский, по свидетельству П.А. Радищева посещавший писателя в последние годы его жизни[81]. Членами «Беседы» были видные деятели ВОЛСНХ А.Х. Востоков и А.А. Писарев, хорошо знакомые с творчеством Радищева.

Вполне естественно, что стилистические поиски Радищева не вызвали сочувствия у карамзинистов, хотя его либеральные идеи, несомненно, могли заинтересовать их, а трагическая судьба должна была вызывать симпатию у всякого порядочного человека.

В 1804 г. в журнале «Северный вестник» его издатель И.И. Мартынов перепечатал главу «Клин», конечно, без имени автора. Будучи в основном сторонником карамзинской реформы, Мартынов не принял стилистических поисков Радищева. Он снабдил публикацию извинительным примечанием: «Читатели найдут в сем сочинении не чистоту Русского языка, но чувствительные места. Издатели смеют надеяться, что тени усопшего автора первое будет прощено для последнего»[82].

Последовательная развернутая критика стилистических позиций Радищева последовала из лагеря карамзинистов в 1809 г. Речь идет о рецензии на «Собрание оставшихся сочинений покойного Александра Николаевича Радищева». Издание было выпущено сыновьями покойного писателя в 1806—1811 гг. и состояло из шести небольших томиков. Рецензия появилась в журнале «Цветник» еще до его завершения. «Цветник» издавался А.П. Беницким, который был автором большинства рецензий, печатавшихся в этом журнале, и, по всей вероятности, интересующего нас отзыва о сочинениях Радищева. Беницкий был наиболее последовательным сторонником Карамзина в рядах «Вольного общества любителей словесности наук и художеств»: «Литературная позиция Беницкого отличается устойчивостью и принципиальностью. Наряду с Батюшковым он представляет в «Вольном обществе» группу, тяготевшую к «очистителям языка»; в своих критических произведениях он

[81] Биография Радищева. С. 99—100.

[82] Цит. по: Серман 2001. С. 122. Обстоятельную биографию Мартынова, написанную А.Л. Зориным, см.: Русские писатели 1800—1917. Т. 3.

заявлял себя убежденным противником шишковистов, боролся за «чистоту, плавность и ясность изложения, против высокопарных речений в духе старообрядцев российской словесности. ...После смерти Беницкого... критико-библиографический отдел журнала, еще при Беницком заостренный по преимуществу против архаистов, в 1810 году превратился в трибуну карамзинистов...»[83]

Беницкий прекрасно понял принципы радищевского творчества и на материале первой части «Собрания оставшихся сочинений» подверг резкой и последовательной критике его литературную позицию. По всей видимости, Беницкому было известно и «Путешествие из Петербурга в Москву», так как он одно за другим отрицает сформулированные в главе «Тверь» положения. С точки зрения Беницкого, недостатком Радищева является то, что «все почти у него стихи без рифм <...> без меры и так сказать без слогоударения». Трудность произнесения для критика также отнюдь не достоинство: «Когда начнете их [стихи. — *М.А.*] читать, то принуждены будете беспрестанно почти запинаться или выговаривать навыворот целые речения». Отмечая, что в стихах Радищева «попадаются иногда изрядные мысли и довольно удачные выражения», рецензент формулирует важный общий недостаток радищевской поэзии: «...вообще нет плавности в его стихах». И, наконец, основной упрек Радищеву с позиций карамзинизма заключается в отсутствии единого стиля, в употреблении архаизмов и просторечия[84]: «...в его стихах главнейшая погрешность есть та, что вместе с высокими славенскими словами перемешаны слова простонародные, низкие, которые никогда и в хорошем разговоре не употребляются. Не смешно ли бы было, если бы мы увидели на театре актера в древнем жреческом одеянии, а в мужичьей шапке, рукавицах и в лаптях? Так же точно смешно видеть после слов: *зане, очи, вежды* — *потяготу* и *черну немочь*. И то и другое есть в богатырской повести: Бова Королевич»[85].

В марте 1816 г. состоялось торжественно-шуточное заседание «Арзамаса». В члены антибеседного сообщества принимали В.Л. Пушкина. Дядя будущего великого поэта, сам талантливый и остроумный писатель, был человеком покладистым и доверчивым. Он безропотно проходил через все испытания, устроенные его

[83] См. биографию Беницкого (написана В.Н. Орловым) в кн.: Поэты-радищевцы. С. 654—655.

[84] Подробнее об этом см.: Серман 2001.

[85] Цветник. 1809. Ч. 1. №2, февраль. С. 271—283.

веселыми друзьями, любителями шуток и розыгрышей, — Жуковским, Блудовым и др. Среди испытаний было и такое: Василий Львович должен был выстрелить из лука в огромное безобразное чучело в парике и маске. Чучело персонифицировало дурной вкус в лице адмирала Шишкова. На груди его висела надпись — строка из «Тилемахиды»[86]. Д.В. Дашков, обращаясь к неофиту, патетически восклицал: «Смело сразишься... с гидрою Беседы, с сим нелепым чудовищем, столь красноречиво предсказанным в известном стихе патриарха Славенофилов:

Чудище обло, озорно, огромно, с тризевной и лаяй»[87].

Таким образом, церемония подчеркивала историческую преемственность бездарных писак, отторженных от истинного искусства. Тредиаковский снова провозглашался духовным отцом «Беседы». Однако в данном случае дело обстояло не столь просто. В самом деле, почему Дашков называет «известным» именно этот стих «Тилемахиды»? Ответ может быть только один: потому что Радищев употребил эту строку в несколько измененном виде в качестве эпиграфа к «Путешествию из Петербурга в Москву»:

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй[88].

Книга Радищева была широко известна. Как мы видели, ее знали и цитировали в «Беседе». Страшное чудовище, «Дурной вкус», воплощало, по мнению шутников, последовательное сохранение и развитие дурного вкуса у Тредиаковского, Радищева, Шишкова.

Можно было ожидать дальнейшего обыгрывания исторической преемственности этой триады с подчеркиванием имени Радищева как современника и антагониста Карамзина в области художественной прозы и литературной критики. (Не забудем, что два путешествия, Радищева и Карамзина, появились почти одновременно: в 1790 г. — «Путешествие из Петербурга в Москву», в 1791—1792 гг. —

---

[86] Подробный рассказ об этой церемонии см.: Гиллельсон 1974. С. 81 и след.

[87] Арзамас, 1. С. 337.

[88] Возможную отсылку к книге Радищева во время веселой церемонии отмечали некоторые исследователи (Д.Д. Благой, М.И. Гиллельсон). Они увидели в этом намеке уважение «арзамасцев» к творчеству Радищева (см.: Гиллельсон 1974. С. 83).

«Письма русского путешественника».) Рецензия Беницкого, говорившего о смешном стиле Радищева, могла быть только первым шагом.

Однако дальнейших насмешек над Радищевым из лагеря «арзамасцев», насколько нам известно, не последовало. Радищев явно не подходил для роли сатирической мишени, шута и дурного поэта, хотя шесть томиков его сочинений появились в 1806—1811 гг. и представляли, несомненно, лакомую пищу для таких мастеров литературной игры, какими были «арзамасцы».

Причина была в личности Радищева. Хотя его сочинения вполне могли быть достойны осмеяния, автор их, перенесший суровые правительственные гонения, не мог вышучиваться и осмеиваться, по крайней мере, публично. В 1818 г. Вяземский, небрежно отмахиваясь от сочинений Радищева, отдавал дань уважения его незаурядной личности: «У нас обычно человек не виден за писателем. В Радищеве напротив. Писатель приходится по плечу, а человек головою его выше»[89].

Видимо, поэтому многочисленные насмешки «арзамасцев», минуя Радищева, сосредоточились на другом современном Карамзину и Радищеву поэте, чья личность не была столь значительной, а биография — столь трагической. Однако его творчество на короткое время оказалось достаточно заметным в литературной борьбе начала XIX в. Речь идет о Семене Сергеевиче Боброве (1763—1810). Как справедливо пишет современный исследователь, в начале XIX в. литературная репутация Боброва была очень высока: журналы разных направлений ищут его сотрудничества; он не раз причисляется к ряду крупнейших поэтов современной России[90]. По своим архаическим принципам творчество Боброва оказалось близким радищевской поэтике. Радищев хвалил его произведения; Бобров, в свою очередь, разделял многие воззрения Радищева. (Об отношении к Боброву в «Беседе» будет сказано немного позднее.)

Произведения Боброва, не лишенные таланта и выразительности, вместе с тем отличались тяжеловесностью, какой-то диковатой неуклюжестью, темнотой и непонятностью. В 1804 г. он выпустил четыре тома своих сочинений под громоздким названием: «Рассвет полночи, или Созерцание славы, торжества и мудрости порфиро-

---

[89] Письмо Вяземского к А.Ф. Воейкову от 2/14 декабря 1818 г. цит. по: *Лотман Ю.М.* П.А. Вяземский и движение декабристов // Лотман 1997 (2). С. 451.

[90] Проскурин 2000. С. 82.

носных, браноносных и мирных гениев России с последованием дидактических, эротических и других разного рода в стихах и прозе опытов». А в 1805 г. он написал злой памфлет на только что умершего издателя «Северного Меркурия» П.И. Макарова: «Происшествие в царстве теней, или судьбина Российского языка 1805 года, Ноября... дня, Санктпетербург»[91]. Макаров был врагом шишковистов. В 1803 г. он напечатал умную и аргументированную статью против «Рассуждения о старом и новом слоге», чем вызвал яростное, но не очень убедительное опровержение Шишкова — «Примечания на критику, изданную в *Московском Меркурие* на книгу *Рассуждение о старом и новом слоге*».

Памфлет Боброва был направлен против Макарова и против Карамзина. Он, видимо, был достаточно хорошо известен в литературных кругах, и Бобров быстро сделался излюбленной мишенью будущих «арзамасцев».

Борьба карамзинистов с Бобровым блистательно проанализирована в работе Олега Проскурина «Поминки по Бибрису. Почему в “Вестнике Европы” смеялись над покойником»[92]. Отсылая читателя к этой работе, мы лишь напомним некоторые факты полемики, имеющие прямое отношение к «Беседе любителей русского слова».

Нападки на Боброва оживляются вместе с активизацией подготовки к открытию «Беседы». В «Видении на берегах Леты» (1809) Константина Батюшкова появляется мрачный «изувер», «виноносный гений», цитирующий свои жесткие трудно произносимые стихи: *роща ржуща ружей ржет* и пр.

А в 1810 г. (вскоре после смерти Боброва) Батюшков изобразил его вдохновителем «беседчиков». Бобров, таким образом, становится современным воплощением Тредиаковского:

Я вижу тень Боброва:
Она передо мной,
Нагая, без покрова,
С холерой и чумой;

---

[91] Парадный подносной экземпляр этого памфлета был обнаружен, изучен и опубликован с исчерпывающими комментариями Ю.М. Лотманом и Б.А. Успенским. Предисловием к этой публикации стала фундаментальная работа «Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры». См.: Лотман, Успенский.

[92] См.: Проскурин 2000. С. 81—115.

Сугубым вздором дышит
И на скрижалях пишет
Бессмертные стихи,
Которые в мехи
Бог ветров собирает
И в воздух выпускает...
Им дышит граф Хвостов,
Шихматов оным дышит...[93]

Тогда же Вяземский написал злое «Письмо к издателю о поэте Боброве». Вероятно, оно предназначалось для «Вестника Европы». В «Письме» Вяземский изобразил поминки по только что умершему Боброву и издевательски цитировал «лучшие стихи... из песнопений полночного Пиндара»[94].

Будущие «арзамасцы» осыпают покойника злыми эпиграммами, смеются над его пьянством, непонятностью и глупостью его стихов и пр.:

Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться.
(Батюшков)

или:

Нет спора, что Бибрис богов языком пел:
Из смертных бо никто его не разумел.
(Вяземский)

В то же время в кругу «Беседы» имя Боброва, который умер как раз накануне открытия общества, пользовалось большим уважением. Бобров в свое время был знаком с Радищевым. Они оба сотрудничали в журнале «Беседующий гражданин» (1789). В поэзии Боброва (поэма «Таврида», 1798) нашли воплощение многие литературные принципы Радищева (отсутствие рифмы, затрудненный синтаксис, сложный метафоризм и т.д.). Радищев похвалил «Тавриду» сразу после ее выхода в своей поэме «Бова» (ок. 1799)[95]. Мож-

[93] Батюшков 1989. Т. 2. С. 132, 608 (с датой: апрель—май 1810). О. Проскурин предлагает датировать эти стихи июлем — началом августа 1810 г. См.: Проскурин 2000. С. 110—111.
[94] Арзамас, 1. С. 153—156.
[95] См.: Алексеев. С. 173—173, 185—194.

но быть почти уверенным, что Радищев и Бобров встречались в Петербурге в 1801—1802 гг., и есть основания полагать, что состоящая из четырех стихотворений «сюита» Боброва, посвященная «новостолетию», является творческой перекличкой с известным стихотворением Радищева «Осьмнадцатое столетие»[96].

Бобровым восхищался Державин, ему подражал Жихарев, тоже член «Беседы»[97], у него учился Ширинский-Шихматов. Отметим, что в числе немногих подписчиков на последнюю книгу Боброва «Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец» стоит имя А.С. Шишкова. Так через творчество Боброва идеи Радищева опосредованно входили в «Беседу».

Державин еще в 1790 г. познакомился с «Путешествием» и, каково бы ни было его отношение к личности и идеям автора, надо думать, прочел его достаточно внимательно[98]. Однако только в 1812 г. он теоретически формулирует принципы создания «трудных стихов» и выполняет эти принципы на практике (см., например, стихотворение «Жилище богини Фригги»).

Радищев одним из первых русских писателей откликнулся на находку «Слова о полку Игореве». Его поэма «Песни петые на состязаниях в честь древним славянским божествам» построена на реминисценциях «Слова». Радищев рассматривает древний памятник как торжественную поэму и в соответствующем духе изображает величественное стечение славян к алтарям своих богов[99]. При этом, как и в других своих произведениях, он пользуется арсеналом псевдославянской мифологии Чулкова (Перун, Святовид, Велес, Стрий, Позвизд, Ний и т.д.). Князи и песнопевцы у Радищева «вступают во златые стремена», «шествуют стройно на конях своих бодрых», за ними идут «лики юношей и дев», «сонм жен... шествует», «ветр препнул свое дыхание» и т.д.

Такое же торжественно-эпическое понимание «Слова» было свойственно кругу «Беседы». Мы уже говорили о той роли, которую сыграло «Слово» в формировании литературных взглядов «Беседы», деятели которой сразу же после публикации, одними из первых, обратили внимание на этот выдающийся памятник. Здесь позиции Радищева и будущих «беседчиков» сошлись. В этой связи пред-

[96] См.: Альтшуллер 1977. С. 114—124.
[97] Жихарев. С. 399, 421, 561.
[98] Западов 1965. С. 530—537.
[99] См.: Альтшуллер 1969. С. 197—198.

ставляется не случайным одинаковое понимание одного из трудных мест «Слова» Радищевым и Шишковым.

Первые издатели памятника поняли рассказ о десяти соколах как метафору и соответствующее место перевели следующим образом: «Памятно нам по древним преданиям, что, поведав о каком-либо сражении, применяли оное к десяти соколам, на стадо лебедей пущенным»[100].

Для Радищева эти строки очень важны, он берет их эпиграфом к поэме: «Тогда пущает 10 соколов на стадо лебедей, которой дотечаше, та преди песнь пояше...», и вся поэма строится как реминисценция этого места «Слова».

С точки зрения Радищева, рассказ о соколах — не поэтическая метафора, а изображение подлинных обычаев славян. У каждого из песнопевцев на руке сидит сокол, которого спускают на стадо лебедей. Тот певец имеет право на первую песнь, чей сокол первым сбивает лебедя. «Зане обычай был таков, что сокол, поражающий лебедя, назначал череду в песнопении, и чей был первой, тот первую воспевал песнь, и все другие по чреде своих соколов»[101]. Поэма была задумана как песня десяти певцов, принявших участие в состязании (была написана или сохранилась лишь первая песнь — Всегласа).

А.С. Шишков, в 1805 г. выпустивший свой перевод и толкование «Слова», тоже не согласился с переводом Н.Н. Бантыша-Каменского и А.Ф. Малиновского. Для него десять соколов тоже не метафора и тоже состязание для определения первенства: «Из древних преданий известно нам, каким образом славные во бранях князья и полководцы решали состязание свое о преимуществе. Десять мужей выезжали на чистое поле, каждый с соколом на руке, они пускали их на стадо лебединое: чей сокол скорее долетал, тот и первенство одерживал, тому и песнь воспевалася»[102].

У Радищева певцы сами состязаются своими соколами, у Шишкова состязатели — князья, а соревнование определяет, кому из князей первому воспоют певцы. Впрочем, нужно заметить, что Радищев сочинял поэму и был свободен в своих реминисценциях, Шишков же объяснял и переводил древний текст. С учетом этого различия толкование темного места «Слова» у обоих авторов совпа-

---

[100] Слово о полку Игореве. С. 12.

[101] Радищев. Т. 1. С. 55 (в дальнейшем ссылки на это издание — в тексте).

[102] Сочинения и переводы, издаваемые Российскою академиею. СПб., 1805. Ч. 1. С. 202.

дает. Хотя поэма Радищева была напечатана лишь в 1807 г., не исключено, что она в рукописи была известна Шишкову и при сходстве литературной позиции оказала известное влияние на его перевод и толкование «Слова», опубликованные двумя годами раньше и три года спустя после смерти Радищева.

Поэма Радищева рассматривает славянскую культуру как самостоятельное явление в одном ряду с греческой и кельтской. Боян Радищева торжественно поет в «горних чертогах света» «в беседе Омира и Оссиана». Восприятие «Слова» в оссиановском ключе было общим местом литературных представлений начала века. Естественно, что в произведении, написанном по мотивам «Слова», оссиановские образы были весьма уместны. У Радищева эту тематику вносят в поэму кельтские племена, о жестоком набеге которых повествует Всеглас. При этом перечисление географических названий позволяет Радищеву показать территориальную близость славян и кельтов и тем самым, описывая борьбу этих племен, говорить о равноправии их культур. Названия, взятые у Оссиана (Улин, Тул, Морвен), соседствуют с русскими (Нева, Ладога):

Уже прошло тому и год и больше,
Как многолюдные колена Кельтски,
Сложив свои все силы
Во ополчение едино

Чрез Северный Улин, и Тул, и Морвен,
И острова Гебридски

До самых тех брегов
И низких и болотных,
Где тихая Нева
Свои глубоки волны
Из Ладоги влечет.

(1, 61—62)

Возникают в поэме Радищева и гомеровские образы. Так, Радищев изображает языческих славянских богов:

Уж Знич со Ладою в союзе
Взлегли на одр супружней, одр туманной,

И тепла мгла в парах прозрачных
Взлетела и взвилась высоко.

(1, 59)

Сцена эта напоминает опочивание Зевса и Геры на Иде:

Рек, и в объятия сильные Зевс заключает супругу...
Там опочили они, и одел почивающих облак,
Пышный, златой, из которого капала светлая влага[103].

Изображая певца старца Всегласа, Радищев пишет о нем гекзаметрами, и в сознании читателя невольно возникает образ другого старца — Гомера:

Старец умолк — и, очи поникши, стоял неподвижен,
Будто на казнь осужденной. Протекшие скорби предстали
Живы уму его, силою воображенья.

(1, 68)

Гомер и Оссиан становятся важнейшими литературными фигурами для романтического сознания начала XIX в. Оссиан и был порожден развитием романтизма, а Гомер, в его антиклассическом восприятии противопоставленный Вергилию, становится одним из знамен романтического движения. Творчество Радищева, таким образом, развивалось в русле нового магистрального течения русской и мировой литературы.

И вместе с тем это новое романтическое (точнее, преромантическое) направление, отрекаясь от рационалистической системы классицизма, часто обращалось к архаичной, считавшейся ранее дикой, безыскусной поэзии, ища в ней образцы подлинного самовыражения, к которому должен стремиться поэт. Интерес к не упорядоченной по европейским стандартам древней и народной поэзии сближал сторонников «старого слога» с преромантической русской поэзией 1790—1800-х гг. (А.Н. Радищев, С.С. Бобров, Г.П. Каменев).

---

[103] «Илиада», песнь XIV, 356—361 (пер. Н.И. Гнедича).

Глава 4

МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ: «ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ В НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Летом 1812 г. в Петербурге начал выходить еженедельный журнал «Сын Отечества». Редактором и издателем его был умный и энергичный Николай Иванович Греч (член-сотрудник «Беседы»). Журнал получил полное одобрение властей, финансовую поддержку императора и сразу стал очень популярным. Тираж его достигал невиданных по тем временам цифр: 1200—1800 экземпляров[1].

В 1812 г. на несколько месяцев прекратились регулярные заседания «Беседы» и соответственно задерживался выпуск очередных номеров «Чтений». В период Отечественной войны идеологические, патриотические позиции «Сына отечества» и «Беседы» полностью совпали. Члены «Беседы» активно сотрудничали в журнале Греча. Мы говорили, что Крылов помещает здесь свои патриотические басни. Первый номер «Сына Отечества», вышедший после падения Москвы, открывался песней Ивана Кованько (член-сотрудник первого разряда), которая быстро была подхвачена солдатами и вошла во многие песенники:

Пусть Москва в руках французов,
Это, право, не беда...

Песня заканчивалась оптимистическим прогнозом:

Мы умеем отомщать:
Знает крепко то Варшава,
И Париж то будет знать.

---

[1] См.: Греч 1990. С. 179—187.

В журнале печатают патриотические материалы и другие члены «Беседы»: М. Шулепников, П. Львов. Самым крупным явлением патриотической публицистики в «Сыне Отечества» стали «Письма из Москвы в Нижний Новгород» Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола.

Этот выдающийся член «Беседы» был «человеком замечательной эрудиции, блестящего ума и необыкновенных талантов, эстетом, полиглотом и библиофилом»[2] (ему принадлежала уникальная библиотека, как и его мемуары, — утраченная[3]). Муравьев-Апостол был одним из основателей «Беседы». Мы видим его подпись на протоколе уже первого заседания[4]. Он действительный член второго разряда, под председательством Державина. 23 января 1812 г. Муравьев избирается на должность председателя четвертого разряда вместо подавшего в отставку И.С. Захарова[5]. Блестящий эллинист, он выступает в «Беседе» с переводом сатиры Горация уже на втором заседании (22 апреля 1811 г.) и печатает его во 2-й книжке «Чтений» вместе с «Кратким рассуждением о Горации».

С приближением французов москвичи начали покидать столицу. Многие из них обосновались в Нижнем Новгороде. Там жили Глинки, Пушкины, Карамзины, Батюшков, Муравьев-Апостол и многие другие. В.Л. Пушкин написал популярные стихи, в которых просил у местных жителей гостеприимства и оплакивал разорение Москвы. Эти ламентации были напечатаны во втором номере «Сына отечества» за 1813 г.:

Примите нас под свой покров,
Питомцы Волжских берегов!
Примите нас, мы все родные!
Мы дети матушки Москвы!..

Святые храмы осквернились,
Сокровища расхищены!
Жилища в пепел обратились!
Скитаться мы принуждены!

---

[2] *Кошелев В.А.* О жизни и творениях И.М. Муравьева-Апостола // Муравьев-Апостол. С. 201.

[3] См. статью В.М. Боковой и В. Даниловой о Муравьеве-Апостоле в: Русские писатели 1800—1917. Т. 4. С. 166—169.

[4] Десницкий. С. 110.

[5] Там же. С. 124—125.

Вернувшись в разоренную Москву в самом начале 1813 г., сразу после ухода наполеоновских войск, удрученный видом разоренной древней столицы, кипя ненавистью к варварам-пришельцам, Муравьев начинает цикл «Писем из Москвы в Нижний Новгород» и публикует его в «Сыне Отечества» начиная с восьмого номера за 1813 г. Эти письма пользовались шумным успехом у современников, однако так и оставались на страницах «Сына Отечества». Впервые после 1813 г. этот публицистический цикл был опубликован лишь недавно, с дополнениями, комментариями и содержательной статьей В.А. Кошелева[6].

В рамках этой книги мы не можем вдаваться в подробный и всесторонний разбор «Писем». В значительной степени это сделано Кошелевым. Мы коротко остановимся на тех, и важнейших, идеях цикла, которые показывают прочные связи Муравьева-Апостола с идеологией «Беседы», тем более что этот аспект практически не затронут в немногочисленных посвященных ему работах.

Ненависть к французам и презрение к французскому национальному характеру составляют основной пафос всего сочинения Муравьева. Для доказательства этого тезиса можно было бы переписать все письма. Ограничусь несколькими примерами.

В самом начале, на первой странице мы читаем примечание к первому письму: «Нынешнее слово *француз* — синонима [sic!] чудовищу, извергу, варвару и проч.» (с. 5). Муравьев последовательно не приемлет Французскую революцию на всех стадиях ее существования, при всех сменах политических партий. Ему, как и другим членам «Беседы», равно отвратительны и жирондисты, и якобинцы, и директория, и Наполеон: «Не пройдет целого века, и французская нация исчезнет. Политическое ее чудовищное бытие, несовместное с целостию общества человеческого, уже двадцать лет как обрекло ее уничтожению и довело все племена, все роды до такого противу нее раздражения, что погибель ее соделалась почти необходимою для общего спокойствия» (с. 8).

Несмотря на весь внешний блеск, французы в целом — нация лакейская, низкая и угодливая: «Возьми француза наудачу, перегони его в кубе, выйдет — парикмахер» (с. 14). «Я всегда... презирал нынешних французов всеми силами души моей. ...С тех пор, как я себя помню, французы представлялись моим взорам то мятежны-

[6] Муравьев-Апостол. В дальнейшем указания на страницы этого издания даются в тексте.

ми гражданами, то подлыми и низкими рабами». Они сначала предались «буйному исступлению самовольства», а потом в течение нескольких месяцев «сделались орудием тирана» и «пресмыкаются в рабстве» (с. 14—15), покорившись Наполеону, который для Муравьева, как и для Шишкова, не полководец, глава государства, а Пугачев, разбойник, разбойничий атаман (с. 6, 10, 11 и др.).

Совершенно в духе сатирической литературы XVIII в. и яростных инвектив «Рассуждения о старом и новом слоге...» выступает Муравьев против подражания французам, французских учителей и французского воспитания. Едва ли не Шишкова имеет он в виду в первую очередь, когда говорит: «Я не могу не согласиться с теми, которые приписывают несказанное зло общему, между нами, употреблению французского языка: он отравил у нас главный источник общественного благоденствия — воспитание» (с. 17). И далее идут обычные нападки на учителей, у которых дети умеют молиться только по французскому молитвеннику, поют *водевили*, танцуют *гавот* и пр.

Одно из самых интересных писем цикла — четвертое. Здесь выступают два приятеля автора: Неотин и Археонов. Первый утверждает, что «народ одно, язык его другое». На французском языке создана самая совершенная литература. Знание этой литературы поможет русским «дойти до совершенства». Неотину с блеском и эрудицией возражает носитель авторских идей Археонов. Во-первых, он полагает, что французы не могут считаться посредниками в передаче русским классических традиций. Хотя сюжеты они и берут из античности, но из-под античных одежд у них всегда выглядывают «красные французские каблучки», во-вторых, итальянцы (Данте, Ариосто, Тасс) ничуть не уступают французам, а Шекспира и Шиллера можно предпочесть Раси́ну. Отсюда следует главный вывод: не французский язык нужен русским, а основательное изучение, наряду с родным, греческого и латинского, ибо только греки и римляне являются “неиссякаемым источником всего изящного” (с. 19—28). С этими идеями вполне должен был соглашаться Шишков, неустанно твердивший о близости греческой (византийской) культуры и русской православной, о сходстве русского и греческого языков. Он считал, как мы помним, французский язык сухой и бесплодной почвой.

Очень возможно, что именно Муравьев-Апостол объяснял Шишкову достоинства английского перевода «Илиады» и недостатки французских переложений, после чего Шишков и принялся за изучение Попа: «Некто из достопочтенных мужей, с великими по-

знаниями и достоинствами, спросил меня: читал ли я Гомера? — и когда я отвечал ему: читал в переводах на французском языке, тогда он сказал мне: стало быть, ты Гомера не знаешь. Надлежит прочитать его или в подлиннике, или на англинском языке в переводе Попиевом» (7, 307).

Идеи Муравьева-Апостола воплотились в жизнь ровно полвека спустя: в 1864 г. были созданы классические гимназии с усиленным преподаванием латинского и (во многих) греческого языков[7].

В письме десятом Муравьев, по-видимому, спорит с Карамзиным о современном русском разговорном языке. Карамзин, как мы видели, и в «Пантеоне российских авторов», и в статье «Отчего в России мало авторских талантов» (1802), постулировал тезис: язык литературы должен быть языком образованного общества. Русский *кандидат авторства* должен слушать, как говорят в гостиных. К сожалению, в лучших домах говорят по-французски, поэтому русский писатель должен «выдумывать, сочинять выражения, угадывать лучший выбор слов»[8] (подразумевается: ориентируясь на французскую речь большого света).

Муравьев решительно возражает: русские не умеют говорить по-французски. У нас господствует презабавное *смешение языков*, "лепечут каким-то варварским диалектом, который они почитают французским" Нужно, считает Муравьев, говорить на своем природном языке — тогда у русских появятся свои мысли, а не занятые, тогда составится «язык размышления и умствования ...язык книжный, которого у нас еще нет» (с. 62).

И здесь он вступает в осторожную полемику с Шишковым. Последний считал, что книжный язык у русских давно уже существует: это древние духовные книги. А дамы (т.е. женщины, барыни) пускай говорят, как хотят. Язык Расина — не тот, которым все говорят, иначе каждый был бы Расин[9]. Высокий язык учености и литературы должен принципиально отличаться от языка как улицы, так и гостиной. С точки зрения Муравьева, языки разговорный и книжный взаимосвязаны: «... язык книжный... проза чистая логическая не составятся, доколе она сперва не обделается в обществах, образованных вежливостию и просвещением. Язык разговорный к языку книжному точно то, что рисование к живописи» (с. 62). Но, конечно, этот язык должен быть по-настоящему рус-

[7] Егоров. С. 282.

[8] Карамзин 1964. Т. 2. С. 185.

[9] См. «Вступление», а также Шишков, 2. С. 121, 128—129, 134.

ским, очищенным от примесей, перестать быть смесью французского с нижегородским. (Позднее образы и формулировки Муравьева использовал Грибоедов в «Горе от ума», что справедливо отмечает комментатор «Писем», см. с. 241.) Таковы незначительные расхождения Муравьева с Шишковым. В целом же последовательная антифранцузская позиция Шишкова была автору "Писем" гораздо ближе, чем карамзинская[10].

Выступает Муравьев против просветительской философии, поминая Монтескье, Кондорсе и др. Грозным инвективам посвящено все четвертое письмо. Здесь особенно достается «Кондорсетам», врагам нравственности, чья «хладная философия исчисления ...убивает воображение, вкус к изящному, т.е. стремление к добродетели» (с. 40). Особую неприязнь испытывает Муравьев к Вольтеру. Его размышления удивительно напоминают изображение знаменитого просветителя в баснях Крылова. Во Франции «меркнет свет истинного просвещения; дарования употребляются как орудия разврата, и опаснейший из софистов, лже-мудрец Фернейский, в течение полувека напрягает все силы необыкновенного ума своего на то, чтобы осыпать цветами чашу с ядом, уготованную им для отравления грядущих поколений» (с. 40).

Неудивительно, что в кругу «Беседы» «Письма» получили самую высокую оценку. Еще не зная автора, митрополит Евгений писал Хвостову 19 ноября 1813 г. о «прекрасных письмах из Москвы в Нижний Новгород»[11]. Прочитав одиннадцатое «Письмо», Державин в восторге сообщал Муравьеву: «Оно меня восхитило ...потому что столько нашел я в нем благородных чувств, учености, познаний, способности, вкусу и, коротко сказать, совершенного мастерства и легкости изливать пером душу, дабы трогать сердца» (6, 332).

С другой стороны, «арзамасцы» достаточно скептически восприняли патриотический пафос Муравьева, тем более что «Пись-

---

[10] В немногочисленных работах об И.М. Муравьеве-Апостоле встречается стремление отторгнуть его от идеологии «Беседы»: «Он не присоединился ни к единомышленникам Шишкова, ни к его противникам» (*Кузьменко А.Ю.* Іван Матвійович Муравйов-Апостол. Киев, 1964; цит. по: Громова. С. 114) или: «Муравьев-Апостол не принял «реформу» Шишкова. Он высмеивал ее, пародируя манерность и неестественность «нового слога» [sic!!!] Шишкова» (Громова. С. 114). Подобные дефиниции объясняются, по-видимому, советской методологией с ее стремлением разделить всех писателей на «плохих» и «хороших» и затем отторгнуть «хороших» — от «плохих»: Блока от символистов, Маяковского от футуристов, Державина, Крылова, Муравьева-Апостола от «Беседы» и пр.

[11] Евгений — Хвостову. С. 154.

ма» начали появляться в «Сыне отечества», когда французы уже бежали из Москвы, а продолжались, когда победа окончательно определилась, а неприятель был полностью повержен. Д.В. Дашков в письме к Вяземскому (19 декабря 1813 г.) включает Муравьева, наряду с Шишковым, Голенищевым-Кутузовым, Захаровым и пр., в число лиц, достойных осмеяния, и надеется, что нижегородцы не воздвигнут ему памятника[12]. С.С. Уваров (Старушка) рассказывал, что на патриотическом кладбище «Сына Отечества» смиренно покоятся, в числе других забытых творений, и «Письма из Москвы в Нижний Новгород»[13]. 16 декабря 1815 г. Д.Н. Блудов (Кассандра) помянул Муравьева-Апостола, который на «похоронах» И.С. Захарова «...осмотрелся с ужасом, вспомнил Горация и бежал в Нижний Новгород»[14]. Называя Горация, оратор, видимо, не только подтрунивал над любовью Муравьева к античному автору, но и намекал на его трусость и бегство от опасностей войны: в знаменитой оде «К Помпею Вару» (II, 7) Гораций рассказывает о том, как он бежал с поля боя[15]. П.А. Вяземский, который Муравьева сильно недолюбливал, в 1814 г. (вероятно, вскоре после публикации 5-го и 6-го писем, где было особенно много нападок на просветительскую философию) попросту назвал его дураком: только в Нижнем Новгороде он слывет умником («... могу на Нижний смело / Сослаться об уме моем»). Из прочитанного он вообще ничего не понимает: «Горация на шею / Себе я навязал.— / Я мало разумею, / Но много прочитал!»[16]

Видимо, Муравьев как-то защищался от этих нападок. К сожалению, мы не знаем, чем пугал он В.Л. Пушкина и какими карами грозил насмешникам, но Д.В. Дашков в 1817 г. помянул «оратора дебрей нижегородских», который, как «зловещий филин, смеется, предрекая падение Арзамаса, и пугает доброго *Старосту Вот я Вас опять* своими предзнаменованиями»[17].

Однако, несмотря на все остроумие «арзамасцев», «Письма» Муравьева остались одним из наиболее значительных документов публицистики 1812—1813 гг. Самым же ярким политическим памятником этой эпохи являются государственные манифесты, написанные А.С. Шишковым.

---

[12] Арзамас, 1. С. 218.
[13] Там же. С. 310.
[14] Там же. С. 321.
[15] См.: Арзамас, 1. С. 552 (коммент. В.Э. Вацуро и О.А. Проскурина).
[16] Арзамас, 2. С. 145.
[17] Арзамас, 1. С. 412.

Глава 5

ВОЙНА 1812 ГОДА. МАНИФЕСТЫ ШИШКОВА

К концу 1811 г. отношения с Наполеоном обострились, и русское общество все более проникалось патриотическими идеями. Недовольство французами росло. Шишков решил написать патриотическую речь, чтобы выступить с нею в «Беседе». Однако он боялся, что в напряженной обстановке 1811—1812 гг. такая речь может быть расценена как провокация: «Я написал *Рассуждение о любви к отечеству*, но не смел оного читать. Времена казались мне такие, что я, наслышась о преобладании над нами французского двора и чванстве посланника его Колинкура, а при том зная и неблаговоление ко мне государя императора, опасался, чтобы не поставили мне это в какое-нибудь смелое покушение, без воли правительства возбуждать гордость народную, или бы иными толками не умножили на меня гнев царский»[1]. Шишков решил заручиться одобрением коллег. Он прочитал свою речь на предварительном заседании 4 декабря 1811 г. Речь была одобрена присутствующими (П.В. Завадовский, А.К. Разумовский, И.И. Дмитриев, Крылов, Оленин и др.) и прочитана в публичном чтении 15 декабря. Собрание было многочисленное, более четырехсот посетителей едва вместились в обширную залу державинского дома. Выступление имело полный успех[2].

«Рассуждение о любви к Отечеству» построено на исторических параллелях. Шишков говорит, что русские герои, общественные деятели ничуть не уступают античным: русские женщины похожи на спартанок, посылавших своих детей на смерть за отечество; Фи-

[1] Шишков. Записки, 1. С. 117—118.

[2] Десницкий. С. 123—124; Шишков. Записки, 2. С. 321—322.

ларет — русский Фемистокл; Голицын, не выполнивший приказ Петра об отступлении, чтобы выиграть сражение, — русский Эпаминонд; патриарх Гермоген — русский Регул и пр. Все эти примеры украшены стихами Ломоносова, Хераскова, Шихматова и др.

Любовь к отечеству, считает Шишков, даже должна быть пристрастной, слепой. Свое всегда лучше чужого, особенно французского («писания зловредных умов», «глаголы злочестивых», у которых «нет в сердцах веры»). Своим, пусть оно не столь привлекательно, как чужое, несмотря ни на что, следует гордиться. Эта вполне примитивная, не лишенная ксенофобии мысль подкрепляется известными стихами Ширинского-Шихматова:

Мы презрим роскошь иностранну,
И даже более себя
Свое отечество любя,
Зря в нем страну обетованну,
Млеко точащую и мед,
На все природы южной неги
Не променяем наши снеги
И наш отечественный лед[3].
(4, 65—67)

Далее Шишков формулирует основные источники, на которых должен строиться и укрепляться истинно русский патриотизм. Они суть: вера православная, воспитание, язык русский (4, 74—87). Триединый постулат Шишкова предвещает знаменитую уваровскую формулу: самодержавие, православие, народность. Один компонент ее, православие, полностью совпадает у Шишкова и Уварова. Второй, по существу, тоже: язык для Шишкова, как мы помним, есть воплощение духа народного, он эквивалент народной культуры, и русский язык в формуле Шишкова, таким образом, полностью совпадает с «народностью» Уварова. Однако тезис Шишкова менее политизирован, чем уваровский. Вместо «самодержавия», категории государственной, он говорит о формировании духа народного: воспитании в патриотическом духе.

Александр I, чьей реакции более всего опасался Шишков, принял его речь достаточно благосклонно. Конечно, просвещенному либеральному царю не мог понравиться узкий патриотизм Шиш-

[3] Поэты 1790—1810-х. С. 415.

кова. С юных лет тяготившийся Россией, мечтавший о частной жизни на берегах Рейна, Александр не мог не смеяться над доморощенными фобиями Шишкова. Однако адмирал-патриот напрасно боялся отрицательной реакции царя на свое выступление. Политическая обстановка вполне благоприятствовала русскому патриотизму. Война 1812 года, не нужная ни Наполеону, ни Александру, неуклонно приближалась. Под давлением общественного мнения царь неожиданно уволил и отправил в ссылку Сперанского. Шишков опасался той же участи, но неожиданно царь вызвал его во дворец. Изумленный Шишков услышал: «Я читал рассуждение ваше о любви к отечеству. Имея таковые чувства, вы можете ему быть полезны. Кажется, у нас не обойдется без войны с французами; нужно сделать рекрутский набор; я бы желал, чтоб вы написали о том манифест»[4]. Опыт оказался удачным, и Александр подписал указ о назначении Шишкова государственным секретарем с жалованьем в двенадцать тысяч рублей в год. Сумма по тем временам была весьма значительная. Вспомним, что гоголевский Башмачкин тридцатью годами позже получал «четыреста рублей в год жалования или около того».

Александр умел подниматься выше своих симпатий и антипатий. Как хорошо известно, он позднее, вопреки собственному желанию и своим личным симпатиям, назначил Кутузова главнокомандующим. Сам Александр, конечно, предпочел бы видеть на месте Сперанского Карамзина, таланты которого он высоко ценил и с которым у него были личные дружеские отношения. Однако царь понял, что именно Шишков сумеет выполнить предназначенную ему роль наилучшим образом, и, как увидим, не ошибся в выборе.

Александр желал, чтобы Шишков сопровождал его во время всех передвижений ставки и всегда находился в распоряжении царя для составления нужных бумаг. Несмотря на свои по тем временам весьма почтенные годы (ему было 58 лет) и многочисленные болезни, адмирал готов был выполнить свой патриотический долг. Он только пожаловался царю на свое неумение и нежелание ездить верхом. Царь усмехнулся: «Мое дело употреблять вас там, где в верховой езде не будет надобности»[5]. В распоряжение Шишкова была предоставлена коляска с лошадьми, и новый государственный секретарь отбыл из Петербурга вслед за царем 12 апреля 1812 г.

---

[4] Шишков. Записки, 1. С. 121.

[5] Там же. С. 123.

В самых трудных условиях, иногда по ночам составлял Шишков бумаги, записки, донесения. Однажды он работал в грязной корчме с земляным полом. Какие-то солдаты непрерывно стучали в окошко, требуя открыть кабак. Шишков кричал им, что они беспокоят генерала. Сверху на разложенные бумаги падали тараканы, которых государственный секретарь, «пиша, с торопливостью каждый раз должен был отщелкивать»[6].

Между тем зоркий взгляд Шишкова подмечал разного рода неурядицы, беспорядки, царившие в ставке. Шишков считал, что они в значительной степени вызваны непосредственным присутствием императора на театре военных действий. Это присутствие сковывало действия командиров, вносило неразбериху и придворные интриги в военные действия. И Шишков предпринял инициативу, положительные результаты которой отмечают все историки франко-русской войны. Так, Е.В. Тарле замечает, что Шишков оказал русской армии «важную услугу»[7].

Государственный секретарь 30 июня 1812 г. написал императору обстоятельное письмо, в котором указывал, что его присутствие разрушает единоначалие, что поражение войск в его присутствии может быть воспринято как поражение страны, а не просто проигранная битва, что гибель или плен царя обернутся для России катастрофой, что в суровую годину место самодержца со страной, а не только в армии и пр. Письмо было подписано, кроме Шишкова, Балашовым и Аракчеевым, которые втроем составляли при государе «Комитет для отправления государственных дел». После колебаний Аракчеев наконец передал письмо Александру. Оно возымело действие. Царь решился оставить армию. 6 июля он вместе с Шишковым выехал в Москву, а оттуда в Петербург.

Шишков, может быть слегка и преувеличивая значение этого события, считал отъезд императора поворотным, важнейшим моментом в истории не только войны, но и всей России. Он как будто подслушал рассуждения современного философа: «История — не однолинейный процесс, а многофакторный поток. Когда достигается точка бифуркации, движение как бы останавливается в раздумье над *выбором пути*. ...В этот момент в историческом процессе в действие вступают интеллектуальные способности человека, дающие ему возможность осуществлять выбор. Как бы ни были бес-

[6] Шишков. Записки, 1. С. 129.
[7] Тарле. С. 59—61.

сильны при "нормальном" течении истории эти факторы, они оказываются решающими в момент, когда система задумалась перед выбором. Но, вмешавшись в общий ход, они сразу придают его изменениям *необратимый характер*»[8].

Намного опережая свое время и все размышления современных ему и более поздних историков, считающих, что история не знает и не может знать сослагательного наклонения, Шишков набрасывает в своих «Записках» картину, которую мы сейчас могли бы назвать альтернативным изображением исторических событий: «Какие были бы последствия, когда бы царь оставался при войсках, того, яко навсегда от очей наших сокрытого, по неимению в себе дара провидения, знать не можем». Однако же при этом он не удерживается от соблазна развернуть перед читателем картину другой исторической возможности, гораздо худшей, не вмешайся он, Шишков, столь активно в исторический процесс: «...через сравнение и соображение некоторых обстоятельств, можем с вероятностью о том рассуждать». Далее выясняется, что произошло бы невыгодное для русских сражение при Дриссе, закончившееся их поражением. Кутузов не был бы своевременно назначен главнокомандующим. Последовало бы победное шествие Наполеона по России с захватом не только Москвы, но и Петербурга. Эти события не дали бы возможности сохранить войско, собрать ополчение и изгнать французов из России[9]. Далее Шишков в своих прогнозах не идет. Трудно сказать, насколько справедливы подобные исторические экстраполяции, но сам Шишков, как видим, придавал этому эпизоду своей деятельности весьма большое значение.

Вслед за государем отправился в Москву, затем в Петербург и Шишков. Трагические и величественные события войны 1812 года шли своим чередом. 26 августа произошло Бородинское сражение. Спустя 10 дней Наполеон торжественно въехал в опустевшую Москву и вступил в Кремль, чтобы через месяц и восемь дней оставить наполовину сгоревшую и опустошенную древнюю столицу.

Шишков продолжал писать рескрипты и манифесты. В пространном «Известии из Москвы от 17 октября» содержались горькие упреки дворянству за подражание французам, любовь к их обычаям, терпимость к их идеям. Царь не без основания отнес эти упреки и к самому себе, а Шишков, не отрицая этого, впервые и,

---

[8] *Лотман Ю.М.* Клио на распутье // Лотман 1997 (1). С. 632.

[9] Шишков. Записки, 1. С. 148—150.

кажется, единственный раз обвинил, предваряя славянофилов, Петра I в неразумном подражании иностранцам, «поколебавшем коренные обычаи и нравы»[10].

Война между тем шла к победному концу. Наполеон оставил Россию. В декабре 1812 г. Шишков был награжден одним из высших орденов России, орденом Александра Невского, «за примерную любовь к отечеству», в награду, как сказано в уставе ордена, «трудов за отечество подъемлемых». С этим орденом он изображен на известном портрете работы Дж. Доу. Позднее Шишков писал в тяжеловесных стихах:

Когда мне Александр дал Александра знак,
В указе написал он так:
«За верную к Отечеству любовь» —
Довольно для меня сих слов,
Я ими сыт,
Хотя б в преклонный век я был забыт[11].

Тогда же, в декабре, Александр выехал в Вильно. Следом за ним отправился Шишков. С содроганием видел он по дороге тысячи непогребенных тел, по которым часто ехали его сани. В Вильне увидал целую стену, сложенную из семнадцати тысяч замерзших трупов.

Здесь у Шишкова состоялась долгая беседа с Кутузовым. Оба соглашались, что России не следует втягиваться в продолжительную войну. Поскольку русский народ в массе своей не был затронут развратительными идеями, Шишков очень боялся распространения в народе французской идеологической заразы. Дело европейских государств, считал он, самим покончить с Наполеоном. Россия же, сохранив неповрежденной свою государственную систему, станет гарантом европейской безопасности.

Александр, однако, думал иначе. Русская армия вступила в пределы Западной Европы.

Передвигаясь вслед за армией, Шишков почувствовал себя плохо, и в сентябре император разрешил ему поехать в Прагу для лечения. Однако уже в октябре, после поражения Наполеона под Лейпцигом в «битве народов», император вызвал Шишкова к себе. Здесь,

[10] Шишков. Записки, 1. С. 160; ср.: Там же. С. 438—442.

[11] Коломинов, Файнштейн. С. 50 (неточности этой публикации исправлены по автографу: ОР РНБ. Ф. 862. № 4. Л. 5).

в главной квартире, написал Шишков свои последние документы об одном из самых значительных событий в истории России.

Война была кончена. Это было для Шишкова полным торжеством его историософских и политических идей. Для Шишкова революция есть грандиозная историческая катастрофа, порожденная французскими просветительскими идеями, «адскими, изрыгнутыми в книгах лжемудрованиями»[12]. Когда был казнен царствующий монарх, оказался нарушен издревле установленный мировой порядок. Вся дальнейшая история Французской революции представляет собою только углубление и расширение этого катаклизма. Шишкову глубоко безразличны споры между жирондистами и монтаньярами, якобинцами и эбертистами, умеренными и радикалами. Все они в равной мере преступники, ибо нарушают свыше установленный мировой порядок. Наполеон для него — лишь «атаман», простолюдин, чужеземец, выбранный развращенным народом достойный продолжатель разрушительной деятельности Маратов и Робеспьеров.

Поступательного движения истории для Шишкова не существует. Просветительская идея прогресса была ему глубоко чужда. Поэтому для него Французская революция есть только результат повреждения нравов, вызванный вредоносными идеями и книгами, некий зловредный зигзаг истории. Таким образом, в принципе существует возможность это нарушение устранить и как можно скорее вернуться к первоначальному идиллическому покою. Для этого нужно повернуть историю немного вспять и, возвратив европейским народам «*прежнее* их достоинство, спокойствие и свободу... привесть все царства в *прежнее их состояние*» (курсив мой. — *М.А.*). Единственное средство для этого: изгнать незаконного «атамана»-Наполеона. После чего «законный Король издревле владетельного дома Бурбонов, Людовик XVIII, в залог мира и тишины по желанию народа возводится на прародительский престол».

Возвращение в страну законного монарха из династии издревле царствующей производит чудо мгновенного преображения хаоса революции в гармонию мирового порядка: «Тако водворяется на земле мир, кровавые реки перестают течь, вражда всего царства превращается в любовь и благодарность, злоба обезоруживается великодушием и пожар Москвы потухает в стенах Парижа»[13].

---

[12] Шишков. Записки, 1. С. 441.

[13] Там же. С. 238, 266, 475, 476.

Так осуществляется великая Утопия, о которой всегда грезил Шишков.

Что касается России, то тут дело обстояло гораздо проще. Шишков был уверен, что в русском народе «не было никогда иных книг, кроме насаждающих благонравие, иных нравов, кроме благочестивых, уважающих всегда человеколюбие, гостеприимство, родство, *целомудрие*, кротость и все христианские, нужные для общежития добродетели»[14]. (Биограф Шишкова резонно иронизирует по поводу этих дифирамбов национальному характеру: «Скоро же забыл почтенный автор пугачевщину»[15].)

Поскольку русский народ, таким образом, в массе своей не был затронут развратительными идеями, величайшее благо для России заключалось в том, чтобы сохранить ее в прежнем состоянии, не затрагивая ни одного из существующих институтов и не вводя ничего нового.

Не случайно в последнем манифесте 1814 г. Шишков часто употребляет слова *издревле* и *издавна*. В этом манифесте дворянство, основное государственное сословие, «ум и душа народа» (в официальном документе Шишков предает забвению свои инвективы в адрес дворян, зараженных вредными идеями; впрочем, с его точки зрения, это всегда касалось только образованной столичной верхушки), названо «*издревле* благочестивым, *издревле* храбрым, *издревле* доказавшим... ничем ненарушимую преданность и любовь к царю и отечеству». Здесь же постулируется незыблемость крепостного права, которое является важнейшим звеном государственной системы, обеспечивая патриархальную, идиллическую связь между сословиями, между помещиками и крестьянами: «Существующая *издавна* между ими на обоюдной пользе основанная *русским нравам* и *добродетелям свойственная* связь, *прежде* и ныне многими опытами взаимного их друг к другу усердия и общей к отечеству любви ознаменованная... (курсив везде мой. — *М.А.*)»[16].

Аксаков рассказывает, что Шишков строил свои отношения со своими крепостными именно на таких идиллических началах: он не брал с них оброка, не получал со своего имения никаких доходов, зато восхищался речью крестьян, похожей на старинные грамоты[17]. По всей вероятности, этот трогательный миф не соответствует

[14] Шишков. Записки, 2. С. 326.
[15] Стоюнин. С. 182.
[16] Шишков. Записки, 1. С. 305—307.
[17] Аксаков, 2. С. 295.

действительности: платежи со своих крестьян Шишков взимал исправно. В 1832 г. он распорядился, чтобы после его смерти жена его, «получая с деревни определенный оброк, уделяла вам [племянницам. — *М.А.*] назначенную из того часть»[18].

Царю, все еще мечтавшему о либеральных реформах, не понравилось восхваление дворянства, всячески эти реформы тормозившего. Он приказал поменять местами дворянство и воинство, поставив дворян после военных. Еще меньше он был доволен восхвалением крепостного права и вычеркнул из манифеста слова: *на обоюдной пользе основанная*.

На этом закончилась деятельность Шишкова в качестве государственного секретаря. Ему предстояло еще долгие годы быть президентом Российской академии, министром просвещения, но в политической, идеологической, культурной истории России он остался прежде всего автором знаменитых манифестов.

Эти манифесты сыграли важную роль в пропагандистской, идеологической войне с наполеоновской Францией, которая, при всех оговорках, все-таки являлась наследницей идей Французской революции. Они являются важнейшей частью литературного наследия Шишкова и заслуживают самого внимательного анализа.

Как мы видели, для Шишкова литературный язык принципиально не может быть равен разговорному или близок к нему. Напротив, некоторая неясность, затрудненность восприятия, требующая размышления над текстом, может считаться достоинством: «глубокомысленный писатель требует и от читателя глубокомыслия». Так формулируется тезис о принципиальной трудности произведений высокой серьезной литературы: они требуют прилежания, внимания, вчитывания в текст. Напомним, что эти идеи формулировал Радищев в своей книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Он следовал им на практике. Книга Радищева изобилует архаизмами, славянизмами, громоздкими синтаксическими оборотами и пр.

Для «беседчиков», интересовавшихся творчеством Тредиаковского и Радищева, затрудненность ритма, сложность синтаксиса, архаичность словаря не только не являлись недостатком, но, напротив, свидетельствовали о достоинствах литературного текста. Предпочтение дворянством литературы, писанной языком, близким к

---

[18] Цит. по: Боленко, Лямина 2005. С. 122.

разговорному, с точки зрения Шишкова, ведет, как это ни покажется парадоксальным, к дальнейшему углублению пропасти между интеллигентной верхушкой и народом, ибо народ, когда речь заходит о проблемах духовных, предпочитает и лучше понимает старинный, неповрежденный язык, на котором писаны священные книги и которого избегают его просвещенные соплеменники.

Работая над манифестами, Шишков исходил из своего заветного постулата о единстве русского и славянского языков. Он был уверен, что простой народ владеет обоими «наречиями» этого языка. Народ создал фольклорные тексты на основе языка простого и разговорного, но ему внятен и язык церковной службы, он понимает и любит священные книги: «...у нас всякий безграмотный мужик заставляет грамотного сына своего читать перед ним пролог, Четию-Минею и другие духовные книги, разумея и слушая его с удовольствием» (4, 95).

Манифесты Шишкова представляют собой замечательный памятник стилизованного под старину высокого стиля, того вдохновенного красноречия, к которому всегда призывал глава «Беседы».

Все они написаны в ораторском приподнятом духе с постоянным употреблением побудительной частицы *да*: «Да распространится в сердцах... дух... праведной брани»[19], «Да обратится погибель... на главу его» (426) и пр. Характерны для манифестов и утяжеляющие инверсии: «...исполненный мерзостей, пожарами Москвы осиянный, кровью и ранами нашими запечатленный...» (442). Смело употребляется типичная для старославянского языка синтаксическая конструкция «дательный самостоятельный»: «В прошедшем году, когда Богу попускающу, злонамеренный неприятель, собрав разнородные и великие силы, вторгся в наши пределы, и Богу же милосердствующу о нас, едва с малыми остатками бедственно и срамно мог выйти из оных...» (464).

На лексическом уровне Шишков последовательно заменяет слова среднего разговорного стиля на устарелые, вышедшие из употребления, старославянские. Это придает манифестам не только торжественный, но церковно-библейский колорит: телеги, повозки становятся «колесницами», ценные вещи — «корыстью», ножны — «влагалищем»: «Не помогает им оставление всех орудий, всех колесниц с порохом, с золотом, с корыстями...» (474); «Горест-

[19] Шишков. Записки, 1. С. 426. Далее манифесты цитируются по этому изданию с указанием на страницу в скобках.

ная необходимость извлекала меч наш.... Достоинство народа воспретило опустить его во влагалище...» (466).

В качестве примера ораторских приемов Шишкова рассмотрим одну фразу из рутинного документа, опубликованного во время военных действий, — «По высочайшему повелению объявляется от Министерства Полиции» октября 9, 1812: «Какому надлежит быть или безумию, или крайнему развращению, дабы поверить, что тот, который пришел сюда с мечом, на убиение нас изощренным, с пламенником для воспаления наших домов, с цепями для возложения их на выю нашу, с кошницами для наполнения их домашним имуществом нашим, что тот желает устроить нашу безопасность и спокойствие?» (438). Все предложение представляет собою перевод реальных событий в метафорической план:

военное вторжение, интервенция — приход с мечом
пожары — воспаление домов
захват в плен — возложение цепей

Однако только метафор для достижения максимальной выразительности Шишкову недостаточно. Метафорические картины еще более приподымаются над ежедневными событиями, страшными сами по себе, превращаются в яркие символы с помощью последовательной замены почти всех значимых русских слов либо славянизмами, либо архаизмами, либо словами, употребленными в переносном значении:

оружие — меч
убийство — убиение
факел — пламенник
поджог — воспаление
неволя — цепи
шея — выя
кошелек, сумка — кошница

Написанные от имени царя и правительства манифесты дали Шишкову уникальную возможность изложить свою политическую программу не только перед образованными искушенными в политике интеллигентными дворянами, но и перед всем народом. Он остался в этих пламенных воззваниях верным своим излюбленным идеям.

Манифесты исполнены презрения и ненависти к французам, нация которых определена как «слияние обезьяны с тигром» (441)[20]. У них «лукавство в сердце и лесть на устах» (426). В силу этих своих особенностей французы легко поддались влиянию революционных идей: душа этого народа воспитана в «соблазне от общего и долговременно разливающегося яда безверия и развращения» (441). Их столица — «гнездо мятежа и пагубы народной» (475).

В манифестах Шишков наконец свел счеты с галломанией своих образованных соотечественников. Громогласно, во всеуслышание упрекает он их в слепой привязанности к французам, врагам России, православия, русского народа: «Долго мы заблуждались, почитая народ сей достойным нашей приязни, содружества и даже подражания. Мы любовались и прижимали к груди нашей змею, которая, терзая собственную утробу свою, проливала к нам яд свой и наконец за нашу к ней признательность и любовь всезлобным жалом своим уязвляет» (442).

Развращенным, порочным французам противостоят доблестные россияне с их славной историей — Пожарский, Палицын, Минин (427). Вопреки исторической истине Шишков создает идеальный образ «миролюбивого и кроткого», но в то же время «сильного и храброго» русского народа, который «издавна любил со всеми окрестными народами пребывать в мире и тишине» (423—424). Все, что нарушает эту идиллическую картину, относится Шишковым на счет пагубного иноземного влияния. Таковы, например, естественные для всякой воюющей армии случаи мародерства: «...есть между нами недостойные вас сотоварищи ваши, которые... шатаются по деревням и лесам под именем мародеров. Имя гнусное, никогда не слыханное в русских войсках, означающее вора, грабителя, разбойника» (434).

Это идеальное сообщество никогда не поддастся никаким соблазнам и сохранит нерушимо вековые устои: «...по изгнании неприятеля из земли нашей, всяк возвратится с честию и славою в первобытное свое состояние и к прежним своим обязанностям» (428). Русские должны, порвав с французским народом «все нравственные связи, возвратиться к чистоте и непорочности наших нравов и быть именем и душою храбрыми и православными» (442). Шишков предлагает даже «между злом и добром поставить стену, дабы зло не прикоснулось к нам» (442).

---

[20] Выражение «смесь обезьяны и тигра» («tigre—singe») для характеристики французов принадлежит Вольтеру. См. об этом: Лотман 1995. С. 329—332.

Стилистическая, эстетическая и политическая позиция Шишкова вполне отвечала вкусам народа и оказалась весьма ко времени. Шишков был прав, считая, что простой народ поймет и воспримет высокий торжественный язык гораздо лучше, чем образованные интеллигенты, у которых излишний пафос всегда вызывает скептическую усмешку. Однако даже противники вынуждены были признать действенность пламенных речей Шишкова.

Вяземский, человек очень умный, тонкий и проницательный, хорошо знал цену безвкусному «шинельному», «квасному», «сивушному» патриотизму. Отнюдь не разделяя народного энтузиазма по поводу писаний Шишкова, он понимал, что эти документы вполне отвечали народным вкусам: «Я помню, что во время оно мы смеялись нелепости его манифестов и ужасались их государственной неблагопристойности, но между тем большинство, народ, Россия, читали их с восторгом и умилением, и теперь многие восхищаются их красноречием. Следовательно, они были кстати, по Сеньке шапка». Спокойная сдержанность Карамзина, обладавшего безукоризненным чувством меры, народу понравиться не могла, и Вяземский продолжает: «Карамзина манифесты были бы с большим благоразумием, с большим искусством писаны, но имели ли бы они то действие на толпу, на большинство, неизвестно»[21].

Сочувственно, хотя и не без юмора, писал о манифестах Шишкова Н.И. Греч: «Шишков, человек неглупый и почтенный ...движимый теплым чувством любви к отечеству ...написал несколько манифестов, лучшим из них было известие о потере Москвы. Шутники говорили, что для возбуждения в нем красноречия должно было сгореть Москве»[22].

О том же, но уже безо всякой иронии вспоминал С.Т. Аксаков, славянофил и поклонник Шишкова: «...писанные им манифесты действовали электрически на целую Русь. Несмотря на книжные, иногда несколько напыщенные выражения, русское чувство, которым они были проникнуты, сильно отзывалось в сердцах русских людей»[23].

Московский главнокомандующий Ф.В. Растопчин рассказал, как слушали манифест Шишкова купцы, люди необразованные, но грамотные: «...во 2-й галерее, где собрались купцы, я был поражен тем впечатлением, которое произвело чтение манифеста. Сначала

---

[21] Вяземский 1963. С 270.
[22] Греч 1990. С. 210.
[23] Аксаков, 2. С. 35—36.

обнаружился гнев, но когда Шишков дошел до того места, где говорится, что враг идет с лестью на устах, но с цепями в руке, — тогда негодование прорвалось наружу и достигло своего апогея: присутствующие ударяли себя по голове, рвали на себе волосы, ломали руки, видно было, как слезы ярости текли по этим лицам, напоминающим лица древних. Я видел человека, скрежетавшего зубами»[24].

Посмотрим, какие именно слова Шишкова произвели столь бурный эффект: «Неприятель вступил в пределы наши... С лукавством в сердце и лестию в устах несет он вечные для ней [России. — *М.А.*] цепи и оковы. Мы, призвав на помощь Бога, поставляем в преграду ему войски наши, кипящие мужеством попрать, опрокинуть его... Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина» (426—427). В этих нескольких фразах мы найдем полный набор отмеченных нами приемов и идеологем, употреблявшихся Шишковым в его манифестах: метафоры, риторику, славянизмы и архаизмы, исторический патриотизм, упование на русского, православного Бога и пр.

Выразительная картина, нарисованная Растопчиным, показывает, что Шишков в годину жестоких испытаний действительно нашел вполне адекватную для народа форму выражения национальных чувств и национальных идей. Его имя навсегда осталось связанным с войной 1812 года. Роль Шишкова в этой войне прекрасными стихами в 1824 г. описал Пушкин, достаточно далекий в те годы от симпатий и к самому адмиралу, и к его идеям:

Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,
Он славен славою двенадцатого года...

Поэт высоко оценил и безукоризненную личную порядочность Шишкова, и его искреннюю любовь к народу и стране, и роль, которую он сыграл в памятных событиях войны.

[24] Растопчин. С. 270.

Глава 6

ШИШКОВ ПОСЛЕ «БЕСЕДЫ»

После возвращения в Петербург в июле 1814 г. привычное для Шишкова течение жизни с ее кабинетными занятиями, литературными заботами существенно изменилось. Даже «Беседа любителей русского слова» теперь, по-видимому, не очень занимала его мысли. «Он жил уже не в прежнем своем скромном домике на Форштатской улице, а в великолепной казенной квартире против дворца. Образ жизни его изменился: ученые филологические труды прекратились, другие люди стали посещать его, другие мысли и заботы наполняли его ум и душу, и живое воспоминание только что разыгранной драмы, в которой сам он был важным действующим лицом и двигателем народного духа Святой Руси, подавило его прежние интересы...»[1]

Действительно, уже вскоре после закрытия «Беседы» Шишков отзывался об этом некогда любимом своем детище вполне равнодушно: «Вся цель ее была только та, чтоб читать перед публикою... избранные произведения писателей, доставляя им через то одобрение и приятность публики, в которой старалась она распространять вкус и охоту к отечественной словесности. Беседа... основывала надежду приходов своих... на общей складке и продаже сочинений своих... но и тут обманулась, так что по недостатку денег и по свойственному всем таковым обществам сначала рвению, а потом охлаждению разрушилась и упала»[2].

В 1825 г. умерла добрая и простодушная Дарья Алексеевна. Шишков, нуждавшийся в постоянном уходе, снова женился, чтобы иметь в доме няньку. Кажется, выбор его был не очень уда-

---

[1] Аксаков, 2. С. 30.

[2] Шишков. Записки, 2. С. 158—159.

чен. Вторая жена его, полька и католичка Юлия Осиповна Лобаржевская, была умна, светски образованна, но не годилась в няньки дряхлому уже старику. В известной сатире «Дом сумасшедших» злой А.Ф. Воейков поместил ее в «женское отделение», показывая ее светскую суетность и неуместность позднего брака Шишкова:

Вот Шишкова! Кто не слышал?
В женской юбке гренадер!
За нее-то замуж вышел
Наш столетний Старовер.
На старушке ток атласный,
В лентах, перьях и цветах.
В желтом платье, пояс красный
И в пунцовых башмаках.
Причт попов и полк гусаров...
Все валитесь хлюстом — сердце
Преширокое у ней,
Да и в старике-младенце
Клад — не муж достался ей![3]

Сразу после войны Шишков перестал быть государственным секретарем, однако царь назначил его членом Государственного совета. Здесь Шишков продолжал утверждать и отстаивать свои идеи. Прежде всего монархический принцип государственности: «Первый, высочайший из всех законов есть самодержавная власть, в которой все законы соединяются»[4]. Незыблемым должно сохраняться крепостное право. Шишков возражает против любых его ограничений, даже против таких страшных злоупотреблений, как продажа поодиночке, продажа людей без земли и пр. Помещик сам знает, как ему поступать, ибо «данное в России над людьми право не есть ни беспредельное, ни насильственное, но огражденное законами, требующими, чтобы помещик сочетавал пользу свою с пользою своих подвластных... наблюдая между ими, как отец между детьми, благосостояние, порядок и устройство»[5].

И, конечно, Шишков — сторонник любых цензурных ограничений, препятствующих распространению в России вольнодумия и

[3] Поэты 1790—1810-х. С. 805.
[4] Шишков. Записки, 2. С. 135.
[5] Там же. С. 122—123.

свободомыслия, поскольку «благоденствие народа состоит в обузданности и повиновении»[6]. Поэтому особое внимание он обращает на контроль за образованием, требуя, чтобы профессора сообщали студентам только общепринятые сведения. Собственные размышления следует запретить: «...надлежит строго смотреть, чтоб профессоры и учители преподавали науки по известным книгам, а не по рукописным тетрадям, в коих они часто обучают учеников не общим, а собственным своим правилам и мыслям»[7].

Когда Шишков не соглашался с большинством членов Совета, он формулировал свои мнения в отдельно подаваемых записках, которые охотно давал читать и переписывать. Эти мнения Шишкова, как и его друга Мордвинова, расходились в списках, вызывали оживленные мнения и споры.

В 1813 г. умер А.А. Нартов, президент Российской академии. Шишкову очень хотелось занять это место, вполне отвечавшее его филологическим интересам и организаторским способностям, и во время одного из докладов царю он попросил для себя эту должность: «Однажды по получении известия о смерти президента Российской Академии Нартова, донеся о том, сказал я ему [Александру I. — *М.А.*], что я охотно принял бы на себя сие звание, если б это мое желание не противно было воле его величества. Государь весьма для меня лестно и милостиво отозвался, что он *со свечкою не сыщет лучшего человека*, и приказал заготовить указ, который тогда же и подписал»[8].

После отставки с поста государственного секретаря Шишков основное время и силы уделяет реформе возглавленной им Российской академии. Это учреждение было основано в 1783 г. как всероссийский центр для изучения русского языка и развития русской литературы. В XVIII в. членами Академии были все видные русские писатели. После смерти Екатерины II Академия пришла в упадок. Павел прекратил выдачу денег учреждению, основанному его матерью и возглавляемому личным врагом — княгиней Е.Р. Дашковой.

Шишков оставался президентом Академии в течение последних 28 лет ее существования, до своей смерти. В последние годы, когда он ослабел, много болел и практически ослеп, заседания часто проходили у него дома.

---

[6] Шишков. Записки, 2. С. 287.
[7] Там же. С. 204.
[8] Шишков. Записки, 1. С. 207.

Он добился утверждения нового устава (1819). Бюджет Академии был увеличен в десять раз. В 1819 г. она располагала только 15 тысячами рублей, а в 1835-м в ее распоряжении было чуть более полумиллиона[9]. Академия поощряла лингвистические исследования. Появилось второе издание знаменитого «Словаря Академии Российской», где слова были расположены по азбучному порядку (1806—1822, 6 частей). Это издание до сих пор является незаменимым источником для изучения русской лексикографии, истории русского литературного языка и для литературоведческих штудий (в 1971 г. оно было репринтировано в Дании). Выпускались «Известия Российской Академии». Академия издавала книги, в собственной типографии печатала за свой счет одобренные ею сочинения. Вся эта активная деятельность проходила под непосредственным руководством Шишкова, который всегда был прекрасным организатором.

Сумел Шишков подняться и над своими личными пристрастиями и антипатиями. Членами Академии стали давние литературные противники адмирала: Жуковский (1818), Пушкин (1833), Вяземский (1837), а Н.М. Карамзин, академик с 1818 г., по инициативе Шишкова был во время публичного чтения своей «Истории» награжден Большой золотой медалью (1820).

Особо следует отметить заслуги Шишкова в области изучения славянских языков. Еще в Праге в 1813 г. он познакомился с выдающимся филологом-славяноведом Иосифом Добровским. С ним и другими учеными он «провождал время в разговорах о словенском языке и его наречиях»[10]. Позднее И. Добровский, С. Линде, Я. Неедлы были избраны почетными членами Российской академии. В течение почти тридцати лет Академия занималась грандиозным, но так и не осуществленным планом создания общеславянского сравнительного словаря. Она щедро финансировала все славянские штудии. Завязались тесные связи с учеными славянских стран, среди которых были В. Ганка, П. Шафарик, И. Юнгман, Вук Караджич и др. Шишков планировал создать в России кафедры славянских литератур и истории и привлечь к преподаванию славянских ученых. Планы эти не осуществились.

Шишков перевел и напечатал параллельно с оригиналом талантливую подделку Ганки «Краледворская рукопись», снабдив

[9] Коломинов, Файнштейн. С. 58, 63.
[10] Шишков. Записки, 1. С. 320—321, 360.

свой перевод небольшим вступлением и краткими примечаниями (6, 180—339). Сам он, естественно, считал эти стихи подлинными древнеславянскими текстами.

Шишков продолжал руководить Академией до самой смерти. Николай I, который не любил гуманитарных занятий, предпочитая им практическую деятельность, относился к Академии скорее отрицательно. Сначала он урезал бюджет, приказав передать 400 тысяч рублей на строительство Пулковской обсерватории, а потом и вовсе закрыл ее. Не желая обижать Шишкова, он, видимо, дожидался смерти старика. В октябре 1841 г. (Шишков умер в апреле) царь писал Уварову: «Пора кончить с делом академии...» И деятельность Российской академии была прекращена. Ее функции были переданы вновь образованному 2-му отделению Академии наук, которое стало называться «Отделение русского языка и литературы». В него вошли наиболее видные члены прекратившей свое существование Российской академии[11].

Важным эпизодом последнего периода деятельности Шишкова была борьба его с «Библейским обществом». Это общество было основано в 1794 г. в Англии и называлось «British and Foreign Bible Society». Главной целью его было распространение и издание Библии (Ветхого и Нового Завета) на всех языках мира, чтобы дать возможность всем, включая неимущих и малограмотных, ознакомиться с Писанием. Общество отличалось абсолютной веротерпимостью. Деятельность его была проникнута идеями протестантизма и пиетизма. Эти идеи были близки Александру I, в последние годы своей жизни все более впадавшему в мистицизм и повышенную религиозность.

Русское Библейское общество было открыто 6 декабря 1812 г. Президентом его был избран главноуправляющий духовными делами иностранных вероисповеданий князь А.Н. Голицын, лично очень близкий Александру I[12]. Общество скоро добилось больших успехов. За годы своего существования оно напечатало и распространило почти девятьсот тысяч книг Священного Писания (Библии и разных ее частей)[13].

---

[11] Некрасов 1984. С. 103.

[12] О деятельности Голицына см. недавнюю основательную работу: *Фаджионатто Р.* Александр Николаевич Голицын // Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX столетия. Воронеж, 2005.

[13] Пыпин. С. 272. В дальнейшем, излагая события, связанные с историей Библейского общества, мы будем опираться на этот капитальный труд.

Книги распределялись безвозмездно или за символическую цену. За счет пожертвований общество располагало крупными денежными суммами и, кроме непосредственно книг Священного Писания, издавало еще и религиозную литературу в основном мистического содержания.

Шишков знал, что император покровительствует Библейскому обществу, однако не поколебался заявить себя яростным его противником. Он видел в деятельности Общества подрыв православия, которое было для него основой русской духовной жизни, главнейшим из устоев национального самосознания. И здесь Шишков не шел ни на какие компромиссы.

Кроме того, важнейший аспект деятельности «Библейского общества» был прямо направлен против излюбленного постулата Шишкова. Общество занималось переводом книг Нового и Ветхого Завета на языки народов мира. В России встал вопрос о переводе богослужебных книг со старославянского языка на русский. Эту идею всячески поддерживал сам император: «Его Императорское Величество... с прискорбием усматривает, что многие из Россиян, по свойству полученного ими воспитания, быв удалены от знания древнего Славянского наречия, не без крайнего затруднения могут употреблять издаваемые на сем единственно наречии священные книги, так что некоторые в сем случае прибегают к пособию иностранных переводов...»[14]

Этого Шишков стерпеть не мог: «...язык у нас славенский и русский один и тот же. Он различается только (больше нежели всякой другой язык) на высокий и простой». Шишков всегда ругал образованное дворянство за пренебрежение отечественным языком и культурой, а теперь именно для них предлагалось облегченное и упрощенное переложение русских сакральных текстов, «перекладка священных писаний с высокого и важного языка на простонародное наречие»[15]! По инициативе Александра Синоду было предложено «доставить и Россиянам [имелось в виду, что на языки других народов России Писание уже переведено или переводится. — *М.А.*] способ читать слово Божие на природном своем российском языке, яко вразумительнейшим для них Славянского наречия, на коем книги свящ. писания у нас издаются»[16].

---

[14] Цит. по: Пыпин. С. 58.

[15] Шишков. Записки, 2. С. 215, 205.

[16] Цит. по: Пыпин. С. 57.

Возмущению Шишкова не было пределов. Он всегда считал, и, может быть, не без основания, что народ не только почитает, но и понимает священные тексты лучше образованных дворян. В разговоре с митрополитом Серафимом, председателем библейского общества с мая 1824 г., Шишков «с жаром» защищал древний язык от космополитов-западников: «Кто из нас не разумеет церковной службы? разве тот один, кто, отрекшись от отечества своего, забыл и язык свой? ...нужно ли разделение языка церкви с языком народным?»[17]

26 июля 1824 г. Шишков подал царю проект указа, написанный, как когда-то манифесты, от царского имени. За двенадцать лет, прошедших с войны 1812 года, идеи, взгляды, стиль Шишкова не изменились ни на йоту. По-прежнему он считает, что «истинное просвещение состоит в страхе Божием, который есть начало премудрости», по-прежнему борется против «мнимых мудрецов» с их «лжемудрованиями, ложными и буйными умствованиями». Теперь он видит их в книгах, издаваемых и переводимых Библейским обществом, и требует введения жесткой духовной цензуры со стороны Синода. Император оставил бумагу у себя, и она, как сообщает сам Шишков, «осталась без всякого употребления»[18].

Тем не менее Александр уступил, как и в 1812 г., напору консерваторов. Он сместил близкого ему Голицына и 15 мая 1824 г. назначил министром народного просвещения Шишкова, которому было уже 70 лет. По тем временам это был возраст более чем почтенный. В письмах и бумагах, обращенных к царю, Шишков постоянно жалуется на потерю памяти, преклонные лета и недуги. Тем не менее работоспособность его не ослабевала, действовал он, в соответствии со своими никогда не менявшимися убеждениями, напористо и энергично. Под его давлением деятельность Библейского общества стала понемногу сворачиваться. Оно было окончательно закрыто уже в следующее царствование, в июле 1826 г.

19 ноября 1825 г. в Таганроге скончался император Александр I. Шишков почтил его память искренними, хотя и тяжеловесными, стихами:

Тебя, монарх, еще в године давной,
Воююща в войне преславной,

---

[17] Шишков. Записки, 2. С. 207—208.
[18] Там же. С. 175—177.

Повсюду я сопровождал,
Я глас твоих велений сильных
И гром побед твоих предивных
Народам возвещал.
А днесь... о что сказать дерзаю!
Остатки тленные твои
(Теките слез ручьи!)
В могилу темную сопровождаю![19]

Неожиданная кончина императора вызвала замешательство в правительстве. Александр оставил секретный манифест о престолонаследии, согласно которому, по собственному желанию законного наследника Константина, власть переходила к младшему брату Николаю. Хотя намерения Александра были Николаю известны, о существовании этого документа, кажется, он не знал: в тайну были посвящены лишь три человека: Аракчеев, А.Н. Голицын, архиепископ Филарет. Николай поспешил присягнуть Константину и потребовал, чтобы Государственный совет последовал его примеру. Возник спор. Шишков настаивал, чтобы бумагу вскрыли лишь после совершения присяги, и лишь тогда решили бы, «нужно ли содержащееся в ней обнародовать или не нужно»[20]. Шишков, как всегда, боялся любого нарушения стабильности, малейших потрясений в системе российского самодержавия: «Империя, — утверждал он, — ни на одно мгновение не может остаться без государя...» Против этих слов Шишкова Николай позднее сделал выразительную помету: «И прав был»[21].

14 декабря произошел бунт на Сенатской площади. Министр просвещения, член Государственного совета, видный общественный деятель, Шишков был назначен членом суда над декабристами. Сильно болея, он часто пропускал заседания. Не был и на том, где путем голосования решалась участь заключенных.

Только Н.С. Мордвинов решительно высказался против смертного приговора: «По древним российским узаконениям заслуживают смертную казнь. Но, сообразуясь с указами императрицы Елисаветы 1753 апреля 29 — 1754 годов сентября 30, также с наказом императрицы Екатерины Великия, и с указом императора Павла

[19] Шишков. Записки, 1. С. 262—263.
[20] Шишков. Записки, 2. С. 272.
[21] См.: Шильдер 1997. Т. 1. С. 181, 503.

1799 года, апреля 20, я полагаю: лиша чинов и дворянского достоинства и положив голову на плаху, сослать в каторжную работу. Н. Мордвинов»[22].

Другим заступившимся за осужденных был Шишков. Конечно, с его точки зрения, ничто не могло быть ужаснее, чем бунт против монарха и законной власти. Однако стремление к справедливости, человеколюбие и природная доброта взяли верх. Он счел, что «исчисление большинства голосов» производилось неправильно. Путем арифметических выкладок, отсекая меньшинство, требовавшее более суровых мер, разделив количество присутствовавших судей на общее число лет тюремного заключения и каторги, Шишков показал, что наказание должно было быть гораздо более умеренным[23]. Он составил соответствующее письмо и отправил его в следственную комиссию. Прочитав письмо, некоторые члены сочли размышления Шишкова справедливыми. Однако председательствующий объявил дело законченным и не пожелал рассматривать его заново. Шишков отправил письмо императору, но ответа не получил.

Декабристы, не зная подробностей, были осведомлены о заступничестве Шишкова. Д.И. Завалишин писал: «Говорят, что адмирал Шишков, министр народного просвещения, протестовал и вышел из суда, за что подвергся замечанию свыше, что старик выжил из ума»[24]. Об особой позиции Шишкова пишет и В.И. Штейнгейль: «Первый вопрос по выслушивании высочайшего указа и доклада комитета был в том: “призывать ли подсудимых к подтвердительному допросу, как то велит законный судебный порядок” Большинство голосов решило этот вопрос отрицательно, поставя побудительною причиною “затруднение” Признано достаточным назначить из членов комиссию, которая бы опросила подсудимых в самой крепости. При этой явной несправедливости достопочтенный старец адмирал Ал. Сем. Шишков подал голос (носился слух, что на голос этот отзыв монарха состоял в словах: “Вздор старого враля”), которым отказался от присутствия и от участия в осуждении обреченных предварительно на жертву»[25]. Характерно, что оба

---

[22] Факсимиле см.: Литературное наследство. М., 1956. Т. 59 (1). С. 211. Процитировано в статье: *Стенник Ю.В.* Стихотворение А.С. Пушкина «Мордвинову» (к истории создания) // Рус. литература. 1965. №3. С. 178.

[23] Шишков. Записки, 2. С. 281—284.

[24] Завалишин. С. 464.

[25] Штейнгейль. С. 455—456.

мемуариста вспоминают слухи о грубости царя. Не была ли такая резкость монарха на самом деле реакцией на посланное ему письмо?

В то самое время, когда шли судебные заседания, Шишков был занят еще одним очень важным делом. Во время первой же аудиенции с министром просвещения Николай поручил ему подготовить новый цензурный устав. Без малого четверть века в России действовал либеральный устав 1804 г. Это, правда, не мешало цензуре свирепствовать в пору, когда отошло в прошлое «дней Александровых прекрасное начало», однако в 1820-е гг. устав 1804 г. становился анахронизмом. С июня 1820-го по май 1823 г. особый комитет под негласным управлением М.Л. Магницкого, известного гонителя просвещения, стяжавшего себе печальную славу разгромом Казанского университета[26], и яростного противника свободы книгопечатания, подготавливал новый цензурный устав. Кровавые события 14 декабря, естественно, заставили Николая обратить особое внимание на регламентацию печати.

Шишков вместе со своим помощником П.А. Ширинским-Шихматовым ревностно принялся за работу. Они использовали ранее разработанный проект Магницкого, и в результате появился новый цензурный устав, в котором, по словам исследователя, «всякие запреты были расписаны до мельчайших подробностей, тщательно были предусмотрены меры, препятствующие свободному и независимому изъявлению мнений и суждений автора»[27].

В обществе распространились слухи о готовящемся новом цензурном уставе. В мае 1826 г. Ф.В. Булгарин подал царю обширную записку «О цензуре в России и книгопечатании вообще». Записка Николаю понравилась, и он распорядился препроводить ее министру просвещения. Булгарин перепугался и попросил ее не передавать. Однако записка все-таки была передана Шишкову, который решительно на нее возразил, правда уже после принятия нового цензурного устава. Вполне верноподданный Булгарин все же говорил о том, что «силою невозможно остановить распространение идей»[28]. Он предлагал, отменив некоторые глупые и вредные рас-

---

[26] Выразительную картину превращения Казанского университета в религиозную казарму рисует в своей вполне объективной статье современный исследователь (см.: *Минаков А.Ю.* Михаил Леонтьевич Магницкий // Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX столетия. Воронеж, 2005. С. 283—290). О работе Магницкого над проектом цензурного устава см.: Там же. С. 297—298.

[27] Гиллельсон 1978. С. 198.

[28] Цит. по: Видок Фиглярин. С. 45.

поряжения, разумно управлять общественным мнением. Шишков решительно выступил в поддержку запретительных функций цензуры. Идеями, по его мнению, можно и должно управлять: «Распространение идей полезных для блага государства отнюдь не должно быть стесняемо: что же касается до вредных для общества мнений, как то: противных вере, правительству и нравам, то таковые и можно и должно останавливать решительно...»[29]

Такая попытка и была проделана в новом цензурном уставе. Шишков, всегда считавший слово величайшей идеологической силой, уверенный, что именно книги и статьи, содержавшие противные идеальному монархическому порядку мнения, подготовили чудовищную революцию, наконец-то получил возможность спасти любимую Россию от зловредных влияний. Со свойственным ему многословием и педантичностью он сочинял и редактировал громадную неуклюжую махину нового устава, содержавшего 230 (!) параграфов. Шишков практически запретил в России сочинения величайших философов и публицистов (Вольтера, Руссо, Дидро, Гольбаха, Гельвеция и пр.): «...всякая вредная теория, таковая, как например о первобытном зверском состоянии человека, будто бы естественном, о мнимом составлении первобытных гражданских обществ посредством договоров, о происхождении законной власти не от Бога, и тому подобное, отнюдь не должно быть одобряемо к напечатанию»[30].

Запрещались исторические сочинения, где изображалось «неблагоприятное расположение к монархическому правлению», т.е. исключалась из рассмотрения вся греческая и римская история, все античные историки[31]. Более того, запрещались и всякие исторические рассуждения, в которых могли сопоставляться различные формы правления, где авторы могли рассуждать, «умствовать», об историческом процессе и пр. Под это запрещение, как указывали критики, автоматически попадала и «История» Карамзина.

С.Н. Глинка, познакомившись с «дивным творением», назвал устав «чугунным», и удачное прозвище навсегда прикрепилось к этому детищу Шишкова[32]. В знаменитой сатире А.Ф. Воейкова в одной из камер сумасшедшего дома автор видит

---

[29] Мнение А.С. Шишкова о цензуре и книгопечатании в России // Рус. старина. 1904. №7. С. 203. Детальному разбору этого диалога министра и журналиста посвящена обширная специальная работа: Алтунян. С. 173—214.

[30] Цит. по: Гиллельсон. С. 199.

[31] Там же. С. 197.

[32] Вацуро, Гиллельсон. С. 151—152.

...Устав алжирский
О печатании книг!
Вкруг него кнуты, батоги
И Красовский... ноздри рвать[33].

Несмотря на все возражения, царь, которому, наверное, понравилась резкая запретительная тенденция нового устава, все-таки утвердил его 10 июня 1826 г. Однако сопротивление общественного мнения было так велико, насмешки над нелепостью нового устава распространились так повсеместно, что Николай, будучи человеком умным, вскоре понял свою ошибку. Уже 21 ноября он разрешил специальному комитету по иностранной цензуре обсуждать и проблемы внутренней цензуры, не считаясь с только что утвержденным уставом.

В результате уже 22 апреля 1828 г. Николай утвердил новый цензурный устав. На следующий день, 23 апреля, Шишков был уволен от должности министра народного просвещения. Современник рассказывает: «...Александр Семенович действительно был уже дряхлый, расслабленный старик. В последний доклад он долго не мог отворить ключом портфель, и государь помог ему в этом, вынул бумаги и сам прочитал вслух. После доклада царь ласково сказал: "Александр Семенович, вы много и доблестно трудились, не пора ли вам успокоиться?" ...На другой день Шишков подал прошение об отставке. Государь оставил его членом Государственного совета и президентом Российской академии с полным министерским содержанием»[34]. Несмотря на общий не очень благожелательный тон мемуариста, который был родственником второй жены Шишкова, эти слова в общем подтверждаются и рассказом Аксакова, встречавшегося с Шишковым вскоре после его отставки, в 1829 г.: «Здоровье его начинало слабеть. Он жаловался мне на свои глаза, говоря, что уже не может так много читать и писать, как прежде. Он оставался членом Государственного совета, президентом Российской академии и получал все свои оклады, следовательно, мог жить в довольстве»[35].

[33] Цит. по: Лотман 1996. С. 447. А.И. Красовский — цензор, прославившийся нелепыми придирками. Принимал участие в подготовке «чугунного» устава.

[34] Пржецлавский. С. 402.

[35] Аксаков, 2. С. 309.

Отставка Шишкова, по словам Булгарина, была встречена всеобщим ликованием. «Трудно изъяснить радость публики о смене Шишкова... Сочинили даже песенку, пародируя его знаменитые стихи для детей “Хоть весною и тепленько”[36]:

Хоть в России и умненько,
В Академии глупенько,
Но и в луже
Нам не хуже,
Здесь Хвостовы,
Соколовы и т.д.

За сим следует пародическое исчисление занятий Академии и министерства — равное нулю»[37]. Впрочем, особенно доверять этому рассказу Булгарина не следует: Шишкова он ненавидел и боялся[38].

К концу жизни Шишков совсем ослеп, мало ходил. Как и всю жизнь, он любил кормить птиц, на ощупь отворял форточку и выставлял голубям корм на тарелке. В 1840 г. «это был уже труп человеческий, недвижимый и безгласный, только близко наклонясь к нему, можно было заметить, что слабое дыхание еще не прекратилось»[39]. Скончался Шишков 9 апреля 1841 г. Он похоронен в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

Подводя итоги, можно выделить два основных аспекта деятельности Шишкова: литературный и общественно-политический. Обычно считается, что результатом борьбы шишковистов с карамзинистами было поражение первых: литература пошла, по пути намеченному Карамзиным. Это, однако же, не совсем так, скорее совсем не так. Современные исследователи говорят о достаточно сложном и далеко не однозначном пути развития русской литературы в XIX и XX вв. Как мы упоминали, еще Ю.Н. Тынянов однаж-

---

[36] Имеется в виду пользовавшееся большой популярностью стихотворение Шишкова «Николашина похвала зимним утехам»:

Хоть весною и тепленько,
А зимою холодненько,
Но и в стуже мне не хуже и т.д.

См. изящный этюд об этом стихотворении: Боленко, Лямина 1994.

[37] Видок Фиглярин. С. 273.

[38] Там же. С. 53. Неприязнь и страх имели основания: Шишков терпеть не мог Булгарина и Греча и называл «Северную пчелу» — «Северным жуком». См.: Пржецлавский. С. 391.

[39] Аксаков, 2. С. 311.

ды мельком обмолвился, что в литературной борьбе победу одержал не Карамзин, а Шишков: «Не очень распространен тот факт, что не Карамзин победил Шишкова, а напротив, Шишков Карамзина. По крайней мере, в 20—30-х годах было ясно многим, что в “Истории государства Российского” Карамзин сдал свои стилистические позиции своим врагам»[40]. Я помню, как еще в 1960-е гг. к этим словам Тынянова многие относились как к чудачеству. Однако в этом беглом замечании есть большая доля правды. Автор книги о языке Пушкина Б.М. Гаспаров справедливо видит в Шишкове серьезного культурного деятеля, который «высказал ряд интересных общих мыслей, предвещающих романтический взгляд на язык как на культурно-исторический организм, в истории которого неповторимым образом отпечатались особенности народного духа»[41].

Шишков ратовал за написанную таким языком важную, значительную по тематике литературу, противопоставляя «легкости» карамзинистов серьезность, высокие жанры, торжественный язык. Когда Карамзин начал публиковать тома «Истории государства Российского», Шишков восторженно приветствовал своего давнего противника, с почетом принял его в Российскую академию, инициировал награждение золотой медалью. Чтения из «Истории», происходившие в Академии, имели шумный успех. Величественный, спокойно-торжественный язык творения Карамзина ничем не напоминал нежно-сентиментальные обороты «Бедной Лизы» и особенно ее многочисленных подражателей.

Пушкин уже со второй половины 1820-х гг. отказался от пресловутой «легкости» «Руслана и Людмилы» и гениальной непринужденности своих романтических поэм. Торжественная поступь «Полтавы», подчас намеренно тяжеловесные строки «Медного всадника», замедленный белый стих «Бориса Годунова» свидетельствуют, что размышления Шишкова не прошли даром для гениального поэта. От Шишкова и шишковистов идет начатая Тредиаковским и Радищевым традиция нарочито архаического трудного стиха, сама тяжеловесность которого служит средством особой и весьма эффективной выразительности. Так писали многие «архаисты», прежде всего Кюхельбекер и Катенин. Отсюда тянутся нити к Тютчеву, Случевскому, Вячеславу Иванову, Хлебникову. Когда Маяковский называл свой стих «расскрежещенным», он вряд ли думал, что грубость, намеренная угло-

[40] См. предисловие Тынянова в кн.: Кюхельбекер 1929. С. 4.
[41] Б. Гаспаров 1999. С. 30.

ватость и неуклюжесть его стиха восходят к теоретическим размышлениям Шишкова.

Уже цитированный нами исследователь пишет: «В языковой полемике начала XIX века окончательно оформилась идеологическая и эстетическая парадигма, сыгравшая *огромную роль* [курсив мой. — *М.А.*] в последующем (вплоть до настоящего времени) развитии русской культуры: представление о том, что истинно высокое, серьезное и нравственное содержание не только может, но и *должно быть* облечено в нарочито затрудненную, тяжеловесную неуклюжую форму, демонстративно чуждающуюся таких качеств, как легкость, простота и изящество слога и изложения. В этой парадигме "высокое косноязычье" становится неотъемлемым свойством писателя, публициста, ученого, выступающего в культурной роли Пророка»[42]. Это совершенно справедливое рассуждение заставляет нас вспомнить о стиле А.И. Солженицына, творчество которого имеет некоторые точки соприкосновения со взглядами Шишкова и его литературных и политических единомышленников.

Что касается второго аспекта деятельности Шишкова, его общественно-политической активности и государственной службы, то эта деятельность тоже, к сожалению, имела полный успех. Очень велика роль Шишкова в борьбе со всеми либеральными начинаниями Александра I. Все блестящие замыслы императора кончились ничем или почти ничем. Никакой конституции, даже намека на нее, Россия так и не дождалась. Робкие попытки создания представительного правления спустя более полувека после смерти Александра I были разнесены в клочья бомбами революционеров вместе с его племянником, царем-освободителем, в 1881 г.

Самое же главное: еще пятьдесят лет незыблемым оставалось крепостное право, обветшавший тормоз экономического и политического развития России и главное препятствие формированию свободной, независимой, исполненной чувства собственного достоинства личности. Кто знает, что было бы с Россией, будь это зло отменено на полвека раньше. Может быть, удалось бы избежать катастрофы Октября 1917-го и того страшного трагического пути, который был уготован России в XX веке.

---

[42] Б. Гаспаров 1999. С. 43.

ПУШКИН И ТРАДИЦИИ «БЕСЕДЫ»

На предыдущих страницах этой книги мы уже рассматривали некоторые отклики Пушкина на деятельность «Беседы», которая закончила свое существование, когда юному поэту было всего 17 лет. Вполне естественно, что самый молодой и остроумный «арзамасец» обильно осыпал насмешками литературных староверов, радостно включившись в веселую игру своих старших друзей: Вяземского, Жуковского, дяди Василия Львовича и других. В его стихах достается и вдохновителю «беседчиков» Тредиаковскому, и старику Державину, и Шаховскому, и Шихматову, и Шишкову. Об этих стихах Пушкина бегло говорилось выше.

Особенно хорошо известна эпиграмма «Угрюмых тройка есть певцов...» (1815), где три едва ли не главных «беседчика» — Шишков, Шаховской и Шихматов — названы «угрюмыми певцами», «супостатами уму». Программное послание «К Жуковскому» (1816) в одном из автографов было подписано *Арзамасец.* И действительно, здесь снова подвергаются осмеянию «беседчики». Шишков назван Мевием (по имени римского поэта, хулителя Виргилия, синоним худого поэта). Члены этого сообщества, «спесивых риторов безграмотный собор»,

> ...прозу и стихи отважно все куют,
> Там все враги наук, все глухи — лишь не немы,
> Те слогом Никона печатают поэмы,
> Одни славянских од громады громоздят,
> Другие в бешеных трагедиях хрипят,
> Тот, верный своему мятежному союзу,
> На сцену выведя зевающую музу,

Бессмертных гениев сорвать с Парнаса мнит...
Вотще бросается с завистливым кинжалом...

«Поэмы слогом Никона», по всей вероятности, имеют в виду творения Шихматова, а «славянских од громада» — его же и, может быть, Хвостова. Что касается «бешеных трагедий», то здесь вряд ли речь идет о хорошо известных в литературных кругах трагедиях Державина: «Пожарский, или Освобождение Москвы», «Евпраксия», «Темный», «Ирод и Мариамна» — ибо чуть выше, в этом же стихотворении, Державин назван: «славный старец наш, царей певец избранный». Возможно, автор таких трагедий — С.И. Висковатов, драматург и переводчик, также член «Беседы». Кажется, именно он назван Визговым в «Городке». Над ним же Пушкин смеялся в черновиках стихотворения «К Батюшкову»: «Уродов выставя на сцену, // Визжать заставил Мельпомену» (I, 281). «Визжать» находится в том же семантическом ряду, что и «хрипеть». Поскольку авторами «бешеных трагедий» являются «другие» (не один), то очень вероятно, что наряду с Висковатовым имеется в виду и А.Н. Грузинцев. Его трагедии одобрялись архаистами («Эдип-царь» (1811) был посвящен Шаховскому) и неизменно осмеивались арзамасцами («Театра нашего хвала, // Грузинцев, Висковатов! // Их Мельпомена родила / / На гибель супостатов»[2]). Наконец, обладатель *зевающей музы* — несомненно, Шаховской, с *завистливым кинжалом* бросающийся на Озерова.

Можно было бы отметить у Пушкина еще несколько веселых нападок на «Беседу» в целом, на отдельных ее членов и особенно на Шихматова. Все они остаются в кругу обычной и ныне достаточно хорошо изученной «арзамасской» полемики. Поэтому может показаться, что рассмотрение проблемы, вынесенной в название этой главы, излишне, тем более что некоторые существенные аспекты ее были рассмотрены в классической работе Ю.Н. Тынянова «Архаисты и Пушкин», опубликованной восемь десятков лет назад. Однако, показав связь младших архаистов с «Беседой», Тынянов в основном сосредоточился на анализе отношений Пушки-

[1] Пушкин 1999. С. 188—190.

[2] Там же. С. 93, 580. О Грузинцеве и Висковатове см. также: Русские писатели 1800—1917. Т. 1, 2.

на с ними, и вопрос об отношении поэта собственно к «Беседе» и ее традициям остался непроясненным.

Напомню, что 11 марта 1811 г. Шишков произнес при открытии «Беседы» программную речь, в который выделил три «рода» русской словесности:

1. Древнюю, в основном духовную, литературу, которая «давно процветает и древностию своею, изяществом и высотою всякое новейших языков витийство превосходит».

2. Фольклор, который «приятен и в простоте своей скрывает самое сладкое для сердца и чувств красноречие».

3. «Третий род» сочинений — тот самый «новый слог», против которого была направлена знаменитая книга Шишкова, «те роды сочинений, которых мы не имели и которые взяли мы от чужих народов, слишком рабственно им подражая и гоняясь за образом мыслей и свойствами языков их, много отклонили себя от собственных своих понятий».

Отношение к этим трем дефинициям в значительной степени показательно для восприятия Пушкиным традиций «Беседы». Как мы уже неоднократно говорили, «Беседа» преимущественно культивировала творения «первого рода». Значительно расширяя ломоносовские рамки «высокого штиля», беседчики стремились распространить его почти на все литературные жанры, создавая громоздкие, тяжеловесные, с запутанным синтаксисом произведения. Эти особенности проявляются у предшественников «Беседы», Радищева и Боброва. Они явственно ощущаются в позднем творчестве Державина.

Именно эти черты «беседного» стиля становятся излюбленной мишенью «арзамасской» игры, и лицеист Пушкин с наслаждением включается в нее, разделяя «невинное удовольствие погребать покойную Академию и беседу губителей Российского Слова»[3] Он вслед за Батюшковым осмеивает «темный слог», «тяжкие пустые словеса» Ширинского-Шихматова (I, 227). Бобров, которого Батюшков и другие «арзамасцы» справедливо рассматривали как вдохновителя «беседчиков», у Пушкина тоже никому не понятен, его стихи — средство от бессонницы[4]. Издевается Пушкин и над

[3] Письмо к П.А. Вяземскому от 27 марта 1816 года.

[4] Пушкин 1999. С. 16: «И снова бес монаха соблазнять; / Чтоб усыпить, Боброва стал читать»; «Что лучше этаких стихов? / В них смысла сам бы не проникнул / Покойный господин Бобров...» (Там же. С. 141).

гекзаметрами, реабилитация которых началась и проходила в «Беседе» трудами Галинковского, Гнедича, Уварова.

В 1815 г. в поэме «Тень Фонвизина» Пушкин создал злую пародию на «Гимн лиро-эпический» Г.Р. Державина (см. главу «Поздняя лирика Державина»), где посмеялся над основными стилистическими принципами словесности «первого рода»: сложные слова, библеизмы, архаизмы.

В 1816 г., за год до выхода Пушкина из Лицея, прекратилось существование «Беседы». Инерция борьбы с ней, постепенно угасая, окончательно выдохлась к 1820 г. Потеряли смысл и шутовские выходки против «беседчиков». В 1818—1820 гг. Пушкин имеет дело уже с младшим поколением архаистов: Грибоедовым, Катениным, Кюхельбекером. Но коль скоро это младшее поколение наследовало те или иные традиции «Беседы», то и отношение Пушкина к их творчеству в исторической перспективе становится осмыслением его отношения к основным литературным и, позднее, идеологическим принципам самой «Беседы».

Здесь нужно сказать несколько слов о П.А. Катенине. Важнейшей стилистической доминантой его поэтического творчества является жесткость, грубость, шероховатость, обусловленная употреблением просторечной и простонародной лексики, фольклоризм, особенно чувствующийся в «народных» балладах, намеренно противопоставленных «чужеземным» балладам Жуковского. Катенин, таким образом, разрабатывает, пользуясь терминологией Шишкова, «второй род», «вторую словесность», которая «состоит в народном языке». Именно эта сторона деятельности младших архаистов, отразившаяся в творчестве Катенина, оказалась для Пушкина настолько приемлемой, что он явился к Катенину как ученик и, «подавая в руки толстым концом свою палку, сказал: "Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи"»[5]. Конечно, в этой известной реплике проявилось прежде всего желание сказать что-то приятное самолюбивому и самоуверенному Катенину, но в ней, несомненно, видно и признание его творческих достижений[6].

---

[5] *Катенин П.А.* Воспоминания о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях. Т. 1. С. 183.

[6] Катенин ответил молодому поэту тоже комплиментом: «Ученого учить — портить». Шутка Пушкина восходит к рассказу Диогена Лаэртского: «Придя в Афины, он [Диоген. — *М.А.*] примкнул к Антисфену. Тот, по своему обыкновению никого не принимать, прогнал было его, но Диоген упорством добился своего. Однажды, когда тот замахнулся на него палкой, Диоген, подставив

Творчество же других младоархаистов (Грибоедова, Кюхельбекера) не вызывает в эту пору у Пушкина никакого сочувствия. Поэтому не совсем справедлива сделанная Тыняновым, пусть только для антикарамзинских выступлений, постановка в одном ряду имен Пушкина, Катенина, Кюхельбекера: «В течение [18]20-х годов борьба Пушкина с остатками литературной культуры старших карамзинистов продолжает углубляться. Здесь Пушкин по резкости выступлений совершенно солидаризируется и с Катениным и Кюхельбекером»[7]. С учетом «беседных традиций», несколько упрощенно выглядит и итоговая формула Тынянова об отношении Пушкина к младоархаистам. Совершенно справедливо, что «до 1818 года Пушкин может быть назван правоверным арзамасцем-карамзинистом». Однако уже следующие фразы нуждаются в уточнениях: «1818 г. — год решительного перелома и наибольшего сближения с младшими архаистами. В 20-х годах наступает время борьбы с sectair'ством обеих сторон»[8]. На самом деле, именно на первую половину 1820-х гг. приходится наиболее острая и принципиальная полемика с В.К. Кюхельбекером, давним лицейским другом и литературным противником. Пушкин выступает против тех особенностей стиля, литературной манеры младоархаистов, которые целиком опираются на традиции «Беседы». Позволю себе напомнить хорошо известные факты.

Из письма к брату Льву Сергеевичу от 4 сентября 1822 г. мы узнаем, что, видимо, в августе Пушкин получил стихи и прозу Кюхельбекера. Что это была за проза — остается неизвестным. А стихи были следующие: «Ермолову», «Грибоедову», «Пророчество».

Первое вызвало меньше всего возражений. Пушкин отметил лишь сложный, запутанный «греческой» синтаксис строк:

Так пел, в Суворова влюблен,
Бард дивный, исполин Державин...

Напомним, что именно темный и запутанный слог «беседчиков» был главным объектом нападок «арзамасцев». Смеясь, Пуш-

---

голову, сказал: «Бей, но ты не найдешь такой крепкой палки, чтобы прогнать меня. Пока ты что-нибудь не скажешь». С этих пор он стал учеником Антисфена и, будучи изгнанным, повел самую простую жизнь» (Диоген Лаэртский. С. 240).

[7] Тынянов 1968. С. 64.

[8] Там же. С. 56.

кин снова вспомнил эти тяжеловесные строки в письме к Вяземскому от апреля 1824 г.: «...переписываю для тебя Онегина... — отроду ни для кого ничего не переписывал... — из сего следует, что я в тебя влюблен, как кюхельбекерский Державин в Суворова». Следует отметить, что главная мысль этого стихотворения очень близка излюбленному тезису «беседчиков»: роль литературы столь велика, что только поэты сохраняют в веках имена героев, иначе давно бы преданных забвению. Автор варьирует размышления Шишкова и стихи Гнедича, в которых говорится, что только Гомер спас подвиги Ахилла для памяти потомков:

Поет Гомер, к Ахиллу страстный:
Из глубины седых веков
Вселенну мысль его пленила,
И не умрет душа великого Ахилла[9].

Над вторым стихотворением Пушкин издевался. Он вспомнил стихи Кюхли, написанные в Лицее и сохранившиеся в лицейском журнале «Вестник». Пушкин очень точно и почти полностью процитировал их: «...стихи к Грибоедову достойны поэта, некогда написавшего — Страх при звоне меди заставляет народ, устрашенный, толпами стремиться в храм священный. Зри Боже! Число великий унылых тебя просящих сохранить им — цел труд многим людям — принадлежащий и проч.». Стихи, очевидно, пользовались большой, хотя и отрицательной, известностью у лицеистов. И Пушкин добавляет: «Справься об этих стихах у барона Дельвига»[10]. Итак, тяжеловесность, неуклюжесть, непонятность — вот основные черты новых стихов Кюхельбекера. Они, таким образом, попадают в один ряд со стихами «беседчиков».

В стихотворении «К Грибоедову» была строфа:

Но ты взлетишь над песнями толпы!
Тебе дарованы, Певец, рукой судьбы
Душа живая, пламень чувства,

---

[9] Кюхельбекер 1967. Т. 1. С. 180; в дальнейшем ссылки на это издание в тексте.

[10] Пушкин. Письма. Т. 1. С. 251. Ср.: *Грот К.Я.* Пушкинский Лицей. СПб., 1998. С. 289. Последние строки этого стихотворения таковы: «Увы из небес горящих / Размножает гнезда летящих / И колосы по полю лежащих/ Град быстро падущий».

Веселье светлое и тихая любовь,
Златые таинства высокого искусства
И резво-скачущая кровь.

Пушкин надолго запомнил последнюю строку. В 1825 г. в «Оде его сиятельству графу Хвостову», адресованной, как это блестяще показал Тынянов, прежде всего Кюхельбекеру и, в меньшей степени, Рылееву[11], мы найдем такие стихи:

Кровь Эллады
И резво скачет и кипит —

с примечанием: «Слово, употребленное весьма счастливо Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером в стихотворном его письме к Грибоедову». А в письме к брату в мае 1825 г. он шутливо роняет: «Мне не по нутру *Резвоскачущая кровь* Грибоедова». У Пушкина слово *резвоскачущий* вызывало усмешку, потому что сложные слова были, как мы уже неоднократно отмечали, характернейшей особенностью архаического стиля, они подчеркивали связь русского/славянского высокого, торжественного языка с древним греческим. Поэтому ирония Пушкина была обращена не только к младоархаисту Кюхельбекеру, но и к «беседчику» Хвостову и вообще к традициям «Беседы».

Однако самым принципиально неприемлемым оказалось для Пушкина стихотворение «Пророчество»[12]. Об этом стихотворении спустя почти четверть века, 25 мая 1845 г., сам Кюхельбекер писал: «Третьего дня я совершенно случайно вспомнил несколько стихов пиэсы, которую я написал 24 года тому назад в Грузии, — на взятие греками Триполицы. Я тогда только что начал знакомиться с

[11] Тынянов 1968. С. 105—115.

[12] В первой половине (март—май) 1823 г. Дельвиг писал Кюхельбекеру: «Я ему [Пушкину. — *М.А.*] доставил твою греческую оду, послание Грибоедову и Ермолову...» Комментатор (В.Э. Вацуро) считает «греческой одой» стихи «К румью» <sic!> — в другой редакции «Греческая песнь» (Дельвиг. С. 282, 410; ср.: Кюхельбекер 1967. Т. 1, с. 144, 620). Он полагает, что Пушкин в своем письме к брату говорил об этих трех стихотворениях. Два последних сомнения не вызывают. Однако, по всей вероятности, не «Греческую песнь» имел в виду Пушкин, когда писал о библеизмах третьего стихотворения. Это, несомненно, «Пророчество» (вариант названия: «Песнь грека в чужбине»; см.: Кюхельбекер 1967. Т. 1. С. 159—160, 622), что вполне справедливо обосновал еще Тынянов (Тынянов 1968. С. 112).

книгами Ветхого Завета, которые покойный Грибоедов заставил меня прочесть. Вот начало:

Глагол Господень был ко мне
За цепью гор, на бреге Кира...»
(1, 428)

Действительно, архаизмы и библеизмы составляют стилистическую основу стихотворения: *могущий сонм, главу вздымая, грядет на Византию горе, трепещущие длани, булат в деснице, в шуйце крест* и мн. др. Славянизмы придают стихам ветхозаветный колорит благодаря введенным в текст прямым библеизмам: *священный пастырь, ангел мститель, Саваоф* — а начало стихотворения является почти прямой цитатой из Библии:

И было мне слово Господне.
(Иер. 1, 4).

У Кюхельбекера:

Глагол Господень был ко мне.

Неожиданное вторжение Ветхого Завета в стихи об освобождении Греции более всего насмешило Пушкина. Принять такую поэтическую систему он не мог. Именно с «Пророчества» он начинает короткий саркастический разбор трех стихотворений Кюхельбекера: «Только в его голову могла войти жидовская мысль воспевать Грецию, великолепную, классическую, поэтическую Грецию, где все дышит мифологией и героизмом — славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремия» (XIII, 45). И более года спустя, в письме Пушкина—Туманского от 11 декабря 1823 г. позиция Кюхельбекера подвергнута дружеской, но резкой критике именно как «беседная» — рядом поставлены Шихматов и Библия: «Охота же тебе читать Шихматова и Библию. Первый — карикатура Юнга; вторая, несмотря на бесчисленные красоты, может превратить Муз в церковных певчих. Какой злой дух, в виде Грибоедова, удаляет тебя в одно время и от наслаждений истинной поэзией и от первоначальных друзей твоих! ...читай кого хочешь, только не Шихматова!» (XIII, 81—82). Таким образом, главный упрек Кюхельбекеру за

«Пророчество» — это упрек в отсутствии исторического, этнографического, культурного правдоподобия: нельзя говорить о Греции, обращаясь к библейским реалиям. Впечатлительный Кюхельбекер очень серьезно и болезненно воспринял упреки друзей. В стихотворении «Разуверение» (1821) он с горечью посчитал Пушкина своим врагом:

Я расторг святые узы!
Он в толпе моих врагов.
(1, 152)

С другой стороны, несмотря на все насмешки над Кюхлей, сама проблема высокого слога отнюдь не отвергается Пушкиным и начинает все более интересовать его. В 1824 г. Пушкин пишет «Подражания Корану». Здесь есть все, чего недоставало Кюхельбекеру, не сумевшему изобразить «славяно-русскими стихами» великолепную, классическую, мифологическую Грецию. Пушкин изобразил напряженную фанатическую жизнь мусульманина:

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой,

непритязательность его полукочевого быта:

И хлеб, и финик, и оливу,

грандиозность яркого, наполненного светом мира — творения Аллаха:

Зажег ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле...

Славянизмы и славянские обороты в «Подражаниях» никак не связаны со славянской культурой, они придают тексту простодушное величие и некоторую патриархальность. Кроме того, в них просвечивает и исторически обусловленная связь Корана с ветхозаветной традицией:

Но дважды ангел вострубит,
На землю гром небесный грянет...

Проблема просторечий и высокого слога и их соответствия историческим реалиям стала особенно важной в работе над «Борисом Годуновым». Мы уже говорили о связи этой трагедии с державинской, т.е. «беседной», традицией в главе «Театральные интересы “Беседы”». Здесь позволим себе в развитие той же темы более подробно остановиться на идеологических аспектах трагедии, обусловивших ее стилистику.

В национальной драме, созданной Пушкиным, проблемы местного колорита, точности историко-этнографических деталей занимают автора в гораздо меньшей степени, чем трагические размышления о путях исторического развития России, о русском национальном характере, о взаимоотношениях власти и народа. Эти размышления требовали и соответствующего стиля.

Еще Г.А. Гуковский так сформулировал основную мысль трагедии: главным героем ее является народ, демиург истории[14]. С этой мыслью ученого можно было бы согласиться, но с некоторыми существенными уточнениями.

Для Пушкина народ — стихийная, неуправляемая сила. До поры инертная, кричащая то «да здравствует Борис», то «да здравствует царь Дмитрий Иоаннович», то зловеще молчащая (если реплика «народ безмолвствует» действительно принадлежит Пушкину), то срывающаяся в стихийном реве: «Вязать, топить... Борисова щенка». Это представление о страшной народной стихии Пушкин сохранил до конца жизни (ср. знаменитую реплику о бунте «бессмысленном и беспощадном» в «Капитанской дочке»).

Представление о народе как основе, фундаменте национальной жизни было бесспорным и для Шишкова. Разница заключалась в том, что, с его точки зрения, эта стихия была благостной (вспомним, как старательно он не замечал в фольклоре бунтарских или аморальных тенденций), инертной, послушной, богобоязненной, а для Пушкина — грозной, зловещей, подчас неуправляемой, переменчивой.

Для изображения глубинного течения истории, тяжелой поступи исторического процесса требовалось, естественно, обращение к

---

[13] О множественных значениях славянизмов в русской романтической поэзии убедительно писал еще Гуковский.

[14] Гуковский 1957.

«высокому слогу», а поскольку народ выступал в качестве движущей силы истории, то и к традициям «второй словесности». Стиль пушкинской трагедии таковым и оказался. Трагедия вобрала в себя самые разнообразные лексические и синтаксические формы.

Здесь и просторечия, намеренная грубость народного языка, которая раздражала ухо современников. В «Годунове» эта стихия грубой народной, причем не только русской, речи стала существенным элементом ее общего стиля, что прекрасно чувствовал и сам автор: «В моем Борисе бранятся по-матерну на всех языках. Это трагедия не для прекрасного полу». В этой реплике, кажется, обозначено стремление отмежеваться от важнейшего для карамзинистов постулата: истинный поэт — «кто пишет так, как говорят, кого читают дамы» (Батюшков). Это основной принцип «словесности третьего рода», вызвавший в свое время резонную отповедь Шишкова: «Милые дамы, или, по нашему грубому языку, женщины, барыни, барышни, редко бывают сочинительницами, и так пусть их говорят как хотят».

Грубость языка трагедии была отмечена недоброжелательной критикой, возмущавшейся выражениями, противоречащими изящному вкусу: «черт с ними», «мочи нет», «ступай вязать Борисова щенка», «тошнит» и пр.[15]. Булгарин во «внутренней рецензии» на пьесу писал: человек с малейшим вкусом и тактом не осмелился бы никогда представить публике выражения, которые нельзя произнесть ни в одном благопристойном трактире!»[16]

Для Пушкина намеренная простота и грубость были знаком обращения к истокам, началам русской речи. Еще до «Годунова», в декабре 1823 г., он писал Вяземскому, отталкиваясь от стихов Боброва, идейного и эстетического предшественника «Беседы»: «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе» (XIII, 80). «Борис Годунов», кажется, стал первым последовательным отказом от этой «привычки».

Другой важной составляющей пушкинской трагедии стал фольклор и фольклорные реминисценции — «вторая словесность наша»,

---

[15] См. комментарий Г.О. Винокура в: Пушкин 1935. С. 437—438. В дальнейшем цитаты из «Бориса Годунова» в тексте с указанием на это издание.

[16] Видок Фиглярин. С. 92.

в терминологии Шишкова. Эта фольклорная стихия, грубовато-просторечная в сцене «Корчма на Литовской границе», становится пронзительно-щемящей, грустно-поэтической в причитаниях и жалобах Ксении, в черновой редакции имевших форму народной песни:

Что ж уста твои
Не примолвили,
Очи ясные
Не проглянули?
Аль уста твои
Затворилися,
Очи ясные
Закатилися.
(VII, 265)

Третьим важнейшим стилистическим компонентом трагедии являются старославянизмы, архаизмы, слова высокого стиля. Еще Гуковский отметил их тройную функцию в трагедии: они, во-первых, придают языку «высокость», во-вторых, оттенок древности, наконец, используются для выражения церковного мировоззрения, священного ореола власти и пр.[17]. Таким образом, употребление славянизмов далеко не ограничивается требованиями исторического правдоподобия, создания национальных аксессуаров и пр. Кстати, заметим, что только для придания языку «высокости», вне всяких требований историко-литературного колорита, Пушкин употребил в «Цыганах» подчеркнутый, диссонансный славянизм при вводе речи Старого Цыгана. Вне общего контекста он, казалось, звучал совсем неуместно:

Тогда старик приближась рек...

Этот диссонанс резанул ухо Рылееву, писавшему автору: «Насчет слога... мне не нравится слово *рек*. Кажется оно не свойственно поэме; оно принадлежит исключительно лирическому слогу» (XIII, 169).

В «Годунове» славянизмов гораздо больше, и роль их становится особенно значимой. Так, естественно, библейски-религиоз-

---

[17] Гуковский 1957. С. 57—58.

ный колорит пронизывает всю молитву мальчика: «Царю небес, везде и присно сущий и пр.» (VII, 37). Торжественной архаики исполнено обращение Бориса (звательный падеж, славянизмы и пр.: «Ты, отче патриарх...»). Обращение к пушкинским черновикам и источникам показывает, что, обрабатывая древний текст, автор делает его более высоким, важным, величественным, чем в оригинале, что особенно характерно для сцены в монастыре у Пимена. Это важнейшее место трагедии очень внимательно и тщательно перерабатывалось поэтом. Для рассказа об Иване Грозном Пушкин использовал письмо царя к игумену Кирилло-Белозерского монастыря: «...и пришедшу ми к вашему преподобию ...и бывши в сей беседе надолзе, и аз грешный вам известих желание свое о пострижении ...и вам молитвовавшим, аз же окаянный преклонив скверную свою главу и припадох к честным стопам Игумена, благословения прося» (VII, 469—470). В тексте трагедии оставлено слово *окаянный*, имеющее все же некоторый оттенок архаичности, но снято просторечно-грубоватое, разговорное *скверный*, зато введено церковнославянское *алкающий* и всему монологу Грозного придан торжественно-высокий колорит, который отсутствует в самом царском письме:

Отцы мои, желанный день придет,
Предстану здесь, алкающий спасенья...
Прииду к вам преступник окаянный
И схиму здесь честную восприму,
К стопам твоим, святый отец, припадши.
(VII, 20—21)

Рассказ Пимена о кончине Феодора взят Пушкиным из Никоновой летописи, из повести патриарха Иова о «честном житии благоверного и благородного и христолюбивого государя царя и великого князя Феодора Ивановича» (VII, 465). Пушкин добавляет к рассказу Иова три строки, исполненные высокого благочестивого пафоса:

Когда же он преставился, палаты
Наполнились святым благоуханьем,
И лик его, как солнце, просиял...
(VII, 21)

Итак, в «Борисе Годунова» архаизмы и славянизмы играют весьма существенную роль. Они придают языку трагедии, там, где это обусловлено художественными требованиями, ту «высоту и крепость», о которой говорил Шишков, характеризуя «первую нашу словесность», т.е. язык церковных книг. В трагедии завершился синтетический процесс слияния всех пластов русского языка в единый литературный язык, которым с этих пор Пушкин пользуется с полной гибкостью и свободой.

Думается, что после «Бориса Годунова» отношение Пушкина к стихам Кюхельбекера претерпело некоторые изменения. Кажется, об этом свидетельствует написанный в сентябре 1826 г. «Пророк». Может быть, не случайно название стихотворения перекликается с «Пророчеством» Кюхельбекера. Усвоив в «Годунове» стихию церковнославянской библейской речи, Пушкин создает стихотворение той же тематики и теми же языковыми средствами, что и не так давно осмеянный им Кюхельбекер. Пушкин обращается к той же книге Иеремии, с которой начиналось «Пророчество»:

Глагол господень был ко мне.

Той же цитатой Пушкин почти закончил своего «Пророка». Последняя строфа (речь Господа) подготовлена словами:

И Бога глас ко мне воззвал.

Стихотворение Кюхельбекера начинается обращением Господа к певцу, вдохновенному пророку свободы:

На то ль тебе я пламень дал
И силу воздвигать народы?
Восстань, певец, пророк Свободы!
Воспрянь! Взвести, что Я вещал.

Стихи Пушкина заканчиваются тем, с чего начинает Кюхельбекер:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Перекличка станет еще более ощутимой, если мы введем в наши размышления биографические мотивы. В 1822 г. Кюхельбекер закончил «Пророчество» действительно пророческими стихами:

А я и в ссылке и в темнице
Глагол Господень возвещу!

В сентябре 1826 г., когда Пушкин писал своего «Пророка», пятеро декабристов были уже повешены, а напророчивший себе темницу Кюхельбекер сидел в крепости. И Пушкин, чья судьба еще далеко не определилась, примеряет к себе участь поэта-пророка, который должен, «обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей». Не случайно именно в эти месяцы (ноябрь 1826 г.) он рисует виселицы и рядом с рисунком пишет: «И я бы мог...»

В отличие от «Подражаний Корану», в «Пророке» очень мало этнографических деталей. Использование общего библейского колорита нужно прежде всего для создания образа богодуховенного поэта. Иначе говоря, на более высоком художественном уровне Пушкин сделал то же, что Кюхельбекер в 1822 г., — воспел высокими ветхозаветными стихами судьбу поэта в мире. Разумеется, у Пушкина нет того историко-культурного разнобоя: библейский мир — классическая Греция, который так развеселил его у Кюхельбекера тремя годами ранее. Однако остался факт использования славянизмов, высокого слога, прямых библеизмов для создания стиха величественного, гражданского звучания, высокой общественной тематики. Тем самым в значительной степени снимается острота полемики 1823 г. между Пушкиным и Кюхельбекером, когда Пушкин высмеивал лицейского друга за усвоение «беседных» принципов под влиянием Грибоедова, которого «арзамасец» В.Л. Пушкин не без основания называл «кандидатом “Беседы” пресловутой» (1816)[18].

Дальнейшее развитие творчества Пушкина показывает, что усвоенные в середине 1820-х гг. стилевые пласты стали органическим элементом его поэтики в тех произведениях, где обращение к ним диктовалось художественно-эстетическими задачами. Однако прежде чем приступить к этой теме, следует сказать несколько слов об отношении Пушкина к Шишкову в 1820-е гг.

---

[18] В. Пушкин. С. 212.

В лицейские, «арзамасские» годы Шишков для него — *угрюмый певец, супостат уму, тупица, Ослов* и пр. Однако серьезные эстетические поиски, постепенный отход от бурного юношеского либерализма, видимо, как-то влияют и на восприятие самой личности бывшего главы «беседчиков», последовательного консерватора и монархиста. 15 мая 1824 г. Шишков был назначен министром просвещения. На это назначение Пушкин быстро и вполне положительно, хотя и с некоторой долей добродушной иронии, откликнулся в письме к брату (13 июня 1824 г.): «На каком основании начал свои действия дедушка Шишков? Не запретил ли он *Бахчис. Фонтан* из уважения к святыне Академического словаря и неблазно составленному слову *водомет*! Шутки в сторону, *ожидаю добра для литературы вообще* [курсив мой. — *М.А.*], и посылаю ему лобзание не яко Иуда-Арзамасец, но яко Разбойник-Романтик»[19]. А в конце 1824 — начале 1825 г. он пишет «Второе послание к Цензору», где приветствует удаление с поста министра просвещения А.Н. Голицына, который, с точки зрения Пушкина,

Омара де Гали приняв за образец,
В угодность Господу, себе на утешенье,
Усердно задушить старался просвещенье.

Однако с приходом Шишкова

...мрачная година протекла,
И ярче уж горит светильник просвещенья.
(II, 327)

В письмо к Вяземскому (25 января 1825 г.) Пушкин включает, наверное, важнейшие для него строки этого послания:

Обдумав, наконец, намеренья благие,
Министра честного наш добрый Царь избрал.
Шишков уже наук правленье восприял.
Сей старец дорог нам: он блещет средь народа
Священной памятью Двенадцатого года.
Один в толпе Вельмож он Русских Муз любил,
Их незамеченных созвал, соединил,

[19] Пушкин. Письма. Т. 1. С. 83.

От хлада наших дней спасал он лавр единый
Осиротевшего венца Екатерины[20].

Здесь не только прославляются знаменитые манифесты, но и ретроспективно положительно оцениваются литературные заслуги Шишкова. Очевидно, в строках «Русских муз любил, / Их незамеченных созвал, соединил» описывается деятельность «Беседы любителей русского слова», с которой не так давно яростно воевал молодой поэт. Что касается последних двух строк, то смысл их затемнен не хуже, чем у Боброва или у Шихматова (не исключено, что это входило в намерения автора). Можно думать, что под *венцом Екатерины* подразумевается плеяда славных деятелей, окружавших трон. Этот венец осиротел после смерти великой царицы. *Лавр единый* этого венца — Державин. Именно в «Беседе» вышедший в отставку поэт нашел теплую, дружескую атмосферу для своей творческой и общественной деятельности. Таким образом, Шишков, организатор литературного сообщества, разделявший с Державиным главную роль в управлении «Беседой», спасал его *от хлада наших дней*[21].

Конечно, во всей этой тираде есть известная доля лести и царю (*добрый*), которого Пушкин терпеть не мог и который был главным виновником его ссылки в Михайловское, и могущественному вельможе, от которого зависело прохождение творений поэта через цензуру. Пушкин сам признается в некоторой неблаговидности этих своих писаний в том же письме к Вяземскому: «Я... подличал благонамеренно — имея в виду пользу нашей словесности и усмирение кичливого Красовского». Но тут же вполне серьезно замечает: «Честь и хвала Шишкову». И, написав процитированные нами строки, добавляет: «Так Арзамасец говорит ныне о деде Шишкове tempora altri [в другие времена]».

Времена действительно менялись. Менялось отношение Пушкина и к народу, и к монархизму, и прежде всего к эстетическим позициям архаистов. Чуть позже письма к Вяземскому была написана статья «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова», где Пушкин говорит, что «язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими ...потому что в XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон,

[20] Пушкин. Письма. Т. 1. С. 113.
[21] Ср. комментарий Д. Благого в кн.: Пушкин 1978. Т. 1. С. 226.

сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики свои прекрасные обороты, величественное течение речи...» (XI, 31). Под этими словами с готовностью мог бы подписаться и Шишков, который не только неустанно твердил о превосходстве славено-российского языка над всеми европейскими, но и на первой же странице «Рассуждения о старом и новом слоге» замечал, что этот язык «еще более процвел и обогатился красотами, заимствованными от сродного ему Эллинского языка...» (2, 2).

Конечно, далее Пушкин говорит о положительных результатах сближения книжного и простонародного наречий (мысль, не приемлемая для Шишкова), присоединяется к размышлениям Карамзина об отсутствии языка метафизического, о необработанности русской прозы и пр. Но все-таки какое-то сближение с позицией шишковистов явно продолжается.

В 1826 г. Пушкин покинул Михайловское. Резко изменилось его общественное положение. Во второй половине 1828 г. он пишет большую поэму «Полтава». Эпический характер ее и центральное событие повествования явствуют уже из заглавия: грандиозная битва на многие годы определила исторические судьбы России. Эпический, высокий мотив поэмы требовал определенных художественных средств.

И.З. Серману принадлежит мельком оброненное замечание: «...статья Кюхельбекера о Шихматове могла подсказать ему [Пушкину. — *М.А.*], что современная поэма об эпохе Петра Великого может быть построена на художественно переосмысленном опыте русской оды XVIII в.»[22]. Далее в этой связи автор говорит об обращении Пушкина к ломоносовской традиции.

Связям «Полтавы» с одой и героической поэмой XVIII в. посвящены и другие работы[23]. Однако при этом почти не учитывается, что в сознание Пушкина высокая поэзия XVIII в. должна была входить в известной соотнесенности с теми оценками, которые давались ей в трудах, размышлениях и творчестве сначала «беседчиков», а потом младоархаистов, что и отмечено в глубоком, но не получив-

---

[22] *Серман И.З.* Художественная проблематика и композиция поэмы «Полтава» (Пушкин 1975. С. 35).

[23] См., например: *Коплан В.И.* «Полтавский бой» Пушкина и оды Ломоносова // Пушкин и его современники. Вып. 38—39. С. 113—121; *Соколов А.Н.* «Полтава» Пушкина и «Петриады» // Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. 4—5. С. 56—90; Гуковский 1957. С. 101—109; *Измайлов Н.В.* Пушкин в работе над «Полтавой» (Измайлов. С. 113—124).

шем достаточного развития замечании И.З. Сермана. Кроме того, не следует забывать, что традиция высокой эпической поэмы продолжалась и в XIX в. «Полтаве» в начале столетия предшествовали по крайней мере три поэмы о Петре: Сладковского (1803), Шихматова (1810) и Грузинцева (1817)[24]. Самой талантливой из них и самой важной для нашей темы была поэма Шихматова. Ее в числе других «Петриад» несколько раз упоминает в своей статье А.Н. Соколов, который нашел у Пушкина даже прямую реминисценцию из «Петра Великого». У Шихматова мы читаем:

Но ах! Сердца людей коварных,
Как бездны моря глубоки.

Ср. у Пушкина:

Кто снидет в глубину морскую,
Прикрытую недвижно льдом?
Кто испытующим умом
Проникнет бездну роковую
Души коварной?

О.А. Проскурин убедительно показал, что именно эти строки Шихматова встречаются в статье Кюхельбекера «Разбор поэмы князя Шихматова *Петр Великий*». О них Кюхельбекер пишет: «В рассказе о Мазеповой измене (в 3 песне)... два стиха заставляют невольно задуматься»[25]. Можно найти в «Полтаве» и другие, может быть, опосредованные реминисценции из Шихматова. Если мы читаем в поэме, что конь Петра Великого

...мчится в прахе боевом,
Гордясь могучим седоком, —

то это, конечно, неоднократно отмеченная реминисценция из оды Ломоносова 1750 г.:

Коню бежать не воспящают
Ни рвы, ни частых ветвей связь:

[24] См. упомянутую выше статью А.Н. Соколова.
[25] Проскурин 2000. С. 236; ср.: Кюхельбекер 1979. С. 489.

Крутит главой, звучит браздами
И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордясь.

Когда в поэме Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген...» мы читаем о князе Пожарском:

Как вихрь крутится конь под ним,
Гордится всадником своим,
Зовет беды и дышит боем...[26] —

то это, конечно, тоже реминисценция из той же оды Ломоносова. При этом нужно учитывать, что Пушкин читал не только Ломоносова, но и Шихматова и что эта известная реминисценция восходит не только к родоначальнику русской торжественной оды, но и к продолжателю этой традиции, тем более что Пожарский на боевом коне, пожалуй, ближе к пушкинскому Петру, чем изящная охотница Елизавета.

Знаменательно, что Кюхельбекер, говоря о Полтавской битве и ее описаниях, в дневниковой записи 22 января 1832 г. поставил рядом имена Шихматова и Пушкина: «...прочел я описание Полтавской битвы... У нас отличные два стихотворца, Шихматов и Пушкин, прославляли это сражение...»[27] В «Русском Декамероне» (начало 1830-х гг.) обсуждается поэма Пушкина: «Выслушали “Полтаву”, первые две книги с восхищением, а дамы со слезами; третью подвергли двум-трем легким замечаниям, но никто не стал оспаривать мнения графини, что эта поэма — лучшее творение Пушкина». Таким образом, Кюхельбекер не без основания увидел в «Полтаве» воплощение своих литературных идей. Третья песнь с характерными романтическими мотивами (сумасшествие Марии и пр.), видимо, с точки зрения Кюхельбекера, нарушала общее монументально-эпическое построение поэмы и поэтому должна была понравиться ему меньше («два-три легких замечания»). И далее этот давний друг и литературный противник Пушкина на основании «Полтавы» и «Годунова» устами своего героя, князя Радомского, решительно провозглашает переход Пушкина на сторону ревнителей «старого слога», продолжателей традиции «Беседы». При этом

[26] Поэты 1790—1810-х. С. 374.
[27] Кюхельбекер 1979. С. 88.

Кюхельбекер почти точно цитирует свою давнюю знаменитую статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824): «По крайней мере ныне уже и не слыхать глупых насмешек, которыми бывало осыпали имя его [Шихматова. — *М.А.*]. С дня на день, кажется, слабеет школа, хлопотавшая о том, чтоб из нашего могущественного языка извлечь небольшой чопорный словарёк для избранных: Пушкин, лучший наш поэт, решительно от нее отстал в “Полтаве”, а как я слышал от читавших “Бориса Годунова” в рукописи, в этом последнем своем творении решительно пристал к стороне ее противников»[28].

Когда Кюхельбекер в «Русском Декамероне» провозглашал решительный переход Пушкина после «Полтавы» на новые литературные позиции, он еще не знал, что в 1833 г. Пушкин напишет поэму «Медный всадник», в которой одинокий узник с удовлетворением увидел бы новое торжество своих идей. Связи этой поэмы с традициями русской оды XVIII в. бесспорны, и о них писалось неоднократно. Однако обычно в этих работах, посвященных теме «Пушкин и XVIII век», поэты начала XIX столетия, прочно связанные с традициями «Беседы» (Бобров, Шихматов, Хвостов, поздний Державин), безо всяких оговорок включаются в традицию XVIII в. наряду с Ломоносовым, Костровым, Петровым, Рубаном. На деле даже явно одическая тема «Вступления», как это убедительно было показано еще Л.В. Пумпянским[29], строится на опыте не только и не столько Ломоносова и Петрова, сколько на сознательном усвоении и использовании стиховых формул архаиста Боброва и архаиста Державина.

Однако для исследования «беседной» традиции нам представляется более существенным не одическое, намеренно пышно-торжественное, парадное «Вступление», а наиболее важные для идейного замысла поэмы строки:

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.

[28] Кюхельбекер 1979. С. 503, 762, 518, 509—615.

[29] См.: Пумпянский. Он тоже не отделяет одописцев XVIII века от поздней одической традиции.

И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне.

Для характеристики «кумира», для того, чтобы придать зловещую важность и страшную торжественность происходящим событиям, поэт пользуется сложными словами. Как мы уже отмечали, чтобы проследить традицию сложных словообразований в поэзии начала XIX в., нам не нужно обращаться к «единитным палочкам» Тредиаковского и к эпохе расцвета русского классицизма. Кстати заметим, что Ломоносов почти не прибегал к сложным словам. Зато эта традиция пышно расцвела в кругу «Беседы». Здесь сложные слова считались важнейшим признаком высокого слога. Ими обильно пользовался Державин, особенно в последний период своей деятельности. Сложные слова постоянно употреблял Шихматов, и это словоупотребление было, как мы видели, высмеяно в «Цветнике». Принципиальным защитником сложных слов был Шишков. Дашков, издеваясь над своим противником, создавал по шишковскому образцу сложные слова типа: *христогробопоклоняемая страна*, *длинногустозакоптелая брада*[30].

В интересующих нас стихах «Медного всадника» Пушкин обращается к сложным словам в поисках максимальной выразительности. Вначале было:

Он слышит звонкое скаканье
Тяжелого коня (58)[31]

Правда, почти сразу же поэту приходит в голову мысль о сложном слове, и появляется *скаканье тяжело медного коня*. Однако этот вариант тут же отбрасывается. Скаканье становится *мерным*, потом появляется *мерный* (?) *скок коня* (60). Затем возникает державинский эпитет: далеко зв<онкое> (?) скаканье (60). (Ср. у Державина:

[30] *Дашков Д.В.* Перевод двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика // Арзамас, 2. С. 24. Впрочем, сам Дашков уверял, что видел эти слова в «памятнике безумия» — рукописном переводе «Освобожденного Иерусалима» г-на Б<огданов>ича.

[31] Черновые тексты цитируются по: Пушкин 1978, с указанием на страницу в тексте.

Ударь во сребряный, священный
Далеко звонкий, Валка! Щит[32]).

Затем эпитет проходит еще несколько превращений, и это указывает, какое большое значение придавал ему автор:

Тяжело мерное (71)
Далеко громкое (71)

И снова:

Далеко-звонкое (71), —

пока, наконец, не пришло знаменитое:

Тяжело-звонкое скаканье.

Один сложный эпитет, однако, показался Пушкину недостаточным, хотя стилистически шестисложное слово *тяжело-звонкое* в стихе четырехстопного ямба и ударно, и достаточно заметно. И поэт подкрепляет его еще одним столь же громоздким эпитетом к слову «конь», который сначала был *тяжко скачущим* (71) и только в окончательном варианте стал *звонко-скачущим*. Таким образом, сложные эпитеты соединились общей частью *звонко*, и тем самым подчеркнулась художественная принципиальность их повтора на протяжении всего лишь шести строк. *Конь*, конечно, может быть *звонко-скачущим,* но сам эпитет удивительно напоминает смешную *резво-скачущую кровь* в послании «К Грибоедову», которая надолго запомнилась Пушкину. Эта, может быть, невольная реминисценция, кажется, свидетельствует о дальнейшем сближении Пушкина с традициями архаистов, признаки которого Кюхельбекер вполне справедливо различил еще в «Полтаве»[32a].

Хотя тема оживающего медного коня имеет в русской поэзии достаточно давнюю традицию[33], однако именно это важнейшее место поэмы близко и лексически и по содержанию к нескольким

[32] «На победы в Италии», 1799 (Державин, 2. С. 166. Отмечено Пумпянским, который говорит, что «Пушкин здесь сознательно воскрешает чужой [т.е. Державинский. — *М.А.*] язык»: Пумпянский. С. 117.

[32a] Отмечено Е.Э. Ляминой.

[33] См.: Пумпянский. С. 109—112; Якобсон.

строчкам стихотворения Шихматова «Песнь победителю и спасителю царств и победоносному примирителю Европы, Александру Первому, великому благословенному императору и самодержцу всероссийскому и прочая и прочая и прочая». Стихи со столь громоздким названием были напечатаны в семнадцатой книжке «Чтений в Беседе любителей русского слова» в 1815 г. Они вполне могли быть прочитаны юным поэтом, изощрявшимся в насмешках над «беседчиками». Здесь была строфа:

Я вижу, оживилась медь,
По камню конь звенит копытом,
И всадник зыблется на нем,
Сверкая из очей огнем.

Эти строки вполне могли всплыть в блестящей пушкинской памяти в 1833 г. У Шихматова есть и мотив ожившей меди (т.е. памятника), и звон копыта, который, возможно, отразился в *тяжело-звонком скакании звонко-скачущего* коня, которое услышал за собой герой пушкинской поэмы.

Так творчество «беседных» поэтов, особенно Державина и Шихматова, входило в систему «высокой» литературы и становилось у Пушкина моделью для создания высокого, торжественного слога. Не следует, конечно, преувеличивать непосредственного влияния «Беседы» на творческую деятельность поэта, но как органическая часть всех тех литературных явлений, из которых это творчество вырастало, «беседная» составляющая должна учитываться в пушкинских штудиях.

Почти в одно время с работой над «Медным всадником», чуть ранее, в биографии Пушкина произошло событие, важное для нашей темы. 3 декабря 1832 г. на заседании Российской академии президент предложил избрать в действительные члены А.С. Пушкина, П.А. Катенина, М.Н. Загоскина, протоиерея А.И. Малова, Д.И. Языкова. Так по инициативе и прямому предложению Шишкова Пушкин стал членом Академии. Диплом был вручен ему 13 января 1833 г. Пушкин, особенно поначалу, принял в деятельности Академии живое участие, что, естественно, поставило его в несколько более тесные отношения с президентом. У Шишкова была внучатая племянница Софья, дочь его племянника Александра Ардальоновича, который в детстве воспитывался в доме Шишкова и был любимцем адмирала и его жены Дарьи Алексеевны. С этим

талантливым поэтом и переводчиком Пушкин дружил еще с лицейских времен. В 1832 г. Шишков-младший был убит в Твери[34]. Пушкин помог издать его сочинения в пользу вдовы и дочери. Он взял на себя все хлопоты по изданию, так как сам Шишков не мог как лицо заинтересованное заниматься устройством дел своего племянника[35]. Видимо, он поддержал просьбу Шишкова к коллегам-академикам передать гонорары от продажи его сочинений в пользу внучки. Протокол одного из заседаний 1834 г. гласит: «Академия убедила его [Шишкова. — *М.А.*] принять 1010 экземпляров собраний его сочинений, изданных за счет Академии. Сие пожертвование было для Академии тем приятно, что господин президент обратил оное в пользу малолетней дочери родного своего племянника, сироты, оставшейся без всякого имущества и приюта»[36].

Участие поэта, очевидно, тронуло старика, и, надо думать, по его просьбе Пушкин становится одним из «попечителей малолетней девицы Софьи Шишковой». Попечители печатно объявили, что «по поручению от Адмирала А.С. Шишкова, предоставленные им в пользу помянутой девицы книги под названием: *Собрания сочинений и переводов его, Адмирала*, выпускаются в продажу по 50 рублей экземпляр, состоящий в 16 томах. Желающие иметь их могут относиться в Российскую Академию, где оные хранятся»[37].

Пушкин, в свою очередь, печатно выказывал свое отношение к президенту Академии. Он подчеркивает безусловное уважение к человеческой порядочности Шишкова, добросовестности и искренности его мнений, очень часто для Пушкина неприемлемых.

---

[34] Подробный рассказ об убийстве Шишкова находится в письме С.Л. Пушкина (19 декабря 1832 г.) к дочери Ольге Сергеевне: «Ужасное событие только что произошло в Твери: молодой Шишков, прелестный поэт, коему Александр некогда посвятил послание, ударом кинжала был заколот на улице г-ном Черновым... Этот г-н Чернов в присутствии Шишкова злословил насчет его жены. Тот, возмущенный мерзостями, которые Чернов позволил себе при нем говорить о его жене, кончил тем, что дал ему пощечину. Г-н Чернов потребовал, чтобы Шишков, со всеми оказавшимися здесь свидетелями, шел к нему. — Все пошли, думая, разумеется, что эта несчастная история должна кончиться дуэлем не на живот, а на смерть, но Чернов, не дойдя до своей квартиры, кидается на Шишкова и убивает его несколькими ударами... и сам идет предать себя в руки губернатора как убийца...» (Письма. С. 122).

[35] См. об этом подробнее в томе «Рукою Пушкина». (Пушкин. Т. XVII (дополнительный). С. 673—676).

[36] Коломинов, Файнштейн. С. 100.

[37] Дневник. С. 242.

Особенно показательна в этом отношении статья «Российская Академия» — напечатанный в «Современнике» отчет о заседании Академии 18 января 1836 г. На этом заседании была прочитана статья Шишкова «Нечто о Карамзине». И Пушкин пишет: «Невозможно было без особенного чувства слышать искренние похвалы, воздаваемые почтенным старцем великому писателю, бывшему некогда предметом жестокой его критики, если не всегда справедливой, то всегда добросовестной» (XII, 45).

Поэт явно избегает в эту пору публично критиковать Шишкова. В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» он опровергает один из его излюбленных тезисов (о тождестве русского и славянского языков), однако не называет его по имени: «Давно ли стали мы писать языком общепонятным? Убедились ли мы, что славенский язык не есть язык русской и что мы не можем смешивать их своенравно, что если многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг, то из сего еще не следует, чтобы мы могли писать *да лобжет мя лобзанием* вместо *цалуй меня* etc. Ломоносов того не думал... он предлагал изучение славенского языка, как необходимое средство к изучению языка русского». Далее перо публициста не выдерживает, и Пушкин резко обрушивается на Шишкова, даже называет его *бездарным*: «Знаю, *что Рассуждение о старом и новом слоге* так же походит на *Слово о <пользе книг церковных в российском языке>* — как псалом Шатрова на *Размышление о вели<честве> Божием*. Но тем менее должно укорить Ломоносова в заблуждениях бездарных его последователей» (XI, 226). Однако этот последний абзац сразу же зачеркивается Пушкиным, уже в черновом автографе. Вряд ли Пушкин избегал открытой полемики потому, что опасался ссориться с влиятельным вельможей. Он был вполне независим от Шишкова, который в тридцатые годы постепенно утрачивал влияние в чиновной и придворной среде. Скорее всего, это было искреннее желание не огорчать доброго и честного старика. Тем не менее в одной из самых последних своих работ, незавершенных заметках о «Слове о полку Игореве», Пушкин начал очень серьезный, принципиальный, хотя и не лишенный иронии, спор с Шишковым.

Пушкин всерьез заинтересовался древним памятником. Он внимательно вчитывался в древний текст, тщательно штудировал все переводы и объяснения «Слова». Не обошел он своим вниманием и большую работу Шишкова, о которой уже шла речь в этой книге. Седьмой том собрания сочинений Шишкова с «Примечаниями на

древнее о полку Игореве сочинение» имелся в библиотеке Пушкина и был внимательно им прочитан (все листы разрезаны)[38].

Пушкин увидел в «Слове» некоторую диалогичность, даже соперничество автора с древним певцом Бояном, отдавая предпочтение более простым, «живым и быстрым» описаниям нового автора, по сравнению с пышным велеречием его предшественника[39]. Так, приведя знаменитое описание творческой манеры Бояна («Боян бо вещий, аще кому хотяще песнь творити, то растекашется мыслию по древу ...и пр.»), он не исключает, что сам автор «Слова» относился к этой манере отрицательно: «Не решу, упрекает ли здесь Бояна или хвалит» (XII, 149). Сам Пушкин явно предпочитает автора «Слова» его предшественнику. Процитировав энергичные строки, описывающие начало похода («Комони ржут за Сулою; звенит слава в Кыеве; трубы трубят в Новеграде; стоят стязи в Путивле; Игорь ждет мила брата Всеволода»), он комментирует: «Теперь поэт говорит сам от себя не по вымыслу Бояню, по былинам сего времени. Должно признаться, что это живое и быстрое описание стоит иносказаний соловья старого времени» (XII, 152).

Поэтому начало «Слова» Пушкин предлагал читать следующим образом: «Не прилично, братья, начать старым слогом печальную песнь об Игоре Святославиче; начаться же песни по былинам сего времени, а не по вымыслам Бояна». И далее Пушкин объясняет, почему автор слова считает *не приличным* следовать Бояну: «стихотворцы никогда не любили упрека в подражании, и неизвестный творец слова о полку Игореве не преминул объявить в начале своей поэмы, что будет петь по-своему, по-новому, а не тащиться по следам старого Бояна» (XII, 149).

С точки зрения Шишкова, отношение автора «Слова» к Бояну прямо противоположное. Этот автор с почтением следует традиции, подражая своему великому предшественнику: «...сочинитель, хотя и сам обилен мыслями, звучен словами, силен выражениями, однакож с особливым благоговением, уничижая себя аки малого писателя пред великим, упоминает о некоем древнем певце или стихотворце Бояне, называя его соловьем древних времен и Велесовым внуком» (7, 36).

Не удивительно поэтому, что Пушкин свои размышления о поэтике «Слова» сопровождает следующим замечанием: «Очень

---

[38] Библиотека. С. 116—117.

[39] См. статью С.А. Фомичева (Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 4. С. 194—197).

понимаем, почему А.С. Шишков не отступил от того же мнения [что автор памятника следовал поэтике Бояна. — *М.А.*]. Ему, сочинителю Рассужд<ения> о др<евнем> и нов<ом слоге>, было бы неприятно думать, что и во время сочинителя Слова о пол<ку> И<гореве> предпочитали былины своего времени старым словесам» (XII, 149). Расхождения были принципиальными. Шишков и в размышлениях о «Слове» оставался верен своим никогда не менявшимся убеждениям: старое всегда лучше нового, само движение истории есть не прогресс, а регресс в развитии культуры, человеческих отношений, государственного устройства и пр. и пр.

Пушкин, кажется, не очень торопился публиковать свою филологическую работу. 13 декабря 1836 г. А.И. Тургенев писал брату Николаю: «Пушкин хочет сделать критическое издание сей песни, вроде Шлецерова Нестора, и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков и толкователей; но для этого ему нужно дождаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом» (XVII, 131—132). Однако Пушкин умер раньше...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Военные действия 1812 г. лишь ненадолго прекратили деятельность «Беседы». В начале 1813 г. ее заседания возобновились. Одно предварительное собрание состоялось уже 2 января[1].

Отсутствие Шишкова, который находился вместе с императором в действующей армии, не прервало ни деятельности «Беседы», ни связей Шишкова с нею. Он внимательно следил за заседаниями и, возможно, посылал в «Беседу» свои сочинения. Об этом свидетельствует недатированное черновое письмо А.Н. Оленина к Шишкову, написанное, вероятно, в 1813 г., так как в нем говорится об успехах русского оружия: «...судьбе угодно было опять мне назначить место, где я должен лице ваше представлять. Отгадайте, милостивый Александр Семенович, какое место? — Беседа любителей русского слова! Ведь первый ее разряд по отсутствии вашем сиротеет. Очередь до него доходит, и меня назначили к нему опекуном. Вот что меня побуждает потревожить вас вопросом... не угодно ли будет что-либо приказать в Беседу по вашему 1 разряду и нет ли сочинений у вас, которые бы могли быть прочитаны в публике? Вот в чем меня прошу разрешить»[2].

---

[1] См. письмо Державина к Д.И. Хвостову (Державин, 6. С. 289—290) от 3 января 1813 г. с сообщением о прошедшем накануне предварительном заседании второго разряда. Державин отказался принять для чтения в «Беседе» стихи Хвостова «К Стамбулову», содержавшие «личность насчет члена, который тут же присутствовал» (имелся в виду А.С. Хвостов).

[2] См.: Альтшуллер 1975 (2). С. 173—174. В письме Оленина речь идет об одном из самых значительных заседаний «Беседы», которое и состоялось под председательством Оленина 5 мая 1813 г. На этом заседании выступали: Филарет; Уваров с чтением знаменитого письма о гекзаметрах; Гнедич с гекзаметрическим переводом «Илиады» и др. (Отчет об этом заседании см. в Приложении 3.) Ср.: Зорин. С. 253—258.

После окончания войны заседания «Беседы» стали привлекать все больше посетителей. В.И. Панаев спустя несколько десятилетий вспоминал: «Великий пост 1816 года замечателен двумя торжественными собраниями “Беседы любителей русского слова”, происходившими, как и прежние, в доме Гаврилы Романовича. Они в полном смысле слова могли назваться блестящими. Многочисленная публика наполняла обширную, великолепно освещенную залу. В числе посетителей находились почти все государственные сановники и первенствующие генералы. Тут в первый раз видел я графа Витгенштейна, графа Сакена, графа Платова, которого маститый хозяин встретил с каким-то особенным радушием»[3].

Это свидетельство современника содержит любопытную подробность: молодому человеку (Панаеву в 1816 г. было 24 года) запомнились в числе присутствующих на литературном заседании не писатели, поэты, ученые и художники, а военные в блестящих мундирах. «Беседа» все более превращалась в парадное официальное учреждение.

Царь по-прежнему не любил «беседчиков» и избегал их заседаний. Иначе и не могло быть при тех глубоких идеологических и политических расхождениях, которые существовали между Шишковым и царем. Тот же мемуарист засвидетельствовал упорное нежелание Александра I появляться в «Беседе»: «На последнюю “Беседу” [т.е. на второе из двух заседаний 1816 г. — *М.А.*] ожидали Государя Императора. Но когда все заняли места свои, вошел в залу Санкт-Петербургский главнокомандующий, граф Вязмитинов и объявил Державину, что Государь, занятый полученными из-за границы важными депешами, к сожалению, приехать не может. Тогда началось чтение, и все вскоре догадались об истинной причине отсутствия Государя: член “Беседы” Политковский произнес ему похвальное слово. Не говоря уже о том, что оно было плохим подражанием Плиниева Траяну, — возможно ли было ожидать, чтобы тот, кто постоянно уклонялся от похвал целого света, согласился выслушать их, лицом к лицу, от доморощенного оратора, говорившего битый час»[4]. Видимо, националистический пафос «Беседы», упоение победами русского оружия, подчеркнутый консерватизм политических позиций становились все более неприятными и чуждыми склонявшемуся к мистицизму Александру.

---

[3] Панаев. С. 251.

[4] Там же. С. 252.

Таким образом, внутренний литературный, культурный пафос деятельности «Беседы» угасал, сменяясь внешним блеском. Цель общества была достигнута: война с чужеземцами-французами закончилась блестящей победой. Преобразовательные идеи были отложены на неопределенный срок, крепостное право стояло нерушимо.

Когда Шишков 29 мая 1813 г. был назначен президентом Российской академии, он стал официально признанным главой русской филологии и в глазах властей как бы официально назначенным руководителем русской литературы. Проблема борьбы с иностранным влиянием после вооруженной победы над носителями этого влияния утратила свою остроту и переместилась в государственную Академию. Шишков явно охладевал к своему любимому детищу и, как мы видели, позднее отзывался о нем достаточно равнодушно.

Таким образом, казавшееся внезапным прекращение деятельности «Беседы» на самом деле внутренне было подготовлено охлаждением к ней ее творца и идеолога. С другой стороны, именно внезапность была обусловлена неожиданной смертью ее второго вдохновителя и создателя — Гаврилы Романовича Державина. 30 мая 1816 г. он, как обычно, вместе со всеми домочадцами приехал в Званку и здесь неожиданно для всех 8 июля скоропостижно скончался[5].

Заседания «Беседы», всегда происходившие в особняке Державина, не возобновились. Скуповатая и расчетливая Дарья Алексеевна вряд ли желала по-прежнему предоставлять свой дом для многолюдных сборищ. Восемь лет спустя у нее «выпросили» позволение провести одно-единственное заседание в память «Беседы» (об этом эпизоде — чуть позже).

Как бы то ни было, вместе с Державиным и «Беседа» скоропостижно закончила свое бытие. Следом за ней распался «Арзамас», с прекращением «Беседы» утративший смысл своего существования.

По инерции Шишков, кажется, попытался в 1817 г. оживить «беседную», точнее, «предбеседную» традицию, создав у себя домашний литературный салон. П.П. Татаринов (1793—1858), чиновник и любитель литературы, писал 5 октября 1817 г. другому

---

[5] Подробный рассказ о последнем пребывании поэта в Званке см.: Грот 1997. С. 649—660.

любителю литературы, поэту-дилетанту, другу Павла Катенина Н.И. Бахтину: «Шишков заводит у себя собрания по примеру Бесед; в прошедшую пятницу было первое. Он читал перевод из Тассова «Освобожденного Иерусалима». Сказывают, что перевод прекрасный, но в прозе»[6]. Кажется, продолжения этой попытки не последовало; по крайней мере, никаких сведений о регулярных литературных собраниях у Шишкова до нас не дошло. Перевод «Освобожденного Иерусалима» вышел в 1818—1819 гг.

Страстно желал продолжать «Беседу» и быть ее руководителем, пожалуй, один граф Д.И. Хвостов (см. его письмо к Шишкову от 24 апреля 1818 г. в главе «Басня в кругу "Беседы"»). Однако он, судя по всему, так и не дождался ответа на свое энергическое и темпераментное послание.

Лишь спустя восемь лет после прекращения «Беседы», 22 мая 1823 г., состоялось единственное публичное заседание в той самой зале, где проходили собрания «Беседы»: «В прошедший вторник, ровно неделю назад, было торжественное заседание Общества любителей русской словесности... в доме Державина, в той самой великолепной зале, где собиралась прежде "Беседа" Предуготовительных собраний было около десятка...»[7]

О том же заседании сообщал Евгению (Болховитинову) Д.И. Хвостов: «Соревнователи взобрались на Державинский Парнас, Ф.П. Львов исходатайствовал им у Дарьи Алексеевны великолепную залу, где прежде состязались Шишков, Державин и мы, мелочь, под их эгидою. Публика так жадна к просвещению: 22 мая, то есть летом собралось слушать соревнователей обоего пола до 500 особ»[8]. Если приводимая Хвостовым цифра и является некоторым преувеличением, то все же собрание, несомненно, было весьма многочисленным. Одних только организаторов, т.е. членов Вольного общества любителей российской словесности, присутствовало свыше 50 человек[9].

Речь Н.И. Греча, рассыпавшегося в благодарностях вдове поэта, кажется, свидетельствует о том, каких трудов стоило уговорить

---

[6] Цит. по: *Вацуро В.Э.* Грибоедов в романе В.С. Миклашевич «Село Михайловское». Приложение 1. Из писем П.П. Татаринова к Н.И. Бахтину // Вацуро 2000. С. 327.

[7] Письмо А.Е. Измайлова к Н.И. Шредеру от 30 мая 1823 г. цит. по: Базанов. С. 261.

[8] РО ПД. Ф. 322. №23. Л. 136 (письмо от 26 мая 1823 г.).

[9] Базанов. С. 261—262.

Дарью Алексеевну предоставить великолепную залу «Беседы» для мемориального собрания: «...каким чувством, каким благодарным восторгом должны преисполниться сердца наши, когда нам дарованы средства трудиться на пользу общую в доме Державина... Здесь дозволено нам, не стяжавшим еще права на внимание сограждан своих... продолжить труды свои, предпринятые в намерении принести пользу отечеству...»[10]

Собрание в знаменитой зале дома Державина стало последней данью уважения не только великому поэту, но и «Беседе» в целом. Эта дань была принесена основателям «Беседы» младшим поколением архаистов, ее преемников. С 1822 г. ведущую роль в Вольном обществе любителей российской словесности начинают играть будущие декабристы и их соратники: Н.А. Бестужев, К.Ф. Рылеев, Н.И. Греч, Ф.В. Булгарин (в ту пору оба либералы), А.О. Корнилович, Д.М. Княжевич, А.Д. Боровков и др.[11].

Не случайно именно будущие декабристы почтили память «беседчиков». Собрание в державинском доме символически подчеркнуло связь литературного, общественного декабристского движения с архаическими установками «Беседы». Начинался новый этап литературного развития, в чем-то продолжавший стилистические и идейные традиции «Беседы», но стремившийся утвердить национальные начала уже не на устоях идеального монархизма, а на принципах древнерусского республиканизма — тоже, конечно, утопического.

Ленинград — Санта-Ана (Калифорния) — Питсбург (Пенсильвания)
1977—1982—2007

---

[10] Цит. по: *Орехова Л.А.* Д.М. Княжевич — организатор публичного собрания в доме Г.Р. Державина // «Он видит Новгород Великой...»: Материалы VII международной Пушкинской конференции «Пушкин и мировая культура». Великий Новгород, 31 мая — 1 июня 2004. [СПб.; Новгород, 2004]. С. 304.

[11] Базанов. С. 259—260.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

СОСТАВ «БЕСЕДЫ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

К моменту открытия «Беседа» состояла из четырех разрядов, попечителей и почетных членов. Для членов общества указаны важнейшие биографические сведения.

Попечители:
Граф Петр Васильевич Завадовский.
Николай Семенович Мордвинов.
Граф Алексей Кириллович Разумовский.
Иван Иванович Дмитриев.

ПЕРВЫЙ РАЗРЯД

Председатель Александр Семенович Шишков (1754—1841). Писатель, публицист, общественный деятель. С 1812 г. государственный секретарь; президент Российской академии, член Государственного совета; позднее министр просвещения.

Действительные члены:

Алексей Николаевич Оленин (1763—1843) — историк, археолог, директор Публичной библиотеки, президент Академии художеств. Покровитель многих писателей и художников.

Петр Андреевич Кикин (1775—1834) — статс-секретарь, генерал, художник-дилетант.

Князь Дмитрий Петрович Горчаков (1758—1824) — поэт-сатирик.

Князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783—1837) — поэт.

Иван Андреевич Крылов (1768—1837) — драматург, баснописец.

Члены-сотрудники:

Александр Александрович Хвостов — сведениями о нем мы не располагаем. (Возможно, сын Александра Семеновича Хвостова.)

Иван Афанасьевич Кованько (1773 или 1774—1830) — поэт, автор популярных во время войны 1812 г. солдатских песен.

Александр Иванович Ермолаев (1780—1828) — художник-археолог, нумизмат, историк.

ВТОРЫЙ РАЗРЯД

Председатель Гаврило Романович Державин (1743—1816) — поэт, министр юстиции.

Действительные члены:

Иван Матвеевич Муравьев-Апостол (1762—1851) — писатель, дипломат, сенатор.

Граф Дмитрий Иванович Хвостов (1757—1835) — поэт.

Александр Федорович Лабзин (1766—1825) — масон, писатель-мистик.

Дмитрий Осипович Баранов (1773—1834) — чиновник, поэт-дилетант.

Члены-сотрудники:

Федор Петрович Львов (1766—1836) — музыковед, писатель.

Евстафий Иванович Станевич (1775—1835) — писатель-мистик.

Николай Иванович Язвицкий — преподаватель, поэт, историк литературы.

Николай Иванович Ильин (1777 или 1779 — 1823) — драматург.

Михайло Сергеевич Щулепников (Шулепников) (1778—1842) — стихотворец.

Андрей Петрович Брежинский (1779 — после 1843) — поэт.

ТРЕТИЙ РАЗРЯД

Председатель Александр Семенович Хвостов (1753—1820) — крупный чиновник, поэт-дилетант, двоюродный брат Дмитрия Ивановича Хвостова.

Действительные члены:

Князь Борис Владимирович Голицын (1769—1813) — писатель-дилетант.

Князь Александр Александрович Шаховской (1776—1846) — драматург.

Семен Семенович Филатов (1766—1836) — чиновник, переводчик с французского.

Сергей Никифорович Марин (1776—1813) — поэт, драматург.

Петр Иванович Соколов (1766—1836) — редактор, переводчик, секретарь Российской академии.

Члены-сотрудники:

Граф Сергей Павлович Потемкин (1787—1858) — писатель-дилетант.

Петр Федорович Шапошников — переводчик.

Степан Иванович Висковатов (1756—1831) — драматург.

Николай Родионович Судовщиков — драматург.

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗРЯД

Председатель Иван Семенович Захаров (1754—1816) — литератор, сенатор.

Действительные члены:

Гаврило Герасимович Политковский (1770—1824) — крупный чиновник, поэт-дилетант.

Яков Александрович Дружинин (1771—1849) — переводчик.

Петр Матвеевич Карабанов (1764—1829) — поэт.

Александр Александрович Писарев (1780—1848) — писатель, переводчик, военный.

Павел Юрьевич Львов (1770 или ок. 1768 — 1825) — писатель.

Члены-сотрудники:

Николай Романович Политковский (1764—1830) — переводчик, чиновник.

Петр Александрович Корсаков (1790—1844) — писатель.

Константин Васильевич Злобин (1771—1813) — сын откупщика В.А. Злобина, поэт-дилетант.

К 1813 г. этот список пополнился именами следующих членов-сотрудников:

Степан Петрович Жихарев (1778—1860) — поэт, переводчик, автор знаменитых «Записок современника».

Дмитрий Евсеевич Василевский (1781 — после 1834) — преподаватель, позднее профессор Московского университета.

Валериан Николаевич Олин (ок. 1788 — 1833) — поэт, переводчик.

Николай Иванович Греч (1788—1864) — писатель, журналист, издатель.

Александр Христофорович Востоков (1781—1864) — поэт, ученый.

Александр Гаврилович Волков (1775—1833) — поэт, переводчик.

Дмитрий Акимович Воронов.

Иван Иванович Граффа — в 1830-е гг. сотрудник Гутенберговой типографии в Петербурге.

Почетные члены:

Преосвященный Евгений, Епископ Вологодский и Устюжский.
Преосвященный Амвросий, Епископ Тульский и Белевский.
Граф Александр Сергеевич Строгонов.
Михайло Михайлович Философов.
Сергей Козьмич Вязмитинов.
Граф Федор Васильевич Растопчин.
Александр Львович Нарышкин.
Василий Степанович Попов.
Андрей Андреевич Нартов.
Княжна Катерина Сергеевна Урусова.
Девица Анна Петровна Бунина.
Девица Анна Алексеевна Волкова.
Логгин Иванович Голенищев-Кутузов.
Князь Петр Михайлович Волконский.
Александр Дмитриевич Балашов.
Николай Исаевич Ахвердов.
Осип Петрович Козодавлев.
Павел Иванович Голенищев-Кутузов.
Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий.
Князь Александр Николаевич Голицын.
Михайло Михайлович Сперанский.
Петр Степанович Молчанов.
Владислав Александрович Озеров.
Платон Яковлевич Гамалея.
Степан Яковлевич Румовский.
Николай Николаевич Бантыш-Каменский.
Андрей Федорович Дерябин.
Михаил Леонтьевич Магницкий.
Сергей Семенович Уваров.
Василий Васильевич Капнист.
Николай Михайлович Карамзин.
Николай Петрович Николев.
Иван Афанасьевич Дмитревский.

Приложение 2

СОДЕРЖАНИЕ «ЧТЕНИЙ В БЕСЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

Ниже публикуются оглавления «Чтений в Беседе любителей русского слова» (№№ 1—19). Для каждого чтения указывается дата, место выхода, типография и, если имеется, дата цензурного разрешения.

В просмотренных двух комплектах «Чтений» (Швеция, микрофильм; Институт русской литературы (Пушкинский Дом) оказались отсутствующими три оглавления (в №№ 4, 5, 19). Они составлены по содержанию соответствующих выпусков. Имена авторов, в оглавлении обычно отсутствую, они проставлены нами в угловых скобках.

ЧТЕНИЕ 1. СПб., 1811
(В Медицинской типографии)

(Из оных читаны в беседе: «Речь», «Бессмертие» и три басни)

ЧТЕНИЕ 2. СПб., 1811
(В Медицинской типографии.
Цензурное разрешение: май 7, 1811)

Стран.

ЧТЕНИЕ 3. СПб., 1811
(В Медицинской типографии.
Цензурное разрешение: июль 31, 1811)

Стран.

ЧТЕНИЕ 4. СПб., 1811
(В Медицицинской типографии.
Цензурное разрешение: ноябрь 15, 1811)

Стран.

ЧТЕНИЕ 5. СПб., 1812
(В Медицинской типографии.
Цензурное разрешение: ноябрь 17, 1811)

ЧТЕНИЕ 6, СПб., 1812
(В типографии Ф. Дрехслера.
Цензурное разрешение: март 11, 1812)

ЧТЕНИЕ 7. СПб., 1812
(В типографии Ф. Дрехслера.
Цензурное разрешение: март 11, 1812)

ЧТЕНИЕ 8. СПб., 1813
(Типография Ф. Дрехслера.
Цензурное разрешение: август 16, 1812)

ЧТЕНИЕ 9. СПб., 1813
(При Сенатской типографии.
Цензурное разрешение: август 20, 1812)

ЧТЕНИЕ 10. СПб., 1813
(В типографии Дрехслера.
Цензурное разрешение: январь 30, 1813)

Стран.

ЧТЕНИЕ 11. СПб., 1813
(При Сенатской типографии.
Цензурное разрешение: июнь 23, 1813)

Стран.

ЧТЕНИЕ 12. СПб., 1813
(При Сенатской типографии.
Цензурное разрешение: июль 17, 1813)

Стран.

ЧТЕНИЕ 13. СПб., 1813
(При Сенатской типографии.
Цензурное разрешение: июня 5, 1813)

Стран.

ЧТЕНИЕ 14. СПб., 1815
(В типографии Ф. Дрехслера.
Цензурное разрешение: апрель 7, 1815)

Стран.

ЧТЕНИЕ 15. СПб., 1816
(В типографии В. Плавильщикова.
Цензурное разрешение: ноябрь 30, 1815)

Стран.

ЧТЕНИЕ 16. СПб., 1815

(В типографии Плавильщикова.
Цензурное разрешение: апрель 6, 1815)

ЧТЕНИЕ 17. СПб., 1815

(При Сенатской типографии.
Цензурное разрешение: декабрь 18, 1814)

ЧТЕНИЕ 18. СПб., 1815
(В типографии Плавильщикова.
Цензурное разрешение: март 26, 1815)

ЧТЕНИЕ 19. СПб., 1815
(В типографии В. Плавильщикова.
Цензурное разрешение: март 26, 1815)

Приложение 3

ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИИ «БЕСЕДЫ» 20 МАЯ 1813 Г.

В 1813 г. в «Сыне Отечества» был напечатан подробный отчет о заседании «Беседы любителей русского слова» 20 мая 1813 г. На этом заседании Гнедич в ответ на письмо Уварова впервые читал перевод «Илиады» гекзаметром. Приводим текст этого отчета — свидетельство современника о первостепенном для русской культуры событии.

Умолкли бранные звуки в пределах любезного Отечества; только издали раздаются отголоски подвигов славных сынов его, разящих злобу и освобождающих прочую Европу от поносного рабства! Любители наук, искусств и словесности обращаются снова к своим занятиям, прерванным внезапною бурею войны. Подобно грозной ночи, протекло время ужаса и бедствий; рассвет спокойствия, благоденствия и мирных наслаждений появляется на востоке.

20 Мая было чтение в Беседе Любителей Русского слова. Из многих читанных в сей день сочинений и переводов, заметим, 1) Рассуждение о нравственных причинах успехов *России в войне 1812 года*, сочинение одной духовной особы, известной уже многими изящными произведениями в духовном красноречии — и 2) *Перевод некоторых мест Илияды* гекзаметрами *Н.И. Гнедича* — первой и весьма удачный опыт присвоить Русской Литературе красоты Гомера, которые доныне искажаемы были Французским размером, принятым в нашей поэзии. Уже в 1802 году Август Лудовик Шлецер, в предисловии к изданию Нестора, изъявил справедливое мнение, что Русской перевод Гомера размером подлинника должен быть ближе, выразительнее и величественнее всех доныне известных переводов сего стихотворца; в прошедшем году} в журнале г.

Меркеля (Zeitung für Literatur und Kunst) сказано, что прекрасный перевод 8 книги Илияды, шестистопными ямбами, напеч. в 7 кн. Чтений в Беседе Л. Р. Сл., был бы превосходнее всех переводов, если б написан был экзаметрами, а ныне один почтенный любитель и знаток древней и Российской Литературы пригласил г. Гнедича письмом (читанным также в сем собрании Беседы) сделать тому опыт. Сей опыт принят был со всеобщим одобрением; многие из присутствующих изъявили желание видеть всю Илияду в таком переводе.— Подвиг сей труден, но не превосходит сил подвизающегося!

Сын Отечества. 1813. Т. 6. № 3. С. 122—123 (раздел «Смесь»).

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Азадовский — *Азадовский М.К.* История русской фольклористики. М., 1958.

Аксаков, 2 — *Аксаков С.Т.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 2.

Алексеев — *Алексеев М.П.* К истолкованию поэмы А.Н. Радищева «Бова» // Радищев. Л., 1950.

Алтунян — *Алтунян А.* Власть и общество. Спор литератора и министра (Опыт анализа политического текста) // Вопросы литературы. 1993. Вып. 1.

Альтшуллер 1963 — *Альтшуллер М.Г.* Герасим Лебедев и Гавриил Державин // Народы Азии и Африки. 1963. №4.

Альтшуллер 1969 — *Альтшуллер М.Г.* Литературно-теоретические взгляды Державина и «Беседа любителей русского слова» // XVIII век. Сб. 8 (Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века). Л., 1969.

Альтшуллер 1971 — *Альтшуллер М.Г.* «Слово о полку Игореве» в кругу «Беседы любителей русского слова» // Древнерусская литература и русская культура XVIII—XIX веков. Л.,1971. (=Труды Отдела древнерусской литературы. Вып. 26).

Альтшуллер 1973 — *Альтшуллер М.Г.* Заметки В.А. Олениной о русских писателях // Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1973.

Альтшуллер 1975 — *Альтшуллер М.Г.* Неизвестный эпизод журнальной полемики начала XIX века («Друг просвещения» и «Московский зритель») // XVIII век. Сб. 10 (Русская литература и ее международные связи). Л., 1975.

Альтшуллер 1975 (2) — *Альтшуллер М.Г.* Крылов в литературных объединениях 1800—1810-х годов // Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. Л., 1975.

Альтшуллер 1977 — *Альтшуллер М.Г.* Поэтическая традиция Радищева в литературной жизни начала XIX века // XVIII век. Сб. 12 (А.Н. Радищев и литература его времени). Л., 1977.

Альтшуллер 1983 — *Альтшуллер М.Г.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка как политический документ (А.С. Шишков и Н.М. Карамзин) // Russia and the West in the Eighteenth Century / Ed. by A. G. Cross. Newtonville, Mass., 1983.

Альтшуллер 1986 — *Альтшуллер М.Г.* Крылов и вольтерьянство // Russia and the World of the Eighteenth Century / Ed. by R. P. Bartlett, A. G. Cross, Karen Rasmussen. Slavica Publishers, 1986.

Альтшуллер 2005 — *Альтшуллер М.Г.* Александр Семенович Шишков // Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX столетия / Отв. ред. А.Ю. Минаков. Воронеж, 2005.

Альтшуллер, Мартынов — *Альтшуллер М., Мартынов И.* Звучащий стих свободы ради... М., 1976.

Анекдот — Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века / Изд. подг. Е. Курганов и Н. Охотин. М., 1990.

Арапов — *Арапов П.Н.* Летопись русского театра. СПб., 1861.

Арзамас и арзамасские протоколы — «Арзамас» и «арзамасские» протоколы / Изд. подг. М.С. Боровкова-Майкова. Л., 1933.

Арзамас, 1—2 — «Арзамас»: Сборник: В 2 кн. / Под общ. ред. В.Э. Вацуро и А.Л. Осповата. М., 1994.

Афанасьев — Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. Т. 1—3. М., 1957.

Бабинцев — *Бабинцев С.М.* Тетрадь стихов Крылова // И.А. Крылов. Исследования и материалы. М., 1947.

Бабкин — *Бабкин Д.С.* А.Н. Радищев (Литературно-общественная деятельность). М.; Л., 1966.

Базанов — *Базанов В.Г.* Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949.

Батте — *Батте Ш.* Начальные правила словесности. М., 1806—1807. Т. 1—4.

Батюшков 1964 — *Батюшков К.Н.* Полн. собр. стихотворений / Изд. подг. Н.В. Фридман. М.; Л., 1964.

Батюшков 1989 — *Батюшков К.Н.* Сочинения: В 2 т. / Изд. подг. А.Л. Зорин и В.А. Кошелев. М., 1989.

Белинский — *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953—1959.

Библиотека Пушкина — *Модзалевский Б.Л.* Библиотека А.С. Пушкина: Библиографическое описание. СПб., 1910 (репринтное издание — М., 1988).

Биография Радищева — Биография Радищева, написанная его сыновьями / Изд. подг. Д.С. Бабкин. М.; Л., 1959.

Боленко — *Боленко К.Г.* «Kleine Kinderbibliotek» И. Г. Кампе в переводе А.С. Шишкова // Вестник Московского университета. Сер. 8 (История). 1996. №3.

Боленко, Лямина 1994 — *Боленко К.Г., Лямина Е.Э.* «Классическое стихотвореньице» // Новое лит. обозрение. №6 (1994).

Боленко, Лямина 2005 — *Боленко К.Г., Лямина Е.Э.* Из семейной переписки А.С.Шишкова // Пушкин и его современники. Вып. 4 (43). СПб., 2005.

Борн — *Борн И.* Краткое руководство к российской словесности. СПб., 1808.

Бочкарев 1959 — *Бочкарев В.А.* Русская историческая драматургия начала 19 века (1800—1815). Куйбышев, 1959 (=Ученые записки Куйбышевского гос. пед. института им. В.В. Куйбышева. Вып. 25).

Бочкарев 1964 — *Бочкарев В.А.* Стихотворная трагедия конца XVIII — начала XIX века // Стихотворная трагедия конца XVIII — начала XIX века. М.; Л., 1964.

Брискман — *Брискман М.А.* В.Г. Анастасевич. М., 1958.

Бунина — *Бунина А.* Неопытная муза. СПб., 1809—1812. Ч. 1—2.

Бычков — *Бычков А.Ф.* О баснях Крылова в переводе на иностранные языки // Сб. статей, читанных в Отделении русского языка и словесности Имп. Академии наук. СПб., 1869.

Вацуро 2000 — *Вацуро В.Э.* Пушкинская пора. СПб., 2000.

Вацуро 2002 — *Вацуро В.Э.* Готический роман в России. М., 2002.

Вацуро 2005 — В.Э. Вацуро: Материалы к биографии / Сост. Т.Ф. Селезнева. М., 2005.

Вацуро, Гиллельсон — *Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И.* Сквозь «умственные плотины»: Из истории книги и прессы пушкинской поры. М., 1972.

Вигель 1891 — *Вигель Ф.Ф.* Записки. Ч. 1—4. М., 1891—1893.

Вигель 1928 — *Вигель Ф.Ф.* Записки / Изд. подг. С.Я. Штрайх. Т. I—II. М., 1928.

Видок Фиглярин — Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III Отделение / Изд. подг. А.И. Рейтблат. М., 1998.

Виницкий — *Виницкий И.Ю.* Утехи Меланхолии. «Невинное творенье» в литературном водовороте рубежа XVIII—XIX веков // *Лекманов О.А.* Опы-

ты о Мандельштаме; *Виницкий И.Ю.* Утехи меланхолии. М., 1997.

Востоков — *Востоков А.* Опыт о русском стихосложении. СПб., 1817 (репринт в кн.: *Imposti G.* Aleksandr Christoforovic Vostokov. Dalla pratica poetica agli studi metrico-filologici. Bologna, 2000).

Выготский — *Выготский Л.С.* Психология искусства. М., 1968.

Вяземский 1878 — *Вяземский П.А.* Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1878—1896.

Вяземский 1963 — *Вяземский П.А.* Записные книжки (1813—1848) / Изд. подг. В.С. Нечаева. М., 1963.

Вяземский 1982 — *Вяземский П.А.* Сочинения: В 2 т. / Изд. подг. М.И. Гиллельсон. М., 1982.

Вяземский 1986 — *Вяземский П.А.* Стихотворения / Изд. подг. Л.Я. Гинзбург и К.А. Кумпан. Л., 1986.

Вяземский 2003 — *Вяземский П.А.* Старая записная книжка. М., 2003.

Гардзонио — *Гардзонио С.* Автографы поэтов-шишковистов в книгах РГБ // Маргиналии русских писателей 18 века. СПб., 1994 (=Studiorum slavicorum monumenta. Т. 6).

Б. Гаспаров 1999 — *Гаспаров Б.М.* Поэтический язык Пушкина. СПб., 1999.

Б. Гаспаров 2003 — *Гаспаров Б.* История без телеологии (Заметки о Пушкине и его эпохе) // Новое литературное обозрение. №59 (2003. №1).

М. Гаспаров 1971 — *Гаспаров М.Л.* Античная литературная басня (Федр и Бабрий). М., 1971.

М. Гаспаров 1989 — *Гаспаров М.Л.* Очерк истории европейского стиха. М., 1989.

Георгиевский — *Георгиевский Г.П.* А.Н. Оленин и Н.И. Гнедич. Новые материалы из оленинского архива // Сб. Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. СПб., 1914. Т. XCI. №1.

Гердер — *Гердер И.Г.* Избранные сочинения. М.; Л., 1959.

Герцен — *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1964.

Гиллельсон 1974 — *Гиллельсон М.И.* Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974.

Гиллельсон 1978 — *Гиллельсон М.И.* Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 года // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. Л., 1978.

С. Глинка (1) — *Глинка С.* Разговор о русских песнях // Русский вестник. 1811. №5.

С. Глинка (2) — *Глинка С.* О русских пословицах // Русский вестник. 1811. №7.

Ф. Глинка — *Глинка Ф.Н.* Избранные произведения / Изд. подг. В.Г. Базанов. Л., 1957.

Гнедич 1958 — *Гнедич Н.И.* Стихотворения / Изд. подг. И.Н. Медведева. Л., 1958.

Гнедич 1974 — *Гнедич Н.И.* Письма к К.Н. Батюшкову / Публ. М.Г. Альтшуллера // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома. 1972. Л., 1974.

Гозенпуд — *Гозенпуд А.А.* А.А. Шаховской // *Шаховской А.А.* Комедии. Стихотворения. Л., 1961.

Гораций — *Квинт Гораций Флакк.* Оды, эподы, сатиры, послания. М., 1970.

А. Гордин — *Гордин А.* Крылов в Петербурге. Л., 1969.

М. Гордин — *Гордин М.* Владислав Озеров. Л., 1991.

Греч 1930 — *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930.

Греч 1990 — *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М., 1990.

Громова — *Громова Т.Н.* Литературные взаимоотношения И.М. Муравьева-Апостола и В.В. Капниста // Русская литература. 1974. №1.

Грот 1997 — *Грот Я.К.* Жизнь Державина. М., 1997.

Гуковский 1946 — *Гуковский Г.А.* Очерки по истории русского реализма. Ч. 1: Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946.

Гуковский 1957 — *Гуковский Г.А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.

Гуковский 1964 — *Гуковский Г.А.* Тредиаковский как теоретик литературы // XVIII век. Сб. 6 (Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма). М.; Л., 1964.

Давыдов — *Давыдов Д.В.* Сочинения / Изд. подг. В.Н. Орлов. М., 1962.

Дельвиг — *Дельвиг А.А.* Сочинения / Изд. подг. В.Э. Вацуро. Л., 1986.

Державин — Сочинения Державина / Под ред. Я. Грота. 2-е академич. изд. СПб., 1869—1878. Т. 1—7 (в основном ссылки на это издание даются в тексте, в круглых скобках, с указанием на том и страницу).

Державин 1963 — *Державин Г.Р.* Стихотворения / Вступ. статья и подг. текста В.П. Друзина, примеч. В.А. Западова. М.; Л, 1963.

Десницкий — *Десницкий В.* Из истории литературных обществ начала XIX века // *Десницкий В.* Избранные статьи по русской литературе XVIII—XIX вв. М.; Л., 1958.

Диоген Лаэртский — *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.

Дмитриев 1893 — *Дмитриев И.И.* Сочинения: В 2 т. СПб., 1893.
Дмитриев 1967 — И.И. Дмитриев. Полн. собр. стихотворений / Изд. подг. Г.П. Макогоненко. Л., 1967.
М. Дмитриев — *Дмитриев М.А.* Московские элегии. Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти / Изд. подг. Вл. Муравьев. М., 1985.
Дневник — Дневник А.С. Пушкина 1833—1835 / С коммент. Б.Л. Модзалевского, В.Ф. Саводника, М.Н. Сперанского. М., 1997.
Дурылин — *Дурылин С.* Крылов и Отечественная война 1812 года // И.А. Крылов. Исследования и материалы. М., 1947.
Евгений — Хвостову — Письма митрополита Евгения Д.И. Хвостову // Сб. статей, читанных в Отделении русского языка и словесности Имп. Академии наук. 1863. Т. V. Вып. 1.
Егоров — *Егоров Б.Ф.* Очерки по истории русской культуры // Из истории русской культуры. Т. V (XIX век). М., 1996.
Егунов — *Егунов А.Н.* Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. М.; Л., 1964.
Елеонский — *Елеонский С.Ф.* Поэтические образы «Слова о полку Игореве» в русской литературе конца XVIII — начала XIX вв. // «Слово о полку Игореве»: Сб. статей. М., 1947.
Еремин — *Еремин И.П.* Лекции по древней русской литературе. Л., 1968.
Жихарев — *Жихарев С.П.* Записки современника / Изд. подг. Б.М. Эйхенбаум. М.; Л, 1955.
Жуковский — *Жуковский В.А.* Эстетика и критика / Изд. подг. Ф.З. Канунова, О.Б. Лебедева и А.С. Янушкевич. М., 1985.
Заборов 1966 — *Заборов П.Р.* «Ночные размышления» Юнга в русских переводах // XVIII век. Сб. 6. М.; Л., 1966.
Заборов 1978 — *Заборов П.Р.* Русская литература и Вольтер. XVIII — первая треть XIX века. Л., 1978.
Завалишин — *Завалишин Д.И.* Записки декабриста. [М.,] 1906.
А. Западов — *Западов А.* Мастерство Державина. М., 1958.
Западов 1965 — *Западов В.А.* Державин и Радищев (К истории одной легенды) // Известия Академии Наук СССР. Сер. литературы и языка. 1965. Т. XXIV. №6.
Западов 1986 — *Державин Г.Р.* Продолжение о лирической поэзии. Часть 3-я / Публ. и коммент. В.А. За-

падова // XVIII век. Сб. 15 (Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой). Л., 1986.

Западов 1989 — *Державин Г.Р.* Продолжение о лирической поэзии. Часть 4-я / Публ. и коммент. В.А. Западова // XVIII век. Сб. 16 (Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века). Л., 1989.

Зорин — *Зорин А.* Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001.

Иезуитова 1981 — *Иезуитова Р.В.* Из неизданной переписки В.А. Жуковского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома. 1979. Л., 1981.

Иезуитова 1989 — *Иезуитова Р.В.* Жуковский и его время. Л., 1989.

Измайлов — *Измайлов Н.В.* Очерки творчества Пушкина. Л., 1975.

Ионин — *Ионин Г.Н.* Фольклорные мотивы в поэзии Г.Р. Державина 1800-х годов // Русский фольклор: Материалы и исследования. М.; Л., 1962. Вып. 7.

Кантемир — *Кантемир А.* Собр. стихотворений / Вступ. статья Ф.Я. Приймы, подг. текста и коммент. З.И. Гершковича. Л., 1956.

Капнист — *Капнист В.В.* Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1960.

Капнист 1973 — *Капнист В.В.* Избранные произведения. Л., 1973.

Карамзин 1959 — *Karamzin N.M.* A Memoir on Ancient and Modern Russia. The Russian text / Ed. by Richard Pipes. Harvard, Cambridge (Mass.), 1959.

Карамзин 1964 — *Карамзин Н.М.* Избранные соч.: В 2 т. / Изд. подг. П.Н. Берков и Г.П. Макогоненко. М.; Л., 1964.

Карамзин 1966 — *Карамзин Н.М.* Полн. собрание стихотворений / Изд. подг. Ю.М. Лотман. М.; Л., 1966.

Кеневич — *Кеневич В.Ф.* Библиографические и исторические примечания к басням Крылова. СПб., 1868.

Кирша Данилов — *Данилов К.* Древние русские стихотворения. М., 1804.

Кирша Данилов 1977 — Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / 2-е изд., доп.; подготовили А.П. Евгеньева и Б.Н. Путилов. М., 1977.

Киселева 1982 — *Киселева Л.Н.* Еще раз о С.Н. Глинке — читателе «Слова о ролку Игореве» // Finitis duodecim lustris: Сб. статей к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана. Талин, 1982.

Киселева 1995 — *Киселева Л.* Русский «архаист» в Европе // Studia Russica Helsingiensia et tartuensia. Вып. IV: «Свое» и «чужое» в литературе и культуре. Тарту, 1995.

Клепиков — *Клепиков С.А.* Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII — XX века. М., 1959.

Колесницкая — *Колесницкая И.* Русские сказочные сборники восемнадцатого века // Ученые записки ЛГУ. Серия филологических наук. Л., 1939. №33. Вып. 2.

Коломинов, Файнштейн — *Коломинов В.В., Файнштейн М.Ш.* Храм муз словесных (Из истории Российской академии). Л., 1986.

Корнелий Непот — *Корнелий Непот.* О знаменитых полководцах / Изд. подг. Н.Н. Трухина. М., 1992.

Корф — *Корф М.А.* Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т. 1—2.

Кошелев — *Кошелев В.А.* О жизни и сочинениях И.М. Муравьева-Апостола // Муравьев-Апостол И.М. Письма из Москвы в Нижний Новгород / Изд. подготовил В.А. Кошелев. СПб., 2002

Крылов 1946 — *Крылов И.А.* Полн. собр. соч.: В 3-х тт. М., 1946.

Крылов 1956 — *Крылов И.А.* Басни / Изд. подг. А.П. Могилянский. М.; Л., 1956.

Крылов в воспоминаниях — И.А. Крылов в воспоминаниях современников / Изд. подг. А.М. Гордин и М.А. Гордин. М., 1982.

Кулакова 1956 — *Кулакова Л.И.* Из истории создания и судьбы великой книги (новые материалы о Радищеве) // Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института (факультет языка и литературы). 1956. Т. 18. Вып. 5.

Кулакова 1968 — *Кулакова Л.И.* Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. Л., 1968.

Кулакова 1969 — *Кулакова Л.И.* О спорных вопросах в эстетике Державина // XVIII век. Сб. 8. Л., 1969.

Кюхельбекер 1929 — *Кюхельбекер В.К.* Дневник. Л., 1929.

Кюхельбекер 1967 — *Кюхельбекер В.К.* Избранные произв.: В 2 т. / Изд. подг. Н.В. Королева. М.; Л., 1967.

Кюхельбекер 1979 — *Кюхельбекер В.К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979 / Изд. подг. [М.Г. Альтшуллер], Н.В. Королева (из-за эмиграции М.Г. Альтшуллера на титульном листе стоит имя В.Д. Рака; см.: Литературные памятники, 1948—1998: Аннотированный каталог. М., 1998. С. 189—190).

Лагарп — *Лагарп Ж. Ф.* Пророчество Казота // Уолпол, Казот, Бекфорд. Фантастические повести / Изд. подг. В.М. Жирмунский, Н.А. Сигал. Л., 1967.

Ланда — *Ланда С.С.* Вместо предисловия // *Королева Н.В.* Декабристы и театр. Л., 1975.

Лащенков — *Лащенков Н.* Е.И. Станевич // Сб. Харьковского историко-филологического общества. Харьков, 1897. Т. 9.

Левин — *Левин Ю.Д.* Оссиан в русской литературе: Конец XVIII — первая треть XIX в. Л., 1980.

Лекарство от задумчивости — Лекарство от задумчивости и бессонницы, или Настоящие русские сказки. СПб., 1791.

Лессинг 1904 — *Лессинг.* Собрание сочинений. Т. 1: Басни в прозе. М., 1904.

Лессинг 1972 — *Лессинг Г. Э.* Драмы. Басни в прозе. М., 1972.

Лобанов — *Лобанов М.Е.* Жизнь и сочинения И.А. Крылова. СПб., 1847.

Ломоносов 1952 — *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 7.

Ломоносов 1965 — *Ломоносов М.В.* Избранные произведения / Изд. подг. А.А. Морозов. М.; Л., 1965.

Лотман 1958 — *Лотман Ю.М.* К характеристике мировоззрения В.Г. Анастасевича // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1958. Вып. 1.

Лотман 1959 — *Лотман Ю.М.* Писатель, критик и переводчик Я.А. Галенковский // XVIII век. Сб. 4. М.; Л., 1959.

Лотман 1967 — *Лотман Ю.М.* Руссо и русская культура XVIII века // Эпоха просвещения. Л., 1967.

Лотман 1995 — *Лотман Ю.М.* Пушкин. СПб., 1995.

Лотман 1996 — *Лотман Ю.М.* О поэтах и поэзии. СПб., 1996.

Лотман 1997 (1) — *Лотман Ю.М.* Карамзин. СПб., 1997.

Лотман 1997 (2) — *Лотман Ю.М.* О русской литературе: Статьи и исследования (1958—1993). СПб., 1997.

Лотман, Успенский — *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры

	(«Происшествие в царстве теней, или Судьбина Российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва // Труды по русской и славянской филологии. XXIV). Тарту, 1975 (=Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 358).
Лупанова —	*Лупанова И.П.* Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. Петрозаводск, 1959.
Макогоненко —	*Макогоненко Г.П.* Поэзия Александра Радищева // *Радищев А.Н.* Стихотворения. Л., 1980.
Марин —	*Марин С.Н.* Полн. собр. соч. / Изд. подг. Н.И. Арнольд. М., 1948 (Летописи Гос. литературного музея. Кн. 10).
Манфред —	*Манфред А.З.* Наполеон Бонапарт. М., 1987.
Маркиш —	*Маркиш С.* Гомер и его поэмы. М., 1962.
Медведева —	*Медведева И.Н.* Владислав Озеров // *Озеров В.А.* Трагедии и стихотворения. Л., 1960.
Михайловская —	*Михайловская Н.М.* Журнал «Сын отечества» периода Отечественной войны и становления декабризма (1812—1818) // Ученые записки Удмуртского пед. института. Ижевск, 1956. Вып. 9.
Мифы древних славян —	Мифы древних славян: Сб. / Сост. А.И. Баженовой, В.И. Вардугина. Саратов, 1993.
Мицкевич —	*Мицкевич А.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1954.
Мольер —	*Мольер.* Полн. собр. соч.: В 3 т. М., 1985.
Мордовченко —	*Мордовченко Н.И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959
Морозов —	*Морозов П.О.* Граф Д.И. Хвостов // Рус. старина. 1892. №6—8.
Муравьев —	*Муравьев М.Н.* Стихотворения / Изд. подг. Л.И. Кулакова. Л., 1967.
Муравьев-Апостол —	*Муравьев-Апостол И.М.* Письма из Москвы в Нижний Новгород / Изд. подг. В.А. Кошелев. СПб., 2002.
Назарова —	*Назарова Л.Н.* Об одной эпиграмме Г.Р. Державина // XVIII век. Вып. 3. М.; Л., 1958.
Нарежный —	*Нарежный В.Т.* Избранные соч.: В 2 т. М., 1956.
Некрасов 1984 —	*Некрасов С.* Российская Академия. М., 1984.
Некрасов 2003 —	*Некрасов С.М.* На берегу Фонтанки: Музей Г.Р. Державина и русской словесности его времени. СПб., 2003.
Озеров —	*Озеров В.А.* Трагедии. Стихотворения / Изд. подг. И.Н. Медведева. Л., 1960.

Олейников — *Олейников Н.* Стихотворения и поэмы / Изд. подг. Л.Я. Гинзбург, А.Н. Олейников. СПб., 2000.

Орлов — *Орлов А.С.* «Тилемахида» В.К. Тредиаковского //XVIII век: Сб. статей и материалов. [Вып. 1]. М.; Л., 1935.

Осповат, Тименчик — *Осповат А.Л., Тименчик Р.Д.* «Печальну повесть сохранить...»: Об авторе и читателях «Медного всадника». М., 1985.

Остолопов — Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым. Ч. 1—3. СПб., 1821.

Остафьевский архив — Остафьевский архив князей Вяземских / Изд. гр. С.Д. Шереметьева. Под ред. и с примечаниями В.И. Саитова. СПб., 1899—1913. Т. 1—5.

Палицын 1807 — Игорь, героическая песнь. С древней славенской песни, писанной в XII веке, переложил стихами Александр Палицын. Харьков, 1807.

Панаев — *Панаев В.И.* Воспоминания // Вестник Европы. 1867. Сентябрь.

Панегирическая литература — Панегирическая литература петровского времени / Изд. подг. В.П. Гребенюк под ред. О.А. Державиной. М., 1979.

Письма — Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой. 1825—1835 / Изд. подг. Лидия Слонимская. СПб., 1993.

Плетнев — *Плетнев П.А.* Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова // *Плетнев П.А.* Сочинения и переписка. СПб., 1885. Т. 2.

Плутарх — *Плутарх.* Сравнительные жизнеописания / Изд. подг. М.Е. Грабарь-Пассек, С.П. Маркиш, С.И. Соболевский. М., 1961—1964. Т. 1—3.

Поэты XVIII в. — Поэты XVIII века: В 2-х т. / Изд. подг. Г.П. Макогоненко, И.З. Серман, Н.Д. Кочеткова, Г.С. Татищева. Л, 1972.

Поэты-радищевцы — Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств / Изд. подг. Вл. Орлов и В.А. Десницкий. [М.,] 1935.

Поэты-сатирики — Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX века / Изд. подг. Г.Л. Ермакова-Битнер. Л., 1959.

Поэты 1790—1810-х — Поэты 1790—1810-х годов / Изд. подг. М.Г. Альтшуллер и Ю.М. Лотман. Л., 1971.

Поэты 1820—1830-х — Поэты 1820—1830-х годов / Изд. подг. Л.Я. Гинзбург, В.Э. Вацуро, В.С. Киселев-Сергенин. Л., 1972. Т. 1—2.

Пржецлавский — *Пржецлавский О.А.* А.С. Шишков // Русская старина. 1875. №7.

Проскурин 1995 — *Проскурин О.А.* Имя в «Арзамасе» (Материалы к истории пародической антропонимии) // Лотмановский сборник. 1. М., 1995.

Проскурин 1996 — *Проскурин О.* Новый Арзамас — Новый Иерусалим: Литературная игра в культурно-историческом контексте // Новое литературное обозрение. №19 (1996).

Проскурин 2000 — *Проскурин О.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000.

Прохоров — *Прохоров А.* Он услыхал рассказы Оссиана: варягоросские баллады Державина // A Symposium Dedicated to Gavriil Derzhavin / Гаврила Державин. Симпозиум, посвященный 250-летию со дня рождения (=Норвичские симпозиумы по русской литературе и культуре. Т. IV). Нортфилд, 1995.

Пумпянский — *Пумпянский Л.В.* «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. Вып. 4—5. М.; Л., 1939.

Пушкин, I—XIX — *Пушкин.* Полн. собр. соч. М., 1994—1997. Т. I—XIX.

Пушкин 1935 — Пушкин. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. VII. Драматические произведения. [Л.; М., 1935].

Пушкин 1969 — Пушкин. Письма последних лет (1834—1837). Л., 1969.

Пушкин 1975 — А.С. Пушкин: Статьи и материалы (=Ученые записки Горьковского гос. университета им. Н.И. Лобачевского. Горький, 1971. Вып. 115).

Пушкин 1978 — *Пушкин А.С.* Медный всадник / Изд. подготовил Н.В. Измайлов. Л., 1978.

Пушкин 1978, 1—2 — *Пушкин А.С.* Избранные соч.: В 2 т. М., 1978.

Пушкин 1989 — *Пушкин А.С.* Медный всадник / Рис. Александра Бенуа. [Пг.,] 1923 [факсимильное воспроизведение — [СПб.,] 1989].

Пушкин 1999 — Пушкин А.С. Сочинения. Лицейские стихотворения 1813—1817. СПб., 1999.

Пушкин 2002 — *Пушкин А.С.* Тень Баркова: Тексты. Комментарии. Экскурсы / Изд. подг. И.А. Пильщиков и М.И. Шапир. М., 2002.

Пушкин. Письма — Пушкин. Письма. М.; Л., 1926—1935. Т. 1—3.

Пушкин
и его современники — Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Вып. 38—39. Л., Изд. АН СССР, 1930

Пушкин
в воспоминаниях — А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1—2

В. Пушкин — *Пушкин В.* Стихи. Проза. Письма / Изд. подг. Н.И. Михайлова. М., 1989.

Пыпин — *Пыпин А.Н.* Российское Библейское общество (1812—1826) // *Пыпин А.Н.* Религиозные движения при Александре I. СПб., 2000.

Радищев 1938 — *Радищев А.Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1—3.

Радищев 1992 — *Радищев А.Н.* Путешествие и Петербурга в Москву. Вольность / Изд. подг. В.А. Западов. М., 1992.

Рассказы бабушки — Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений... / Изд. подг. Т.И. Орнатская. Л., 1989.

Растопчин — *Растопчин Ф.В.* Эх, французы! М, 1992.

Репертуарная сводка — Репертуарная сводка // История русского драматического театра. Т. 2, 3 (1801—1845). М., 1977—1978.

Рижский — *Рижский И.* Наука стихотворства. СПб., 1811.

Русанова — *Русанова Н.В.* Эпитеты Державина // XVIII век. Сб. 8 (Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX в.). Л., 1969.

Русская басня — Русская басня XVIII—XIX веков / Изд. подг. В.П. Степанов и Н.Л. Степанов. Л., 1977.

Русская стихотворная
пародия — Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.) / Изд. подг. А.А. Морозов. Л., 1960.

Русская эпиграмма — Русская эпиграмма второй половины XVIII — начала XX в. / Изд. подг. В.Е. Васильев, М.И. Гиллельсон, Л.Ф. Ершов, Н.Г. Захаренко. Л., 1975.

Русские писатели
1800—1917 — Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М. 1989—1998.... Т. 1—4... (продолжающееся издание).

Свиясов — *Свиясов Е.В.* Античная поэзия в русских переводах XVIII—XX вв. СПб., 1998.

Сводный каталог — Сводный каталог русской книги XVIII века. М., 1962—1975. Т. 1—5; Т. «Дополнения...».

Сводный каталог сериальных изданий — Сводный каталог сериальных изданий России (1801—1825). Т. 1—2..., СПб., 1997—2000.

Серман 1970 (1) — *Серман И.З.* Державин // Русская литература и фольклор. [Вып. 1]. Л., 1970.

Серман 1970 (2) — *Серман И.З.* Литературная судьба Крылова // Русская литература. 1970. №4.

Серман 1975 — *Серман И.З.* Крылов-баснописец // Иван Андреевич Крылов: Проблемы творчества. Л., 1975.

Серман 1981 — *Серман И.* Литературная игра в сатирических журналах Н.И. Новикова // Russian History/ Histoire Russe, 8. Pt. 3 (1981).

Серман 2001 — *Серман И.* А.С. Шишков и А.Н. Радищев (Стилистический союз) // Sonderdruck aus Gedachtnis und Phantasma: Festschrift für Renate Lachman. Die Welt der Slaven Sammerbande. Bd. 13. München, 2001.

Сидоров — *Сидоров Л.П.* Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В.А. Озерова «Дмитрий Донской» // Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В.И. Ленина. Вып. 18. М., 1956.

Словарь... XVIII в. — Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. Л., 1988; Вып. 2. СПб., 1999.

Слово о полку Игореве — Слово о полку Игореве / Изд. 3-е. Л., 1985.

Соколов — *Соколов А.Н.* Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века. М., 1956.

В. Степанов 1969 — *Степанов В.П.* Д.И. Хвостов // Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX в. Л., 1969.

В. Степанов 1975 — *Степанов В.П.* Эволюция и теория басни в 1790—1810-х гг. // Иван Андреевич Крылов: Проблемы творчества. Л., 1975.

Н. Степанов 1958 — *Степанов Н.Л.* И.А. Крылов. М., 1958.

Н. Степанов 1969 — *Степанов Н.Л.* Басни Крылова. М., 1969.

Н. Степанов 1977 — *Степанов Н.Л.* Русская басня // Русская басня XVIII—XIX веков. Л., 1977.

Стихотворная сказка — Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX веков / Изд. подг. А.Н. Соколов, Н.М. Гайденков, В.П. Степанов. Л., 1977.

Стихотворная трагедия — Стихотворная трагедия конца XVIII — начала XIX в. / Изд. подг. В.А. Бочкарев. М.; Л., 1964.

Стоюнин — *Стоюнин В.* Александр Семенович Шишков (=Исторические сочинения В. Стоюнина. Ч. 1). СПб., 1880.

Сумароков — *Сумароков А.П.* Избранные произведения / Изд. подг. П.Н. Берков. Л., 1957.

Тарле — *Тарле Е.В.* Наполеон. М., 1957

Тимофеев — *Тимофеев П.* Русские сказки. М., 1787.

Тредиаковский — Три рассуждения о трех главнейших древностях российских... / Сочиненныя Васильем Тредиаковским. СПб., 1773.

Н. Тургенев — Архив братьев Тургеневых. Вып. 5: Дневники и письма Н.И. Тургенева. За 1816—1824 гг. Пг., 1921.

А. Тургенев — *Тургенев А.И.* Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.) / Изд. подг. М.И. Гиллельсон. М.; Л., 1964.

Тынянов 1929 — *Тынянов Ю.* Архаисты и новаторы. [Л.,] 1929.

Тынянов 1968 — *Тынянов Ю.Н.* Пушкин и его современники. М., 1968.

Фомичев — *Фомичев С.А.* Драматургия Крылова начала XIX в. // Иван Андреевич Крылов: Проблемы творчества. Л., 1975.

Фонвизин — *Фонвизин Д.И.* Собр. соч.: В 2 т. / Изд. подг. Г.П. Макогоненко. М.; Л., 1959.

Хвостов (1) — Из архива Хвостова: Из истории «Беседы любителей русского слова» / Публ. А.В. Западова // Литературный архив. Вып. 1. М.; Л., 1938.

Хвостов (2) — *Хвостов Д.И.* Записки о словесности / Публ. А.В. Западова // Там же.

Хвостов 1802 — *Хвостов Д.* Избранные притчи из лучших сочинителей российскими стихами. [СПб.,] 1802.

Хвостов 1811 — *Гр. Хвостов.* Ода на освящение Казанския церкви 1811 года Сентября 15 дня. СПб., 1811.

Хвостов 1817 — Полное собрание стихотворений графа Хвостова. СПб., 1817—1818. Ч. 1—4.

Хвостов 1828 — Полное собрание стихотворений графа Хвостова / Изд. 3-е. СПб., 1828—1834. Т. 1—7.

Чарторижский — *Чарторижский А.* Мемуары. М., 1912.

Черейский — *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение / Изд. 2-е. Л., 1989.

Чичагов — Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова, первого по времени морского министра, с предисловием, примечаниями и заметками Л.М. Чичагова. М., 2002.

Чтение, 1—19 — Чтение в Беседе любителей русского слова. Кн. 1—19. СПб., 1811—1815.

Шарыпкин — *Шарыпкин Д.М.* Скандинавская тема в русской романтической литературе // Ранние роман-

тические веяния: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1972.

Шаховской — *Шаховской А.А.* Комедии. Стихотворения / Изд. подг. А.А. Гозенпуд. Л., 1961.

Шильдер 1897 — *Шильдер Н.К.* Император Александр Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1897. Т. 1—4.

Шильдер 1997 — *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый. М., 1997. Т. 1—2.

Шихматов 1807 — *Шихматов С.* Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия. Лирическая поэма в трех песнях. СПб., 1807.

Шихматов 1810 — *Шихматов С.* Возвращение в отечество любезного моего брата князя Павла Александровича... СПб., 1810.

Шихматов 1810 (2) — *Шихматов С.* Петр Великий. Лирическое песнопение в осми песнях. СПб., 1810.

Шихматов 1812 — *Шихматов С.* Ночь на гробах. СПб., 1812.

Шихматов 1814 (1) — *Шихматов С.* Сельский житель (1814 год, месяц Цветень). СПб., 1814.

Шихматов 1814 (2) — *Шихматов С.* Ночь на размышления. СПб., 1814.

Шишков — Собрание сочинений и переводов адмирала Шишкова. СПб., 1818—1839. Т. 1—17.

Шишков 1803 — *Шишков А.С.* Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. СПб., 1803.

Шишков 1806 — *Шишков А.С.* Гомеровой «Илиады» Песнь XVI // Сочинения и переводы, издаваемые Российскою академиею. СПб., 1806. Ч. 2.

Шишков. Записки, 1—2 — Записки, мнения и переписка адмирала А.С. Шишкова / Изд. Н. Киселева и Ю. Самарина. Берлин, 1870. Т. 1—2.

Шишков. Прибавление — *Шишков А.С.* Прибавление к сочинению, называемому «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». СПб., 1804.

Штейнгель — *Штейнгель В.И.* Записки // Общественное движение в России в первую половину XIX века. СПб., 1905. Т. 1.

Эзоп — Басни Эзопа / Пер., статья и комментарии М.Л. Гаспарова. М., 1968.

Энциклопедия «Слова о полку Игореве» — Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 1—5.

Эпиграмма и сатира — Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX в. / Сост. В. Орлов. М.; Л., 1931. Т. 1—2.

Эткинд — *Эткинд Е.Г.* Две дилогии Державина. 1. Духовная дилогия (Оды «Бог» и «Христос») // A Symposium Dedicated to Gavriil Derzhavin / Гаврила Державин. Симпозиум, посвященный 250-летию со дня рождения. Нортфилд, 1995.

Юнг — Плач Эдуарда Юнга, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии... М., 1785. Ч. 1—2.

Язвицкий — *Язвицкий Н.* Введение в науку стихотворства. СПб., 1811.

Якобсон — *Якобсон Р.* Статуя в поэтической мифологии Пушкина // *Якобсон Р.* Работы по поэтике. М., 1987.

Anthologie russe — Anthologie russe, suivie de poésies originales / Par P. J. Emile Dupré de Saint-Maure. Paris, 1823.

Black — *Black J. L.* Nicolas Karamzin and Russian Society in the Nineteenth Century: A Study in Russian Political and Historical Thought. Toronto and Buffalo, 1975.

Boele — *Boele O.* The North in Russian Romantic Literature. Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi, 1996.

Burgi — *Burgi R.* A History of Russian Hexameter. The Shoe String Press, 1954.

Galster — *Galster B.* Krylov wobec walk literachich pocatku XIX wieku // Slavia orientalis. 1960. Roc. IX. №2.

Herder — *Herder J. G.* Briefe zur Beförderung der Humanität. Berlin; Weimar, 1971.

Martin — *Martin A. M.* Romantics, Reformers, Reactionaries. Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I. Northern Illinois University Press, 1997.

Pope — *Pope A.* Iliad of Homer, translated by A. Pope. London, 1822.

Rosslyn — *Rosslyn W.* Anna Bunina (1774—1829) and the Origins of Women's Poetry in Russia. Ontario, 1997.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

[1] В указатель (составлен Е.А. Грушевской) не включены имена мифологических персонажей, а также фамилии авторов, упомянутых только в библиографических описаниях.

Оглавление

ПРИЛОЖЕНИЯ

Марк Альтшуллер

БЕСЕДА ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА

У истоков русского славянофильства

Редактор *Е. Лямина*
Дизайнер *Д. Черногаев*
Корректоры *Л. Морозова, Э. Корчагина*
Компьютерная верстка *С. Пчелинцев*

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:
129626, Москва,
абонентский ящик 55
тел. (095) 976-47-88
факс (095) 977-08-28

e-mail: real@nlo.magazine.ru
http://www.nlo.magazine.ru

Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная № 1.
Печ. л. 28. Тираж 1500. Заказ № 1140

Отпечатано в ППП «Типография “Наука”»
121099, г. Москва, Шубинский пер., 6

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2007 г. вышли:

Серия **«HISTORIA ROSSICA»**
(Окраины Российской империи)

СИБИРЬ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В составе России Сибирь исторически имела две ипостаси — отдельность и интегральность. Она манила своей романтической свободой, природными богатствами и одновременно пугала своей неизведанностью, каторгой и ссылкой. Противоречивые и динамичные картины Сибири, формирующиеся на протяжении XVIII — начала XX в. в общественном сознании и воззрениях политиков, определили импульсивность и непоследовательность правительственных действий в регионе. Расширение Российской империи на восток не ограничивалось только военно-политической экспансией и экономической интеграцией, но предусматривало постепенное поглощение Сибири русским государственным ядром за счет административно-правовой унификации и крестьянской колонизации. Авторы этой книги стремились не только обобщить уже имеющиеся результаты изучения сибирской истории имперского периода, но и представить новые подходы к ее интерпретации, сфокусировав свое внимание на проблемах взаимоотношения центра и Сибири, специфике ее хозяйственного и социокультурного освоения, феномене сибирской ссылки, адаптации русских переселенцев к новым условиям и взаимодействии их с коренными народами, формировании особой русско-сибирской территориальной идентичности.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2007 г. вышли:

Серия **«HISTORIA ROSSICA»**
(Окраины Российской империи)

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Северному Кавказу принадлежит особое место в русской истории и культуре XVIII — начала XX века. Завоеванный русскими в ходе кровопролитных войн XIX столетия, он был постепенно «усмирен», обратившись в слаборазвитую экзотическую «восточную окраину» страны, но и сам покорил своих победителей, воплощая в себе Россию как великую империю. Назрело время заново внимательно прочесть историю Северного Кавказа в составе России, освободив ее от старых колониальных стереотипов и новой лжи. Эта книга, подготовленная группой историков и этнологов из академических центров и университетов Махачкалы, Нальчика, Грозного и Москвы, приглашает читателя к такому прочтению, дополняя привычные темы — Кавказской войны, исхода (мухаджирства) горцев с русского Кавказа в османскую Турцию, русской колонизации, реформ и революции на Кавказе — новыми, еще слабо изученными в отечественной кавказоведческой традиции сюжетами кавказского пограничья (фронтира), исламского дискурса, ориентализма и другими.

Издания
«Нового литературного обозрения»
(журналы и книги)
можно приобрести в следующих магазинах:

в Москве:
«Политкнига» — ул. Малая Дмитровка, 3/10. Тел.: (495)200-36-94
«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7. Тел.: (495)951-93-60
«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6. Тел.: (495)924-46-80
«Гилея» — Нахимовский просп., 51/21. Тел.: (495)332-47-28
«Гнозис» — Зубовский проезд, 2, стр. 1. Тел.: (495)247-17-57
«Книжная лавка писателей» — ул. Кузнецкий Мост, 18.
Тел.: (495)924-46-45
«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 8. Тел.: (495)238-50-01
«Москва ТД» — ул. Тверская, 8. Тел.: (495)797-87-17
Московский Дом книги — Новый Арбат, 8 (а также во всех остальных магазинах сети).
Тел.: (495)203-82-42.
«Старый свет» (книжная лавка при Литинституте) — Тверской бульвар, 25
Тел.: (495)202-86-08.
«Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., 12/27. Тел.: (495)504-47-95
«У Кентавра» — Миусская пл., 6. Тел.: (495)250-65-46
«Букбери» — Никитский б-р, 17. Тел.: (495)291-83-03
«Русское зарубежье» — ул. Нижняя Радищевская, 8 (м. Таганская-кольцевая)
Тел.: (495)915-11-45
Primus Versus — ул. Покровка, 27, стр. 1. Тел.: (495)951-93-60
Магазины сети «Книжный клуб 36’6». Тел.: (495)223-58-20
«Топ-книга». Тел.: (495)166-06-02

в Санкт-Петербурге:
«Летний сад» — Большой просп., ПС, 82. Тел.: (812)232-21-04
«Подписные издания» — Литейный просп., 57. Тел.: (812)273-50-53
«Дом книги» — Невский просп., 62. Тел.: (812)570-65-46, 314-58-88
«Лавка писателей» — Невский просп., 66. Тел.: (812)314-47-59
Гуманитарная книга, 1-я линия ВО, 42. Тел.: (812)323-54-95
Академический проект, ул. Рубинштейна, 26. Тел.: (812)764-81-64

в Екатеринбурге:
Дом книги — ул. А. Валека, 12. Тел.: (343)358-12-00

в Нижнем Новгороде:
«Дирижабль» — Б. Покровская, 46. Тел.: (8312)31-64-71

в Ярославле:
ул.Свердлова, 9. В здании ЦСИ «АРС-ФОРУМ». Тел.: (0852)22-25-42

в Интернете:
www.ozon.ru
www.bolero.ru

HISTORIA ROSSICA

БЕСЕДА ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА

У истоков русского славянофильства

В 1811–1816 гг. в Петербурге существовало литературное общество «Беседа любителей русского слова». «Беседа» провела десятки публичных заседаний, на которые собиралось до нескольких сот человек, практически вся столичная интеллигенция. Было издано 19 номеров журнала «Чтения в Беседе любителей русского слова». «Беседа» была объединением консервативно настроенных деятелей, находившихся в оппозиции к либеральному правительству Александра I. Предлагаемая вниманию читателя книга рассматривает основные аспекты деятельности «Беседы». Отдельные главы посвящены участию в «Беседе» крупнейших писателей начала XIX века: Г. Р. Державина, И. А. Крылова, А. С. Шишкова и др. Восстанавливается по документам история возникновения «Беседы», исследуется ее отношение к русской культуре XVIII века, проясняется позиция «Беседы» в полемике о русском языке и пр.

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ